ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

КАМЕННЫЙ ПОЯС



ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

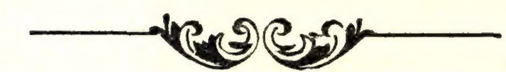
КАМЕННЫЙ ПОЯС

В ТРЕХ КНИГАХ

•

КНИГА ТРЕТЬЯ

ХОЗЯИН КАМЕННЫХ ГОР



части
3–4

МИНСК
«УРАДЖАЙ»
1989

ББК 84 Р7
Ф33

Печатается по изданию:
Федоров Е. А. Каменный Пояс: В 3 кн. Кн. 3: Хозяин Каменных гор.— М., Л.: Худож. лит., 1964.
Автор послесловия Л. Раковский

4702010201—036
Ф———————БЗ 1—89
М 305(03)—89
ISBN 5-7860-0458-9



ЧАСТЬ 3

Глава первая

1

В Нижнем Тагиле отстроился кабак, лавки, магазеи. Демидовская контора в долг отпускала работным мясо, хлеб, крупу, деготь, рукавицы, грубую ткань. При выдаче заработка управитель удерживал долги.

В субботу к заводской конторе сошлись работные, женки их, и Любимов вел с ними расчет. Спесивый, тяжелой походкой вошел он в расчетную, взобрался на табурет и зажег лампаду перед потемневшей и облупившейся от времени иконой Спаса Нерукотворного. Поддерживаемый под руки повытчиками, он слез, опустился на колени перед образом и с умилением стал молиться:

— Господи, пошли меж нами мир и согласие! Иисусе Христе, подай нам!

Позади толпились чающие расплаты; истомленные бородатые работные и женки с испитыми лицами. Управитель обернулся и строго прикрикнул на них:

— Становитесь, христиане, господу богу помолимся и приступим к святой получке!

Все покорно стали в ряд и молились вместе с управителем. Вперив большие, навыкате глаза в тусклый лик Спаса, Любимов со слезой молил:

— И прости прегрешения наши вольные и невольные...

Помолившись, он утер вспотевший лоб и неторопливо сел за конторку:

— Ну, подходи, народ крещеный, получай за труды праведные пятаки, алтыны да копеечки! Эй, Сидор, бери свое! Рукавицы брал? Хлеб получал? Постное масло

выдавали? Два рубля должен! Так, так! Ишь ты, ни полушки не приходится. Не обессудь, брат, можешь идти! Степан, где ты? — обратился он к рудокопу.— Подходи сюда! Э, ты, братец, рукавицы брал, гляди и полушубок сдогадался прихватить. Так, так... Ха-ха, тебе братец, приходится целковый! Ишь ты, целковый! — усмехнулся в бороду управитель.

— Помилуй, Александр Акинфиевич, да я полушубка вовсе не брал! — взмолился Степан.

— Как не брал? — багровея, вскрикнул Любимов.— А это что? Книга живота и смерти! — Он сердито застучал костяшками пальцев по толстой шнуровой книге.— В ней записано: брал Степан Андронов полушубок, а раз записано, выходит так, а не инако. Уходи, уходи, братец! Не брал? Ишь ты! Знаю я вас. Получил рубль-целковый, ну и ступай с богом! Захарка, ты тут? Подходи!

К заводской конторке подошел весь перемазанный рудой, с тяжелыми корявыми руками коногон. Управитель внимательно посмотрел на его обветренное лицо.

— Это ты, Захарка? В кабаке три штофа зелена вина брал? Брал! Скащиваю с тебя...

— Александр Акинфиевич, да побойся ты бога. В кабаке я и не был, не до того: семье еле-еле на хлеб хватает...

— Не перебивай, суетная душа. Я-то бога боюсь и чту! Что у меня, креста на шее нет? Зря в грех вводишь! — гневно закричал Любимов.— Повытчик, погляди, что тут записано?

Конторщик сломя голову бросился на зов управителя и изумленно заглянул в книгу.

— Верно! Так и записано: за коногоном Захаркой три штофа! — угодливо подтвердил он.

— Ну вот видишь! — удовлетворенно вздохнул Любимов и насупился.— Проваливай, червивая душа! Андрейка, сюда!

Подошел коренастый мужичонка-рудокопщик со взъерошенной бородой. Глаза управителя смеялись.

— Ты гляди, сколько заработал. Три рубля приходится, а ну-ка, вихрь тебя забери, получай рубль. Все равно пропьешь. Давай не давай тебе, одинаков будешь! На что тебе три целковых? Непременно сопьешься. Нет, я не такой человек, чтобы не порадеть о твоей душе, два рубля отложим на черный день... Получил? Ну, иди, иди с богом, нечего болтаться перед глазами.

— Родной мой, да за что обидел? — не отступал от конторки рудокопщик.— Отдай мне мое, женке с ребятами надо!

— Ну вот еще чего вздумал! — ухмыльнулся управитель.— Авось твоя женка и ребятенки с голоду не подохнут. Господь бог не оставит их своей милостью. Иди! Эй ты, Иван! — крикнул он повытчику.— Налей-ка Андрейке «петушок» водки, пусть помнит доброго хозяина. Ну, иди, иди, алчные глаза, там и опрокинешь стакашек зелена вина...

В час-два разобрался Александр Акинфиевич со всеми работными и, закрыв железный сундук, снова стал перед образом и помолился:

— Благодарю тебя, господи, что не оставил без милости твоей. Хлеб наш насущный даждь нам днесь...

Сотворив молитву, он надел шляпу и ушел из конторы вполне удовлетворенный собой.

Управитель старался не замечать недовольства рабочих.

«Что ж,— рассуждал он,— человек вечно недоволен. Дай много — захочет большего! Жаден! Вот и смирись на малом!»

Он упорно соблюдал строгости на заводе. Правда, держался он всегда ласково, льстиво, не грубил, но и приветливое слово в его устах звучало предостерегающе.

— Распусти вожжи — тогда, как обезумевшие кони, разнесут! — говорил он повытчикам.— Народ любит, чтобы его в узде держали.

Но как ни старался Любимов уйти от неприятностей, они следом за ним ходили. После того как триста жалобщиков из Нижнего Тагила добились относительной свободы — стали государственными крестьянами, на заводе участились попытки «отыскания вольности».

Среди тагильских крепостных значился Климентий Константинович Ушков, весьма зажиточный человек; на заводе он сам не работал, а платил Демидову оброк. Вся конница, которая возила руду от горы Высокой, принадлежала Ушкову, и волей-неволей с ним приходилось считаться. Второй из той же породы — Ведерников. Договорились они вдвоем подать прошение на высочайшее имя о восстановлении их в свободном состоянии. Оба считали, что Демидовы незаконно зачислили их в крепостные.

По санному пути в феврале 1812 года верные уш-

ковские люди повезли эту челобитную в Санкт-Петербург.

Вспылил Демидов. Ушкову и Ведерникову грозила барская расправа. Но в эту пору в стране произошли грозные события: в июне 1812 года французская армия перешла пограничную реку Неман и вторглась в пределы России...

2

В августе 1812 года Николай Никитич вызвал Черепанова в Москву. Ефим впервые попал в Белокаменную. Подъезжая к ней, он долго любовался сверканием на утреннем солнышке золотых глав церквей и колоколен. Москва пробуждалась от сна, умытая холодной росой, свежая, просторная. У плотинного учащенно забилось сердце. Он снял шапку, слез с тележки и пошел рядом с возком, разглядывая Кремль, соборы и дворцы. Сверкала зеленая черепица, глазурь, позолота — все играло, переливалось на фоне голубого ясного неба. Тихо падали первые желтые листья на бульварах. В распахнутых дверях встречных часовенок трепетно мелькали огоньки свечей, и ранние богомольцы — старушки и нищие — толпились на паперти. Вправо мелькнула Москва-река, над гладью вод высились зубчатые высокие стены с башнями, высоко вознесшими свои зеленые конусные шапки. Сиреневая дымка таяла под солнцем, которое поднялось над Красной площадью. Каждый камень, каждый шаг по древней русской земле волновал душу Черепанова.

«Москва, Москва — сердце России, надежда наша!» — с благоговением думал он.

На улицах и площадях отмечалось большое движение. По рассказам, Белокаменная славилась широкой, раздольной жизнью,— ничто здесь не возмущало покоя людей, но сейчас Ефим подметил другое: тревогу и беспокойство на лицах встречных. На перекрестках толпились купцы, мещане, бабы и слушали чтеца, который оглашал им что-то с бумажного лоскутка. Такие же толпы он увидел и у калачной избы и у блинной,— и там читались листки.

— Эй, ваше степенство, что это объявляют? — окликнул он купца.

Дородный, бородатый гильдеец махнул рукой:

— Иди-ка, братец, сам послушай! То ростопчинские афиши оглашают!

Ефим пробрался поближе к толпе. Стоя на поленнице, чей-то дворовый, бойкий грамотей, отчетливо читал листок. Слова у него выговаривались крепкие, ядреные, словно каменные катыши.

«Братцы, вооружайтесь чем попало! — оповещала афиша.— Особливо вилами, которые против французов тем более способны, что они не тяжелее снопа!»

Черепанов не шелохнулся. Каждое слово оповещания жгло ему грудь.

«Неужто в Москву заявятся неприятели? Ядер и пушек у нас, что ли, нехватка, что за вилы берутся!» — в раздумье разглядывал он чтеца. Грамотей был в сером кафтане, стрижен под кружок, глаза жгучие.

— Как тараканов, поморим! — бойко выкрикнул лохматый мужичонка и весело оглянулся на Ефима.— Видал, что деется?

Одет он был скудно: зипунишко латаный, сапожонки стоптаны. Несмотря на эту нищету, держался бойко, с задором. Вскинув рыженькую бороденку, он крикнул:

— А ну, читай дальше!

Ефим выбрался из толпы, сел в тележку и неторопливо покатил дальше, к Басманным, где разместилось демидовское поместье. Навстречу ему потянулся поезд из многих подвод, груженных тяжелыми коваными сундуками. Кладь оберегали усатые солдаты при двух сержантах.

«Казну, знать, вывозят!» — подумал Черепанов, и внимание его привлекли шедшие в рядах, в серых суконных кафтанах и с крестами на шапках, бородатые ополченцы. Они, не унывая, горланили песню:

Мы за Расею-мать пойдем,
Бонапартию побьем,
Бонапартию побьем
И привольно заживем!

Уралец снял перед ними шапку и безмолвно проехал мимо. «Помоги вам бог!» — мысленно пожелал он удачи ратникам. К полудню он въехал во двор хозяина. Среди дворни шла суета: укладывали в ящики демидовское добро, заколачивали их пахучим тесом. За экипажным сараем кучера рыли глубокую яму, в которую собирались спрятать от врага ценности.

Старик дворецкий опечаленно сказал Ефиму:

— Эх, милый, дожили мы до ненастных дней. Идет гроза с громом и молоньей. Как и устоим?

— Надо устоять! — твердо ответил тагильский мастерко.— Мы, русские, дедушка, не такие напасти видели и перенесли! Как дубы, выстоим!

— Вот спасибочко за утеху! — Дворецкий снизил голос и сокрушенно поделился: — Золото и камни-самоцветы из матушки Москвы повезли. Вот и мы со скарбом наутро из дома тронемся. Кто знает, доведется ли когда-нибудь увидеть родные стены Белокаменной?

Старик невольно смахнул слезу.

— Николай Никитич давно поджидает тебя. Иди! — заторопил он вдруг уральца.

Ефим сдал коня и тележку конюхам, умылся, выбил от пыли кафтан и направился в господские покои. Демидов был неузнаваем: одетый в щегольской военный мундир, он словно помолодел, вырос, движения его стали энергичнее. Встретив недоуменный взгляд Ефима, хозяин горделиво сказал:

— Выставляю свой ополченский полк! Коштовато обойдется, но надо отечество оборонять! Видно, придется нам, Ефим Алексеич, хлебнуть горя! — Он встал и, звякая шпорами, прошелся по комнате. Ровным, спокойным голосом он продолжал: — Выпала нам и печаль и радость. Враг идет сюда, может и на Тулу повернет — то великая скорбь: надо спасать наши заводы. И вот господу угодно стало, чтобы в эти дни пребывающая во Флоренции супруга наша Елизавета Александровна родила нам второго сына, которого мы нарекли Анатолием. Это безмерная радость нам!

Тагилец неловко поклонился:

— Поздравляю вас с наследником, господин!

— Спасибо! — весело отозвался Демидов.— А вызвал я тебя, Ефим Алексеич, для Тулы. Великий знаток ты машин и заводов, наказываю тебе ехать туда и вывезти наше оружейное дело. Пока же день-два тут пособи: враг близок, а мне надо ратников вести из Москвы. Я тут отлучусь на чуток, а ты обожди меня. Понял?

— Ясно, господин. Постараюсь.

— Ну, ступай и делай свое, коли ясно! — Он слегка наклонил голову и погрузился в свои думы.

Вечером за окном послышался глухой стук конских подков о настил двора — Демидов на вороном иноходце отбыл по своему делу. Никто из дворни не знал, куда со своими ополченцами направится барин.

В сумерки со двора следом потянулся обоз с домашней кладью. В старом обширном доме с гулкими залами остались дворецкий и несколько престарелых слуг.

Спустилась мягкая, тихая ночь. Дворовые не расходились и, сидя на крылечке, обсуждали вести с Бородинского поля. Никто из них все еще не верил, что французы осмелятся войти в Москву. Черепанов забрался в горенку и распахнул окно. Город притих во тьме, отошел ко сну. На западе, над Поклонной горой, краснело зарево — горели бивуачные огни, и это наполняло душу тревогой. Долго не мог уснуть Ефим, ворочался, прислушивался к осторожному говорку дворовых.

— Минутка для отчизны тяжелая, а только не для всякого,— жаловался молодой голос дворового.— Кому горе, а купцам — прибыли море!

— Ты, парень, не ропщи! — строго перебил старый дворецкий.— Так самим богом положено, чтобы купец обирал. На то он и аршинник!

— Вестимо, обиралы, а ноне просто разбойники! Где это видано — на беде народной жиреть? Ранее в лавках купеческих сабля и шпага продавались по шести рублев, а то и дешевле, а сейчас за них по тридцать и сорок целковых ломят. Тульские пистолеты с хозяйских заводов коштовали семь-восемь рублев пара, а теперь не получить и за тридцать. Бессовестные, грабят народ в этакое-то время!

— Глаза у иродов бесстыжие, салом заплыли! — сердито вымолвил дворецкий.— Великое испытание идет на русскую землю, а что творят!

— Да и господа помещики не лучше аршинников, в нашем брате мужике только одну подлость видят! — с возмущением продолжал молодой дворовый.— Намедни крепостной человек барина Бельского явился в присутствие для ратников и просил записать его в ополчение. Что думаешь, как рассудил начальник? «Ты, говорит, подлого состояния раб и не можешь иметь благородное патриотическое чувство!» После того он был отослан за «побег» к городничему для расправы.

— Скажи как! — с горечью выкрикнул старик и замолчал.

Тишина длилась долго. Черепанова стал обуревать сон. И вдруг снова заговорил молодой.

— А как думаешь, батюшка, после войны крестьяне волю получат?

— Типун тебе на язык. Молчи! — глухо перебил дворецкий.— За бунтовские речи не сносить тебе башки, Сашка! Видел я своими очами, как на Болоте Пугачу голову рубили. Страшенно!.. Молод да зелен ты! — упрекнул старик.— Эх, господи, какая темная туча ползет на Русь, а народу надо выстоять...

Послышались чьи-то шаги, и дворовые замолчали. Наступил глухой невозмутимый покой, и Ефим устало смежил глаза.

Проснулся мастерко от резких петушиных криков, будивших Москву. Он с наслаждением прислушался к мощным звукам, от которых, казалось, дрожала каждая частица воздуха. Когда в демидовском птичнике на секунду замолкали горластые запевалы, волна петушиного ликования катилась все дальше и дальше, до самых отдаленных застав, постепенно замирая, а затем, снова вспыхивая, возвращалась назад, нарастая и звеня серебристыми всплесками, залетавшими в горницу. Это обычное петушиное пение вносило покой, напоминая о хорошей, устоявшейся мирной жизни. Большая тягота слетела с души. Ефим встрепенулся, приободрился.

Он проворно оделся и, чтобы понапрасну не будить дворню, тихохонько ушел со двора. Перед отъездом в Тулу он хотел осмотреть город.

Только что взошло солнце, на травах блестела крупная холодная роса, под ногами шуршал первый палый лист, а в городе стыла тревожная, жуткая тишина. Ефим вышел из дому на ранней заре и долго стоял у Драгомиловской заставы. Мимо двигались обозы, артиллерия, потянулась пехота. Солдаты шагали молчаливо, угрюмо. На улицах и площадях толпился народ. Жители безмолвно смотрели на полки. Лишь изредка раздавался женский плач или с обидой брошенный выкрик:

— Это что же, братцы, не отразили врага!

Мучительная боль звучала в этих словах. Солдаты проходили, опустив головы: им самим нелегко было покидать Москву.

Черепанов скинул шапку, взволнованно глядел на обветренные солдатские лица, а по щекам катились слезы. Мастеровой мужичонка в серой сермяжке, обиженно моргая глазами, взглянул на Ефима:

— Горе-то какое! Гляди, и тебя слеза прошибла...

Войска проходили, город пустел, и на сердце становилось невыносимо тяжело. Уходило все лучшее, ра-

достное, и гнетущая тишина томила, как перед страшной грозой.

Часу в восьмом у заставы показалась группа всадников. Впереди на карем коне ехал спокойный, величавый старик в линялом мундире и в бескозырке с красным околышем.

— Глядите, батюшка Михаил Илларионович Кутузов! — пронеслось по толпе.

Мастеровой мужичонка скинул шапку, слезы набежали ему на глаза.

— Оставляем Москву! — с дрожью в голосе выкрикнул он.— Так неужто француз всю Расею прошагает! Эх-х! — укоряюще взмахнул он рукой.

Фельдмаршал встрепенулся, поднял глаза на мастерового. Лицо Кутузова было строго. Окинув взглядом толпившийся народ, он сказал крепким, молодым голосом:

— Не будет этого! Головой ручаюсь, что неприятель погибнет в Москве!

Позванивая удилами, конь медленно прошел мимо. Люди волной всколыхнулись следом. Михаил Илларионович оглянулся, народ затих, понял, что любопытство не к месту.

— Кто из вас хорошо знает Москву? — спросил Кутузов.

Мастеровой оказался рядом.

— Куда, батюшка, прикажешь провести? — с готовностью осведомился он, и глаза его с мольбой уставились на главнокомандующего.

Ефим протиснулся поближе и взволнованно разглядывал фельдмаршала. На круглом загорелом лице его играл старческий румянец. Один глаз был полузакрыт, другой приветливо рассматривал мужичонку. Движения Кутузова и выражение его лица выдавали страшную усталость. И она была не столько физическая, сколько душевная. Уралец понял, чутьем догадался, как трудно сейчас полководцу. Может быть, ему всех больнее покидать Москву? Ефиму глубокой русской жалостью стало жаль Кутузова. Скажи Ефиму сейчас: бросайся в огонь,— и Черепанов, не раздумывая, бросился бы. Огромное, чистое чувство любви к отчизне сроднило полководца с народом. Каждой кровинкой Ефим ощущал эту близость. Он не мог устоять перед соблазном и, рядом с мужичонкой, пустился впереди Кутузова.

Они провели его по бульварам и пустынным улицам до Яузского моста. Кругом все было на запоре, глухо, нигде ни души. Ефим поглядывал на фельдмаршала, который, задумчиво опустив голову, ехал впереди свиты.

У Яузского моста — крикливая, многоголосая людская запруда: полки перемешались с обозами, с экипажами, с толпами уходящих из Москвы жителей. Теснота, окрики, брань не остановили мужичонку. Он прикрикнул:

— Разойдись! Не видишь, кто!

Народ потеснился, в сторону сдвинули обозы, и среди людского потока Кутузов проехал дальше. Давно не нужен был проводник, но он и Черепанов все еще шли за фельдмаршалом до Коломенской заставы. На всем пути с каждым шагом возрастало оживление; жители покидали родные дома: шли пешком, вывозили скарб, плакали женщины и дети. Москва на глазах пустела. Неподалеку от заставы к главнокомандующему подъехал граф Ростопчин,— все знали его. Он что-то говорил Кутузову, но тот молча продолжал движение вперед. У заставы, близ старообрядческого кладбища, Михаил Илларионович сошел с лошади и уселся в дрожки, повернутые к Москве.

Мужичонка схватил Ефима за руку, крепко пожал:

— Гляди, братец, вот он какой!

Между тем Кутузов не торопился уезжать. Притихший, задумчивый, он долго пристально смотрел на покидаемую Москву. На ярком солнце блестели маковки соборов, от заставы доходил глухой шум, похожий на рокот моря. В клубах пыли двигались толпы народа, обозы и стройно, молчаливо проходили последние полки. Никто не знал, как тяжело было в эти минуты на душе полководца. Он вспоминал военный совет, который вчера вечером состоялся в Филях. Сколь разнообразные мнения высказывали старшие командиры! Особенно высокопарно говорил Беннигсен, который настаивал во что бы то ни стало дать решающее сражение под Москвой. Опустив седую голову, полузакрыв глаза, Михаил Илларионович молча слушал бесстрастную речь барона и горячие споры, которые вспыхнули после нее. В них звучали и горечь, и боль, и дерзость. Перед этим Кутузов тщательно изучал кроки, на которых было нанесено предполагаемое поле битвы под Москвой. Позиции выбирали барон Беннигсен и полковник Толь. Михаил Ил-

ларионович ясно представил себе, какие события могут разыграться в этих местах и как гибельно они отразятся на ходе всей военной кампании.

«Нет, это не Бородинское поле! — с горечью думал он сейчас.— Здесь нет места и глубины для маневрирования резервами. Всякий маневр из глубины позиции резко ограничен и стеснен на правом фланге, а с тыла крутым обрывом и рекой Москвой».

Выступая с речью, барон Беннигсен изредка поглядывал на главнокомандующего, и тот казался ему немощным стариком.

Однако барон жестоко ошибался: Кутузов думал о будущем стратегическом маневре, но твердо решил молчать о нем. Когда все выговорились, Михаил Илларионович встал во весь рост, подошел к столу, за которым разместились генералы, и сказал решительно:

— С потерею Москвы не потеряна еще Россия. Первой обязанностью ставлю себе сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Знаю, ответственность падет на меня, но жертвую собою для спасения отечества. Приказываю отступать!

...Сейчас, сидя в дрожках, он с грустью сердечной смотрел на сияющий великий русский город и шептал:

«Москва! Москва! Любовь к тебе не угаснет никогда. Армия и народ вызволят тебя! Прости нам недолгую разлуку!» Он вскинул голову, снял бескозырку с красным околышем, истово перекрестился

— Выстоим, матушка, и тебя выручим! — сказал он громко и приказал везти себя дальше.

Ефим переглянулся с мастеровым:

— Ну, брат, мне надо обратно!

— И мне! Видать, другого пути нет! — отозвался мужичонка.— Наказано господами беречь их домы. Вертаться надо, а поверишь ли, кипит все тут! Не стерплю злодеев на родной земле! Эвон, гляди, сколько горя разлилось! Идут, все идут, кажись и конца не будет. В своих слезах захлебнутся бабы! Вон ребятенки! Эх, горькие вы мои, горькие!..

По дороге всё двигались, торопились согбенные старики, женщины с узлами на плечах; ухватившись за их подолы, семенили ребятишки...

Черепанов вернулся в город. Расставаясь с мужичонкой, он спросил:

— Как звать, друг?

— Никита Ворчунок!— простодушно отозвался тот.— Доброго здравия,— поклонился он и зашагал прочь.

В городе все лавки и магазины были заперты на тяжелые железные запоры, многие наглухо заколочены, дома опустели, безмолвны. Гулко отдавался каждый шаг. В эту пору обычно в Москве благовестили к обедне, но сегодня ни один звук не пронесся в ясном небе. Тяжелое, гнетущее безмолвие повисло над древним русским городом. Отяжелевшей походкой Ефим приближался к дому, а беспокойная мысль сверлила мозг: «Что же делать? Уходить из Москвы? Но сказано: ждать хозяина... Да теперь разве появится Николай Никитич, раз так обернулось дело?» Он порывался уйти, но чувство долга удерживало его. С волнением он вошел в демидовский двор. Половина дворни ушла, остались ветхие старики. Все умолкли, с беспокойством прислушиваясь к затихшей Москве.

В это самое утро 14 сентября Наполеон подъехал к Москве. В сопровождении блестящей свиты он остановился на Поклонной горе. Отсюда открывался сказочный вид на русскую столицу. Наполеон долго восхищенными глазами разглядывал сияющие золотые маковки церквей, кремлевские башни, раскинувшийся перед ним огромный красочный город, озаренный солнечным сиянием. Молодые офицеры наполеоновской свиты не смогли сдержать своего восторга. Они захлопали в ладоши и, задыхаясь от радости, закричали: «Москва! Москва!»

Наполеон самодовольно улыбнулся. Наконец-то у его ног лежала поверженная древняя русская столица! Взор его перебежал на большую дорогу, подле которой расположились войска. Старые ветераны его походов оживленно жестикулировали, лица их преобразились. Многие обнимались, и отовсюду доносились возбужденные голоса:

— Вот и Москва! Наконец-то Москва!

«Однако почему русские не торопятся встретить меня?» — обеспокоенно подумал Наполеон, и скрытая тревога закралась в его душу. Только сейчас он обратил внимание на тишину и безмолвие, которые не предвещали ничего хорошего. Не слышалось обычного городского шума, ни одной струйки дыма не поднималось из многочисленных труб. Казалось, какой-то волшебник в одно мгновение усыпил этот великий город, поразил его

немотой и неподвижностью. Перед Наполеоном лежал безмолвный призрак пустыни.

Резким движением Наполеон забросил за спину руки и нервно заходил по возвышенности. Он привык к установленному ритуалу. Еще в средние века, когда победитель занимал город или крепость, навстречу ему выходили самые уважаемые жители и почтительно вручали ключи от городских ворот. Наполеон покорил половину Европы, и везде строго соблюдали эту традицию. Ему нравилась эта пышная церемония, когда обычно выходили седобородые старики в дорогих одеждах, неся на серебряном блюде огромные ржавые ключи, которые по сути дела давно хранились только как реликвия. Почтенные делегаты города становились на колени и униженно подносили ключи — символ безоговорочной сдачи на милость победителя.

Волнение с каждой минутой все более и более овладевало Наполеоном. «Почему не идут с поклоном и ключами от ворот Москвы русские бояре?» Он сердито крутил в руке перчатки и думал: «Я вырву им седые бороды за эту бестактность!»

Увы, бояре перевелись на Руси! Да и никто не собирался к нему с поклоном. Прождав более часа, Наполеон понял, что никакой депутации из Москвы не будет. Чувствуя, что дальнейшее промедление его на Поклонной горе вызовет недоумение в свите, он махнул рукой:

— Вперед, в Москву!..

Вражеские полки вступили в опустевшую столицу.

В эту минуту тяжелого ожидания беды в калитку демидовского поместья вбежал старый дворецкий; лицо его побледнело, на глазах туманились слезы. Задыхаясь от быстрого бега, он сообщил:

— Идут, идут, батюшка Ефим Алексеевич! Саранчой ползут. Тьма-тьмущая, все улицы и проулки забиты французами. Как бы, на грех, сюда к нам вскорости не пожаловали!

Нежданно-негаданно беда настигла тагильца. Черепанов потемнел, бросился в конюшню. Дворецкий выбежал за ним следом.

— Теперь уж не уедешь, родимый! — сказал он с печалью и посоветовал: — Кидай коня и тележку, пробирайся пехом! В суматохе да в толчее, может, и проскочишь к заставе, а там, даст бог, добрые люди выведут из беды!

Не раздумывая, Ефим поспешил со двора, пере-

улками и глухими задворками заторопился к заставе.

На Калужской дороге было пустынно. Город онемел, из ворот на звук шагов выглядывали немощные старики караульщики. Все лавки, герберги, фряжские погреба, харчевни и кабаки закрыты. У покинутого дома, надрывая людям душу, скулила собака. В одном месте послышался разноголосый шум и бранные выкрики, Черепанов еле успел спрятаться за палисадом. Французские солдаты грабили винный погреб: выбивали днища из бочек и черпали хмельное ведрами, тащили штофами и тут же пили. Многие, обнявшись, горланили, пели визгливые песни, а другие бросились в соседние дома и стали ломать мебель, бить окна и грабить все, что попадало под руку.

Вдруг раздался пронзительный крик, от которого по спине Ефима пробежал мороз. Французские мародеры вытолкали из соседнего дома молодую женщину и девочку лет двенадцати. Они изорвали на женщине платье и с насмешками толкали ее на лужайку. Синеглазая девочка упиралась, ее пинками заставляли идти. Тут же под общий солдатский гогот они, как звери, накинулись на беззащитных.

Черепанов дрожал от возмущения: вся кровь в нем ходила ходуном.

«Эх, господи, чему быть, того не миновать, а семи смертям не бывать!» В страшном озлоблении он вырвал из забора добрый смолистый кол и, выскочив внезапно из своей засады, нанес сокрушительный удар по первой подвернувшейся вражьей башке. Откуда только и сила взялась! Разъяренный и сильный, он бесстрашно шел на врагов, круша их направо и налево.

— Держись, супостат! — выкрикнул он и в неистовстве мести хрястнул красномордого насильника по голове так, что тот, не охнув, распластался на земле.

Пьяные грабители что-то заорали в ужасе и бросились врассыпную. Только двое, размахивая палашами, что-то кричали, видимо призывая на помощь. Пользуясь замешательством, женщина схватила девочку и незаметно укрылась среди строений. Не дремал и Ефим; он легко и проворно перекинул свое сильное тело через глухой забор и очутился среди зарослей малинника. Под ногами шуршал палый лист, над головой синело ясное небо, и все так не походило на свершившееся, что Черепанову казалось: он видит дурной сон. Но явь напоминала о себе на каждом шагу: то здесь, то там раз-

давались дикие крики, загрохотали пушки. «Неужто по мирным людям палят злодеи?» — с возмущением подумал уралец и осторожно стал пробираться к реке Москве. Он думал перейти ее вброд и скрыться в лабиринте кривых улочек Замоскворечья. «Эх ты, горе-то какое! Не чаял, не гадал — попал в самую кипень!» — подумал он и замер: на ясной лазури неба появились черные витки густого дыма,— захватчики подожгли Москву. «Не успели войти, а уже губят нашу матушку!» — с ненавистью вымолвил он и еще крепче сжал смолистый кол.

Вот рядом, рукой подать, большое белокаменное здание Воспитательного дома, который строил Прокофий Акинфиевич Демидов. Черепанов хорошо знал это величественное здание. «Что же с сиротами теперь?» — в тревоге подумал он. И, словно в ответ на его думку, вдруг раздался громкий и смелый окрик:

— Куда бежишь, добрый человек? Помоги нам!

Перед Черепановым стоял солидный пожилой человек в форменном платье. Заметив удивленный взгляд Ефима, он сказал:

— Я Тутолмин, главный надзиратель Воспитательного дома. Каждый русский человек нам дорог. Французские поджигатели рвутся предать пламени сие сиротское убежище!

Он заторопился по садовой дорожке к главному фасаду, откуда раздавались крики. Толпы разбушевавшихся мародеров поджигали величественное строение. Служители Воспитательного дома с пожарными трубами старались погасить поднимавшееся пламя, готовое охватить стены. Черепанов не ждал больше слов. Оттого, что он не один, что рядом свои, русские, он ободрился и почувствовал в себе силы.

Между тем солнце поднялось высоко, оно сверкало на крестах кремлевских соборов, главах церквей, играло переливами на черепичных крышах башен Китай-города. Но постепенно все стало заволакивать дымом.

— Жгут проклятые! Жгут храмы божии! — закричал седовласый служитель.— Гляди-ка, эвон пламя какое вздымается на Сретенке! — показал он правее Китай-города.— Эй, дьявол, куда лезешь? — крикнул он и бросился на толстого солдата, который с факелом подбирался к сеням.

Потный, перемазанный сажей Черепанов старался изо всех сил. Кругом уже пылали дома, и огонь каждую

минуту мог перекинуться на Воспитательный дом. Стоило больших усилий, чтобы погасить очаги пламени, вспыхивавшие все чаще и чаще. Среди суеты Ефим несколько раз встречался с Тутолминым, который с толпой подчиненных появлялся в самых опасных местах и старался то угрозами, то мольбами отогнать поджигателей. Он успевал всюду: и проверить посты, и позаботиться о воде, и заметить вовремя перелетевшую с соседнего пожарища искру. Но больше всего Черепанова поразила беззаветность служителей Воспитательного дома, которые готовы были положить свою жизнь: они бросались в огонь; вооруженные одними дубинками, они готовы были вступить в неравный бой с наглым врагом.

— Ты не удивляйся, милый,— разглядывая Ефима добрыми глазами, сказал сухопарый, с нависшими седыми бровями служитель.— Разве можно допустить, чтобы разорили наше гнездо? Тут-ка, почитай, тысячи сирот, а они, разбойники!..

Старик погрозил кулаком:

— У-у! Был бы молодой, я бы показал им!..

Вдруг на набережной стало тихо, пьяные солдаты, беспорядочно шлявшиеся в расстегнутых мундирах, присмирели. Некоторые из них с мешками под мышками и узлами с награбленным добром на плечах затрусили в переулок. Черепанов глянул вперед и увидел медленно приближающуюся группу конников, на головах которых развевались пышные султаны.

— Гляди-ка, братец! — вскричал в изумлении старый служитель.— Никак сам Напольён сюда жалует!

Старик не ошибся в своих догадках. Из ворот вышел Тутолмин и, склонив голову, стал ждать. Был он при шпаге и в мундире.

Блестящая свита поравнялась с воротами Воспитательного дома. В окружении маршалов на тонконогом белом коне ехал Наполеон. Черепанов с любопытством взирал на невиданное зрелище. Наполеон был коренаст, одет в серый мундир, в треуголке, из-под которой выбилась прядь каштановых волос. Рука у него была заложена за борт мундира, лицо бледно, неподвижно, словно маска. Он ехал, зорко поглядывая по сторонам. Заметив Тутолмина, он спросил приближенных:

— Кто это?

От толпы свитских отделился штаб-офицер, но узнавать не пришлось, так как главный надзиратель Воспи-

тательного дома сам поспешно подошел к свите, учтиво поклонился Наполеону и заговорил на отменно чистом французском языке. Наполеон молча выслушал сообщение Тутолмина, пожал плечами.

— Не может этого быть! — воскликнул он.— Мои солдаты не способны на грабежи и поджоги! — тронул поводьями, и белый конь, осторожно ступая, понес его дальше вдоль набережной.

— Эх, живодер, аль прикидывается, что не видит? — укоризненно покачал головой старый служитель.— Погоди, придет ужотка час, ударит времечко, рассчитаешься за все наши муки! — пригрозил он вслед и, оборотясь к Ефиму, с горькой печалью сказал: — Гляди-ка, пылает наша матушка, а у меня кровью сердце обливается. Москва всем городам город... Это понимать душой надо! От нее началась вся русская земля... Без Москвы как без головы. Попомни мое слово, «отблагодарит» его Русь за нее... Не с таким народом связался...

За кремлевскими соборами погасал закат, когда Черепанов оставил ограду Воспитательного дома и пустился в блуждания: ему хотелось поскорее выбраться из пылающего города, где каждое движение врага терзало его сердце. Выйдя на пустырь, Ефим свернул в сторону, в большой и глухой сад. И только он пробежал сотню шагов, навстречу ему вдруг вышел знакомый мастерко Никита Ворчунок.

— Куда, братец? Стой, стой! — приглушенно окликнул он Черепанова.— Не ходи туда. Сам лезешь в пасть ворогам! Идем!

Он строго посмотрел на уральца, с досадой сказал:

— Попали, друг, в беду, как кур во щи! За мной держись! Господи, пронеси!

Мужичонка с опаской оглядывался по сторонам, прислушивался. На этот раз его глаза не искрились задором. Он озабоченно сказал:

— У меня тут есть потайное местечко, переждем до ночи, а там, даст бог, темью и прошмыгнем.

Бесшумно ступая, Ворчунок провел Черепанова в темный подвал барского дома. Мужичонка оказался здесь своим человеком. В тусклом свете фонаря возилось несколько человек. Ворчунок прошептал Ефиму:

— Не бойся, то свои, русские люди!

Он усадил тагильца на пустую бочку, а сам присел к огоньку. Томительно медленно потянулось время. Пламя фитиля потрескивало. Люди молча смотрели на

огонек, полудремали. Никто не обратил внимания на Черепанова. Безмолвствовал и Ворчунок.

В глубокой тишине в подземелье раз за разом докатились три выстрела. Ефим встревоженно взглянул на мужичонку.

— Пустое! — отмахнулся тот.— Случись настоящее, по земле гром загудит. Видать, наши далеко отошли от Москвы-матушки.

Мастерко не знал, что в эту минуту пролилась первая русская кровь на московской земле. В тот час, когда передовые французские войска вступили в Кремль, они встретили неожиданное сопротивление. Полтысячи патриотов, вооруженные оставленным оружием, заняли Никольские ворота и дороги, ведшие к дворцам и кремлевским соборам, решив не допустить врага до русских святынь. Едва король неаполитанский Мюрат в окружении свиты въехал в Кремль, как один из смельчаков пальнул в него из ружья. Второй немедленно набросился на польского офицера, на месте зарубил его и с криком: «Братцы, бей супостатов!» — врезался в толпу врагов, но пал под ударами. В отместку за товарища прогремел залп. Французы смешались, но Мюрат восстановил среди них порядок, приказал выставить пушку и ударить ядрами. Прогремели орудийные выстрелы, и защитники стали отступать, жестоко отбиваясь. И тут один из храбрецов, невзирая на опасность, с топором в руках кинулся к орудию и одним взмахом раздробил череп французскому офицеру. На смельчака набросились артиллеристы, но он изо всех сил отбивался. Французы все же растерзали его, и только тогда Мюрат с осторожностью выехал на Кремлевскую площадь...

Целый день не прекращался поток французских войск, которые по вступлении в Москву, как ручьи, растекались по многочисленным улицам и переулкам, разбегались по квартирам и приступали к грабежу. Вскоре все было пьяно, начальники и солдаты растеряли свои полки и дебоширили.

В сумерках Ефим с Ворчунком выбрались из подземелья на огороды. Над городом вздымалось багровое зарево.

— А пожар все больше! Французишки зажгли со всех сторон! Что теперь будет? — с болью выкрикнул Черепанов.

— Лиходеи! Жгут, грабят, насильничают! Доберет-

ся наш Кутузов до них! За все ответят! — сердито отозвался Ворчунок.— Днем сам видел, как грязные, вшивые французишки грабили Гостиный двор. Чего, братец, не тащили! Ящики с чаем, бочонки с сахаром катили, с медом, с вином, мешки с изюмом и орехами волокли, сукна, холсты. Да, видать, жадность обуяла их, не поделили, и пошла драка... Эх, злодеи! Эх, разбойники!..

— Да этак весь город спалят!

Ворчунок призадумался, вздохнул:

— Верно, братец. Выпало нам большое народное горе. Но, может, господь не допустит до того, чтобы всю захватило огнем. Идем, поторопимся, братец! — потащил он за собой тагильца.

Не успели они отойти от укромных мест, как с десяток французов перехватили их. Ефим и не опомнился,— ему связали руки и, подталкивая штыками, погнали вперед.

Ночь опустилась на покинутую Москву, а по земле разлились красные разводья пожаров. В багровом озарении озлобленные конвоиры гнали двух русских на допрос. Ворчунок с ненавистью поглядывал на врагов.

— Испугались, варвары! — злился он. Сбив шапку набекрень, русский озорно смеялся в лицо французам: — Что, самим жарко приходится от своего злодейства? Погоди, еще жарче станет!

Ефим шел молча; ныли скрученные руки, но еще больше ныло сердце. «Неужели конец? Так больше и не увижу ни Евдокиюшки, ни сына, ни уральских заводов? Тяжело! А что я сделал худого? Шел по родному русскому городу, а враги поймали, повязали, как ночного татя[1], и гонят неизвестно куда!»

Конвоиры привели пленников и загнали в каменный подвал. Высокий тощий француз толкнул Ефима прикладом в спину, и когда тот, спотыкаясь, полетел в полуосвещенный подвал, за ним захлопнулась дубовая окованная дверь, загремел железный запор.

— Ну, вот и прибыли! — с горькой иронией вымолвил Ворчунок.— Хоть бы веревки отпустили, а то руки начисто затекли! Где ты? — обратился он к Черепанову, который, морщась от боли, поднимался с каменного пола.

От мутного огонька навстречу поднялись бородатые люди.

---

[1] Вора.

— Эх, горемыки, и как вас угораздило! — с жалостью сказал широкоплечий мужик.

Черепанов растерянно посмотрел на него и, опустив голову, рассказал про свою неудачу.

— Поди разберись теперь! — опечаленно отозвался кто-то у огонька.— Нас за поджоги будут судить, и вас заодно с нами!

— Господи, да какой же я злодей! — с обидой выкрикнул Черепанов.

— А мы злодеи, что ли? Разве мы поджигали Москву? — громко отозвался кто-то у огонька. Только теперь рассмотрел Ефим, что перед ним сидит поручик с повязанным лбом. Он улыбнулся уральцу и сказал:

— Тут, братец, собрались всё честные русские люди. Нет среди нас ни одного прохвоста. А собрала нас вместе горячая любовь к отчизне. Так, что ли, ребята?

— Так. Садись да поговорим напоследок. Гляди, на зорьке подымут и поведут! — сказал бородач.

— Мне не страшна смерть за родную землю! — решительно сказал поручик и, ласково посмотрев на прибывших, предложил: — Что ж, добрые люди, садись к огоньку!

Седой старик потеснился, дал место. Черепанов огляделся; все были свои, русские. Слабый огонек озарял их лица, и ни отчаяния, ни сожаления не прочел на них уралец. Хотя они знали о страшной угрозе, нависшей над ними, никто не падал духом. Старик степенно огладил бороду и, продолжая прерванную беседу, заметил:

— А что, ребятушки, может, это наша последняя ночка; не пришел ли час подумать о содеянных грехах?

— Погоди! — перебил его Ворчунок.— Обожди, дед! Не к спеху, да и какие грехи могут быть у бедного человека! Вот бы руки развязать, а то сердце зашлось!

— Погоди, дядя, дай помогу! — К мастерку придвинулся худенький голубоглазый мальчик.— Дозволь, я зубами узел!

— Постой, погоди! — удивленно разглядывал его Ворчунок.— Да откуда ты взялся? Видно, Напальён малых ребят боится, коли сюда в темницу бросил.

— Так наши ребята не простые. Знай, сердяга,— это наш, русский отрок! — горделиво сказал старик.

Мальчонка припал зубами к узлу и скоро развязал его.

— Слава тебе господи, перекреститься можно! — вздохнул Ворчунок.— Ну, милок, давай и тебя ослобоним!

Черепанов облегченно потянулся. Он молчаливо смотрел на огонек и думал свою думу. По всему видно, не выбраться ему из беды. Плотинный присмирел, стиснул зубы.

«Обидно, но старого не вернешь! Вот только бы спокойно встретить страшную минуту!» — подумал он.

Как бы в ответ на его мрачную мысль Ворчунок с удалью сказал:

— Послушай, народ: от смерти никуда не уйдешь, рано или поздно она каждого настигнет! А все же попытка не пытка. Сбежать надо! — решительно предложил он.

— Бежать! — Надежда горячей волной обдала Ефима. Он вместе с другими склонился к огоньку и стал обсуждать возможности побега...

Ночь проходила быстро. Каждой минутке хотелось крикнуть: «Стой, не торопись! Так хорошо жить!» В оконце, захваченное железной решеткой, заглянул рассвет. Где-то далеко, на пустырях, среди покинутых домов, неожиданно раздалось предрассветное петушиное пение.

— Вот и утро! — со вздохом вымолвил Ворчунок.— А петька-то, видать, от французов хоть на день да уберегся! Слышите, как заливается, певун!

Гасли звезды, петушиный крик смолк, и на смену ему загремел тяжелый запор. Медленно распахнулась дверь, и гнусавый голос французского часового выкрикнул:

— Виход! Виход!

Все не спеша поднялись, размялись и попарно в ногу вышли во двор. Робкие солнечные блики заиграли на золотой маковке звонницы Ивана Великого. Старик взглянул на темные контуры строений, на розовеющее небо и проговорил уверенно:

— Здравствуй, матушка Москва! Здравствуй, родимая! Дай нам силы, чтобы честь не уронить! — Он жадно вдохнул свежий воздух. Конвойные плотным кольцом окружили пленников и погнали по сонной улице.

Над тихим городом, озаренным восходящим солнцем, тянулись густые синие дымы пожаров, где-то совсем близко потрескивало сухое дерево.

Ворчунок подбодрил Черепанова:

— Ну, друг, не вешай головы, еще не вся песня спета! Видно, на допрос или на суд поведут. Есть еще у нас выигрыш...

3

Ворчунок угадал. Схваченных русских привели в большой светлый зал; в нем за длинным столом, покрытым зеленым сукном, разместились члены военного суда французской армии.

Пленники вошли молча, с достоинством. Они встали в ряд перед судилищем, охраняемые конвоем.

Председатель суда, генерал Лауэр, низенький толстый француз, с ненавистью посмотрел на русских и что-то прокартавил. К столу немедленно подошел офицер-поляк.

— Шляхта! — выкрикнул Ворчунок.— Аль тебе мало своих холопов, так русской крови захотел!

Офицер схватился за саблю, но под грозным взглядом главного судьи опустил руки и угодливо посмотрел в глаза начальству.

— Это переводчик. Держись, ребята! — прошептал поручик.

Лауэр снова что-то прокартавил. Поляк немедленно перевел:

— Вас обвиняют в поджоге! Понимаете?

— Понятно! — глухо за всех отозвался старик.

— А вот доказательства! — показал глазами на стол переводчик.

Там лежали фитили, ракеты, сера, куски фосфора, пакли. Ворчунок поднял пытливые глаза.

— Этими припасами ваши разбойники Москву подожгли. Эх вы, вояки! — сказал он презрительно.

— Мольшать! — багровея, закричал на него Лауэр.— Вот ти!..

Свинцовыми глазами он уставился в поручика и что-то залопотал часто-часто. Русский офицер горделиво поднял голову и в ответ с улыбкой громко заговорил по-французски. Ефим не знал, что́ отвечает он генералу, но по тому, как все гуще багровело лицо главного судьи и как отвратительно затряслась от гнева его опущенная длинная челюсть, тагилец догадался, что поручик за живое задел генерала. Глаза Ворчунка забле-

стели восторгом, он переглянулся с Черепановым, и тот понял его настроение.

Между тем поляк заявил:

— Вы есть главный поджигатель. Это вы делали зажигательный прибор?

Русский офицер спокойно посмотрел на судей и сурово ответил:

— Ни я, ни мои товарищи не поджигали российской столицы. Мы защитники отчизны, и прошу обращаться с нами как с воинами.

— Замольшать! Смотри сюда! — Он глазами показал на куски серы, фосфора и фитили.— Что скажешь в свое оправдание?

Поручик отважно ответил:

— Я стою на своей земле и оправдываться перед вами не намерен. И ложь тоже на себя не приму. Ваши солдаты-мародеры подожгли Москву! Вы потеряли самое главное — солдатскую честь!

Глаза переводчика-шляхтича позеленели, но он с брезгливым видом слушал. Офицер продолжал смело, со страстью:

— Я сам видел, как ваши солдаты зажгли Кудринский вдовий дом, где находились наши раненые русские воины. Их было три тысячи человек, и до семисот их сгорело! Это ли воинская доблесть? Ваш Наполеон не укроется от ответа за эти подлости! — с гневом выкрикнул поручик.

— Мольшать! — стукнул вдруг кулаком по столу француз, обнажая гнилые зубы. Он что-то выкрикнул переводчику. Шляхтич отвернулся от пленника, но тот резко и твердо выговорил:

— За свои преступления вы казните честных русских людей!

Делая вид, что не слышит его, переводчик обратился к седовласому деду:

— Но ведь ты поджигал?

— Татем николи не был, а вот сейчас кабы силы хватило, то всех вас, ворогов родной земли, передушил бы и за грех не почел бы, а за доблесть! — строго ответил старик.

Председатель суда свирепо обежал взором пленников. Они стояли, подняв головы, открыто глядя на своих врагов. Ни один из русских не побледнел. Они казались сплавленными из одного куска́ металла. Каждый из опрошенных отвечал дерзко, смело.

Взгляд Лауэра остановился на мальчугане. Генерал задал вопрос, и шляхтич угодливо перевел:

— Ведь ты вместе с ними был? Ты можешь остаться живым, если скажешь, кто из них главный поджигатель. Если будешь молчать, то тебя ждет смерть!

Подросток встрепенулся, глаза его сверкнули. В эту минуту он был особенно прекрасен. С горящим ненавистью взглядом гневно выкрикнул французу:

— Смерти не страшусь! Тут все честные русские люди! Каины, захотели сделать меня подлецом!

Французский генерал густо покраснел, выслушав переводчика.

— От тебя одно требуют: скажи, коханый мой, они тебя учили так дерзко говорить? — с деланной лаской спросил шляхтич.

— Одному меня учили — любить свою землю! Так этому и матушка наставляла!

Ефим залюбовался юнцом. Он выдвинулся вперед и сказал генералу:

— Ну что к мальцу пристали! Ребенок. Лучше меня казните, а его не трожьте. Ему жить надо!

Поляк немедленно перевел слова уральца. Главный судья спросил через шляхтича:

— Кто ты такой, откуда?

— Я демидовский механик. Позавчера только прибыл сюда и не знаю, за что меня схватили.

Судьи переглянулись. Лауэр поднял перст.

— Демидофф! О, слышаль Демидофф!..

Генерал встал, крикнул конвойным, и те, подталкивая пленников в спины, увели их из зала.

— Приговор сочинят. Заранее, братцы, уже решили! — сказал поручик.— Душа моя радуется за всех, а за Гришеньку особо. Ловко отбрил французишку.

— Инако и быть не могло! — непререкаемо сказал дед. Оборотясь к Черепанову, ободрил его: — Ну что голову повесил? Не мы первые, не мы последние за Русь умирать будем. Таков наш народ: не предаст, не загубит своей души подлой изменой!

Они расселись прямо на полу в пустом, холодном зале, в котором были выбиты стекла. С упругой силой дул ветер и шевелил оборванными обоями. Ефим пожаловался Ворчунку:

— Родные так и не узнают, что́ со мной!

— Слов нет, тяжко! Но ты, голубь, крепись! Виду не

показывай, что тяжко. И мне, ух, как больно, сердце разрывается, и жить-то хочется, но что ж — так положено! Верю я, милок, не повергнут нашу Россию. Изгонит она супостата, зацветет земля, и будут знать русские люди, что в этом цветении и наша доля есть! — Он говорил ласково, задушевно, и Черепанову сильно полюбился этот маленький, щуплый, но сильный духом крепостной. С ним и страдать легче.

Вскоре вышел сержант, прокричал конвойным команду, и пленных снова ввели в зал.

Судьи сидели мрачно, как черные нахохлившиеся вороны перед ненастьем. Лауэр брезгливо поджал губы и немерцающим взглядом смотрел на пленников. Переводчик выдвинулся вперед и зачитал приговор.

Десять человек, в том числе Ворчунок, мальчонка и поручик, приговаривались к расстрелу. Ефим Черепанов и старик за недостаточностью улик приговаривались к тюремному заключению. Мастерко приуныл. Грустно взглянул он на товарищей. Ни один из них не склонил головы, не побледнел.

— Попрощаться с друзьями можно? — выкрикнул Ворчунок и, не ожидая разрешения, бросился к Ефиму: — Ну, прости, братец, не поминай лихом. Ну-ну, оставь это! — сердито посмотрел он на тагильца, заметив в его глазах блеснувшую слезу.

Председатель суда махнул рукой, это означало: «Вывести осужденных».

4

Пленных снова отвели в подвал. Пахну́ло затхлой сыростью. Ворчунок оглядел глухие стены, вздохнул:

— Ну, теперь, братцы, скоро. Прости-прощай все! Поисповедоваться надо во грехах!

— Французы священника не пришлют! — хмуро отозвался поручик.

— А мы и без попа такое дело исполним! Бог поймет и примет наше раскаяние во грехах, потому за народ свой легли! — рассудительно сказал Ворчунок.— Вон дед Герасим пусть поисповедует да отпустит грехи! Дедко, слышишь?

— Слышу, милый! — отозвался старик.— Что верно, то верно, зачем грехи на тот свет тащить.

— Давай исповедуй, вон в уголку, а вы, братцы, подвиньтесь! — предложил мужичонка.

Дед отысповедовал осужденных. Все молчаливо жались в углу. Видя их тяжелое душевное состояние, Ворчунок, преодолевая свою муку, предложил:

— А ну-ка, братцы, развеем тоску — споем песню! Давай назло врагу покажем, что за русский народ!

В глухом подвале раздалась русская песня. У Ворчунка оказался звонкий ласковый голос. Склонив голову на ладонь, чуть прижмурив глаза, он заводил запев широко и раздольно:

Ах ты, ноченька, ночка темная,
Ты темная, ночка осенняя!..

Быстрокрылой птицей взвился тонкий, серебристый голосок мальчугана. Глаза его расширились, заблестели. Он склонился к деду и понес песню вдохновенно:

Нет ни батюшки, ни матушки,
Нет ни батюшки, ни матушки,
Ты детинушка-сиротинушка,
Бесприютная твоя головушка...

Жалоба и скорбь слышались в этой песне. Ефим привалился спиной к стене и подхватил песню. Казалось, что сюда, в мрачное подземелье, вошло зеленое поле, шумливый лес, засветило солнце,— пахну́ло родной сторонушкой.

— Эх ты, мать Расея, русская земля! — выкрикнул Ворчунок, скинув шапку.— Братцы, давай плясовую! — Он вскочил, затопал ногами, замахал руками и медленно-медленно поплыл по кругу.— Веселей, родные! Эй, жги-говори! — закричал он, встрепенулся и, весь сияя, учащенно затопал ногами...

Вступили в пляску и поручик и мальчонка, даже старый дед не утерпел,— и его захватила удаль. Сидя на соломе, он задвигал плечами и в такт плясу захлопал в ладоши.

В самый разгар разудалого русского размаха дубовая дверь распахнулась, и на пороге встали конвоиры.

— Прощайте, братцы,— со вздохом сказал Ворчунок.— Отплясали свое! — Он стал со всеми прощаться.

Ефим трижды поцеловался с каждым. Ему хотелось навзрыд заплакать, но, собрав все силы, он крепко обнимал уходящих и напутствовал:

— Жив буду, донесу память о вас, други!

Мальчонка прижался к его груди, хмыкнул носом и горько пожаловался:

— Батюшка, батюшка, не могу...

— Крепись, братцы! — сурово сказал уралец.— Не дайте радости врагам!

Юнец встрепенулся, утер слезу и стал рядом с поручиком в первой паре.

— Пошли, братцы! — позвал Ворчунок.— Пройдемся еще разик по родной земле! — Он независимо вскинул голову и со жгучей ненавистью сказал французам: — Веди, ироды!

Спустилась ночь. Лунный свет пробивался в пыльное окно, на светлой серебристой дорожке темнела измятая шапка Ворчунка. Чудилось, вот он рядом здесь сидит и прислушивается, как вливается в подземелье зеленый поток.

Склонив голову на согнутые колени, пленники дремали. Черепанов же не мог уснуть: из головы не выходили Ворчунок, мальчуган, поручик, все други-товарищи.

«Русь, могуча и велика ты! Необозримы просторы твои! — с душевной теплотой думал Ефим.— Но величавее всего, красивее и сильнее всего духом самоотверженный русский человек! Через все беды проходит он, не склоняя головы перед врагом и лихим злосчастьем! Верен и предан он своей земле до гробовой доски!»

5

Прошли ночь и день, и снова в решетке окна засинел вечер. Заключенным не принесли ни пищи, ни воды: французам было не до пленников. Не знали осужденные, что страшный огненный вихрь бушевал над Белокаменной, пожирая строения, храмы, богатства,— прекрасный и величественный русский город. В эти часы Москва стала местом позорных злодейств французской армии. Среди пламени и стонов иноземцы совершали разбои, душегубство и поругание всего святого, что было в русской жизни. Враги не щадили ни пола, ни возраста, ни девичьей чистоты, ни народных святынь. Французские генералы состязались в грабеже с простыми солдатами-мародерами. До осужденных ли было в эти часы наполеоновским насильникам?

В эту темную ночь крепкий рыжий бородач сказал Ефиму:

— Чего нам ждать? Намыслился,— самое время бежать!

— Надумал хорошо, но как уйти из подземелья, когда камень кругом? — возразил мастерко.

— Камень крепок, а руки и воля наши крепче! — уверенно ответил дядька.— Ковач я, и силы во мне много. Рой подкоп! — Он первый руками стал рыть у стены рыхлую землю.

Ефим не верил своим глазам: мягкая, сырая земля рылась спорко.Он опустился рядом на колени и попробовал кирпич. Слежавшаяся, прозеленевшая кладка с трудом, но разбиралась.

— Братцы, вот где спасение! — обрадовался уралец, и все вчетвером стали трудиться у подкопа...

Глухой ночью выбрались в тенистый темный сад. Сверкали звезды, шуршал палый лист, и так глубоко и хорошо дышалось!

— Господи, неужто воля? — полной грудью вздохнул старик.— Осторожней, братцы, по одному уходи!..

Не видно было златоглавого прекрасного города, он скрылся в сизом горьком дыму, который клубился над развалинами. Среди дыма потрескивало старое сухое дерево строений, раздавались одиночные выстрелы. Ефим прислушался к звукам и тихо побрел в синюю едкую мглу.

Он шел задыхаясь, а кругом бушевал огонь, раздавались стоны, ржали кони,— неистовствовал враг. Мастерко осторожно ступал на обгоревшие бревна, обходил черные скрюченные трупы. Местами они лежали грудами — истерзанные тела русских людей в мученических позах.

«Оскорблены и замучены! Ух-х!» — сжав кулаки, опаленный душевной му́кой, весь дрожал от гнева Черепанов. Вот лежит с проломленным черепом мать, прижимая к сердцу загубленное дитя. Неподалеку, раскинув руки и уткнувшись в золу лицом, распластался седовласый дед. Сколько замученных, опозоренных, ограбленных русских людей! Глаза Ефима все время застилались слезами, не от едкого дыма, не от горечи пожарищ, а от большой невыносимой тоски, от ненависти к врагу за содеянное. И эта ненависть гнала его вперед, обостряла его слух, зрение, делала его хитрым, лукавым.

«К своим! К своим!» — подбадривал он себя, удесятеряя силы. Под утро он переплыл дымившуюся осен-

ним туманом Москву-реку и вышел на зеленое поле. Мокрый, голодный, он упал в старую борозду, тяжко дыша от усталости, и не мог надышаться запахом своей земли. Он взял ее в горсть, мял; так он полнее, сильнее ощущал радость своего освобождения. Вот она, земля, великая русская земля отцов и дедов! Какая великая, несокрушимая сила в ней; напоили ее пóтом своим русские люди, взлелеяли-вспахали золотые руки родного пахаря. Нет, ни за что на свете не отдаст своей святой земли русский человек, во веки веков!

6

Однако не так-то легко было Черепанову теперь добраться до Тулы. По всем дорогам и проселкам действовали ратники ополчения, а по укромным местам все леса и деревушки полны были партизан. По главным дорогам на Москву со всех сторон: от Твери, Ярославля, Касимова, Рязани и от Тулы и Калуги — отовсюду стягивались части ополчения, охватывая Москву, занятую противником, крепкими клещами. Хотя император Александр I строжайше запретил вооружать простых людей — ремесленников, мещан, мастеровых — огнестрельным оружием, а тем более артиллерией, Кутузов не посчитался с этим. Мало того, он организовал партизанскую борьбу с оккупантами. Михаил Илларионович прекрасно понимал все значение партизанских отрядов, действия которых входили в его стратегический план. Народные мстители воевали в тылу врага: они нарушали связь противника с его базами, лишали его пополнения людьми, боевыми припасами и продовольствием. Ни один неприятельский солдат или отряд не мог отлучиться от главных сил, чтобы не быть истребленным. В народе кипела лютая ненависть к насильникам. Тем временем ратники ополчения все ближе и ближе стягивались к Москве, не пропуская подозрительных лиц по дорогам. Они проверяли каждого, кто ехал в ставку Кутузова или возвращался оттуда. Так, 24 сентября они арестовали как шпиона самого Клаузевица, хотя у него и оказались все документы в порядке.

В эти дни Кутузов тщательно проверял ряды офицерского состава, среди которого было много иностранцев. В первую очередь он старался избавиться от иноземцев в своем штабе. Полководец давно убедился в

бесполезном пребывании Клаузевица в штабе и, воспользовавшись его просьбой отпустить по болезни в Петербург, охотно удовлетворил его желание. Клаузевиц уехал, но не прошло и дня, как ополченцы доставили его арестованным в штаб. Узнав, в чем дело, Кутузов улыбнулся и подумал:

«Чуют сердцем, что не наш человек...»

Через несколько дней Клаузевиц снова выехал в Петербург, на этот раз под охраной русского фельдъегеря.

Ополченцы задержали и Черепанова, который брел по дороге. Они окружили его и допытывались:

— Куда идешь, кто такой?

— Братцы! — обрадовался своим Ефим.— Наконец-то среди русских оказался. Сбег из Москвы. Попалили матушку!

— О том давно известно! Даст бог, батюшка Михайло Ларионович к ответу вскорости хранцузских курощупов стребует! — заметил бородатый ополченец в сермяжном кафтане.— Ты скажи-ка нам, кто таков есть?

— Ефимка Черепанов, крепостной механик господ Демидовых.

— Э, милый, да ты свой брат. Идем-ка с нами полдневать! — пригласили они уральца.

Ефим охотно отправился с ними к поскотине, где над ямой висел большой черный котел, в котором пыхтела горячая каша. Черепанов сразу почувствовал голод. Ему сунули в руки деревянную чашку, и кашевар положил жирной каши.

— Ешь, земляк! — ласково предложил он.

Ефим уселся на траву и стал жадно есть. Кругом него толпились бородатые ополченцы. Все они были одеты в свое крестьянское платье, на ногах — широкие черные сапоги,— в таких удобнее носить суконные теплые онучи. На суконных же фуражках — латунные кресты. У каждого ранец, а в нем рубаха, порты, рукавицы, портянки и всякая хозяйственная мелочь. Вооружены чем попало: и топорами, и пиками, и саблями,— не все имели кремневки.

Над полем стоял разноголосый гул, крепкие, белозубые богатыри шутили, подзадоривали друг друга, подбадривали Черепанова.

— Ты, механик, иди к нам служить! — предлагали они.

— А кто оружие будет робить? — улыбнулся Ефим.— Как без него бить лиходеев? То-то...

— Верно! — согласился рябой ратник.— Вилы да топоры хороши, слов нет, а меч ратный аль ружьишко куда способнее! Работай, друг, доброе оружие!

— А ты в Москве был? — спросил его Черепанов.

— Не довелось бывать, мы дальние — симбирские...

— А как же ты ее крепко любишь? — с лукавинкой полюбопытствовал уралец.

— Эх, дорогой! — вздохнул ратник и отозвался душевно: — Да без Москвы — как без головы... За нее и на черта полезешь! Слышь-ка, как в песне поется:

За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия! —

запел он разудалым голосом, и все ратники разом подхватили любимую песню. Веселые, бодрые голоса поплыли над полями и перелесками, и Ефиму стало легко и хорошо на душе.

«Эх, русский человек, милый, хороший человек, какая добрая земля взрастила-взлелеяла тебя! — с умилением подумал он.— Нет мужественнее и честнее тебя! Нет у тебя ничего крепче любви к отчизне!»

На лагерь надвигались сумерки, зажглись первые робкие звезды. Бородатый ратник предложил Черепанову:

— Ты, милый, не ходи ночью. Поди-ка в овин и отоспись до утра!

Ефим с охотой воспользовался его приглашением. С облегчением он растянулся на хрустящей свежей соломе, еще пахнувшей ржаниной. В прорезь сруба глядела вечерняя звезда, и все здесь напоминало домашний уют и родную деревеньку. Он быстро уснул...

Ранним утром Черепанов продолжал путь. Шел он густыми лесами, наслаждаясь бодрящей прохладой, приглядываясь к осенней красоте леса. В пурпур оделись трепещущие осины, золотились густые кроны берез и тополей. Сердце радовалось яркому солнцу и веселым краскам русской осени. Навстречу часто летели утиные стайки. Вот и река, над ней стелется туман. Ефим подошел к берегу, разулся и вымыл ноги, сразу стало легче. Он загляделся в воду, она была прозрачной, чистой, на дне можно разглядеть мелкую гальку. По течению плыли упавшие листья березы и клена.

Глядя на всю эту лесную красоту, просто не вери-

лось, что сейчас идет жестокая война и Москва сожжена врагом.

«Эх ты, горе какое!» — со вздохом подумал Ефим и склонился над водой, чтобы освежить лицо. Там, в прозрачной глуби, как в зеркале, Черепанов увидел свое отражение. На него смотрело худое обросшее лицо, в волосах серебрилась седина.

Высоко в небе, над лесом, извиваясь, с трубным криком летела лебединая стая.

В ближних кустах затрещало, и сразу, как медведи, на берег вывалились здоровенные мужики в желтых полушубках, с вилами в руках.

— Стой, варнак! — закричал черный, как жук, детина.

— А я и не думаю бежать,— спокойно отозвался Черепанов.— Кто такие, братцы?

— Аль неведомо тебе, какое ноне время и на кого с рогатиной мужики вышли? — сердито ответил мужик.— Айда с нами, пока цел!

— Что ж, можно и с вами,— согласился Ефим.— Уж не партизаны ли вы?

— Угадал! — повеселев, отозвался мужик.— Ну, идем!

Они привели уральца в лесной стан. Перед избушкой лесника на скамье сидел степенный солдат в поношенном мундире и курил трубочку. Завидя захваченного, он прищурил глаза и засмеялся:

— Это вы, ребята, зря! Своего заместо курятника-хранцуза поймали. Кто такой?

Черепанов назвался, и улыбка прошла по лицу солдата.

— Ружья можешь счинить? — спросил он.

— Попытаюсь.

Три дня пробыл Ефим в партизанском стане, починил кремневки, отковал наконечники для пик. Солдат понимал толк в оружии. Все внимательно оглядел и похвалил Черепанова:

— Золотые руки у тебя, мужик! Иди к нам, теперь вся Русь поднялась на врага!

— Рад бы, да спешу на заводы! — пояснил уралец.— Сказывают, сам Михайло Илларионович написал письмо оружейникам — крепче дело вершить.

— Коли так, пусть будет по-твоему! — согласился солдат.— Только, если надумаешь,— приходи, всегда рады будем! Спроси Четвертакова, каждый укажет!

Ефим радостно смотрел в открытое, мужественное лицо солдата. Он еще дорогой прослышал о его подвигах. Раненный под Смоленском, воин свалился с лошади и был взят в плен, но, едва отдышался, сбежал и укрылся в деревушке. Там он старался поднять крестьян, но те побоялись идти с ним. Тогда Четвертаков подговорил одного охотника и вместе с ним в поле подстрелил двух французских гусар. Храбрецы вооружились их пиками, саблями и, оседлав добрых коней, поехали в большое село. Тут к ним присоединилось еще сорок мужиков. Вооруженные вилами и топорами, они напали на французский отряд и перебили его. С той поры отряд Четвертакова превратился в грозную силу Он рос с каждым днем и вооружался, не давая спуска врагу.

— Так неужто ты и есть сам Четвертаков? — не веря своим глазам, спросил Ефим.

— Он самый. Почему не веришь, милый? — добродушно спросил солдат.

— Да как же ты управляешься со своим воинством?

— А таким же манером, как и ты ладишь свои машины и пускаешь их в ход! — весело ответил Четвертаков.— Эх, милый, так говорится: мужик сер, да ум его волк не съел! Погляди-ка на свои руки, все фузеи в порядок привел, а почему мне не справиться с ратниками? Каждому свое дано! — Он пыхнул трубкой, посмотрел на тихое небо и сказал: — Есть и получше меня мстители. Вон Степан Еременко, Ермолай Васильев, а еще самый славный — Герасим Курин. Этот прямо скажем, партизанский генерал! Слыхал такого? Нет? Жаль! А про Василису Кожину тоже не слыхал? Опять жаль... Ну, брат, иди в Тулу да получше пищали роби! Эй, ребята, накорми работничка да проводи на верную дорожку! — выкрикнул он и протянул Черепанову руку.— Ну, друг, в добрый час!

Они расстались друзьями. Ефим пробирался по лесной дороге и думал о встрече, и мысли были радостные и светлые.

7

В то самое время, когда Черепанов пробирался в Тулу, Николай Демидов трусливо сбежал из Москвы. Обещанного полка он не выставил. Отсиживался в Калуге и ожидал дальнейших событий. И вдруг словно

среди ясного неба грянул гром — его срочно вызвали в ставку к Михаилу Илларионовичу Кутузову.

С тяжелым чувством Демидов ехал в маленькую деревушку Леташевку близ Тарутина, где сейчас находился штаб главнокомандующего русской армией. По проселку, торопя коней, проносились всадники, катились двуколки и шли просто пешие озабоченные люди. Все тянулись к незаметной деревушке, в которой только что устроился Кутузов.

Не знал Демидов, что за этот короткий срок в армии произошли большие изменения. Да и вряд ли кто знал стратегический план войны, кроме самого Кутузова. Он тщательно сохранял в тайне свои замыслы, и это обеспечило ему успех. Русский полководец перехитрил Наполеона. Оставив Москву, русская армия стала отступать по Рязанской дороге. Кутузов убедился, что французы следуют по пятам, и распространил слухи о том, что русские уходят к Рязани, а сам, дойдя до Боровского перевоза, неожиданно повернул к Подольску, а затем всю армию вывел на Калужскую дорогу в районе Красной Пахры.

Этот гениальный маневр был совершен так скрытно, что французы потеряли след русской армии, и Наполеон только через двенадцать дней дознался, где она находится.

Марш Кутузова в корне изменил стратегическую обстановку. Русские войска сейчас прикрывали Тулу с ее оружейными заводами, Брянск и Калугу с большими продовольственными запасами и весь богатый юг России. Наполеон был потрясен, но все еще надеялся на свою счастливую звезду. Он послал к Кутузову парламентера Лористона. Генерал поехал в ставку главнокомандующего русскими войсками под видом якобы размена пленными, а на самом деле поговорить о мире. Француз взволнованно пожаловался на партизанскую войну. Он учтиво сказал Кутузову:

— Такой образ войны противен всем военным постановлениям просвещенных наций.

Михаил Илларионович прищурился и подумал про себя: «Ишь, варвары, вдруг о цивилизации вспомнили. Значит, допекло!» Опустив устало голову, он вздохнул и расслабленно промолвил:

— Ваша правда, генерал, но крестьянами, простите, я не командую.

— А казаки, ваши казаки ведь люди военные и тоже

никаких правил признавать не хотят! — вскричал Лористон.

Кутузов лукаво взглянул на парламентера и грустно покачал головой.

— Ох, уж эти казаки, казаки! Я и сам не рад, да что с ними поделаешь? Иррегулярное войско! Ведь они, пожалуй, по-своему расправляются с вашими фуражирами?

— Весьма грубо! — обрадованно отозвался Лористон.— К тому же ни для кого не секрет, что русские сожгли Москву.

Казавшийся старцем, Кутузов вдруг выпрямился, лицо его стало багровым. Еле сдерживая гнев, он сурово ответил Лористону:

— Что касается московского пожара, я стар, опытен, пользуюсь доверенностью русского народа и потому знаю, что́ каждый день и каждый час происходит в Москве. Известно мне, что вы разрушили столицу по своей методе: определяли для пожара дни и назначали части города, которые надлежало зажигать в известные часы. Я имею подробное известие обо всем. Доказательством, что не жители разрушали Москву, служит то, что вы разбивали пушками дома и другие здания. Мы постараемся вам отплатить!

Французский парламентер побледнел, заикаясь, заговорил о перемирии, но Кутузов повернулся к нему спиной и отрезал:

— Мы только что начинаем воевать, а вы говорите о перемирии!

Так и убрался Лористон восвояси. Его мысленному взору представилась грозная картина: блокированная армия Наполеона в Москве. Он вспомнил восклицание Сегюра, который наблюдал московский пожар.

— Ах, боже мой! — признался граф.— Что скажет о нас Европа? Мы становимся армией преступников, которых осудит провидение и весь цивилизованный мир.

16 сентября Кутузов писал императору Александру I об оставлении Москвы и о своих стратегических замыслах. В письме сообщалось, что «вступление в Москву не есть еще покорение России. Напротив того, с армией делаю я движение на Тульской дороге. Сие приведет меня в состояние прикрывать пособия, в обильнейших наших губерниях заготовленные. Всякое другое направление пресекло бы мне оные, равно связь с армиями Тормасова и Чичагова. Хотя не отвергаю того,

чтобы занятие столицы не было раною чувствительнейшею, но, не колеблясь между сим происшествием и теми событиями, могущими последовать в пользу нашу с сохранением армии, я принимаю теперь в операцию со всеми силами линию, посредством которой, начиная с дорог Тульской и Калужской, партиями моими буду пересекать всю линию неприятельскую, растянутую от Смоленска до Москвы, и, тем самым отвращая всякое пособие, которое бы неприятельская армия с тылу своего иметь могла, и обратив на себя внимание неприятеля, надеюсь принудить его оставить Москву и переменить всю свою операционную линию. Генералу Винценгероде предписано от меня держаться самому на Тверской дороге, имея между тем по Ярославской казачий полк для охранения жителей от набегов неприятельских партий. Теперь в недальнем расстоянии от Москвы, собрав мои войска, твердою ногою могу ожидать неприятеля, и пока армия вашего императорского величества цела и движима известною храбростью и нашим усердием, дотоле еще возвратная потеря Москвы не есть потеря отечества. Впрочем, ваше императорское величество всемилостивейше согласиться изволите, что последствия сии нераздельно связаны с потерею Смоленска».

Рапорт главнокомандующего вызвал у царя негодование: он не сумел понять всю глубину воинского замысла Кутузова. К этому времени в Петербург подоспел донос барона Беннигсена, враждебно настроенного против Михаила Илларионовича. Барон докладывал Александру I о том, что он был против сдачи Москвы неприятелю без боя, и старался представить Кутузова безвольным человеком.

Царь, и без того настроенный против Кутузова, решил, что наступил момент разделаться с ним, и приказал комитету министров расследовать причины сдачи столицы. Император хотел этим самым опозорить Кутузова в глазах общественности и удалить с должности главнокомандующего. Но положение в стране было настолько серьезное, что даже угодливый царю комитет министров, обсудив рапорт Кутузова, не поставил вопроса о смене главнокомандующего. Министры побоялись чем-либо обидеть полководца, но царь все еще не мог успокоиться. Он осыпал Кутузова упреками, а в особом императорском рескрипте позволил себе угрозы по адресу главнокомандующего:

«Вспомните, что вы еще обязаны ответить оскорбленному отечеству в потере Москвы...»

Демидов зорко следил за придворными интригами и думал, что они свалят Кутузова. Он представлял его дряхлым озлобленным стариком, и, по совести говоря, Николай Никитич сильно побаивался его. Прибыв в Леташевку ранним утром, он хотел спозаранку попасть на прием к главнокомандующему. Заводчик обрядился в пышный военный мундир и поторопился в штаб. В приемной уже поджидал Кутузова разный люд, среди которого было много сермяжников. Барин поморщил нос и тихо спросил адъютанта:

— Столько холопов! Для чего они понадобились его сиятельству?

— Это не холопы! — спокойно ответил молоденький офицер.— Правда, среди них есть и крепостные, но сейчас они выполняют великую роль. Здесь, господин Демидов, уважают партизан! Кроме того, вглядитесь: вон тот в углу, кучерявый с усищами, в сермяге,— дворянин и герой Денис Давыдов!

Не успел Николай Никитич толком разглядеть знаменитого партизана, как того вызвали в кабинет Кутузова. В избе — тонкие дощатые перегородки. Демидов представил себе, каким увальнем в крестьянском армяке ввалился Давыдов в горницу главнокомандующего. Он напряг слух: «Интересно, что на эту вольность скажет князь?»

Раздался громкий голос Кутузова:

— Полноте извиняться! В народной войне это необходимо. Действуй, как ты действуешь, головой и сердцем; мне нужды нет, что одна покрыта шапкой, а не кивером, а другое бьется под армяком, а не под мундиром!

Услышанное потрясло Демидова. «Что за крамольные речи! — с возмущением подумал он.— То ли было при покойном Потемкине!» Он старался еще уловить кое-что, но за перегородкой стало тихо.

Время тянулось томительно. В избе было дымно от махорки, которую, не стесняясь присутствием адъютанта, курили сермяжники и какие-то солдаты. Никто не обращал внимания на пышный мундир Николая Никитича, никому до него не было дела. Все вели себя сдержанно, говорили о пустяках и делах, которые ничего общего не имели с войной. В оконце вонзился золотой луч осеннего солнышка, где-то на дворе горласто

прокукарекал петух, на его призыв откликнулся другой. Во всей обстановке штаба не было ничего показного, пышного, величественного, к чему в свое время привык Демидов в потемкинской ставке в Бендерах. «Да, не те времена пошли!» — с грустью подумал он, и в этот миг дверь распахнулась и адъютант пригласил Николая Никитича:

— Господин полковник ополчения, главнокомандующий вас просит.

Демидов с волнением переступил порог горницы. За простым тесовым столом в стареньком мундире сидел Кутузов. Его седые пышные волосы на массивной голове были причесаны слегка к вискам, сам Михаил Илларионович — дороден, величав.

«Совсем не старик!» — успел только подумать Демидов, когда командующий крепко пожал ему руку. Однако он не предложил ему стула.

Мягкое ласковое лицо Кутузова вдруг стало строгим. Он взглянул на Демидова и спросил:

— Где расквартировали ваш полк? Я что-то не нашел его в планах...

Николай Никитич на мгновение замялся, потупился.

— Я еще не сформировал полка,— волнуясь, признался он.

Лицо полководца помрачнело, он облокотился на стол и из-под ладони хмуро смотрел на заводчика.

— Выходит, пока есть один отменно обряженный полковник. Кстати, откуда сию форму взяли? Перья, ленты, кантики. Вы, батенька, как индейский петух вырядились! — Слова Кутузова прозвучали насмешкой. Демидов покраснел и ждал горшего. Однако Михаил Илларионович перестал шутить. Он встал из-за стола, вытянулся во весь рост; плечи его оказались широкими, крепкими, и сам он выглядел осанистым крепышом, хотя был и сед и морщинист. Главнокомандующий выговорил громко и твердо:

— Сударь, вам надлежит выполнить свои обязательства. Оставьте фанфаронство, оно у нас ни к чему! И еще запомните: Тулу мы не отдадим, завод оружейный вывозить не разрешаю. Все, сударь! — Он круто повернулся к Демидову спиной, давая понять, что прием окончен.

Взволнованный, пристыженный заводчик вышел из штаба. Вернувшись на квартиру, он торопливо снял

свой пышный мундир, обрядился в дорожное платье и велел закладывать лошадей...

А Кутузов в этот час уселся за стол и стал писать письмо уральским рабочим, прося их ускорить отливку пушек и ядер.

8

Кружным путем, трудными дорогами и тропами, под пронизывающим осенним ветром и косым непрестанным дождем, лесами, оврагами, полями и запутками, усталый, измученный, прибрел в октябре Черепанов в Тулу. Николай Никитич так и не появился на заводе: он отправился в Ярославль, где проводил время за ломберным столом. В городе оружейников царила тревога, чувствовалась близкая гроза. Наполеон прекрасно понимал значение Тулы и после захвата Москвы собирался идти на юг и разорить заводы. Грозная опасность нависла над оружейными заводами. Черепанову стало известно от мастеровых, что царь наказал заводскому начальству «иметь верные сведения о движении неприятеля по направлению к Туле. При достоверном и необходимом уже случае остановить работу, взять мастеровых, инструмент и следовать по тракту к Ижевскому заводу».

Туляки не хотели покидать родных мест, намереваясь встретить врага с оружием в поле. Они день и ночь ковали железо, заваривали стволы, делали ружья, а иные уходили за город и помогали саперам рыть рвы и строить редуты.

Ефим даже заикнуться не решился о вывозе демидовского завода на Урал. Работные люди волновались и знали только одно: отбить врага! К счастью, в эту пору в Тулу прискакал курьер от Кутузова. Михаил Илларионович наказывал не вывозить оружейников и заводы, так как Тула может не опасаться неприятельского вторжения.

В октябре наполеоновская армия покинула Москву и устремилась на юг. Перед уходом французы решили выместить свою злобу на русской столице. Генерал Мортье со своими саперами начал взрывать Кремль и самые лучшие здания, уцелевшие от пожара. 21 октября от громовых взрывов в Кремле задрожала земля.

На воздух взлетели арсенал, часть кремлевской стены, Водовзводная, Петровская и частично Никольская и Боровицкая башни, расположенные вдоль Москвы-реки. В соборах и Грановитой палате начались пожары. К счастью, пошел сильный осенний дождь, фитили отсырели и оттого многие заложенные мины не взорвались. К этому времени подоспели русские патриоты и стали гасить пожары, обезвреживать мины и истреблять последних насильников.

...Стотысячная французская армия двинулась на Калугу, стремясь уйти от генерального сражения, которое готовил ей Кутузов. Однако трудно было перехитрить опытного русского полководца. Он заставил Наполеона принять бой под Малоярославцем. Это была решительная битва, в результате которой Наполеон вынужден был повернуть на старую Смоленскую дорогу и испытать на себе возмездие русского народа.

В ноябре по санному пути Ефим покинул Тулу. Не утерпел он, чтобы не побывать на Орловщине. По степи гуляли метели, когда он добрался до имения Свистунова. Тихо и безлюдно было в поместье. Барский дом и глухой сад потонули под снежными сугробами. Здоровые и крепкие мужики ушли в армию, среди дворни остались старые да малые. В людской Черепанов встретил обросшего сединой дряхлого гайдука в старом, изодранном кафтане, от которого узнал, что его бывший барин Свистунов умер, а имение отошло под дворянскую опеку.

— Грабят, кому не лень! — жаловался старик.— Хваткий был барин, доброй души. Погиб зазря. Коней диких, степных калмыки пригнали. Сам выезжать взялся. Разнесли, копытами истоптали, и лика человеческого на нем не осталось.

Ефим с грустью смотрел на запущенные хоромы, на угрюмого слугу. Из оконца виднелись развалившиеся конюшни. Высокие тополя, что росли перед крыльцом, исчезли.

— Мужики посрубили после смерти барина,— пояснил старик и, пригорюнясь, утер слезы.— В то времечко вышло такое еще дело. На третий день после погребения барина на усадьбу цыган с цыганкой наехали, про усопшего расспрашивали. «Опоздали, милые, говорю, гвардии поручик Свистунов отошел, а вам приказал долго жить!» Что в диво было: слепая молодая

цыганка навзрыд заплакала и все вторила: «Ах, Феденька, милый Феденька, так и не довелось встретиться нам!» Отвел я ее на могилу барина. Пора осенняя, ветер воет, а она села на бугорок, так и не сошла с него до вечера. Ни ветер, ни стужа, ни мокрядь ее не прогнали. Сидела и держала в руке горсточку земли. Растирала комки и горько плакала...

А цыган на могилу не пошел, все барскими конями интересовался. Да что́ кони! — Рассказчик смахнул слезы и уставился на Ефима: — А помнишь, было времечко,— эх, и жили мы!

Черепанов промолчал: он хорошо знал, что́ за жизнь была у Свистунова. Гайдук до дна осушил штоф, потряс его и огорченно покрутил головой:

— Скоро-то как! Эх, не та мера ноне стала, и крепость у вина иная!

Помолчав, он снова заговорил, почему-то вспомнив о цыгане:

— Уехал шароглазый со своей слепой бабой, а через трое ден пару золотистых коней свели. Известно, кто свел! Цыган хоть и жалел покойного, а все же не вытерпел — угнал коней!..

Гнетущее чувство охватило Ефима. Он не остался ночевать в покинутой усадьбе и, дав отдых коням, снова пустился в дорогу. Выл ветер, мела пурга, а он бесстрашно держал путь на восток, на далекий Каменный Пояс.

Трудные годы выпали уральским работным. Русской армии понадобились тысячи пушек, десятки тысяч добрых клинков, сабель, шпаг, казачьих шашек, штыков и больше всего ядер. Неустанно работали заводы на Каменном Поясе. Работные выбивались из сил, но заказы для войска выполняли в срок. В эту пору в Нижнем Тагиле появились пленные немецкие мастера и французы. Иноземцы изумлялись: как это так, работные живут в кабале, ходят тощие, оборванные, управитель Любимов жмет чрезмерно, а они добросовестно стараются. Один любопытный немецкий мастер не утерпел и спросил Черепанова:

— Ви, руськи, страни народ. Француз боитесь, оттого так работайте?

Ефим хмуро поглядел на чванливого немца:

— Почто боимся французов? Напальёна нам не надо! У нас своих хапуг да господ сидит на шее до беса. А отечество свое защищать до последнего будем!

Немец пожал плечами.

— Но ви живешь плёхо?

— Хоть и плохо, а отчизна. На родной земле мы сами порядок наведем! Не спросим у чужеземцев!

Под густыми бровями глаза русского механика вспыхнули раскаленными углями. Немец смутился; он вспомнил рассказы о Пугачеве. Здесь, на Урале, еще совсем недавно работные безжалостно расправлялись со своими господами и приказчиками. «Кто его знает, этот народ?» — со страхом подумал иноземец и прекратил разговор.

С далекого Урала по рекам плыли караваны, груженные железным литьем: пушками, ядрами, клинками. Зимой по санной дороге скрипели обозы. Русские работные люди вооружали свою армию. Никогда Ефим не работал так яростно, как в эту военную годину.

«Это вам за разоренную Москву, за поруганный русский народ!» — с ненавистью думал он о врагах и еще вдохновеннее трудился.

Оборванные, голодные, разбитые вражеские полчища бежали по разоренной ими же Смоленской дороге. К началу декабря 1812 года русские войска освободили Вильно, Ковно, Россиены и гнали оккупантов дальше.

Михаил Илларионович прибыл в Вильно и на площади осматривал захваченные знамена. Войска, выстроенные на парад, замерли, любуясь бодрым видом своего любимого полководца.

Кутузов приказал склонить наполеоновские знамена перед русскими солдатами.

Это до глубины души потрясло воинов. Ликуя, они всей грудью кричали:

— Ура спасителю России!

Кутузов низко опустил голову, лицо его зарделось, и он сконфуженно, со слезами на глазах, громко выговорил:

— Полноте, друзья, полноте! Не мне эта честь, а славному русскому солдату! — Подбросив папаху, он встрепенулся и закричал зычным, молодым голосом:

— Ура, ура, ура русскому солдату!

Приняв парад, главнокомандующий написал из Вильно донесение императору:

«Война окончилась за полным истреблением неприятеля».

Это признали и сами насильники. Французский маршал Бертье в декабре доносил Наполеону:

«Я должен доложить вашему величеству, что армия совершенно рассеяна и распалась даже ваша гвардия; в ней под ружьем от 400 до 500 человек. Генералы и офицеры потеряли все свое имущество... Дороги покрылись трупами».

Страшные орды иноземных насильников нашли себе могилу на русской земле. Наши славные полки перешли границу, чтобы освободить народы Европы от наполеоновского ига.

Глава вторая

1

Медная руда на реке Тагилке была открыта давным-давно, еще при Акинфии Демидове. Помогли ему сыскать медь охотники-вогулы. Они занимались тормованием: на лодке плыли по тихой реке и били притаившегося на берегу зверя. Кочевники хорошо знали места, где и какой камень лежит. Акинфий наказал приказчикам допытываться у вогулов о рудах. Наемники Демидова не поскупились на посулы. И вот в один из осенних дней с тормования, с реки Выи, явился вогул Яков Савин и рассказал по тайности заводчику, что он знает целую гору из магнитного камня. На другой же день вместе с охотником Акинфий Демидов направился по Тагилке к устью Выи и там увидел широкую гору, поросшую лесом. Опытный взгляд заводчика заметил выходы магнитной руды на поверхность. Ее было столько, что за целые столетия не выбрать, и добыча не представляла трудностей. Залегание руды начиналось сразу, снимай покрышку и бери сколько хочешь! Это и была гора Высокая. Подле нее расположился вогульский пауль[1]. Кочевники не трогали магнитных руд. Демидов удивился и спросил:

— Из чего вы куете наконечники стрел? Где добываете металл?

— Идем со мною, хозяин, и ты увидишь, из чего наши добывают металл! — позвал его Савин и повел в пауль.

Там, у горы, Акинфий и увидел вогульские кузницы

---

[1] Становище.

с сыродутными горнами[1], а плавилась в них не магнитная руда. Это были другие руды, более мягкие, местами красноватые, нередко с прозеленью малахита.

«Медная руда!» — догадался Демидов, забрал образцы и вернулся домой.

Испробовав руду в литье, заводчик окончательно убедился в том, что у реки Выи обнаружены медные залежи. Да и магнитная руда с горы Высокой не обманула ожиданий. Хоть сейчас строй завод! Однако у Демидовых не хватало ни средств, ни рабочих рук, и решили они до поры до времени молчать о своем открытии, а вогулам-охотникам пригрозили:

— Изничтожим, если проболтаетесь и наведете сюда крапивное семя!

Кочевники и сами сильно боялись царских чиновников и поэтому охотно поклялись молчать обо всем.

Шли годы, и Демидовы исподволь, потихоньку готовились к постройке нового огромного завода у подножия горы Высокой. Однако в 1720 году царь Петр издал указ, в котором поощрялась добыча и плавка руд и в то же время тем, кто утаит открытые рудные места, грозила жестокая кара.

Никита Демидов всполошился и поспешил подать заявку на гору Высокую. Зная крутой нрав царя и боясь его гнева, Демидовы решили раз навсегда спровадить подальше опасного свидетеля Якова Савина.

Вогул охотился в притагильских лесах, когда в пауле появился приказчик Щука со своими головорезами. Он в один миг разорил чум Савина, избил его жену и прогнал ее с детьми за реку.

— Живей убирайтесь, пока целы! — пригрозил он.

Умные охотничьи псы вступились за хозяйку, напали на демидовского приказчика, и тогда разъяренный Щука перестрелял собак.

Когда вогул Яков вернулся в пауль, то не нашел ни жены, ни чума, ни собак. Он бросился с обидой к Демидову:

— Где такой закон, губить бедного охотника?

Никита глазами показал на жильную плеть:

— Вот тебе закон и правда! Убирайся, а то шкуру спущу!

---

[1] Плавильными печами для выделки железа (не чугуна) прямо из руды.

Разоренный, обиженный, вогул еле унес ноги из Невьянска...

Тем временем Демидов в 1721 году отстроил Выйский медеплавильный завод, а четыре года спустя, незадолго до смерти Никиты, неподалеку возвели на четыре домны чугуноплавильный Нижне-Тагильский. С той поры у горы Высокой пошла иная жизнь. Гору вскрывали и прямо в отвале брали руду. Кругом под топором лесоруба затрещали вековые леса, закурились дымки в синем небе — демидовские жигали добывали уголь для прожорливых домен.

Гора Высокая оправдала надежды. Совсем иное получилось с медным рудником: руда в нем вскоре оскудела, и завод стал работать на привозной меди. Думный дьяк Генин доносил царю Петру Алексеевичу:

«Ныне я был на демидовском медном промысле и усмотрел, что та руда его оболгала: сперва набрели на доброе место, где было руды гнездо богато, а как оную сметану сняли, то явилась сыворотка: руда медная и вместе железо, а железа очень больше, нежели меди».

С тех пор Выйский завод влачил жалкое существование. Но вот в 1814 году, почти столетие спустя, горщик Кузьма Кустов, расчищая на своем огороде колодец, внезапно напал на богатое месторождение медной руды. И залегала она всего в трех верстах от завода. Снова ожил медеплавильный завод. Николай Никитич Демидов старался все выжать из рудника...

На этот рудник и угодил Ефим Черепанов. Двадцать пять лет он проработал плотинным Выйского завода. Помогал ему в хлопотах возмужавший сынок Миронка. Ему только-только миновало двадцать два года, и его поторопились женить, чтобы покрепче привязать к семье, да и Евдокия уставать стала — ушли силы. Сын перенял от отца влечение к механике и теперь с охоткой постигал отцовское искусство.

2

На Выйском заводе все держалось по старинке. Круглые сутки по кругу ходили кони, с помощью привода вращая огромное колесо, которое, в свою очередь, заставляло работать шатуны. По деревянной трубе двигался поршень, он засасывал и выталкивал воду.

Ефима Алексеевича всегда удивляла первобытность

и хлопотливость этого способа откачки грунтовых вод. Для обслуживания несложной водоподъемной машины содержался большой табун в двести лошадей, а при них состояло не менее ста сорока погонщиков и конюхов. Кони при напряженной работе быстро выбывали из строя, изнашивались и люди, кляня свою долю.

Несмотря на огромные затраты на содержание машины, она не могла справиться с откачкой подземных вод, которые день и ночь сочились изо всех земных пор и постепенно затапливали шахты. Каждый день только и слышалось, что под землей снова стряслась беда: то рухнула подмытая порода, то крепи не выдержали, то вода прорвалась в штрек.

Рудокопы с большой опаской спускались в шахту.

— Ну, прости-прощай, батюшка плотинный,— кланялись они Черепанову.— Незнамо, увидим ли снова белый свет?

В словах горщиков слышалась тревога. Шахта в самом деле превратилась в мышеловку. Лежа в забое, рудокоп прислушивался к таинственным шорохам, к плеску и бульканью воды, коварно, капля за каплей, точившей породу, к легкому потрескиванию крепей, на которые нажимала страшная тяжесть породы, оседавшей под действием вод. Внезапная беда подкараулила рудокопа на каждом шагу. В этом подземном аду люди до того издергались, что каждый звук порождал у них страхи, и под влиянием их среди горщиков велись суеверные разговоры о нечистой силе, которая якобы ютится в таких гибельных шахтах. Больше всего запугивал горщиков старый хитроглазый старик Козелок. Он всю жизнь провел под землей, всего навидался и много натерпелся, сам, пожалуй, не верил в свои вымыслы, только посмеивался:

— За что купил, за то и продаю! Сказка не сказка, а быль с небылицей. Сами разбирайтесь, где и что! — отшучивался он, когда к нему приставали работные...

Над горами в эту пору синело небушко, зеленый шум леса веселил душу,— весна украшала землю, горы и воды. Только в подземелье все оставалось по-старому и даже стало страшнее: прибавились талые воды. В эти светлые погожие денечки так не хотелось забираться в шахту!

Всё с большей тревогой спускались горщики в штреки. Тускло светил огонек в шахтерской лампешке, журчала вода, и мрак ложился и давил грузной глы-

бой на сознание. Нет-нет да и собирались в минутки передышки горщики к стволу подышать свежим воздухом, который струился сверху, с нагретой земли. И казалось, нет ничего слаще и приятнее этих весенних запахов, которые шли сверху,— дышишь и не надышишься.

Щурясь на далекий-предалекий клочок неба, видневшийся над стволом, Козелок однажды начал свою бывальщину:

— Иду я, братцы, в прошлую ночку с работы. Темень непроглядная! И на каланче об эту пору раз за разом отбили двенадцать ударов. Полночь, стало быть, настигла. «Ох, господи, думаю, время-то какое, самое что ни на есть глухое, только и разгуливать всякой нечисти». Лишь подумал я об этом, братцы, свернул за угловую избушку, а меня вдруг кто-то цоп за полу. Я вперед — не пускает. Оглянулся назад и обмер. Стоит она позади меня, вся в белом, волосы распущены, а глаза по-кошачьи горят... Как закричу я...

Рассказчик осекся, все повскакали с мест: в эту минуту где-то совсем близко в потемках что-то зашуршало и сильно-сильно захлопало.

— Братцы! — схватил соседа за руку Козелок, а сам побледнел, затрясся, не в силах вымолвить слова. Горщики тоже присмирели и со страхом стали озираться на штольню.

— Ведьма! — крикнул вдруг в страхе старик и кинулся бежать по штреку. Все — кто куда. Один в уступ бросился, другой к подъемнику, третий сидел ни жив ни мертв.

Рудокопы побросали инструменты и поспешили к выходу:

— Спасайся, братцы, в шахте нечистая сила!

В эту пору снова кто-то захлопал крыльями, закричал-загоготал так, что многих мороз подрал по коже. Горщики — поскорее к стволу, а за ними кто-то зашлепал по воде.

Насилу выбрались на-гора́, а позади все еще доносился такой гогот, такая возня, что сам Козелок закричал:

— Спасайте!

Выбравшись наверх, он упал перед товарищами на колени:

— Простите меня, окаянного, не ко времени помянул нечистую силу. Вот ей-ей, лопни мои глаза, сам ви-

дел, как она и сейчас белым махала. Забей меня на месте, не спущусь больше в шахту. Это она и водой балует!

— И я не пойду больше, дорогие. Раз нечистая сила завелась, не к добру! — отозвался молоденький рудокоп, который до этого похвалялся своей храбростью.

— И я не спущусь! — закричал третий.

— Кому надоело жить, пусть сам попробует! — поддержал четвертый.

Всем было страшно заглянуть в черный зев шахты. А над горами так блестело-играло солнышко, так дивно распевали птицы и так радостно пестрели цветы в лугах и звенели мошки, так проворно летали над Тагилкой синие стрекозы, что рудник перед всеми этими весенними щедротами и впрямь показался могилой.

Молоденький горщик не утерпел и запел так жалобно, что тронул всех. Он пел о горькой доле демидовских рудокопов:

На-горá весна меня встречает,
Закипает пламенная кровь...
Жить хочу... Но шахта убивает,
Отнимает трезвость и любовь...

На-горá — пахучая прохлада,
Яркий луч природу осветил,
Только мне спускаться в шахту надо,—
От живого к мертвому идти...

Глубокий, приятный голос певца ласкал слух горщиков. Дед Козелок вздохнул.

— Хорошо, парень, про судьбину нашу поешь! — задумчиво похвалил он.— Только не надо больше! И без того сердце от горя заходится...

— Это что ж вы, злыдни, разлеглись на травушке да пятки греете! — раздался за спинами рудокопов злой окрик.

Козелок поднял голову и увидел перед собой приказчика Шептаева. Багровый от гнева, он бросился на старика с прави́лом:

— Это ты, трухлявый бес, затейщик всему!

— Помилуй бог! — вскочил горщик.— Да разве ж мы самовольщики... Не можем мы там! — кивнул он в сторону шахты.

За Козелком поднялись и другие горщики. Приказчик встревоженно стал всматриваться в хмурые лица работных:

— Да что тут случилось?

Козелок блеснул глазами и поманил приказчика подальше от ствола.

— Ты не кричи громко,— сказал он таинственно.— Не по своей воле мы поднялись на-гора́. Нечистая сила выгнала!

— Да ты сдурел! — закричал Шептаев и напустился на старого рудокопа: — Где это видано, чтобы на христианском руднике да нечистая сила? От хмельного померещилось тебе, сивому мерину. Марш-марш в забой!

Но сколько ни кричал, ни бесился приказчик, ни один горщик не тронулся к стволу.

— Сам полезай, а мы пропадать не думаем! — запротестовали рудокопы.

— Ах, так! Погоди, сейчас до господина Любимова доведу! Он покажет вам нечистую силу! — пригрозил Шептаев.— Сами на чертей похожи, а туда же — нечистой силы испугались!

Размахивая полами жалованного кафтана, приказчик устремился в главную контору. Он уже скрылся за Высокой, а горщики все не расходились. Они расселись на траве и снова завели тайные разговоры. Козелок, самый старый и матерый горщик, посмеиваясь в бороду, повел свой сказ:

— Уж это, братцы, испокон веков так заведено: на каждой шахте свой «хозяин» имеется, и по-разному его горщики кличут. То давненько случилось, был я еще совсем молоденьким пареньком,— силенки слабенькие, а робил я в ту пору под Тулой, на угле. Вот в нашем руднике и объявился свой «хозяин» — Шубин[1]. Своенравный старик. То помилует работяг, тогда все в руку идет, дым коромыслом. Наломишь в лаве столько — знай успевай отвозить. То вдруг осердится «хозяин», ну, тогда такие колена пойдет выкидывать, просто убежишь от страха из забоя! И вишь ты, заладил он каждое утро старичком управителем казаться. Придет седенький, сутулый, покашливает, и как только выйдет последняя клеть с народом, он садится в нее и опускается в шахту. На другой день после этого беды жди,— затоплена штольня! А то бывало и так: спустится он в виде невидимки и ну работать: рубит, кряхтит, таскает салазки с углем и натаскает всем на радость. Бери, за

---

[1] По суеверным представлениям горщиков старого времени — горный дух.

горщиков сработал! Выходит, в этот день в добром настроении пребывал наш «хозяин».

— Глянь-ка, и у них совесть-то, поди, просыпается! — вставил один из рудокопов.

— А то как же! — охотно согласился Козелок.— Он хоть и нечистая сила, а посовестливее будет нашего Демидова! Так вот слушайте, мои други. Как-то раз Шубин пошутил над одним горемыкой. По совести сказать, парень он был молодой, душа нараспашку, но под рождество так кутнул в кабаке, что все до грошика отдал целовальнику. Что тут делать? Пить-есть надо человеку, да и праздники только что начались. Приходит он к штейгеру и просит:

— Беда стряслась, дорогой. Промотался в кабаке, а опохмелиться не на что! Дай в долг!

Штейгер в насмешку предлагает ему:

— Деньги нужны, так полезай сейчас же в шахту да подай на-гора́ весь зарубленный уголь. Вот и прибыток! Наличными получишь!

Шахтер считался не из робких, согласился.

И только клеть опустила его в шахту, как на рудничном дворе увидел он седого старичка. Впрягся тот в салазки и молча таскает уголь. Взглянул он на парня и весело окрикнул его:

«Добро пожаловать, молодец! Скучновато было мне, не с кем побаловать...»

Горщик ласково посмотрел на старика и подумал:

«Да это, наверное, наш новый штопорно́й[1]. Приветливый работяга!»

И попросил его:

«Дедушка, я буду тут самосильно робить, а ты не посчитай за труд, наведайся. День ноне какой,— со мной в наказание, может, что и случится!»

И давай таскать уголь.

Прошел, может, час-два. Парень натаскал изрядно угля к стволу. Сам вот и грузится, будто кто его плетью гонит! Только нагрузил он первую подачу — слышит, кто-то идет. Не торопится, покашливает старчески на ходу:

«Кхе! Кхе!..»

Из потемок выходит старик и по-приятельски спрашивает:

«Ну что, парень, как идет дело? Есть уголек?»

---

[1] Рабочий, регулирующий движение клети по стволу.

И тут только заметил наш горщик, что-то ярко горят глаза у старика. Однако он не испугался и ласково ответил:

«Есть немного!»

«Вижу,— ответил тот.— Ну, вот что: ты грузи, а я потихоньку таскать буду на подачу».

«Ладно, дедушка! Спасибо за подмогу!» — согласился парень, и пошла, братцы вы мои, работа. Ой и работа! Не успевает шахтер и грузить, а уголек все прибывает. Да крепкий, да ядреный, блестит на изломе, как серебришко!

«Давай, давай живей!» — покрикивает старик, а парня и пот и страх пробирают. Ноги и руки дрожат.

Старик это заметил и говорит работяге:

«Ты это зря! Сходи теперь да посмотри, сколько угля в лаве осталось».

Парень полез туда, видит: весь уголь отбит, вся мелочь собрана, будто метлой подмели...

Сколько часов горщик в шахте пробыл — один бог знает, только когда он поднялся наверх, то увидел: весь откаточный углем завален.

Тут-то он и спогадался, кто к нему угодил в помощники. Дух захватило у горщика, побежал он к рудничному двору. Там — никого. Еле от страха на-горá выбрался. Сам не свой прибежал в казарму, отовсюду к нему сбежались дружки. Ахнули они:

«Да где ты был, милый человек! Зачем побелил голову?»

И впрямь, парень стал в одночасье седым-седехоньким. Дошел он до нар и упал вниз лицом. Так и проспал целый день, а наутро хватились его. Сбежал! С той поры никто так удалого горщика и не видел на шахте!..

— Ты только послушай, чего старый леший набрехал! — раздался внезапно позади горщиков насмешливый голос управителя Любимова.

Никто и не заметил, как он подобрался к работным. Все сразу повскакали, но он с льстивой улыбочкой неторопливо присел рядышком.

— Что за беда случилась в шахте? — сдержанно спросил Любимов.— Это все Козелок надумал. Откуда могла нечистая сила там взяться? Погляжу на вас: народ вы храбрый, а пустяка какого испугались!

— То не пустяк, Александр Акинфиевич. Сам слы-

шал и краем глаза приметил,— сурово отозвался Козелок.

— А ты не перебивай меня! — строго остановил его Любимов.— От мысли человеку всякое может померещиться. Да и то надо знать, братцы, что на всякую нечистую силу есть поп с крестом! — убежденно сказал управляющий.— Ныне же приведу священника, и он святой водой окропит шахту, вот вся нечисть и покончится! — Любимов говорил ладно, приветливо, но все время пытливо разглядывал лица работных, а сам думал: «Не может того быть, чтобы нечистая сила их испугала. Тут что-то другое! Вода. Она, коварная!»

Управляющий и сам изрядно переволновался и перетрусил, но не за работных, а за шахту. «Помилуй бог, если медный рудник затопит, что тогда скажет Демидов? Никому несдобровать!»

Он, кряхтя, поднялся, внимательно осмотрел насосную машину. Она работала с большим хрипом. Деревянные дощатые трубы пропускали воду, и половина ее со звоном падала обратно в шахту. Однако хотя и с опасностью для жизни, но работать все же было можно.

Управитель не тянул долго, забрался в тележку и крикнул рудокопам:

— Не расходись! Сейчас священник сюда с молитвой пожалует!

В полдень наехал батюшка с дьячком. Тут среди горщиков находился и Любимов, пришел и Ефим Черепанов. И все казалось, шло хорошо. Только Черепанов оставался угрюмым: понимал он, что руднику грозит беда — большая неминучая беда, и не от нечистой силы, а от подземных вод. Сколько раз докладывал он об этом управляющему, но тот отмахивался: «Потерпим еще годик, а там увидим!»

А чего ждать, когда все ясно! Конная машина явно не справлялась с водой. Сюда бы поставить паровой двигатель, тогда бы все по-иному пошло.

Священник отслужил молебен, окропил шахту святой водой. Горщики, понуря головы, выслушали молитвы иерея, а когда он кончил, покорно подошли приложиться ко кресту.

— Ну, ребятушки, теперь все хорошо. Давай, давай в забой! Работа стала! — заторопил управляющий.

Однако никто из рудокопов не двинулся с места. Наступила такая тишина, что слышалось сопенье насоса да тихое журчание воды. Ефим молча смотрел на гор-

щиков. Согбенные, усталые, они вызывали сочувствие. Одетые в холщовые портки, в зипунишки да в истертые шапчонки, они посинели от стужи. Вся одежонка их пропиталась влагой. А тут еще беда с водой! Кому охота обречь себя на погибель? Не сегодня-завтра вода возьмет свое, затопит шахту,— тогда поминай как звали!

— Что же вы приуныли? А ну, давай! — повышая голос, строго прикрикнул на горщиков Любимов.

— Боязно! — прошептал Козелок.— А вдруг опять кто почудится!

Черепанов видел: кто-кто, а старый, опытный рудокоп Козелок понимал, что работать на затопляемой шахте опасно.

— Ну, тогда ты первый и полезешь! Из-за тебя туману напустили тут! — сердито сказал Александр Акинфиевич, и его серые злые глаза в упор уставились на старика.

Горщик опустил голову, мялся.

— Не плутуй! Полезай! — отрубил управляющий.

Своей грузной фигурой он стал наступать на рудокопа. Козелок почесал затылок: упирайся не упирайся, а выходит — надо опускаться в забой. Он первым подошел к стволу и стал спускаться. Плотинный не утерпел, его занимала работа грунтовых вод: следом за Козелком полез и Черепанов...

Один за другим рудокопы стали опускаться под землю.

Только-только добрался Козелок до рудничного двора, как ахнул от страха и от радости.

— С нами крестная сила! — весело закричал он.— Гляди, братцы, да тут гусь!.. А может, то один морок? — не доверяя своим глазам, с сомнением добавил старик.

— Га-га-га! — весело загоготал гусак.

Черепанов подбежал к нему, а гусь, уставясь на плотинного бусинками глаз, и не думал убегать.

— Ишь ты! — удивился мастер.— В беду попал, крылатый! И каким ветром его сюда занесло? Ба, да это соседская птица! — признал гусака Ефим и растопырил руки.

Гусь захлопал было по лужам, но проворный плотинный поймал его и прижал к груди.

— Гляди, как сердце с перепугу колотится! Ишь ты, сам напугался, да и людей переполошил! — засмеялся он.

Однако на сердце было невесело: вода журчала всюду. Вот-вот того гляди совершится потоп! Черепанов с грустью посмотрел на промокших, усталых рудокопов.

«Эх, горемыки вы, горемыки! — защемила тоска его сердце.— Подумать только, работать в таком месте: сыро, грязно, вода сочится, холодно. Хорошо еще летом, вылез после работы, и обсушиться на солнышке можно и обогреться, а зимой что за муки!»

Ефим Алексеевич представил себе курную убогую избенку, которая стояла в трех верстах от рудника. Проработав двенадцать — пятнадцать часов в забое, промокшие рудокопы выползают на свет божий и бегут что есть духу в эту отдаленную избушку! А на земле пурга, метели, уральский пронзительный ветер, от мороза одежонка становится мерзлым коробом. Не всякий выдерживает такую муку! Да и что с людьми делается от работы в медном руднике? Истощение, смертельная бледность губ — все выдает в них болезни. Все жалуются на шум в ушах, тяжесть в ногах и одышку. Еще бы! В конце концов человек быстро сгорает в подземелье. Наступает водянка, и сердце отказывается служить!.. Мысли плотинного прервали окрики.

— Ну, дед — божья душа, глянь, что за архангел слетел к нам! — закричал молоденький рудокоп и озорными глазами показал на гуся.— А ты за нечистую силу принял. Ай-ай! — покачал он головой.

— А ты помалкивай! — угрюмо отозвался старик.— Ты слушай да разумей, о чем вода земле шепчет!

Его простые слова утихомирили парня. Он вздохнул.

— Ну и жизнь! Того и гляди угодишь во вселенский потоп!

Черепанов строго посмотрел на горщика, и тот прикусил язык. Под землей не шутят!

Прошла неделя, все, казалось, вошло в свою колею, но однажды ночью вдруг раздался набат. Плотинный вскочил с постели и бросился к окну. От волнения у мастера захватило дух: вдали над медным рудником алело зловещее зарево.

— Батюшки, пожар! — закричал Ефим. Он быстро оделся и поспешил к водоподъемной машине. Там пылали крыша и стропила навеса...

По набату сбежался народ, стали гасить. Одного за другим из шахты подняли рудокопов. Когда последним на-гора́ поднялся Козелок, кругом клубился синий дым

погашенного пожара, а среди него со скрипом по-прежнему кружилось старое, почерневшее колесо: его и насосы сберегли от огня.

3

Полицейщик Львов повязал старому горщику Козелку руки, в таком виде провел его, позоря, по всему Нижнему Тагилу, а затем посадил за решетку в каменный подтюремок. Рудокоп не знал, за что его шельмуют. На другой день пристав начал допрос арестованного.

— Ты и есть главный поджигатель! — безоговорочно заявил он.— Рассказывай, старый плут, кто тебе помогал в злодействе?

— Помилуй бог, до такого додуматься! — с изумлением и испугом уставился горщик на Львова.

— Не отрекайся, бит будешь! — пригрозил полицейщик.

— Это что же, выходит, сам себя и своих дружков потопить я вздумал! Эх, лучшего, видать, ты не придумал! — с горьким сожалением отозвался шахтер.— Не диво старого человека побить, а вот ты правду разузнай!

Пристав сопел, багровел, рыжие тараканьи усы его топорщились:

— А кто нечистой силой в шахте пугал? Ты! Кто первым побег из забоя? Ты!

— Но я первый и опустился в забой! — строго перебил старик.— А что страх обуял, это верно. Попробуй сам спуститься туда, посмотрим, что запоешь!

— Цыц, плешивый козел! — стукнул кулаком по столу пристав.— Как ты смеешь так с начальством разговаривать!

Козелок опустил голову, замолчал. Веки его задергал нервный тик, и на морщинистую щеку покатилась слеза.

— Так! — крякнул довольный Львов.— Выходит, в грехах каешься!

— Я не о том,— с обидой сказал старик.— О жизни своей плачу. Полвека под землей на господ отробил, света не видел, под солнышком всласть не погрелся, горюшка досыта хватил, а ноне новая беда настигла. За свой честный труд вон в чем заподозрили! Вот и награда демидовская! — Рудокопщик дрожал от обиды.

— Ты что ж казанской сиротой прикидываешься! — закричал полицейщик.— Коли так, пеняй на себя!

Он схватил старика за шиворот и заорал на всю избу:

— Давай сюда!

В допросную вбежали два стражника, схватили Козелка и повели в клоповник. Что там было, никто не видел. Только проходившие мимо подтюремка женки услышали тяжкий стон. Догадались они:

— Полицейщик Львов, гляди, издевается над старым человеком. Ух, и пес!

Растревоженные женки побежали на Гальянку и рассказали о слышанном горщикам. Рудокопы толпой тронулись к заводской конторе. Только миновали плотину, навстречу им — Ефим Черепанов. Плотинный догадался о беде.

— Погодите, братцы, не торопись! — остановил он работных.— Давай обсудим!

Спокойный, уверенный тон мастера подействовал на рудокопов отрезвляюще. Им нравился этот рассудительный, уравновешенный плотинный. Они видели, с каким достоинством он держался перед управителем завода: не лебезил, как другие мастера, не заискивал, не боялся говорить правду в глаза. И на этот раз они охотно послушались его, хоть и кипело на сердце. Тут же на травке, у дороги, расселись и завели разговор. Ефим уговорил их не ходить толпой,— сил мало, всего не перевернешь, а горшую беду на себя накличешь.

— Доверьте, братцы, мне пойти к управителю и толком поговорить! — попросил Черепанов.— В обиду я старика не дам. Великий труженик и честнейший человек он!

— Порадей, Ефим Алексеевич. Постарайся, милый! — раздались голоса, и рудокопы тихо и мирно разошлись по хибарам, а плотинный явился в контору.

Любимов сидел в своей комнате под образами, одетый в черный бархатный кафтан, сытый и важный. Он с озабоченным видом посмотрел на мастера.

— Не вовремя, Ефим Алексеевич, пожаловал,— посетовал он, но все же, указывая на скамью, предложил: — Присядь да рассказывай, что за спешка!

Плотинный не сел. Подойдя к столу управляющего, он недовольно сказал:

— Нехорошее дело дозволил полицейщик Львов. Весьма обидное для работных!

— Да в чем нехорошее? Это по моему указу сделано, дабы неповадно было! — догадываясь, о чем идет речь, с горячностью заговорил Любимов.— Суди сам, кто мог поджечь шахту, если не рудокоп? Не хочется робить в забое, вот и подожгли! Верно ведь? — Управляющий пытливо уставился на мастера.

— Неверно, Александр Акинфиевич! — совершенно неожиданно для Любимова отрезал Черепанов.— Кто это захочет сам для себя мучительной смерти? А оно ведь так выходит! Сжечь насосную машину — значит потопить себя!

— Да такие вороги и себя не пожалеют! — выкрикнул управитель.

Лицо плотинного покрылось багровыми пятнами, но он сдержался. Холодным, жестким тоном он сказал:

— Не враги мы своему мастерству, а великие труженики! Каждому жить хочется. Хоть и весьма тяжело нам, а не малодушествуем.

В словах мастера прозвучала такая искренность, такая любовь к людям, что управитель рот раскрыл,— не ожидал он такой горячей заступы.

— Ты что ж, Ефим Алексеевич, заодно с работными? Ведь ты не того поля ягодка!

— Одной я черной кости с ними! Я крепостной, и они крепостные! Но не в этом сейчас дело. Зря народ мордуете. Вот что я по всей совести скажу! — Черепанов придвинулся к столу, за которым сидел управляющий, и заговорил с сердечной простотой: — Хоть и тяжка работа для каждого из нас, хоть и трудно им, но верь моему слову, Александр Акинфиевич, никто так свое дело не любит, как труженик! Судите сами, шахту затопляет, каждый день в забое подстерегает беда, а все же горщики не клянут свой труд. Им и самим горько, что их трудное дело может пойти прахом! Никогда рабочий человек не пойдет на вредительство своего дела. Разве только по страшной нужде, когда враг отчизны нагрянет!

Управляющий с изумлением смотрел на мастера. Серые глаза Черепанова выдержали строгий, упрекающий взгляд Любимова. Управитель опустил голову и глухо спросил:

— Чего же ты хочешь?

— Отпусти рудокопа Козелка! Ни в чем не повинен он. А что балясы точит, то это не причина. Шахту свою он любит и знает. А потом, как и балясы не пото-

чить? Кругом такая темень и тягота, что надо хоть словом свою жизнь украсить!

— Не отпущу! — вдруг решительно и сердито заявил управитель.

— Воля ваша,— спокойно ответил Ефим.— Но если без опытного горщика шахту зальет, большая беда придет. Вы в ответе тогда перед хозяевами!

Любимов вскочил, забегал по комнате.

«А ведь и впрямь Демидов тогда не пощадит!» — подумал он и крикнул плотинному:

— Ну, что там еще?

— А еще думаю я, когда станете отписывать Николаю Никитичу о пожаре, то донести надо, что конная машина скоро не справится и затопнет драгоценная шахта. Ей-ей, так и будет в скором времени!

Слова плотинного прозвучали убедительно. Любимов сморщился, словно от зубной боли.

— Пусть будет по-твоему! — махнул он рукой.— Под твою поруку отпускаю рудокопщика. Только никому ни слова. О машине подумай! А когда надумаешь, приходи.

Он снова грузно уселся в глубокое кресло, а плотинный чинно откланялся и поспешил из конторы.

В тот же день управляющий нижне-тагильских заводов написал Демидову донесение о пожаре:

«От 16 октября всепокорнейший рапорт. К крайнему сожалению, нижне-тагильская заводская контора должна донести, что на медном руднике на Анатолиевской шахте, где выстроены две водоподъемные машины, или погоны, из коих одна посредством лошадей действовала, а другая запасная в омшанике, где устроены железные трехколейные змейки, сделался пожар.

Сгорел погон, колесо, вал, и в шахте стены обгорели до вассер-штольни. А на втором погоне — кровля и стропилы, а колесо и прочее с помощью пожарозаливательных труб от сгорания сохранены. Причина пожара еще не выяснена. Убытков до 1800 рублей. Дня через четыре погон будет восстановлен...

И как вашему превосходительству известно, во что обходится содержание конной водоотливной машины. На содержание конского табуна в год уходит 40 000 рублей, а на пропитание и прикуп людишек в конюхи да в погонщики и того более. К огорчению, надо признаться, что водоотливной конной машине не справиться с откачкой воды, и богатейший рудник может со вре-

менем затопнуть. Осмелюсь напомнить вам, что первосортной медной руды вынуто нынче мильон пудов.

По сему обстоятельству я беседовал с плотинным Ефимкой Черепановым да с надзирателем слесарного производства Козопасовым, как избегнуть затопления шахты. Каждый из них свое размыслил, и о том хотелось бы подробнее изложить вам лично...»

Донесение было отправлено в далекий путь во Флоренцию, где ныне проживал Николай Никитич Демидов. Тем временем плотинный и плотники исправили водоотливное колесо. Несмотря на улучшение конструкции, насос по-прежнему не справлялся с притоком воды, захлебывался, скрипел, жаловался.

Рудокопщик Козелок вернулся из заключения с потемневшим лицом, но при виде шахты у него по-молодому засияли глаза. Он по-хозяйски обошел водоотливную машину, прислушался к ее тяжелой работе.

— Как и я, с продухом! Эх, старушка милая! — ласково похлопал обновленное колесо старик.— Выручай, родимая! С тобой родились, с тобой и умирать!

Молодой горщик не утерпел и укорил Козелка:

— Нашел чему радоваться — яме мокрой!

— А ты помалкивай: кому — яма мокрая, а нам — самое дорогое, потому своим трудом, мозолями да смекалкой выпестовали мы ее. Эва, гляди, на всю Расею медь добываем! — В речи старого рудокопа прозвучала неподдельная гордость. Он повернулся и уверенным шагом пошел к спуску.

Глава третья

1

Александр Акинфиевич вызвал в заводскую контору плотинного Ефима Черепанова и надзирателя слесарного производства Степана Козопасова. Каждый из них пришел к управителю со своим проектом. Сейчас они почтительно стояли перед Любимовым, словно перед иконой. Он деловито оглядел их. Мастера выглядели поразному. Один был степенный, не суетный человек, с проницательными серыми глазами; он спокойно стоял перед конторкой. Высокий костлявый Козопасов без толку суетился: нетерпеливо переставлял ноги, не знал, куда сунуть снятую шапку. От него слегка попахивало винным перегаром. Управитель поморщился, но стерпел

и начал разговор с мастерами:

— Призвал я вас потолковать о медном руднике. Как спасти столь драгоценную шахту от затопления? Начни ты, Козопасов, потому что у Ефима Алексеевича одна мысль, как построить паровую машину. Шутка ли сказать, надумал он заменить паром двести коней и всю ораву конюхов!

Черепанов сдержанно промолчал. Козопасов молча посмотрел на плотинного, улыбнулся:

— Каждому свое дано, Александр Акинфиевич. Кому талант, кому и два! Спорить трудно, кто выгоднее придумает. Ефим Алексеевич — человек рассудительный, и у него своя правда. Но и у меня есть тоже думка!

Управитель остановил строгие глаза на выйском надзирателе.

— Ты вот что, не блудословь. Ближе к делу! — бесцеремонно оборвал он Козопасова.

Степанко виновато опустил взор, руки его задрожали.

— Слушаю вас, Александр Акинфиевич,— смиренно продолжал он.— Мыслю я, надо ставить вододействующее колесо. Верно, то не новинка, однако это и к лучшему. Испокон веков на сибирских заводах робили только вододействующие колеса, они и спасали!

— Сие мне известно,— вставил Любимов.— Но разумеешь ли ты о том, где ставить колесо, если у рудника ни порядочной речки, ни плотины!

— Это верно! — охотно согласился мастер.— Руднянка маломощна, не поднять ей колеса, а вот на Тагилке можно.

— Да ты сдурел! — рассердился управитель.— За кого меня почитаешь? Ведь от шахты до реки всех полторы версты наберется! Ты об этом подумал? — недоумевающе посмотрел он на Козопасова.

Мастер не смутился. Он переглянулся с молчаливым Черепановым и толково ответил:

— Вымерено мною: семьсот пятьдесят сажен,— и на всю длину эту сроблю штанговую передачу. А чтобы двигать ею, колесо поставлю в пятнадцать аршин в поперечнике, вот и сила!

Любимов задумался, мысленно соображая что-то.

— Ну, ты что на это скажешь, Ефим Алексеевич? — наконец обратился он к плотинному. Черепанов встрепенулся, глаза его оживились.

— Спорить не стану, умно придумано! — без зависти похвалил он Козопасова.— И колесо большое поставить можно. Выдержит! Только есть тут и свои затруднения.

Надзиратель слесарного производства нахмурился и ждал, что дальше скажет Ефим. Тот помедлил и со знанием дела закончил:

— Штанги на большое пространство будут подвешены на рамах, от сего по законам механики трение обозначится великое. Надо это учесть — раз. А второе, жаль речной силушки. Много воды заберет колесо, а она и заводу до зарезу надобна!

— И Ефим Алексеевич прав! Обо всем мною думано и учтено! — согласился Козопасов.— Немало трудностей будет, но не без этого такое дело родится!

— Н-да! — в раздумье произнес управитель.— Надо об этом помозговать да толком изложить хозяину. Их превосходительство в машинах разумеет, многое превзошли. А ты, Ефим Алексеевич, на своем настаиваешь?

— Настаиваю. И так думаю я, что паровая машина легче воду откачает! — уверенно отозвался Черепанов.

Любимов иронически прищурил глаза на плотинного:

— А помнишь меленки на речушке? Сколько твои паровички лесу перевели. А вода, хвала господу, вот она, бери и пускай! Как ты думаешь?

— Я на своем стою,— упрямо ответил Черепанов.

— Кремень, а не человек! — не без сожаления сорвалось с языка управителя.— Вот что, мастера, идите по домам и подсчитайте, во сколько стройка и та и другая обойдутся!..

По всему видно было, что Любимов не решался сам рассудить спора. Он встал из-за конторки и, скрипя козловыми сапогами, подошел к окну. Закинув руки за спину, он долго смотрел на отлогие скаты горы Высокой, на домики, разбросанные по Гальянке, как отары серых овец.

— Погоди, Козопасов! — остановил он мастера.— Неужто хибары срывать придется, чтобы пропустить штанги?

— Николи! Штанги на столбах над домами пройдут, выше крыш! — сказал тот, надевая шапку.

Вместе с Черепановым он вышел из конторы и пошел по заводскому поселку.

— Ну, спасибо, Ефим Алексеевич,— вдруг сердечно сказал Козопасов.— Шел я сюда и, по совести сказать, сильно боялся. Вдруг, думаю, да ополчишься ты против меня.

— Строй, Степан, свою штанговую машину! — доброжелательно отозвался Черепанов.— Каждый по своей стезе пойдет, а думка у нас одна с тобой — как бы рудник спасти!

Они шли по задымленной дороге, а вслед им в окно смотрел управитель и думал:

«Дивно, у обоих золотые руки, а стремления разные. Один назад оглядывается, а другой — Черепанов — вперед стремится! Пар или водяное колесо, чья возьмет? Вот и разберись, голова от дум ломится!»

2

Из Италии от Николая Демидова пришло в Нижний Тагил требование: прибыть во Флоренцию для доклада самому управляющему заводом Любимову. Видимо, владелец не на шутку забеспокоился о судьбе медного рудника. Предстояло проделать большое путешествие, но Александр Акинфиевич хорошо понимал, что Демидов не терпит оттяжек в исполнении своих желаний, поэтому быстро собрался и заторопился в далекую Италию. Через всю Россию проехал Любимов по санному пути, нигде не задерживаясь. В феврале за Дунаем путешественника встретила весна. Здесь уже отшумели вешние воды, голубой Дунай разлился широко. Ветер был теплый, мягкий, навстречу летело много перелетных птиц. Любимов загляделся на величественную реку.

— Эх, и силен! Эх, и прекрасен свет-Иванович Дунай! — восторженно вырвалось у него. Но тут же он загрустил: — Наша Камушка-река, поди, еще под ледовым одеяльцем лежит!

Перевалив Альпы, уралец сбросил тяжелые зимние одежды. Перед ним голубел необъятный синий простор. Все цвело, пело, радовалось жизни. Южный теплый ветер легонько колыхал платаны, каштаны, лавры, мирты — зеленый океан рощ, укрывавших небольшие итальянские городки. Коляска Любимова катилась мимо этих крошечных городков, где бедность капризно сочеталась с богатством: полуразрушенные лачуги, обве-

шанные сушившимися лохмотьями, грязные дворики и полуголые, голодные дети, которые долго бежали за экипажем, выклянчивая подачку. И рядом белоснежные виллы, как лебединые крылья, раскинувшиеся среди прохладной густой зелени садов. На площадях встречных селений высились старинные церкви ломбардского стиля с ажурными колоколенками. Александру Акинфиевичу казалось, что во всех узких амбразурах этих колоколен вставлены синие стекла,— такое чистое лазурное небо виднелось сквозь них.

Там, где вздымались горные отроги, по ущельям бешено неслись, клубясь пеной, стремительные потоки. В Апеннинах недавно прошли дожди и напоили пересохшие ручейки.

Земля дышала изобилием. Солнце беспрерывно слало свое тепло на хорошо возделанные нивы и сады, лучи золотым сиянием прорывались сквозь листву каштановых рощ.

Любимов встрепенулся, когда в голубой светящейся дали встала Флоренция. Чем ближе подъезжал он к ней, тем все оживленнее становилось на дорогах. В глубокой долине извивалась живописная Арно, над ее прохладными водами раскинулся чудесный город. Вот и улицы! На них кипит жизнь. Кажется, вечный праздник снизошел сюда. Купцы, ремесленники, горожане и вельможи одинаково непринужденно вели себя среди улиц и площадей прекрасного города. На площади — собор, уходящий ввысь ажурным орнаментом. Тяжелые, изукрашенные резьбой двери распахнуты, и из глубины храма несутся на площадь тихие тоскующие звуки орга́на...

Узнав в Любимове иностранца, за экипажем толпой побежали загорелые оборванные дети.

Управитель без труда отыскал местопребывание своего господина. Демидов занимал белокаменное палаццо, утопающее в зелени сада. В сияющем золотом и голубизной воздухе возносилось мраморное творение талантливого зодчего. Стройные колонны казались сквозными, а барельефы — четкими, живыми. На воротах этого старинного дворца помещался резанный на камне герб рода дворян Демидовых. Из-за ограды лился тонкий аромат цветущего сада, трав и цветов. Сюда не доносился шум торговых кварталов города, только в глубине сада раздавалась тихая и наивная песня садовника.

Любимов с волнением поднялся к двери и, взяв молоток, постучал им в толстую матовую медь. И сейчас же на стук вышел высокий широкоплечий человек в бархатном камзоле, в шелковых чулках и башмаках с пряжками. Вид его был величествен и строг, он надменно взглянул на пыльного путешественника, но тут лицо его мгновенно преобразилось широкой радушной улыбкой.

— Александр Акинфиевич! — обрадованно вскрикнул слуга и бросился к тагильскому управителю.— Из России! Из наших краев!

— Орелка! — в свою очередь возопил уралец.

Они поздоровались и долго смотрели друг на друга. Слуга Демидова засыпал прибывшего вопросами, в которых сквозила нескрываемая и необоримая любовь к своей земле.

— Как там, еще снега? Только недавно масленица минула? Блинами, небось, отъедались!

Каждый пустяк, сообщенный Любимовым о России, вызывал в Орелке взрыв радости. Он сиял весь, ахал и все повторял:

— Ну и ну! Дивно! Хошь бы на серого российского воробышка одним глазком взглянуть!

— Небось, соскучал здесь? — пытливо уставился тагилец.

— Соскучился, ой, как стосковался! — искренне признался Орелка.

— Красота кругом: и небо, и сады, город столь славный и...

Начав свои суждения, управитель запнулся, впившись глазами в открытую дверь. В потоке солнца улыбалась, сверкая изумительно белыми зубами, подвижная и глазастая молодая итальянка.

— Кто же это? — полуиспуганно, почтительно спросил Любимов.

— Мариэтта, служанка! — небрежно ответил Орелка.

— Ох, и девка! — глубоко вздохнул от зависти Александр Акинфиевич и не мог оторвать взора от служанки. Глаза ее, полные пламени, смеялись, и вся она казалась воздушным видением — так дивно хороша была собой.

— Пустяк! — поугрюмел демидовский крепостной.— То не по нас девка! Близир один! — отмахнулся он.

— Какого же хрена тебе надо! — удивился Любимов.— Экая благолепность, красота. Очи чего стоят! С ума сойдешь!

— Суета! — не уступал Орелка.— Не в том счастье!

— А в чем же ? — спросил тагилец.

— Ах, Александр Акинфиевич! — вскричал от всего сердца Орелка.— Мне бы в Россию, на санках промчаться да с морозу горячих щей похлебать! Да ржаного хлебушка пожевать! А здесь разве настоящее! — пренебрежительно оглянулся он на Мариэтту.

А служанка, очевидно не понимая русской речи, приятным взглядом обласкала Орелку.

— Господин выбыл по делам, а вас милости просим,— пригласил слуга. Он провел тагильца в покои для приезжих. Любимов с любопытством оглядывал дворец. Залы переполнены статуями, картинами, гобеленами, бронзой, вазами, невиданной мебелью.

— Музеум! Подлинный музеум! — в восторге прошептал управляющий и, завидя под широким окном обломок мрамора, остановился, пораженный мощью и красотой торса неведомого изваяния.

— То Геркулес! — пояснил Орелка.

В фигуре недоставало головы, ног, рук и верхней части груди, но что за сила и красота чувствовалась в этом дивном обломке! Он высился подобно мощному стволу прекрасного дуба, лишенного тенистой кроны, шелест которой в былые годы привлекал в свою прохладную тень утомленного путника. Орелка тоже воспламенился.

— Посмотри, а вот еще диво! — указал он на мраморную статую купальщицы. Молодая девушка, чистая и спокойная, сбросила с себя последнюю одежду и готовилась сойти в бассейн. На одно мгновение она задумалась, и столько было очарования, прелести в повороте ее строгой головки, в движении руки, стыдливо прикрывшей маленькую грудь, что Любимов не утерпел и, радуясь, как ребенок, сказал:

— Диво! Сама обнажена, и нисколь греховного!

— В том чародейство мастера! — отозвался с пониманием Орелка и предложил тагильцу: — Отдохните с дальнего пути, тогда поглядите, сколь дивные творения хранит в сем палаццо наш господин. Здесь имеются дары великого мастерства Рафаэля, Бартоломео, Пизано, Донатти... Сия купальщица его творение.

— Откуда тебе ведомо все это? — с изумлением спросил тагилец.

— Господин только и печется о сих произведениях мастерства. Наслышан и сам пленен чародейством. Довелось мне, сопровождая господина в Рим, побывать с ним в храме делла Ротонда, у гробницы Рафаэля. А до того в том храме, в древности, был пантеон римского полководца Агриппы, и сей государственный муж был человек незнатного происхождения. Это поразительно, сударь! — с горячностью сказал демидовский слуга и поразил Александра Акинфиевича своей осведомленностью в искусстве.

«Вот ты и гляди, мужик, истый расейский мужик, а сколь разумения в художестве!» — в раздумье покачал он головой...

Во дворце было пустынно, только слуги мелькали бесплотными тенями по залам и переходам. Овдовевший Николай Никитич жил в палаццо один-одинешенек. Сыновья Павел и Анатолий пребывали в Париже. Санкт-петербургская главная контора по указу Демидова слала им большие суммы. Старший, Павел, вел рассеянную жизнь, стараясь прошуметь среди французской знати, а младшенький, тринадцатилетний Анатолий, изучал науки в лицее. Оба совсем оторвались от родной земли, не знали ее, потеряли в себе все русское.

Орелка провел уральца в прохладную комнатку. В распахнутое окно виднелся цветущий сад. Указав на широкий диван, слуга предложил:

— Вот тут и располагайтесь, Александр Акинфиевич.

Но Любимову было не до отдыха. Он сидел у окна, смотрел в сад и думал о хозяине.

«Гляди, куда ведут пути человеческие! Строитель заводов Никита Акинфиевич сам не гнушался работой, а сынки Николая Никитича не знают, где и заводы их, не пекутся о них, а живут, яко птицы небесны. Тунеядство? Но то самим господом богом заведено: одним век свой на работе маяться, а другим — в богатстве и роскоши пребывать!» — старался он оправдать паразитство своих господ.

Голова тагильца кругом ходила — слишком много необычного довелось ему видеть в этот день. То глаза Мариэтты-служанки чудились ему, то дивный торс Геркулеса, то купальщица Донатти, или вставал разодетый, важный Орелка, все еще сохранивший в себе русскую мужицкую душу.

Так незаметно и задремал гость.

Позвали Любимова к хозяину на другой день. Николай Никитич принял управителя в большой светлой гостиной. Подходил к ней тагилец с замиранием сердца,— сказалась давняя рабская привычка. Демидов сидел в глубоком кресле, ссохшийся, сутулый, с впалыми щеками. Ему было немногим более полусотни лет, но старческие немощи одолели его. Тусклыми глазами он посмотрел на управителя и благосклонно протянул ему худенькую руку, сверкавшую драгоценными перстнями. Любимов почтительно поцеловал ее.

— Здравствуй,— приветливо сказал Николай Никитич.— Ну, как в нашем уральском царстве поживают подданные, холопы мои?

Любимов почтительно стоял перед ним, покорно склонив голову. Ему было жалко немощного хозяина и страшно перед ним. Маленькое, незначительное лицо Демидова, тщательно выбритое, с зачесанными вперед височками, выглядело старчески.

— Только вашими милостями и процветаем, господин наш! — льстиво заговорил управитель.— Заводы пребывают в прибылях и в изрядном устройстве по радению вашему.

— Ты мне о медном руднике скажи. Все ли благополучно?

— Грозит затопление, спасать надо, машину ставить новую, но коштовато весьма! — робко доложил Любимов.

— Ты не о расходах пекись. Ведомо тебе, что здоровье и жизнь самого ничтожного холопа моего дороже мне всего! Истомлюсь, если дознаюсь о беде. Найди искусника в гидравлике и в механике, дабы отвратить бедствие на шахте!

Хотя хозяин и делал вид, что тревожился о работных, но управитель чутьем понял, о чем на самом деле тужил он.

— Иноземцы дорожатся, господин мой, да и внедряться не хотят в нашем краю. Пример — Ферри! Да и кто их знает, сколь способны они на разумные дела. Шумят, хвалятся, а толку мало. Видимость одна!

Александр Акинфиевич говорил медленно, внимательно поглядывая на Демидова, стараясь по выражению его лица понять, угодил ли ему своей речью.

— У нас, на Камне, есть свои два крепостных

умельца: Ефимка Черепанов и Степанко Козопасов. Они взялись с водою справиться и предлагают свои прожекты: в конторе рассмотрели их, все выходит умно, но к опытам не возымели смелости допустить мастеров, господин.

— Что же такое? В чем дело? — недовольно поморщился Николай Никитич.

— Машины, которые надуманы нашими умельцами, разные. Они отменят собою конские табуны, конюхов,— ни к чему сие окажется. То великий резон! Экономия. Но возведение каждой машины обойдется, господин мой, не менее как по семи тысяч рублей ассигнациями!

— Дорого! — вспыхнув, перебил докладчика Демидов.— Однако не семи тысяч жалко, а так разумею, наши доморощенные гидравлики все по глазомеру строят, а сие может подвести. И деньги наши трудовые впусте окажутся израсходованными. Ай-ай, семь тысяч! Подумать только! — заохал хозяин.

«Но в руднике же люди могут погибнуть!» — хотел вымолвить Любимов, но вовремя прикусил язык и, слегка заикаясь от волнения, сказал:

— Все так, господин мой, подлинно жалко такие деньжища кидать, но горше будет, если шахта обрушится и миллионы пудов меди от нас уйдут. Разор чистый!

— Разор! — согласился хозяин и неспокойно заворочался в кресле.— А скажи, сколько времени потребно на работу наших механиков?

— Просят сроку год! — ответил Любимов.

— Ох, горе, разоряют! А все жалости мои человеческие к холопам! — пожаловался Николай Никитич.— Но что же делать, если другого выхода нет. Пусть стараются, а который устроит машину ранее, объявить от меня особую награду. Ну, с сим делом покончили...

Демидов устало отвалился на спинку кресла, полузакрыл глаза. Управитель боялся пошевельнуться; так и длилось тягостное безмолвие.

— Ах, ты еще здесь! — поднял наконец голову хозяин.— Еще не все. Отправляйся на мою фабрику, где шелк прядут. Огляди! Может, чему и научишься для наших уральских заводов. Иди! — Он протянул руку, Любимов облобызал ее, и Николай Никитич снова устало закрыл глаза...

3

Управитель Нижне-Тагильского завода побывал на шелкопрядильной фабрике Демидова. На окраине Флоренции, в глухих скученных кварталах над рекой Арно, в тесноте гнездились грязные приземистые здания, сложенные из серого камня. Александр Акинфиевич, вступив за порог одной из таких трущоб, с минуту ничего не видел, так мало было света в низком мрачном помещении, по которому разносился ритмичный шум веретен. Казалось, в полутьме гудел потревоженный улей. Привыкнув к скудному освещению, тагилец увидел несколько десятков бледных, изможденных итальянок, стоявших у грубых ткацких станков, на которых в пору было бы работать сто лет тому назад. Среди изнуренных работниц было много детей, мальчиков и девочек десяти — тринадцати лет.

«Гляди, что творится,— и тут без ребят не обходится фабрика!» — подумал Любимов и обратился к худощавой, с ярким нездоровым румянцем на щеках работнице:

— Скажи, милая, хорошо ли тут работается ребятенкам?

Сопровождавший управителя Орелка перевел итальянке его вопрос.

Женщина угрюмо посмотрела на Любимова и еще угрюмее кивнула в сторону станков. За ближайшим из них мальчик, работая, стоял на табуретке,— так мал был этот хилый, с длинной худой шеей ребенок, кормилец семьи! Таких, впрочем, немало усмотрел тагилец за станками.

— А все-таки ты спроси ее о ребятенках! — снова попросил он Орелку.

Демидовский холоп с важным видом опять обратился к работнице. Она сверкнула сердитыми глазами и что-то вызывающе ответила.

— Дьяволица, как смеешь ты так говорить! — испуганно прикрикнул Орелка.— Дознается о том хозяин, худо будет!

Любимов схватил демидовского слугу за полу.

— А скажи мне, дорогой, что она ответствовала? Больно нехорошее?

Орелка в нерешительности топтался на месте.

— Кто их тут разберет! — недовольно проворчал он.

— Ну скажи, милый! — не унимался тагилец.— Мы

оба холопы у одного господина, и нам все должно видеть и знать!

— То верно! — согласился Орелка и оглянулся.— Вишь, разошлась сия паскудница на хозяина. Хорошо, говорит, ребяткам живется у Демидова: с утра до ночи тянет он шелковую пряжу из жил маленьких детей!

— Ух ты, сатана, что клепает на господина! — вспылил Любимов.

Из-за недостатка воздуха в помещении он тяжело хрипел, задыхался: давала себя знать одышка.

— Идем отсюда! — предложил Орелка.— Поглядели, и хватит!

— Голодная рвань, а тож — свое суждение имеет! — все еще не мог успокоиться управитель.— Не хочешь за кусок хлеба робить, не веди сюда дите! Вольно же тебе!

— Э, нет, Александр Акинфиевич, то не выйдет! Ребячий труд самый дешевый. А хозяева фабрик только и думают побить своих конкурентов низкой ценой на ткань! — Орелка говорил медленно, рассудительно.— Где найдешь дешевле рабочую силу, если шелкопряд получает гроши? Ни мяса, ни молока не видят эти детки, вот женки и пыхтят недовольством! Так живут по всей Ломбардии эти хлопотуны. А как обойтись тут без ребятенка? Хотели запретить, так Николай Никитич и здешние фабриканты выставили свое суждение: тонкость шелковой ткани требует нежных пальцев, а они только и бывают в отроческом возрасте!

— Согласен. Умно рассудили хозяева! — одобрил Александр Акинфиевич суждение Орелки; не знал он того, что холоп про себя хмуро подумал: «Умно? Ишь ты! Из-за нежных пальцев убивать ребят, как рогатый скот у нас в России бьют из-за кожи и сала!»

Жилось слуге у Демидова сытно, привольно, но дух у Орелки все еще сохранялся непокорный. Не любо его сердцу было холопство! Так и жил он раздвоенно, почитая и в то же время ненавидя своего господина. Бывали минутки, когда у него вспыхивало стремление к побегу, но он сейчас же старался погасить его. Тяжело вздохнув, повел он Любимова к экипажу.

— А шелк какой, нежнейший, с ясными отливами, ткут на фабрике нашей! Ни в жизнь никому тут не сравниться с Демидовым!—оживленно заговорил Орелка, стараясь развеять мрачное впечатление от фабрики.

Они ехали в экипаже через всю Флоренцию, где каждый камень был напоен солнцем, согрет им и где высились чудесные дворцы, но среди всего этого богатства и веселья не было места простому рабочему человеку!

Придя к Николаю Никитичу, Любимов льстиво расхваливал фабрику и тем обворожил хозяина.

Демидов много говорил о Флоренции, о зодчих, о славе флорентийских торговых людей Медичисов, когда-то знаменитых в этом старинном городе Италии. Николай Никитич любил Флоренцию и всегда как бы вскользь сравнивал свой род с Медичисами. Это давно и хорошо усвоил тагильский управитель и сейчас рабски внимательно выслушал хозяина, не сводя с него восхищенных глаз...

«Вот идол, как ловко умеет притворяться!» — глядя на Любимова, подумал Орелка.

Пробыв в Италии месяц, Александр Акинфиевич собрался в обратный путь. Перед отъездом он выслушал указания Демидова по Тагильскому заводу и земно поклонился господину.

Прощаясь с Орелкой, он поблагодарил его:

— Ну, братец, спасибо за ласку и прием. Много благодарен. Скажи, чем порадовать тебя, что прислать из России?

— Ничего мне не надо! — смиренно сказал Орелка.— Стосковался я по своему небушку да белоствольной березке. Поклонитесь им! Ну, а если уж думаете порадовать, пришлите мне горсть родной земли! Хоть глазком взглянуть на нее и подышать, чем пахнет! Эх, матушка Расея! — вздохнул он, и глаза его затуманились неподдельной грустью.

Экипаж тронулся, пересек площадь и скрылся за углом палаццо, а Орелка все стоял и думал о своей далекой и прекрасной земле.

4

Черепановы приступили к работе над водоотливной паровой машиной. Плотинному разрешили расширить свое механическое заведение, которое и до этого обслуживало нижне-тагильские заводы. В обширном бревенчатом срубе стояли слесарные и токарные станки, приводившиеся в движение заводским вододействующим ко-

лесом. Много положили труда механики на оборудование мастерской, из которой за последние годы вышло немало разных инструментов и диковин. Они изобретали, составляли проекты и строили самые разнообразные установки: воздуходувные, прокатные, молотовые, мельничные и лесопильные. В своей мастерской они сами придумали и изготовили станки: токарные, строгальные, сверлильные, винторезные и штамповальные. Все это они сделали чисто, необыкновенно точно, и инструменты, созданные их руками, отличались изяществом. Всякий из горщиков, беря такой инструмент, радовался и говорил:

— Ну, это черепановская работа!

Приятно было работать безотказным и точным инструментом.

Перед тем как приступить к выполнению своего замысла, Ефим с сыном спустились еще раз осмотреть шахту, чтобы вернее произвести расчет машины. Спуск шел по крутой скользкой лестнице-стремянке. Внизу — темная бездна, а по стенам колодца сбегает вода, сыро, грязно и неприветливо. С непривычки казалось страшновато лезть в эту сырую, темную могилу. Лестницы сменялись узенькими и тесными площадочками, на которых можно было перевести дух, а затем спускаться глубже. Так, минуя лестницу за лестницей, с замиранием сердца мастера добрались до рудоразборного дворика, откуда, как черные норы, расходились низкие тесные штреки. Сразу стеснило дыхание: пахло серой, застойной гнилой водой, пороховыми газами. Рудокопы взрывали каменистые породы, прокладывая путь к медной руде. Под ногами хлюпала зеленоватая вода, она стекала по ослизлым бревнам-подпоркам. Царство вечной тьмы плотно охватило Черепановых. Подчеркивая этот мрак, по всем направлениям тускло мерцали робкие огоньки шахтерских ламп. Люди сливались с черным мраком, и поэтому казалось, будто светлые точки двигались сами собой, словно блуждающие огоньки, которые обычно вспыхивают и разгуливают над трясинами, наводя страх на суеверного человека.

Мирон с гнетущим чувством оглядывался на тусклые желтки света, прислушивался к звуку падающих капель. Так вот оно, таинственное подземелье, о котором среди горщиков ходило столько страшных рассказов! Угрюмо нависли сырые стены, грозившие придавить, как могильной плитой.

— Эй, эй, берегись! — разнеслось по штольне, и вслед за этим раздался оглушительный грохот, похожий на громовой удар. Секунда — и тотчас сверкнула молния. Казалось, над головами разразилась гроза с потрясающими раскатами. Эхо лабиринта подхватило и умножило грохот. И, как вспышка гневной бури, раскаты покатились вдаль, глухо ворча и постепенно угасая. Подземелье наполнилось удушливым дымом. Он густо, плотным туманом висел в воздухе и при свете рудничных ламп принял багровый оттенок. Постепенно все поднялось кверху, и снова наступила гнетущая тишина.

Черепановы стояли в нише, плотно прижавшись к сырым камням. Из мрака в тусклом озарении лампы высунулось бородатое лицо и, ощерившись, смотрело на мастеров. Ефим обрадовался.

— Козелок! Эй, друг, принимай гостей! — повеселевшим голосом окликнул он.

Тяжело дыша, рудокоп отозвался:

— Жалуй, жалуй, давно поджидаем. Идем за мной, покажу наши дворцы! — В голосе горщика прозвучала горькая насмешка. Он повел механиков по штольням; тут и там мелькали огоньки. В мрачных забоях извивались, как черви, рудокопы, дробя кайлой каменную грудь своей норы. Их было много тут, неизвестных трудяг, создавших сказочное богатство Демидовых. Сколько их потонуло в разных шахтах, погибло от тяжкой работы, от скудной еды, от болезней и просто было покалечено жестокими заводчиками. Тысячи их многие годы надрывались, работали не покладая рук, создавая и умножая горные промыслы, но слава шла по свету не об этих людях, а о хищных тунеядцах Демидовых.

Завидев в шахте Черепановых, рудокопы повеселели: они знали, зачем механики спустились в забои.

— Родимые вы наши, порадейте для народа! Сил нет, одолела вода.

Мастера и сами видели, как тяжело здесь работалось людям.

Козелок время от времени приостанавливался, прислушивался к звукам падающей воды.

— Слышишь, по нас плачется! — с тихой душевностью сказал он.— Она, брат, жалеет нас. А мы ее тож бережем, согреваем ее своим потом, теплом и ласковым словом!

В полдень Черепановы выбрались на-гора́. Под ску-

пым солнцем сияли снега, под ногами весело поскрипывало от мороза. Не откладывая дела, отец и сын отправились в свое механическое заведение и взялись за работу. Обоих увлекло задуманное; они не жалели ни сил, ни времени. Не всегда все шло гладко. Хотя Ефим хорошо изучил чертежи Ползунова, но он придумывал свое, лучшее. Часто Черепановы часами просиживали молчаливо, обескураженные неудачей. Ефим вставал ночью, бродил по избе и стонал, словно от зубной боли.

— Что же теперь делать?

Евдокия гнала его в постель:

— Будет, отец, будет! Не терзайся!

Она, уже пожилая, но все еще красивая женщина, улыбалась ему:

— Не кручинься, не горюй: не всё будут донимать печали, придут и радости! Поспи, глядишь — и в голове прояснит!

Время между тем шло. Козопасов с плотниками строил у плотины огромное вододействующее колесо; по рабочему поселку разносился стук топоров, визг пилы. Над дворами, над полем, от реки до шахты побежали ряды столбов. В кузницах громыхало железо: кузнецы ковали штанги, крючья — необходимое поделье для задуманной машины. Степан ходил сейчас веселый, лицо его посвежело, и глаза молодо блестели. Он пересилил свою слабость к вину, а когда подходила «смутная минутка», то сам брал топор и становился в ряд с плотниками, в горячей работе отвлекаясь от соблазна. Нередко он забегал в механическое заведение Черепановых и рассказывал о стройке. Странное дело, теперь он не суетился, не егозил, как прежде, заикание его как рукой сняло. Говорил он неторопливо, толково, гордясь своей выдумкой.

В тихие зимние вечера в механическом заведении светились огоньки. Хорошо работалось в такие безмолвные часы! Иногда «на огонек» забегал Степан Козопасов и начинал мечтать:

— Работаю или сплю, а все перед собою вижу волю! Ах, Ефим Алексеевич, знаю, что я не только машину лажу, но и волюшку себе добываю! Эх, развернулся бы во всю силушку, да везде утеснение.

И Черепановы мечтали о том же. Не о себе думал Ефим. Он что? Век доживает. А вот сын Мирон — умная и светлая голова, как ему жить в крепостной неволе?

За окном выла вьюга, а они втроем присаживались

к раскаленному горну, мечтательно смотрели на пламя и думали о будущем.

В душе Ефима иногда просыпалась зависть к Козопасову, но, твердый характером, он быстро тушил ее. Не знал он, что злые люди пытались стравить изобретателей. И кто бы мог подумать, что это шло от самого Николая Никитича, который обретался во Флоренции. Демидов слал письма, не переставая интересоваться медным рудником и механиками. Осторожно, по-иезуитски, он советовал Любимову:

«Как Черепанов и Козопасов люди одного ремесла, то всегда между ними есть ревность, зависть, а нам надлежит извлечь из этого пользу. Надо посоветоваться с Черепановым в конторе, потом порознь призвать Козопасова, но чтобы Черепанова тут уже не было, и с ним посоветоваться. Уверяет меня Николай Дмитриевич, что Козопасов умнее, опытнее и более свое дело знает, хотя и молчит. Нередко случается, что человек на словах боек, но на деле слабомощен. Впрочем, приказчикам оные люди коротко известны. Что по сему будет, тотчас мне рапортовать».

Управляющий Нижне-Тагильского завода хорошо знал своего хозяина, но на хитрость отвечал лукавством и в ответ писал:

«У Черепанова и Козопасова ссор, как они отзываются, никаких не имеется...»

Однажды Мирон, молодой и самолюбивый, заволновался и пожаловался отцу:

— Батюшка, Степанко опередит нас, и наша машина будет ни к чему!

Отец сдержанно улыбнулся в бороду:

— У тебя, сынок, глаза завистливые. Стоящий человек свое должен взять не завистью и не пакостью по отношению к другим, а творением своего ума и рук. Ты, Миронушка, веди себя спокойнее. У каждой машины будет свое, а наша выйдет с размахом на будущее! — ответил он ровно и спокойно.

Глядя на степенного отца, сын проникся уверенностью в успехе. Ефим продолжал:

— Я поболе твоего жил и видел, да и поработал немало! Многое сделали вот эти руки! — взором показал он на мозолистые, шершавые ладони.— Есть чем и мне похвастать, но не в хвастовстве дело! Кичливость — грязная пена! Снесет ее могутный поток, и никто не вспомнит. Вот гляжу на тебя и не знаю, что сказать.

Не хочется уступать младшему, а скажу прямо: пойдешь ты, сынок, дальше моего, и то сильно радует меня! Только бери не хвастливостью и завистью, а трудом и думками.

У Мирона покраснело лицо. Похвала отца что-нибудь да значила!

В механическое заведение часто наведывался Козелок. Он приходил и молча усаживался в уголку, тихо наблюдая работу механиков. Мастер стоял перед станком, в котором быстро вращался валик, и дивным дивом казалась ему работа черепановского сына. От резца вилась дымящаяся стружка. Она вилась тонкой длинной змейкой и на глазах играла всеми цветами: то была золотисто-оранжевая, то густо-синяя, и, как живая, дрожала, изгибалась и, обламываясь, падала в ящик. Металл под руками мастера казался мягким и податливым.

«Ну что за дивное мастерство!» — восхищенно думал старик и не мог оторвать глаз от станков.

Не один он ждал черепановской машины, ее с нетерпением ожидали все горщики медного рудника. Вода в штольнях в этом году прибывала сильнее, и все опаснее было спускаться в шахту.

Осенью 1827 года Степан Козопасов первый закончил свою штанговую машину. Со всех уголков Нижнего Тагила бежали люди посмотреть на пуск диковинки. Мирон волновался, нервничал, но отец твердо сказал свое: «Пойдем и мы, ведь это праздник для всех работных!»

Они вышли из мастерской. Стоял яркий солнечный день, однако лес на горах поугрюмел, притих. Полет ворон и галок стал тяжелее. Над прудом дымился туман, воздух был свеж и влажен. Среди густой тишины раздался металлический звук, и вслед за этим заскрипели-закачались штанги. Они качались размеренно, неторопливо, как длинные железные руки, и передавали силу водяного колеса к водоотливным помпам. Стаи ребятишек с восторгом носились вдоль столбов, разглядывая сооружения, а неподалеку, в обширном тесовом срубе, с шумом двигалось огромное колесо, ворочая толстый вал с железными шипами, подшипниками, приводя в движение штанги.

А на другом конце завода столпились коногоны, горщики, прислушиваясь к работе машины. Она добросовестно и жадно выкачивала из рудника воду. Вокруг

бегал взлохмаченный, взволнованный Козелок и восторженно кричал:

— Братцы, братцы, гляньте, что робится! Милушка-голубушка, вот кoли́ спасение пришло!

Все смотрели на Степанку Козопасова, который и сам ходил словно хмельной. Вот когда настал счастливый час! Он ждал, что Любимов вот-вот вынет из кармана указ Демидова о даровании ему воли, но управитель очень тщательно оглядел машину, со злой улыбкой посмотрел на коногонов и сказал им:

— Что, мужики, отробились! Ну, Степан, едем в контору! — пригласил он Козопасова в тележку.

Мастер сел рядом с управителем, и кони тронулись. От рудника до конторы рукой подать, но за этот короткий путь Козопасов много раз переходил от радости к отчаянию, от разочарования к надежде.

«Не может быть, чтобы обошли! Экий рудник спас!» — стараясь убедить себя, думал он.

В конторе Александр Акинфиевич выложил перед Козопасовым тысячу рублей ассигнациями.

— Гляди, милок, сколь щедры наши господа! — с лукавством сказал он.

Мастер медлил, все ждал чего-то. Управитель нахмурился.

— Аль недоволен чем? Забавно!

Степан молча взял деньги, нахлобучил шапку и, сгорбясь, покинул контору...

Три дня никто не видел Козопасова. На четвертый его отыскал Черепанов у тайной кабатчицы. Степанко был пьян, мрачен.

— Не гоже так! — сурово сказал ему Ефим.— Великое дело сробил, а загулял, будто с горя!

— С горя и от обиды! — хрипло выкрикнул Козопасов, и по щекам его покатились слезы.— Ждал вольной, а вот она где, вольная! — схватился за бороду механик.— Поманила, и нет!

— Обида, жестокая обида! — согласился Черепанов.— Но и то рассуди, сколько народу спасла твоя машина от потопа, радуйся. Того и ждали, что не сегодня, так завтра хлынет поток в забои... Идем, Степанко, тебя ищут!

Растрепанный, с блуждающими глазами, пошатываясь, Козопасов поплелся за Ефимом. И у Черепанова нехорошо стало на сердце.

«Вот она, наша доля!» — с огорчением подумал он, поглядывая на товарища.

Не знал он, что в письме о машине Козопасова Демидов писал управителю завода:

«А как во всем начальник должен быть еще более награжден, то чтобы сделать удовольствие Александру Акинфиевичу Любимову, даю отпускную его зятю, а сестре его приданое из конторы 2 000 рублей ассигнациями».

Вот как обернулось дело!

5

Только в работе и забывались Черепановы. Мирон старался изо всех сил: сколько умных приспособлений придумал он, чтобы упростить машину, облегчить ее. Каждая выполненная им деталь, взятая в руку, сверкала чистотой отделки и радовала сердце. Большой талант таился в широкоплечем высоком парне, на верхней губе которого золотился пушок. Только он да отец могли с такой тонкостью отполировать цилиндры и подогнать к ним поршни. Работа спорилась. За нею незаметно ушла осень с темными волчьими ночами, убрались осенние воды из пруда: жадно выпил их большой Тагильский завод, немало пропустило их вододействующее колесо Козопасова. Заметно для глаза понизился горизонт прудовой воды, обнажились прибрежные серые валуны. Река Тагилка хорошо замерзла. В заводях и протоках заблестел под скупым солнцем зеркальный лед, такой прозрачный и тонкий, что сквозь него видны были мшистые камни на дне, водоросли и рыбьи резвые стайки. По утрам потрескивали морозы, стужа сковала горные потоки. Могучие кедры над речным яром стояли тихие, темные.

В одно октябрьское утро в избе внезапно посветлело. Ефим подошел к окну. Все сверкало кругом чистой белизной. Ночью выпал снег, и он сейчас так лучился, что невозможно становилось смотреть. А на пруду, горах и в лесах лежала такая успокаивающая тишина, что у мастера замирало сердце от чистой радости.

«Вот когда наша машина покажет себя! — подумал Черепанов.— Осенью воды много, не жалко, в горах то и дело идут дожди, и пруд все время пополняется. А вот зимой попробуй набери ее, чтобы двинуть колеса!»

В это светлое утро Черепанов в первый раз пустил

свою паровую машину. Она высилась на прочном каменном фундаменте, дышала ровно, ритмично. Плавно, размеренно ходили шатуны, и насосы не задыхались, не захлебывались, как прежде. По трубам, певуче позванивая, весело, торопливо бежала из шахты вода.

Очарованные Черепановы молча стояли перед созданием своих рук. Они казались пигмеями перед огромной машиной, а она покорно выполняла их волю. Радость, самая настоящая и глубокая, наполняла сердца механиков.

На этот раз в срубе, в котором работала машина, собралось не много народу. Любимов стоял в задумчивости перед механизмами и прикидывал выгоды. Его несколько пугало, что в топку уходило много дров. Подумать только — две кубические сажени в сутки! И все-таки работа паровой машины обходилась в двенадцать раз дешевле конной. Вода, конечно, даром, но где ее взять в мелководье?

— Спасибо, Ефим Алексеевич,— без спеси заговорил с механиком управляющий.— Выручил рудник! Чую я, что твоей машине будет почет на заводах!

Этими скупыми словами и ограничилась похвала. Александр Акинфиевич ушел из клети спокойный, горделивый: медный рудник спасен и будет процветать!

Он отдал распоряжение снять конные погоны, лошадей перевести на другие работы, а коногонов поставить на завод к гвоздарному делу. Этим он сберегал хозяину большие деньги.

Демидов остался доволен донесением управляющего и написал Александру Акинфиевичу письмо о весьма полезном действии механики. Вслед за этим письмом от Николая Никитича последовало распоряжение в нижнетагильскую контору о создании должности приказчика механических заведений и о назначении на нее Ефима Черепанова. Отцовское место плотинного на Выйском заводе занял его сын Мирон.

Глава четвертая

1

В России стоял апрель с его синими прохладными зорями, с водопольем, с вешним звучанием резвых ручьев и гомоном перелетных стай. Только-только забродили соки в белоствольной березке и на пригретых

местах из земли полезли зеленые упругие иголки травинок. Милая русская земля! Николай Никитич только сейчас, на смертном одре, почувствовал тоску по родным краям. В большом флорентийском дворце своем умирал демидовский потомок. За окном буйствовала природа чужой страны. В апельсиновых рощах оранжевым цветом пылали плоды, и казалось, что кто-то заботливый щедро развесил среди густой зелени тысячи тысяч цветных фонариков. В распахнутые настеж широкие окна спальни вливалось благоухание, и большие пестрые бабочки вились над клумбами, подобно манящим огонькам. Густо синело застывшей эмалью небо.

На широком ложе, покрытом шелковым балдахином, утонув в пуховиках, отходил потомок уральских заводчиков. Ему только что минуло пятьдесят пять лет, но жизнь ушла из его хилого, истощенного тела. Лежал он маленький, тщедушный, с крохотным восковым лицом, и бесконечная усталость читалась в угасающих глазах. Ничего величественного, привлекательного не осталось от когда-то сильного и жизнерадостного гвардейца екатерининских времен. Радости, увлечения, зависть и страсти оставили больное, иссохшее тело.

У дверей, в кресле, сидел упитанный большеглазый итальянец-лекарь. Молчаливо и неподвижно смотрел он на облаченного в епитрахиль седенького православного священника, который читал отходную.

Вряд ли уже слышал Николай Никитич медленные грустные слова отходной молитвы: он лежал неподвижно, с остекленевшими глазами. В комнате стыла могильная торжественная тишина, и одинокие залетевшие в покой бабочки только подчеркивали ее. В луче яркого южного солнца беспомощно трепетал огонек тоненькой восковой свечки. Капельки ярого воска стекали по свечке и падали на лакированный столик, стоявший у изголовья умирающего.

Отзвучали последние слова молитвы, священник задул свечку, снял и неторопливо свернул епитрахиль. Он скорбно склонился над Демидовым и долго прислушивался. Все кончено! Иерей истово перекрестился:

— Упокой, господи, душу новопреставленного раба твоего...

Лекарь подошел к ложу и почтительно склонил голову.

В ясный лазурный день уральский властелин покинул земную юдоль, а вместе с нею огромное богатство,

созданное великими муками работных людей. Тридцать тысяч крепостных, не зная отдыха, голодные и оборванные, трудились над созданием демидовских сокровищ. Огромные пространства уральских земель и лесов, пятнадцать действующих заводов, десятки деревень, горы металла и груды драгоценных камней, картины великих мастеров, фарфор и золотая утварь — все осталось наследникам, сыновьям Павлу и Анатолию Демидовым, так сходным между собой в тунеядстве и различным по характеру.

По воле покойного, его решили похоронить на далекой родине, для которой он являлся чужим и немилым. Тело положили в гроб, заделали в цинковый ящик и в ожидании приезда наследников поставили в склеп.

Вскоре прилетели осиротевшие птенцы в опустевшее палаццо. Никто из слуг не заметил на их лицах ни скорби, ни разочарования. Старший, Павел, среднего роста, заметно пополневший, с ранней лысиной, деловито распоряжался разделом. Младший, шестнадцатилетний Анатолий, только что прибыл из Парижа, где оставил лицей. Он предоставил хлопотать по хозяйству брату, а сам занялся молодыми флорентинками.

Павел Николаевич не покривил душой перед братом и произвел раздел поровну. Два огромных корабля по его приказу были нагружены демидовскими сокровищами и отправлены в Россию. Управителю санкт-петербургской конторы наказали срочно подыскать земельный участок и отстроить на нем приличествующее здание для размещения сокровищ. Павел Данилович по получении эстафеты немедленно наложил траур в Нижнем Тагиле, а затем быстро отыскал на Васильевском острове место для постройки и приступил к возведению хором для своеобразного музея.

Покойный Николай Никитич не забыл и Флоренцию, завещав городу огромные суммы. Итальянцы не остались в долгу, и на одной из флорентийских площадей, названной в честь его Piazza Demidoff, воздвигли ему памятник. Досужие люди дознались, что монумент этот возвели на средства Демидовых...

Тело Николая Никитича осенью 1828 года повезли из солнечной Италии в Нижне-Тагильский завод, отстоявший от Флоренции более чем на шесть тысяч верст. Гроб водрузили на особо сооруженный катафалк, накрыли черным покровом из тонкого сукна, обложенным по краям и посередине серебристым газом. Шесть чер-

ногривых сильных коней, покрытых черными попонами со сверкающей отделкой, повезли колесницу через всю Европу, вызывая удивление и любопытство встречных. Осенние дожди, грязь и ливни, зимние метели и снежные заносы, ледоставы и вскрытие рек не остановили мрачного кортежа. В России гроб с останками Демидова провозили через города с большой пышностью. Особенно торжественно встретили и провожали похоронную процессию в Киеве. Через весь город колесницу с гробом сопровождали киевский епископ Кирилл и многочисленное духовенство. Хор певчих огласил улицы. Возле каждой церкви, мимо которой везли прах, останавливались, читали евангелие. Унылый звон колоколов сопровождал печальное шествие.

Спустя недели за Киевом последовала Тула. Однако тульские оружейники только из любопытства вышли посмотреть на диковинное зрелище.

— И куда тащат мертвое тело за тысячи верст! — неприязненно встретили они своего былого хозяина.— У нас и своих живых живоглотов хоть пруд пруди!.. А кони-то кони!..

Кроме духовенства и одиноких мещан, никто не провожал тульского заводчика.

Пошли унылые дороги, перелески, деревеньки, занесенные сугробами. Измученным крепостным не было дела до Демидова. Сопровождаемый четырьмя драбантами[1] в черной одежде, экипаж медленно катился среди полей, как мрачное привидение...

2

Похоронили Николая Никитича Демидова в Нижнем Тагиле с большой пышностью во вновь отстроенной Выйско-Николаевской церкви. По наказу наследников управляющий заводами Любимов не поскупился на расходы: храм отстроили с прекрасным резонансом, обилием света и драгоценной живописной росписью. Стены церкви снаружи в нижних частях обложили огромными чугунными плитами, пол тоже сделали чугунный. Отныне под полом стала находиться усыпальница рода Демидовых. Отслужили панихиды, сорокоусты, одарили нищих и с покойником покончили.

---

[1] Телохранителями.

Теперь Александр Акинфиевич и вся нижне-тагильская челядь стали с треволнением ждать наследников. На Каменном Поясе никто и никогда не видел демидовских потомков. Было лишь известно, что оба брата воспитывались во Франции. Старший сын Павел Николаевич, которому перемахнуло за тридцать годков, в эту пору оставил военную службу и успешно подвизался при царском дворе в звании егермейстера. Младший, Анатолий, жил безвыездно в Париже, где только-только покинул лицей. Все остальное было покрыто мраком неизвестности — это особенно озадачивало управляющего заводами.

Любимов родился и вырос в Нижне-Тагильском заводе, возвысился до управляющего. Покойный владелец отличал его, и жизнь Александра Акинфиевича протекала плавно, гладко; Николай Никитич последние годы жил безвыездно во Флоренции, и управляющий заводами чувствовал себя властителем в Тагиле. Правда, на первых порах санкт-петербургская контора причиняла много хлопот и неприятностей, но умный и рассудительный тагильский управитель съездил в столицу и сумел столковаться с Даниловым. Оба они хорошо понимали друг друга.

«Так-то оно лучше: в ладу да в учтивости. Рука руку моет!» — думал Александр Акинфиевич и не скупился на поминки-подарки главному демидовскому управляющему.

Сейчас одно беспокоило Любимова: как поведут себя молодые наследники? Будут ли они по-прежнему жить на отлете или приедут и осядут в родовом горном гнезде? Ко всему этому у Любимова имелась своя тайная тревога и о другом. Управляющий жил бирюком: жена умерла от мучительных родов, оставив ему дочь Глашеньку. Девушке шел шестнадцатый годок. Она была стройная, беленькая, как весенняя березка в соку, а глаза синие. Обладала она чистым и приятным голосом; запоет — песня в душу просится. Любил отец после хлопотливого дня забраться в светелку дочки и послушать ее песни. Хороши и привольны, за душу берут русские песни, но в устах Глашеньки они звучали еще сердечнее, еще теплее.

Слушая дочь, Александр Акинфиевич умилялся:

— И в кого ты удалась, моя радость?

Склонив головку с золотыми косами, девушка улы-

балась отцу и еще звонче пела. Жила Глашенька в верхней светелке, за дальними переходами барского дома, в той самой, в которой в давние-предавние годы томилась красавица полячка Юлька. Многое позабылось людьми о той стародавней поре, только среди седых горщиков да дедов-литейщиков, ныне изработанных, ходили тайные сказы о Катеринке Медвежьем огрызке да красавице Юленьке, казненной Митькой Перстнем. Сказы эти знала и Глашенька: их не раз тихими словечками, нанизывая, как жемчуг, по секрету рассказывала няня — старенькая ласковая Домнушка. То, что она живет в светлице, где когда-то распевала Юленька в жгучей ревности и страдала Катеринка,— все это волновало Глашеньку. В ее сердце рано проснулось неспокойное ожидание любви. Она пела, радовалась жизни, но приходили часы — и молчаливая, грустная девушка долго сидела у оконца.

Однажды на вопрос Домнушки, о чем грустит девушка, Глашенька сладко потянулась и призналась с беспорочной простотой:

— Ах, бабушка, как хочется полюбить всласть!

Старуха не на шутку перепугалась, бросилась к иконам, зажгла лампаду и весь вечер молилась:

— Пронеси, господи, наваждение!

Домнушка скрыла от отца раннее пробуждение тоски в сердце Глашеньки. Морщинистая, сгорбленная няня не осуждала питомицу. Да и как осуждать, если даже сквозь каменные могильные плиты пробивается в щели зеленая травка, если и спустя полвека сама Домнушка не могла забыть своей счастливой поры!

Однако управитель догадывался о многом и, ожидая приезда молодых демидовских наследников, больше всего опасался, чтобы его единственная Глашенька не попалась им на глаза. Он отлично знал натуру столичных стервятников! Чтобы отвести беду, он подолгу беседовал с дочкой и, между прочим, заводил речь о любви.

— Нет ничего краше и дороже любви! — спокойно говорил он ей.— Но любовь — что облачко: дыхнешь и улетит, растает, а потому беречь ее надо и попусту нельзя звать это чувство к себе. Когда человек в поре, то оно краше и сладостней!

Однажды отец пришел в светелку, сел к столику и начал осторожный разговор с дочкой. Он вынул из од-

ного кармана новенький золотой лобанчик[1] и положил его на ладошку девушки.

— Гляди, Глашенька, как горит! Красив. Вот и любовь — как этот лобанчик золотой: пока он у тебя цельной монетой в кармане,— ты богач! А вот! — Он полез в другой карман и извлек из него горсть грязных, истертых медяков.— Глянь-ка сюда! Видишь? Разменял лобанчик на тысячу копеечек,— стал нищим: и таскать медяшки трудно, и грязные они, тусклые! Так и любовь: беречь ее надо до настоящего часа.

Глашенька рдела, но внимательно слушала отцовские поучения.

...Старший наследник Павел Николаевич Демидов жил в отцовском особняке в Санкт-Петербурге. Утесненный в средствах, которые по наказу отца отпускали из главной конторы (а отпускали немало, сто тысяч рублей в год), молодой егермейстер двора потихоньку влезал в долги. Балы, которые он давал, не отличались роскошью. Не раз он вступал в перепалку с прижимистым Даниловым, но тот непреклонно гнул свою линию:

— Для вас же стараюсь! Придет время, господин, и помянете меня добрым словом!

Ждать приходилось долго, батюшке подходило только к шести десяткам; сколько он протянет, кто знает? Однако все обернулось неожиданно приятной стороной: Николай Никитич оставил земную юдоль и перекочевал в подвал тагильской церкви. Тут-то и встрепенулся егермейстер двора Павел Николаевич. Он задал такой бал на поминовение души батюшки, что о нем долгое время говорили в столице.

Данилов, проводя расходы владельца по счетным книгам, пришел в неописуемое волнение:

— Батюшка, господин мой, да ведь с такими пирами и в трубу вылетим!

Демидов строго поглядел на управляющего, и тот поразился выражению лица и взгляду своего хозяина: что-то новое, грозное читалось в них. Не успел он опомниться, как егермейстер холодно и властно сказал:

— Что за господин такой? Господином величают и мелкого чиновника и дворянина-однодворца. Отныне и до века в обращении ко мне дозволяю применять только полный титул! Разумей, раб, и повтори за мной!

---

[1] Золотая монета достоинством в 10 рублей.

Туман заволок глаза Данилова: никак он не ожидал такого внезапного высокомерия. Чувствуя под собою колебание почвы, он рабски повторил вслух:

— Ваше превосходительство... Егермейстер двора его императорского величества... Кавалер орденов...

На лбу у старика выступил холодный пот. Повторив все титулы и величания, он спросил:

— Так, господин, каждый раз и в бумагах то ж?

— Олух! — заорал Демидов.— Сказано, не просто господин, а ты вновь за старое! В бумагах особо, хоть донесение и в одну строчку, а титул полный! Потом о деньгах — не пикни! Я тут хозяин. Заикнешься — выкину или в далекую вотчину свинарем сошлю!

Хотел Павел Данилович заикнуться: «Да ваш батюшка давно мне вольную дал!» — однако промолчал: кому охота оставлять теплое, насиженное место?

На другой день Демидов издал указ по санкт-петербургской конторе — именовать ее главной, Данилова отныне величать главным директором, Любимова — директором нижне-тагильских заводов, а прочих — управляющими. От пышных наименований, конечно, ничего не изменилось, но старику было лестно это величание. Он немедля отправился к молодому хозяину и в припадке рабьей преданности облобызал его ручку.

Одряхлел телесно Данилов, не так поворотлив стал, однако быстро изучил характер Демидова и не менее быстро приспособился к нему.

Молодой хозяин уже не довольствовался седым крепостным камердинером и нанял для услуг к своей особе тощего бритого и нелюдимого на вид англичанина Джемса. Иноземец на всех смотрел свысока, говорил мало, держался невозмутимо; по губам его скользила брезгливость. Барина он одевал всегда с великой важностью, словно поп обряжал архиерея.

По вступлении в наследство Павел Николаевич решил выехать на Урал и осмотреть заводы. Началась подготовка к дальней дороге: чинили экипажи, готовили возки с кладью, издавались приказы по тагильской конторе. Павел Данилович спешно написал Любимову, как подобает встречать хозяина и что ему показывать. В марте сборы окончились, и Демидов, испросив разрешение у государя, отбыл на Каменный Пояс.

3

Далек и однообразен зимний путь! В опустелых полях, как вдова на похоронах, надрывно голосила метелица. Она злилась, швыряла в глаза Демидову пригоршни колкого снега и снова заходилась воем. Как челнок по вздыбленным волнам, нырял возок с пригорка в ухаб, с ухаба в сугроб. Конца-краю не предвиделось пути; минули Москву, Арзамас, пересекли Чувашию, оставили позади Волгу и после долгих неудобств добрались до Башкирии.

Молчаливый слуга-англичанин сидел рядом с ямщиком и удивленно поглядывал на необъятные просторы. Он не утерпел и сказал:

— Как велика ваша Россия!

Русский ямщик поднял голову и с гордостью отозвался:

— Расея-матушка просторна, без конца-краю. Мы ведь только краешек с тобой отхватили, а все еще впереди! Вот и попробуй, потягайся с таким царством-государством! Никто и никогда его не сломит!

Льдистыми синими глазами англичанин неприязненно смотрел вперед, о чем-то думая.

— Что ж ты молчишь? — толкнул его в бок бородатый молодец.

— Велика страна, а городов мало! — хмуро отозвался камердинер.

— Неверно! — вступился за свою землю мужик.— Городов много, но еще больше простору. И край-то наш молодой. У русских все впереди! Нам еще жить да жить! А кто молод, за тем радость и счастье!

Англичанин не отозвался, замкнулся в себе...

В одно утро перед путешественниками на горизонте встали горы. Поскрипывая полозьями, обоз медленно поднимался на увалы. Величаво кругом шумели бесконечные дремучие леса, впереди под самое небо поднимались темные вершины — шиханы — и неумолкаемо гремели не замерзающие даже в лютую зиму падуны-ручьи.

За сто верст от Нижнего Тагила демидовского наследника встретили высланные Любимовым конники: лесничие, егеря, казаки. Они сопровождали возок хозяина до самого завода.

Тем временем в Нижнем Тагиле с минуты на минуту ждали высокого гостя. Во дворец согнали десятки по-

денщиц. Они прибирали, чистили, выбивали дорогие бухарские ковры, промывали пыльные хрустальные люстры, натирали воском паркет. Из каменных кладовых, из заветных окованных сундуков вышколенные слуги извлекали дедовскую утварь: золотые кубки, серебряные чаши, парчовые скатерти. Спешно изготовили для дворни новые наряды с галунами. Казалось, снова ожил дремавший до сих пор барский дворец. Всюду мелькали бритые лакеи в темных фраках, гайдуки, скороходы, казачки для мелких услуг. В горницах и залах, проветренных и заботливо натопленных, сейчас все сверкало, блестело и переливалось.

На синем рассвете в Николин день на завод прискакал егерь и передал управляющему, что хозяин вступил в пределы своего владения, а к полудню его надо ждать в Тагиле.

Поспешно распахнули ворота. Управляющий вместе с приказчиками, уставщиками, кричными мастерами, кафтанниками — почтенными стариками, отслужившими Демидовым верой и правдой по многу десятков лет,— суетился на площади. В церкви рядом мелькали огоньки возженных свечей и лампад. На паперти и по дороге, ведшей к ней, разбросали пахучую хрустящую хвою. Маленький тощий священник с жидкими косичками, заправленными под вытертый воротник старой шубенки, спозаранку суетился в притворе: приготовлял хоругви, икону для благословения. Крепкий рыжий детина дьякон с красными, как у кролика, глазами поминутно раздувал кадило. Кудреватый синий дым струйкой поднимался и быстро таял в морозном воздухе. Иерей поминутно выбегал на паперть и, задрав бороденку, взывал к звонарю:

— Гляди не прозевай!

Под большим медным колоколом стоял в полушубке и в пимах бородатый звонарь и зорко всматривался в белесые дали.

Александр Акинфиевич в последний раз осмотрел медную пушчонку, выставленную подле барского дома. Отставной артиллерист надраил орудие до блеска и зарядил двойным зарядом.

— Ты уж, Иванушка, постарайся! — просил Любимов.— Тарарахни так, чтобы гул по горам великим громом раскатился!

Пушкарь поежился, признался:

— По вашему приказу зарядил, да страшновато.

Пушчонка по годам ровесница прадедам, да и палили из нее давненько. Ненадежна!

— Пали, выдержит! — приказал управляющий.— Как только сойдет из саней господин, так и дуй горой!

— Уж вы не беспокойтесь. Пальну, как велено!

Как ручейки в вешнюю талую пору, на площадь с говором стекался народ. Пришли черномазые углежоги, вылезли на-гора́ истомленные горщики, явились литейщики, кузнецы. Запестрели цветные платки заводских женок, и зазвенели над снегами резвые ребячьи голоса. Людское море волновалось, гудело. Тусклое солнце, как совиное око, выглядывало из-за туч. Дорога была пустынна,— всех проезжих и пешеходов полицейщики согнали в сторону, в сугробы.

Но вот вдали вихрем заклубился снежок, мелькнула черная точка, быстро, на глазах, увеличиваясь.

— Едут! — закричал на колокольне звонарь и вслед за этим ударил в колокол. Тяжелые гудящие звуки поплыли над заводом, над прудом и дальними горами. Священник в рясе, надетой поверх шубки, вышел с иконой на паперть. За ним вынесли хоругви, подхваченные ветром. Управляющий бросился вперед...

Все уловили звон бубенцов, который с каждым мгновением нарастал и становился все ближе и ближе. Минута — и на дороге выросли и взметнулись вихри снежной пыли. Впереди неслась резвая тройка серых. Позади саней, вытянувшись в струнку словно гончие, на мохнатых башкирских иноходцах скакали егеря. И дальше, оглашая просторы звоном колокольчиков, неслись еще две тройки.

— Едут! Едут! — заволновались в толпе, и все стали тесниться к паперти, на которой суетился в ожидании Демидова церковный причт со священником во главе.

Тройка серых, покрытая паром, закусив удила, бешено вынеслась на площадь. Бравый кучер в косматой папахе во всю глотку кричал:

— Эй, сторонись! Разда-й-ся!..

Народ отхлынул в стороны, и образовалась широкая улица, в которую остервенело ворвалась взмыленная тройка. Ямщик-удалец натянул вожжи, и кони-звери как вкопанные остановились у самой церкви.

Любимов на ходу смахнул с головы ушанку и закричал зычно:

— Ребята, хозяину ура!

— Урр-р-а! — покатилось над площадью, над прудом и горами.

Три бородатых кержака, в дареных господских кафтанах из синего сукна с позументом по вороту и на полах, во главе с управляющим предстали с низкими поклонами перед мягким меховым узлом, втиснутым в сани.

— Извлечь! — раздался басовитый голос из узла.

Дядьки и егеря под восклицания толпы извлекли из саней чучело, завернутое в шубу, на которую напялен был широчайший ергак[1], с сибирским малахаем на голове. Где-то в глубине мехового воротника белело лицо.

— Поставьте на ноги! — прохрипело из узла.

— Ваше высокопревосходительство! — восторженно возопил Любимов.

Егеря бережно поставили Демидова перед иконой, горевшей позолотой на солнце. На ветру колебались хоругви. Из кадила, которым усердно размахивал дьякон, взвились синие витки дыма. Управитель услужливо снял с головы заводчика малахай и откинул воротник шубы. Перед тагильцами предстало румяное, сытое лицо Павла Николаевича с усталыми серыми глазами. Священник выступил вперед и, осеняя иконой прибывшего барина, испуганным голоском речитативом изрек:

— Благословен ваш приезд, ваше высокопревосходительство, господин егермейстер двора его императорского величества, кавалер...

Попик запнулся, запамятовав дальнейший титул Демидова, и, чтобы отвести грозу, возопил на всю площадь.

— Ваши подданные счастливы зреть вас в здравии и в расцвете сил! — Священник переглянулся с дьяконом, и тот, а за ним и хор рявкнули:

— Многая ле-е-та-а!.. Многая ле-е-та-а!..

Под возгласы хора вдруг грозно ахнула пушка: над площадью загремело-загрохотало, над толпой с визгом пронеслись осколки: к счастью, ребят не задело, но пушкарь Ивашка завыл от боли: ему оторвало руку. От большого заряда пушку мгновенно разнесло, дым поднялся волной.

---

[1] Тулуп.

Демидов в страхе зажал уши, тяжело упал и покатился в сугроб. Народ бросился врассыпную. Развевая бороденкой, перепуганный священник, зажав под мышку икону, проворно юркнул в церковный притвор и часто-часто закрестился:

— Свят, свят! С нами бог и всемилостивая защита!

Дьякон брякнул кадилом, хотел снова рявкнуть многолетие, но раздумал и махнул рукой:

— Светопреставление! И что, нечестивцы, надумали?

Дым постепенно рассеялся, все понемногу пришли в себя и с опаской стали сходиться к храму. Управляющий с егерями извлек барина из сугроба, и его под руки повели в дом. Егермейстер устало передвигал онемевшими ногами. Был он очень бледен и взволнован.

— На что же это похоже? — сердито выкрикивал он, и затуманенные испугом глаза его укоряли управляющего.— Это что же, своего властелина задумали загубить?

Дрожа в ознобе, Любимов не мог вымолвить и слова.

— Ва-ва!..— мямлил и заикался он.— Пп-у-шку не до-гля-де-ли, ше-ль-ме-цы!

— Бездельники! — взвизгнул, переступая порог прихожей, Демидов.— Я вас закатаю, всех перепорю!..

Внутри у него все кипело и клокотало. В приемной на скамьях в ожидании барина сидели лесничие, приказчики, кафтанники, пристав. При появлении хозяина их словно ветром сдуло со скамьи. Они разом вскочили и дружно низенько склонили головы.

— А, воры, расхитители! Вот ты! — заревел Демидов и схватил за седую бороду старика приказчика, который рабски верно отслужил на заводе добрых полвека.— Много нахапал? Сказывай! — Резким движением он рванул его вправо-влево, отчего голова старика мотнулась, а на глазах выступили слезы.

— Батюшка! — вырвал из рук Демидова бороду и упал ему в ноги приказчик.— Еще деду вашему я служил и кафтаном от него награжден. Да мы живот свой, батюшка, готовы за вас положить!

— Врешь, стервец! — оттолкнул его Демидов и пошел дальше. За ним поспешил Любимов.

— Ваше высокопревосходительство, успокойтесь! Ради бога, успокойтесь! — с отчаянием взмолился он,

обретая наконец дар речи.— Здесь собрались только самые преданные ваши слуги, верноподданные!

— Раздеть! — закричал заводчик.

Джемс, следовавший по пятам господина, молча стал разоблачать его. К нему на помощь угодливо бросился Любимов. Он встал на колени и осторожно стащил с Демидова большие валяные сапоги. Управляющий все еще боялся хозяйского гнева и, с готовностью перенести огорчения, преданно и заискивающе смотрел ему в глаза. Однако Павел Николаевич, видимо, израсходовал последние силы. От жарко натопленных печей Демидова разморило, по телу разлилась истома. Он осоловело взглянул на Любимова и примиренно прошептал:

— Чарочку!

Барина бережно взяли под руки и повели в одних чулках в столовую. Только подошли к двери, как она разом широко распахнулась и на пороге с подносом в руках встала веселая, румяная Глашенька.

Демидов сразу встрепенулся, лицо стало умильным. Он улыбнулся и потянулся к отпотевшему графинчику с водкой.

— Ах, боже мой, и что за красавица такая? Откуда она? — не сводя глаз с девушки, подобревшим голосом заговорил он.

Вперед выступил управляющий и смиренно склонил голову:

— Моя дочь, ваше высокопревосходительство. Увидела ваши напрасные треволнения и выбежала навстречу.

— Вот молодец! Вот умница! — любуясь Глашенькой, похвалил Демидов и осторожно взял девушку за подбородок.— Не знал я, что у тебя, борода, такая раскрасавица дочь! — закончил он совсем мирно, залпом хватил чарку хмельного и повеселел.

4

Сутки отсыпался Павел Николаевич с дальней дороги. После отдыха его свели в баню, знатно выпарили, размяли вялое тело, умыли, уложили, как восточного властелина, на мягкую софу в предбаннике, поставили перед ним наливки и разложили яства. Демидов сладко прищурил глаза и вдруг спросил Любимова, благосклонно хлопая его по плечу:

— Скажи-ка, хитрец, для кого дочку бережешь?

Управляющий затрепетал. Потупив глаза, он со скорбью в глазах ответил:

— Не доведет господь оберечь мое богатство. Больна моя доченька, ваше высокопревосходительство. Чахотка!

— Но ведь она румяна, как яблочко? — усомнился Демидов.

— В последнем градусе ходит, вот хворь на ланитах и горит-играет! Ох, и горько моему отцовскому сердцу такое выстрадать! — Управляющий сокрушенно вздохнул и перекрестился.— Да будет на все божья воля!

Павел Николаевич осторожно отодвинулся от Любимова, недовольно насупил брови.

— Что же ты раньше мне об этом не сказывал, а подослал с чаркой?

— Сама выбежала, ваше высокопревосходительство. Как завидела в оконце вас, так дух ей от радости и восторга захватило и, не спросясь, сорвалась навстречу.

Демидов ощупал свое полное, вялое тело и недовольно покосился на управляющего:

— Полагаю, на сей раз пронесло. Боюсь заразы. Не скрываюсь, боюсь! Ты убери ее подальше от моих покоев. Да и сам ко мне близко не подходи!.. Жаль, весьма жаль, красива клубничка, румяна, да опасна!

Любимов рабски пролепетал:

— И на глаза хворую не пущу!

В тот час, когда Демидов наслаждался банным теплом, в курной избушке, крытой дерном, отходил пушкарь Иванка. Горщики донесли его до хибары и уложили на скамью. Сердобольные женки обмыли рану, перевязали, да уже поздно: кровью изошел старик. И когда Демидов вспомнил о нем и вызвал пушкаря на суд, ему доложили:

— Иванушка приказал долго жить. Антонов огонь прикинулся, и умер, бедолага. Перед господом богом он теперь слуга!

— Некстати поторопился! Не расчелся за содеянное с хозяином и грех в могилу унес! — недовольно сказал Демидов.

Работные стояли молча, опустив головы. Кипело у них в груди, да что скажешь барину, когда у него сердце каменное, а душа червивая? Эх-х!..

Демидов словно не видел тяжелой жизни работных. Приходя в темные холодные цехи, он подолгу присматривался к работе. Впервые Павел Николаевич увидел и рассмотрел пышущие жаром домны, обжимные молоты, людей же он как будто не замечал: держался высокомерно, ни с кем не вступал в разговор. Старый литейщик, который знавал отца и деда его, не утерпел и смело подошел к заводчику.

— Ваша милость, поглядите на защитку! Совсем погорела от огня! — обратил он внимание Демидова на кожаный фартук. По запекшемуся лицу рабочего лил пот, ворот ветхой рубахи был расстегнут, большие жилистые руки устало повисли вдоль тела. Глянув на чумазое, покрытое потом и сажей лицо литейщика, заводчик брезгливо отвернулся от него и, оборотясь к Любимову, спросил:

— Чего он хочет?

Управляющий потупил глаза, заюлил:

— Он говорит, защитка погорела! Сами изволите видеть, ваше превосходительство, как им не погореть в таком пекле. Разве напасешься?

Рабочий шаркнул по чугунным плитам пряденьками[1] и снова очутился перед лицом хозяина.

— Это верно, она долго не выдерживает, но ведь давненько ее меняли. А нам каково, тело запекается. Поглядите, кожа лопается! — настойчиво говорил литейщик, размахивая снятой войлочной шляпой.

— Любимов, о чем говорит этот холоп? — багровея, спросил Демидов.

Моргая глазами работному, чтобы он ушел, управляющий угодливо передал заводчику:

— Ваше высокопревосходительство, он просит, чтобы чаще меняли защитки.

— Хоть раз в год! — добавил литейщик.

Демидов хмыкнул носом и снова отвернулся.

— Передай ему, Любимов, что этого делать нельзя! — сердито сказал Павел Николаевич.— Стыдно разорять хозяина. Эка важность, подумаешь, если запечется от жара лицо раба! Ведь ему не в полонезе идти! — улыбнулся своей шутке Демидов.

Любимов слово в слово повторил речь барина, стараясь всей своей грузной фигурой оттеснить рабочего.

— Так! — с укором выдохнул литейщик.— Работенка каторжная, а барин и говорить с нашим братом не

[1] Лаптями из веревок; их надевали на сапоги.

хочет. Снизойти не желает! Эх-х! — Работный дерзко напялил на лохматую голову войлочную шляпу.

— Любимов, это еще что? Шапку перед барином долой! Высечь дерзкого! — распаляясь гневом, закричал Демидов.

— Что ж, и на том спасибо! — мрачно посмотрел на заводчика работный.

— Взять! Немедля взять! — взвизгнул егермейстер.

Словно из-под земли выросли два гайдука и схватили литейщика. Барин отвернулся и, посапывая, быстро, вперевалку пошел к выходу. На ходу он отчитал управляющего:

— Дерзости! Одни дерзости! Распустил! Гляди, сам бит будешь!

Побледневший Любимов тихо брел за хозяином, рабски отмалчиваясь, давая ему «выходиться».

— Сани! — крикнул Павел Николаевич.

Его бережно усадили и повезли.

— Куда прикажете, ваше превосходительство? — осведомился управитель.

— На Выйский рудник!

Кони быстро доставили их на медный рудник. Над бревенчатым срубом поднимался пар.

— Что это такое? — спросил заводчик.

— В сем амбаре работает водокачальная паровая машина Черепанова, ваше высокопревосходительство. А вот он и сам!

У распахнутых дверей стоял плечистый старик, без шапки, не боясь холода, в легком кафтане. Демидов вышел из возка и с важностью пошел к амбару. Ефим остался стоять у дверей. Он дождался, когда подошел Демидов, и степенно, без унижения, поклонился ему.

— Черепанов? Весьма рад, весьма рад! — заговорил Павел Николаевич.— Ну-ка, покажи свою машину.

Ефим Алексеевич провел прибывших в полутемное помещение. В глубине амбара высилось сложное механическое сооружение. Демидов загляделся на работу машины: ритмично ходили шатуны, с невероятной быстротой вертелся маховик. Все части ее были начищены и блестели. Вокруг — чистота. У рычагов в кожаном запоне стоял сын Черепанова — Мирон. Он учтиво поклонился Демидову.

Павел Николаевич, вглядываясь в непонятные для него механизмы, обошел паровую машину. В крупные детали он тыкал перстом и спрашивал:

— А это что?

Ему объясняли, но он ничего не мог понять, сердился, однако обнаружить свое незнание не хотел.

— Превосходно нами придумано! — горделиво подняв голову, важно заявил он.

Черепанов спокойно выслушивал хозяина. Поведение механика, его сдержанность не понравились заводчику.

— Ты что же помалкиваешь? — хмурясь, спросил Демидов.— Разве ты недоволен своим хозяином?

— Премного довольны! — степенно поклонился Ефим, а на душе стало тоскливо. Он с грустью подумал: «Рассудил бы, сколько людей сия машина от беды спасла!»

Демидов поморщился и сказал:

— Доволен-то доволен, а вот стоило ли ставить сей самовар? Дорог весьма. Ну да ладно, в заботе о жизни человеческой и этого не жаль! — великодушно изрек он.

Мирон выступил вперед, хотел сказать что-то дерзкое, но под строгим взглядом отца смирился и снова отошел к машине.

Чтобы отвлечь Демидова, управляющий предложил ему:

— Может, в рудник изволите заглянуть?

— Что ты! Что ты! — испуганно отмахнулся хозяин.— Да в своем ли ты уме?

На сытом лице Демидова выразился ужас. Мирон не удержался.

— Поглядите, господин, как люди там мытарятся! — сорвалось у него с языка.

Может, Демидов и не слышал дерзкого замечания или не пожелал пререкаться со своим крепостным, но он промолчал и пошел из амбара. Любимов толкнул Черепанова в плечо:

— Благодари барина. Экий ты бесчувственный! Осчастливил вас посещением!

Ефим молча поклонился.

Сидя в санях, Демидов поминутно оглядывался на Выю:

— Любимов, что же творится? Я его осчастливил, дозволил построить этот самовар, а он хоть бы что. Неблагодарный пошел народ. Избаловался!

— Ваше превосходительство, — прочувствованно отозвался управляющий,— дед и батюшка ваши дер-

жали людей в строгости, плетями да батогами в разум вгоняли, а ноне с опаской приходится сечь! — со вздохом закончил он.

— Это ты напрасно! — самонадеянно перебил Демидов.— Не таких скручивают! Часом, не слыхал про бунтовщиков, что на Сенатской площади поднялись против царя? То-то, в Нерчинск, на рудники угодили...— Хозяин засмеялся и, показывая на дальние синие горы, спросил: — Чьи они?

— Ваши.

— А лес?

— И лес ваш, и луговины на Тагилке ваши, и рудники ваши!

— А за синими горами наши земли?

— Никак нет, ваше превосходительство, Походяшина!

— Как он смел у батюшки их купить!

— Ни батюшка, ни дед, ни прадед ваши земли не продавали,— пояснил Любимов.

— Выходит, оттягал, шельмец! Погоди, я ему покажу! — пригрозил Павел Николаевич невидимому врагу и, довольный собой, улыбнулся: — Мои будут!

5

Демидова раздражал скрежет штанговой машины Козопасова, и он приказал на время остановить ее, а механика вызвал к себе.

Обиженный распоряжением хозяина, Степан снова запил горькую. Когда из конторы прибежал за ним скороход, механик лежал вдрызг пьяный. Однако его растормошили, вылили на голову ведро ледяной воды и, подталкивая, повели из дому. Он уперся и наотрез отказался идти на поклон к барину.

— Не желаю! — решительно заявил Козопасов.— Нет более мастера; был, да весь вышел! Душу из меня выпотрошили и сделали пьянчугой. С горя, от обиды пью. Не пойду к тирану!

— Пойдешь! — пригрозил скороход, но механик завалился на скамью и не отозвался.

Скороход его и толкал и кулаками угощал, но механик и головы не поднял. А когда назойливость гонца перешла границы, Козопасов вскочил, глаза его гневно вспыхнули:

— Уйди, пока душа не зашлась! Эх, ты...

Скороход понесся в контору и осторожно доложил о механике управляющему. Любимов вспылил:

— Он что, ошалел? Сам господин Демидов его кличет! Послать полицейщиков!

Но и полицейщики ничего не могли поделать с Козопасовым. Он отрезвел к этому времени, сидел за столом угрюмый и злой. Перед ним лежал каравай, стояла чашка с квасом, в руке механик держал нож, намереваясь откромсать краюху.

— Не пойду! — твердо заявил он полицейщикам.

— А мы тебя силой возьмем! — с ехидной улыбочкой сказал старшой.— Мы тебя, милок, вот этой веревочкой спеленаем и сведем на поводку!

Высокий, сухой, но сильный Степан во весь рост поднялся из-за стола с ножом в руке.

— Попробуй тронуть — по горлу полосну!

Полицейщик встретился взглядом с Козопасовым, и ему стало не по себе.

«И впрямь, зарежет! Кому охота под нож соваться?» — обеспокоенно подумал он и залебезил:

— Ты, того-этого, Степанко, зря злобишься! Мы, как добрые люди, малость подшутили. Господин серчает, ой, как серчает! Велел тебя в казематку отвести. Иди, милок, сам, без скандала. Отоспишься, и все забудется к тому часу!

Полицейщик говорил мягко, льстиво, упрашивал:

— Сам посуди, нам ведь хуже твоего. Не подведи, братец, прогонит этак хозяин нас. Женки, ребятишки ведь у нас...

Козопасов спрятал за голенище нож и совсем мирным голосом предложил:

— Ладно, в казематку согласен!

Он взял под мышку каравай и пошел из хибары. С опаской поглядывая на его могучие плечи, полицейщики пошли следом. Они отвели его в каменный холодный амбарушко с оконцем, забранным решеткой, и заперли на замок.

Обо всем они подробно доложили Любимову.

— В казематку отвели, а так не подступись. Страшен! Не за себя боимся, за господина. Приведешь, впустишь в покои, еще, оборони бог, полоснет барина ножом; что тогда?

— Это верно, опасно выпускать смутьяна из каземата! — согласился управляющий.— Погоди-ка, доложу господину, какой приказ выйдет?

Среди других дел Любимов завел речь о Козопасове.

Демидов вспылил:

— Почему не идет этот Козо-па-сов? — с насмешкой растягивая фамилию, спросил он.

Любимов потупился и виновато сказал:

— Во всем я причина. Наказывайте меня, но выслушайте, ваше высокопревосходительство. Козопасов не в себе. Он немного рехнулся! — Управляющий повел по лбу перстом.— Можно ли пускать пред ваши светлые очи безумца? Страшен! Нет, лучше я понесу грех, чем расстраивать ваше сердце...

— Шалый, стало быть, Козопасов! Но это ничего, мы врачевать умеем. Дать ему двести розог! — с еле скрываемой злостью вымолвил Демидов.— Нет, впрочем, этого мало. Триста! Сегодня же, непременно! Я им покажу, кто такой есть хозяин!

Любимов на цыпочках отступил к двери; униженно кланяясь, он с готовностью обещал:

— Тотчас варнака отхлестаем, ваше высокопревосходительство! — Он юркнул за дверь, и слышно было, как под его тяжелыми шагами заскрипели половицы...

Однако отстегать Козопасова побоялись. Когда полицейщики во главе с приказчиком Ширяевым вошли в каталажку, механик понял их намерения. Он прислонился плечом к стене и не сводил настороженного взгляда со своих врагов.

— Ну, иуда, берегись, зарежу! — пригрозил он.— Тебя изничтожу и с собой покончу. Один конец! Измытарили, ироды!

Взгляд Козопасова прожигал приказчика. Ширяеву некуда было скрыться от этого жуткого взгляда своей затравленной жертвы.

«И впрямь, безумец!» — со страхом подумал он и отступил.

— Погодите, братцы, мы потом, того-этого. Пусть сердце его остынет! — Изрядно струхнув, он вместе с полицейщиками, оглядываясь, удалился из узилища.

В кабинет к Демидову неведомыми путями, минуя Любимова и камердинера Джемса, пробрался Ефим Черепанов. Павел Николаевич сидел в глубоком кресле за чтением только что полученного письма из Санкт-Петербурга. Скрипнула дверь, и на пороге встал механик.

Демидов испуганно вскочил.

— Что тебе надо? — встревоженно спросил он и сейчас же стал за кресло.

Но Ефим держался спокойно и опечаленно.

— Простите, господин, что незваный явился, но тяжело мне! — с видимым страданием сказал он. Демидов уловил искренность в голосе Черепанова.

— Обидели тебя? — вдруг догадался Павел Николаевич.

— Не о себе пришел просить! — Черепанов вдруг опустился перед заводчиком на колени.— Пощадите Козопасова, оберегите его от розог! Больной он и обиженный жизнью человек. Не топчите в грязь его человеческое достоинство. Золотые руки у него, умен и предан делу! Зачем же так жестоко! — со страстной горячностью говорил механик.

Демидов с изумлением разглядывал Черепанова.

— Да он тебе родня, что ли, сват или брат? — допытывался он.

— Не родня: не сват и не брат. Он человек! — с большой силой вырвалось у Ефима.

— Ты, милый, не добавил, что он не просто человек, а мой крепостной человек! — перебил Демидов.— Что хочу, то и сделаю с ним. Хочу — в шахту пошлю, хочу — свинопасом сделаю! Эка важность, подумаешь, крепостного отстегать!

Черепанов поднялся с колен. Мрачный и суровый, стоял он перед крепостником. Демидов смутился под его умным и строгим взглядом.

— И свинопасы люди, господин! И какие еще труженики! — с большой теплотой сказал механик.— На свете всякий труд благороден, господин, ибо он идет на пользу человека. Но только тогда труженик творит диво дивное, когда душа его спокойна и поет в работе! Только враг старается выбить из рук мастера его силу, помутить злобой разум! Не к лицу это русскому человеку! Простите, господин, Козопасова, не трожьте его! Можете вконец погубить талант! Вы его оскорбите розгами, а он от огорчения в петлю полезет; не перенесет горя, ибо и так немало он пережил, измытарили приказчики человека. Кто-кто, а уж я хорошо знаю его хрупкую душу.

Демидов с любопытством разглядывал своего механика:

— Дивен ты человек, Черепанов! За другого просишь, а не знаешь, что я волен и тебя отхлестать!

— Я и мой Миронка от всего сердца робим на пользу завода. Не провинились мы, господин, перед вами. Но если можно заменить Козопасова, я готов пойти за него на позор! — с волнением сказал Ефим.

Закинув руки за спину, Демидов прошелся по кабинету. Он медлил с решением. «Отстегать или не отстегать? — думал он.— Что скажут соседи? Черепановы и в самом деле старательные люди. Они еще пригодятся! Не лучше ли показать перед людьми свое великодушие?»

Он остановился перед механиком, прямо глядя ему в лицо. Черепанов не опустил глаз перед барином.

— Вот что,— сказал Демидов,— так и быть, ради тебя прощаю Козопасову его дерзость! Смотри, ты мне за него отвечаешь. Надеюсь, что ты с сыном еще прилежнее будешь думать о благе моем.

Ефим покраснел, глаза его оживились. Переминаясь с ноги на ногу, он терзал шапку в руках.

— Спасибо, господин. Будем от всей силы работать, и хочется мне о том слово сказать, да боюсь...

— Говори! — ободрил Демидов.

Черепанов загорелся, светлые тени побежали по его лицу. Он с волнением рассказал о своей мечте:

— Сын надумал построить дивную машину, господин. И я о том же в уме денно и нощно держу. Хотим мы, господин, сробить «сухопутный пароход», чтобы из шахты на завод руду возить не на конях, а на машине!

— Что ты сказал? — вспыхнул Павел Николаевич.

— «Сухопутный пароход» затеяли мы! — опустил голову Ефим.

— Да вы просто сдурели! — вскричал Демидов.— Нет, малый, это вам не по уму-разуму дело. Нет, нет! Только англичанину по силе такая выдумка.

— Напрасно так думаете, господин,— с обидой запротестовал Черепанов.— В народе так сказывается: красна́ птица пером, а русский человек — умом. Дозвольте нам свою силу попытать!

Павел Николаевич помолчал, потом отрицательно покачал головой.

— Сейчас не позволю. С умными людьми в столице посоветуюсь и дам вам знать. Боюсь, весьма боюсь, что не справитесь вы с выдумкой. А кроме того, прикинуть надо, выгодное ли это дело,— нет ничего дешевле рабочей силы и стоит ли тратиться на машины?

— Подумайте, господин,— с грустью промолвил Че-

репанов.— Но и на том спасибо. Пожелаю вам доброго здоровья! — поклонился Ефим.

Павел Николаевич величественным жестом протянул руку. Словно не понимая желания барина, Ефим снова низко поклонился и отступил к порогу. Держался он прямо, высоко неся голову. Во всей его широкоплечей фигуре чувствовалась большая покоряющая сила. В этот миг Демидов понял, как силен и кристально чист душой простой русский человек. И хотя он не облобызал рабски его руку, но что-то удерживало заводчика от неприязни к механику. «И честен, и умен, и благороден!» — признался он себе, но сейчас же нахмурился и отогнал эту мысль...

Любимов поразился, когда вечером Демидов объявил ему:

— Приготовить в дорогу! В четверток выбываю в Санкт-Петербург.

Радость разлилась по сердцу управляющего. Еле сдерживаясь, он опечаленно воскликнул:

— Ваше высокопревосходительство, чем мы, ваши рабы, обидели вас? Только и радости было ваше пребывание здесь! Нельзя ли остаться хоть на недельку?

— Не лукавь! — перебил его Демидов.— Помни, слово мое — закон. Зван государем императором в столицу! — с важностью вымолвил он, и Любимов похолопски склонил голову.

Царю, конечно, не было дела до своего егермейстера. Писали Демидову из Санкт-Петербурга его друзья и предупреждали, что вскоре при дворе предстоит большой бал, и если Павел Николаевич мечтает попасть на глаза государю, то пусть поспешит. Ко всему этому Демидову на Урале надоело, и он заторопился к отъезду. В назначенный день он выехал из Нижнего Тагила. За его возком тянулся большой обоз, груженный уральскими дарами. Ехал Павел Николаевич под надежной охраной. Впереди расстилались глубокие снега, в серебристой изморози стояли как зачарованные леса, оледенелыми лежали в низинах озера. Под равномерный скрип полозьев сладко спалось Демидову, и грезился ему далекий Санкт-Петербург и его радости...

А в это самое время ликовал и восторгался нижнетагильский управляющий. Только-только демидовская тройка вырвалась из ворот и понесла возок с господином по накатанной Казанской дороге, как стан Люби-

мова мгновенно выпрямился, голос его из льстивого и вкрадчивого стал зычным и властным. Словно камень свалился с его души.

«Пронесло, слава богу! — с великим облегчением вздохнул он.— Теперь на долгие годы владыкой тут я!..»

С важным, надутым видом он пошел по заводу. И еще мрачнее сразу стало кругом.

«Вон идет наш лиходей!» — угрюмо переглядываясь, говорили про управителя работные. И как всегда, напрягая последние силы, надрывались они от тяжелой, изнурительной работы...

Глава пятая

1

Прошло два года после посещения заводов Павлом Николаевичем, и в Нижнем Тагиле получили неожиданное сообщение о том, что прибывший из-за границы младший наследник, Анатолий Демидов, выразил желание поехать в свои владения. Снова началась большая суетня, все сбились с ног, прибирая пустующие хоромы господ и наводя порядок в городке. Управляющий Любимов хлопотливо разъезжал по заводам и шахтам, сам осматривал рудники, обходил домны и до хрипоты ругался, кричал на приказчиков. Далеко за полночь в тагильской конторе светились огни,— служащие усердно приводили в порядок счетные книги. А кругом стояла радостная, цветущая пора. По ночам за окнами демидовских покоев маняще шумел темный, заглохший парк. Из-за косматых вершин деревьев светились звезды, а из-за лесистых гор поднимался золотой серпик месяца. Хорошо ночью пахла цветущая сирень. Днем высокие лиловые кусты ее звенели и колебались от хлопотливых пчел. Эти чудесные дни и ночи никем не замечались. У всех таилась одна беспокойная мысль: «Как выглядит и что скажет молодой барин?» Только старые горщики да работные равнодушно смотрели на спешные приготовления. Любимову не нравился их вид, и он покрикивал:

— Смотри у меня, приедет всемилостивейший барин Анатолий Николаевич, глядеть весело, да чтобы вышли навстречу в лучшей одежде!

Указывая на изношенную, прожженную рвань, работные отговаривались:

— Тут все на себе: и мундиры и шелковые сорочки!

Заводские женки сгорали от любопытства. Они по опыту знали, что хорошего не жди от господ, но извечное желание все видеть и знать томило их.

В солнечный воскресный день, после полудня, в Нижний Тагил прискакал запыленный, потный гонец. Не слезая с коня, он закричал в открытое конторское окно:

— Барин близко!

Любимова словно обожгло, он сразу оживился, забегал; из приемной вывел трех бородатых кержаков. Одетые в жалованные кафтаны, обшитые золотым позументом, они чинно сошли с крыльца. Старики выступали важно. Стриженные под горшок по-кержацки волосы были обильно смазаны лампадным маслом, скреплены ремешками. В середине шел самый благообразный сивобородый дед, держа перед собой серебряный поднос, покрытый вышитым полотенцем, на котором лежал ржаной каравай и стояла солонка с солью.

Солнце щедро золотым сиянием затопило землю. Старцы остановились неподалеку от широкого барского крыльца. Управляющий несколько раз обошел вокруг них и остался доволен:

— Молодцы! Слово умное приберегите для встречи!

Старики стояли истуканами, понимая всю важность минуты. На площадь к ним сбегались со всех концов Тагила работные, женки и ребятишки. Притащились изробленные инвалиды и старики, много годов не слезавшие с печки. Всех сгоняли приказчики, уставщики, досмотрщики, десятники.

От пруда лилось сияние. Над толпой летали белые пушинки — семена одуванчиков, и в свете солнца они казались призрачными мерцающими огоньками. Из парка доносился сладкий запах теплой листвы. Солнце поднялось над Высокой, а у заборов еще лежали синие прохладные тени. И в этот час чудесного июньского дня на колокольне весело ударили в колокола. Через минуту на рысях на площадь вырвалась резвая тройка. Как оброненные на камень звонкие монетки, зазвенели-рассыпались валдайские бубенцы.

— Эй, голь, берегись! — зверски выпучив глаза, закричал ямщик, перебирая вожжи. Борода его парусом развевалась на широкой груди.— Эй, стерегись, хлопотуны! — оповещал он, и все испуганно разбегались в стороны. Из-под ног разгоряченных коней врассыпную

разлетались воробьи, с кудахтаньем уносились прочь куры. За воротами неистовым лаем залились псы.

Позади тройки неслись четыре казака, а еще подальше, в клубах пыли, мчалась вторая тройка борзых.

Кони размашисто подбежали к подъезду, и опытный ямщик разом осадил их. Любимов подбежал к экипажу. С замиранием сердца он ждал, что работные крикнут «ура». Но позади все затихли.

«Что же они, сукины дети, не приветствуют своего господина?» — со страхом подумал управляющий, поднял голову и предупредительно протянул руку, чтобы помочь Демидову сойти. Но тут ему самому стало неловко, стыдно за молодого барина: Анатолий сидел в экипаже с гордо поднятой головой, в зеленой альпийской шапочке с пером и в короткой, до колен, шотландской юбочке.

— Бабоньки, гляди, что за диво — мужик в юбке! — закричали в толпе озорные заводские женки.

Зрелище и в самом деле было невероятное в этих краях. Мужики ухмылялись в бороды. Кержаки, встречавшие барина хлебом-солью, остолбенели. Раскрыв в изумлении рты, они смущенно смотрели на барина.

Демидов сидел в экипаже, закинув ногу на ногу. Полные колени и икры сверкали белизной. Барин, щурясь, вытащил из грудного кармашка монокль и ловко вставил в глазницу. По толпе прошел ропот недовольства. Анатолию казалось за двадцать лет, лицо было румяное, на щеке большая бородавка. Он насмешливо посмотрел на стариков и спросил управляющего:

— Это что за бородатые чучела?

Любимов нахмурился, но учтиво пояснил:

— Верноподданное население по русскому обычаю встречает своего господина с хлебом-солью! Дозвольте ручку! — Он осторожно взял Анатолия под локоток и вывел из экипажа.

Барин отодвинул стариков с подносом.

— Отойдите, я черный хлеб не ем! А-а! — обвел он толпу своим моноклем. Женщины прыскали в ладонь, смеялись над барином, с изумлением разглядывая его коротенькую шерстяную юбочку. Самые смешливые молодки прятались за спины мужиков. Хотя те и стояли с подобающим приличием, но внутри все ходуном ходило. И смешно и стыдно стало за Демидова!

Между тем Анатолий разочарованно разглядывал народ. И это его подданные? Серые, изнуренные лица;

во всем проглядывала бедность, большинство явились босые, в посконных рубахах. Глаза хозяина тщетно отыскивали миловидное личико среди женщин. Увы, желанного так и не отыскалось!..

«Прячутся!» — недовольно подумал Анатолий, но в эту минуту мысли его были прерваны. К подъезду подмахнула вторая тройка, и из нее выкатился маленький толстенький человечек в клетчатом костюме с грязным платком на шее, а следом за ним, разглаживая огромные рыжие усы, в полувоенной форме угрюмый господин. Толстенький, засунув руки в карманы, отчего сзади под натянутой материей обрисовался жирный торс, с вихлянием прошел вдоль толпы и, подмигнув женкам, галантно смахнул белый картуз:

— Честь имею, сударыни, представиться: несчастливый актер Саврасов! Гм... Ни одного прелестного личика. Демидов, уйдем скорее отсюда! — Он потащил Анатолия в хоромы.

— Любимов! — закричал хозяин.— Веди нас к столу. Проголодались!

Господин в полувоенном прохрипел:

— И промочить глотку не плохо.

Не взглянув на работных, Анатолий с легкой припрыжкой поднялся на крыльцо и, поблескивая коленками, исчез в широких дверях.

У подъезда все еще стояли старики с подношением, изумленные неслыханным озорством. Пересмеиваясь, понемногу уходили с площади молодки. Работные в угрюмом молчании потянулись к заводу. Наконец сивый кержак-хлебодар пришел в себя. С глубоким душевным укором он бросил вслед молодому хозяину:

— Шалый! Как есть шалый!..

2

С Анатолием Демидовым в Нижний Тагил прибыли его столичные собутыльники и объедалы: пропившийся актер Саврасов, или Савраска, как его величал шеф, и отставной поручик, разоренный разгульной жизнью, бывший помещик Кабанов. Сразу же после приезда веселая компания загуляла. Любимов со страхом и горечью наблюдал, как непрошеные гости хозяина бесцеремонно обращались с вековым добром. Пьяные и шумные, они пачкали крытую шелком мебель, били хру-

сталь, дорогие вазы. Актер Савраска немедленно полез в гардероб, извлек оттуда наряды покойного Николая Никитича и облачился в них.

— Поглядите, хорошо? — вызывающе двигая торсом и плечами, демонстрировал он напяленный на себя нежно-розовый бархатный камзол времен Екатерины.

— Отменно хорош! — рявкнул поручик и, протягивая руку к бутылке с хересом, предложил: — По сему поводу промочим горлышко! Я до чужого добра не падок! Выпить — это дело другое...

Слуги сбились с ног — барин поминутно требовал их к себе. Казалось, в старинный демидовский дворец вернулась молодая пора Никиты Акинфиевича, только бесшабашнее, циничнее стала гульба барича. Весь дом гудел от возни, плясок и бесчинств. По ночам на пруду снова плавали, как в былую пору, лодки, освещенные разноцветными фонариками. Крепостные певцы и музыканты оглашали просторы песнями. Ни хозяину, ни гостям не было дела до того, что рядом изнывают в нужде горщики и заводские работные, которые возмущались разгулом. Однажды Анатолий, плавая в сумерках по пруду, заметил искры и пламя из домен.

— Пожар! — пьяно заорал он и поспешил на зрелище.

Приставленный к нему разбитной малый объяснил:

— Никак нет, это не пожар, господин, а самое обыкновенное.

— Что же тогда это?

— Домна работает! Известно, после засыпки сразу внутри ее забушует и пламя выбрасывает наружу! — пояснил слуга.

— Кто разрешил? — возмущенно закричал Демидов.— Разве там и ночью работают?

— Непременно! — удивляясь незнанию барина, ответил слуга.

Анатолий побагровел:

— Не сметь больше этого!

— Да мыслимое ли дело, господин, потушить домну не вовремя. «Козел» сядет!

— «Козел»? — изумился молодой хозяин.

— Ну да, «козел»! И тогда выбивай его ломами, выгрызай из печи! Шутка ли? Можете сами убедиться!

— Не поеду к домне! — решительно отказался Демидов.— Что я там не видел? Там не червонцы плавят, а чугун!

— Но через чугун, господин, к вам богатство пришло! — осторожно заметил слуга.

— Врешь, песья душа! — рассердился и забушевал барич.— Демидовы званием да положением богаты! Куда лезешь, холоп, поучать благородных людей!

Недовольный прогулкой, Анатолий возвратился домой. Он уже заскучал без женского общества. Под руку подвертывались только корявые, некрасивые бабенки. «И дворню же подобрал, пес! — ругал он в душе Любимова.— Одно отвращение к жизни вызывают!»

Наутро, плохо спавший, с тяжелой головой он решил освежиться на лоне природы и вместе с Савраской отправился на реку Тагилку. По лугам в заречье стлался редкий туман, блестела крупная роса. В пахнувшей свежим тесом купальне, куда они прибрели, стояла утренняя тишина. Мимо мостков плавно катились зеркальные воды. Редкие круги время от времени расходились по воде.

— Смотри, как рыба играет! — показал глазами Савраска на реку и поежился: — Бр-р, холодно!..

Анатолий присел на скамеечку, взглянул на реку, на парок, который дымился над водой. Взгляд его перебежал на излучину, на луговины. Вдруг он вскрикнул от восторга и схватил Савраску за руку:

— Смотри, смотри, голубь, что за чудо красоты! Ах, боже мой! — завертелся он, как на жаровне карась.

Актер взглянул в сторону кустиков и замер в восхищении.

— Афродита! Божественна! — сладко прищурив глаза, зашептал он.— Что за прелесть! Ах, что за стан, что за коса! Ну, повернись личиком, миленькая. Повернись, моя прелесть! Зачем спинкой стоишь? — в сладкой истоме шептал он.

— А может быть, она рожей не вышла, корява? — усомнился Демидов.

— Нет, нет! Не может того быть, природа гармонична! — запротестовал актер.

Анатолий затормошил Савраску:

— Сбегай, помани, милый! Я весь от страсти сгораю! Влюблен!

— А вдруг и впрямь курноса? — неожиданно усомнился Савраска.

— Да что ты! Разве такая брюнеточка может быть курносой? Курносыми больше блондинки бывают. Несомненно! — упрашивал Демидов.— А потом, по со-

вести признаюсь, задорно вздернутые носики ух как мне по душе! Хороши! Ну, иди, иди, аспид! Договорись толком, не жалей посул! — Он толкнул актера в спину и выпроводил из купальни.

Савраска пошел к излучине.

Возбужденный Анатолий в нетерпении закружился по купальне. Ему казалось, что актер ушел по крайней мере час тому назад.

«Скорее, скорее, поганец!» — мысленно подгонял он посыльного, всматриваясь в кустики. Незнакомка и не думала уходить.

Демидов схватился за голову.

— Ах, божественная моя, бесподобная! Что ж Любимов молчал о такой прелести! Ведь знал же он, знал, каналья!..

Демидов снова заходил по купальне. Прошло только двадцать минут. Но вот красный, сконфуженный Савраска переступил порог купальни.

— Ну что, договорился? Придет? — набросился на него Анатолий.

— Не соглашается! — еле сдерживаясь от смеха, отрезал Савраска.

— Как она смеет отказать Демидову? Откуда взялись дерзкие бабы в моих владениях?

Актер залился смехом. Он упал на скамеечку, и его большой студенистый живот сотрясался от беззвучного смеха. Как паук, дрыгая тощими ножками в клетчатых панталонах, он взвизгивал:

— Ой, не могу! Ой, умру!..

— Да ты обезумел, вижу! — набросился на него Демидов.

— Ох,— задыхаясь от смеха, прошептал актер.— Очаровательная спинка, коса, а стан, стан...

— Да говори же, дьявол, что за баба?

— Ах, милый мой, в том-то и дело, что эта баба вовсе не баба, а дьякон вашей церкви! — размахивая руками в новом припадке смеха, выпалил актер.

Демидов густо покраснел:

— Тьфу, что за наваждение!

Савраска присмирел и вдруг серьезным тоном сказал:

— Да будет вам известно, мой милый: такие наваждения бывают только перед белой горячкой, что приключается с перепоя...

3

Утром Анатолий срочно потребовал к себе управляющего. Взволнованный Любимов вошел в опочивальню хозяина. Помятое лицо Демидова с покрасневшими глазами говорило о бессонной ночи. Застоявшийся запах табака и вина наполнял комнату. Господин сидел на кровати в одном белье, растрепанный и разбитый. Любимову стало жалко барича. Он неслышно прошел вперед, поклонился.

— Батюшка, пожалейте хоть немножко себя!— просяще глядя хозяину в глаза, мягко заговорил он.— Гоните прочь объедал да мазуриков. До хорошего не доведут сии пропойцы. И вина и добра не жаль для вас, но скорблю о вашем здоровье. Этак и жизнь отдадите ни за понюшку табаку!

— Молчи! — властно прикрикнул Демидов, но, тронутый сердечной теплотой, вдруг смягчился: — Что верно, то верно! Эти сучьи дети только на мое добро и зарятся! Но я и сам виновен. Что могу поделать, если в крови бродит беспокойство? — с горечью пожаловался Анатолий.

— Это верно, в юности в крови всегда бес бродит! — согласился Любимов.— Но только все же пожалейте себя.

— Эх! — вздохнул Анатолий.— Придет время, пожалею, а теперь потеху задумал. Хочу на охоту. Давай медвежью берлогу! На медведя, на медведя!

— Да что вы, батюшка! — отмахнулся управляющий.— Не смешите людей. Какая летом медвежья берлога? Летом зверь шастается, где ему вздумается. Зимой — другое дело!

— Хочу летом, а слово мое закон! — входя в обычное капризное настроение, настаивал на своем барич.— Иди, готовь егерей!

Управляющий уныло опустил голову,— он видел, что молодой хозяин настоит на своем.

«Что делать? С медведем — не с бабами шутки шутить!» — со страхом подумал Любимов и льстиво обратился к Анатолию:

— Ладно, господин, охота так охота! Только, скажем, уместно ли Демидову так просто охоту вести? Господская охота — большущая и благородная потеха! Ваш братец, егермейстер двора его величества, толк понимает в сем деле, и мы не можем потому ударить

лицом в грязь. Нужны псы, егеря, охотники, рожки,— все чтобы во всей красе, господин! Прошу вас обождать день-другой. Все, все оборудую!

Баричу понравилась затея управляющего: и впрямь, господская охота должна быть обставлена величественно. Пусть в крае все помнят, как веселился Демидов! Анатолий успокоился, оживился и примиренно сказал:

— Хорошо. Три дня даю сроку! Марш отсюда и исполняй приказанное!

Любимов не привык к такому обращению. Он всегда чувствовал себя хозяином на заводе, а тут его превратили в мальчишку и беспокоят по каждому капризу. Однако досада досадой, а надо приступать к делу! Он вышел на улицу под яркое солнышко и тихо побрел в контору.

«Шутка ли сказать, летом устроить медвежью охоту? Зверь сейчас в силе, озорник! Добро бы актеришку задрал или помещика-пропойцу Кабанова, за них никто не вступится, а случись что с барином, прощай тогда! — тревожно раздумывал он и представил себе эту страшную картину.— Да Анатолий Николаевич, поди, и стрелять толком не умеет!»

Он вызвал старого егеря и сокрушенно рассказал ему о своем беспокойстве.

Лохматый мужик почесал затылок, ухмыльнулся в бороду:

— Оно, безусловно, таким людям на медведя летом опасно ходить. А все же, так думаю, потеху для барина устроить можно. И прямо скажу, Александр Акинфиевич, повезло тебе. Раскошелиться только придется.

— Ты что ж, с господина своего содрать хочешь? — недовольно нахмурился Любимов.

— Ни вот столечко! — показывая на мизинец, выговорил егерь.— Тут расходы потребны на другое дело. По охотнику надо и медведя сыскать! — Мужик улыбнулся своей тайной думке и покрутил головой.— Ну и ну, есть подходящий! На такого медведя ступай без опаски, потому зверь самый веселый и безобидный!

— Ты что же, наговор знаешь? — пытливо уставился на него управляющий.

— А к чему здесь наговор, не пойму! — хитро сощурив глаза, светясь лукавством, сказал егерь.— Просто медведя надо купить. На счастье, в Половинке медве-

жатник остановился с ручным зверем. По окрестным ярмаркам бродит. Пожалеет сердягу на такое дело, ну да кто не позарится на сотню целковых!

— Да у тебя креста на шее нет! Подумать только, сто рублей! — рассердился Любимов.

— Дорого? Найдите дешевле! А жизнь барина во сколько целковых ценится? — с хитрецой спросил егерь.

— Жизнь господина бесценна, и на золото ее не купить! — вразумительно ответил управляющий.

— Ну, вот видишь! — строго сказал мужик.— Если так, поторопиться пора, а то медвежатник уйдет, и пиши пропало!

В тот же день Любимов и егерь уехали в Половинку. Там в избушечке вдовы отсыпался вожак, а в тени под навесом, закрыв морду лапами, распластавшись, дремал зверь. Егерь безбоязненно обошел Мишку, всмотрелся:

— Хорош Топтыгин! Ой, хорош! Ишь развалился, как хмельной мужик!

Они прошли в избушку и разбудили вожака. Долго тот не мог понять, чего от него хотят. Когда же перед ним выложили сто целковых, медвежатник разомлел.

— Ну как, продашь Мишку? — спросил Любимов.

Вожак жадно посмотрел на серебро, но промолчал. Угрюмо подумал и сказал:

— Беден, да не могу. Тварь лесная, а сдружился. Веселей вдвоем по свету бродить! — с ласковостью в голосе сказал он о звере.

— Бродить-то бродить, а документов нет! — злясь, пригрозил управляющий.— Гляди, набродяжничаешь, и тебя в клоповник уберут и друга твоего ухлопают. Подумай хорошенько!

— Жаль Мишку! — со слезами на глазах вымолвил медвежатник.

— Погоди! — смягчаясь, сказал Любимов.— Сухая ложка рот дерет!

Он вышел из лачуги, взял в экипаже штоф хмельного и вернулся.

— Хозяйка, нет ли у тебя закусить? — окликнул он вдову и поставил штоф на стол.

Из-за печки выбралась исхудалая бледная женщина, поклонилась гостю.

— Хлебец да картошечка!

— Давай сюда, чего уж лучше! — не сводя очарованных глаз со штофа, засуетился егерь. Ему поскорей

хотелось пропустить маленькую. Он бережно взял зеленый штоф, посмотрел на свет и покрутил головой.— Эх, и до чего хорошая влага! Разрешите вскрыть? — не ожидая согласия, он натянул на ладонь рукав кафтана и с размаху ударил в донышко бутылки. Пулей выскочила затычка, сверкнули брызги сивухи.

— Дура, да разве ж можно такие капли терять! — хмуро выругался медвежатник. Он взял из рук егеря штоф и снова поставил на стол. Залюбовался им.— Эх, горе ты наше, горюшко! Из-за чего гибнет добрый человек? Из-за зелья проклятого! Нальем, хозяин!

Зеленая влага с бульканьем полилась в глиняные кружки. Любимов от вина отказался.

— Умно! — похвалил медвежатник.— Нам больше достанется.— Он с удовольствием стал тянуть хмельное. Опростав кружку, крякнул: — Ух, как добро! Спасибо, душу отвел!

Егерь и медвежатник пили и быстро хмелели.

— Продай, друг, Топтыгина! — обнял егерь вожака и полез целоваться с ним.— Сто рублей, брат, деньги! Дом купишь, женку заведешь, в люди выйдешь. А медведь что — зверь!

— Это верно, зверь! — согласился медвежатник.— Но то разумей, что другой зверь получше человека будет. Иной барин хоть и не зверь, а похлеще зверя лютого терзает мужика! Это как?..

Хмельной вожак долго хмурился, отказывался от продажи, но в конце концов его уломали. Пошатываясь, он вышел под навес и поднял зверя.

Медведь отряхнулся и добродушными глазками миролюбиво посмотрел на людей.

— Смышленый! — ласково сказал егерь, бесстрашно подошел к медведю и взялся за цепь.

У вожака на глазах блеснули слезы.

— Какой умница! — с тоской вымолвил он.— Третий год ходим, и ни одной шалости не сробил. Мишенька, голубчик мой! — Мужик растроганно обнял Топтыгина.— Прощай, друг, не обессудь, нужда заела...

Медведь поднялся на дыбки и стал лизать лицо вожаку. Зверь был матерый, сильный, красивый.

Егерь тряхнул головой. На душе у него стало тоскливо.

Между тем медведь, ласкаясь к вожаку, неожиданно сгреб с его головы гречушник и набросил на свою башку. Вслед за этим он неуклюже затопал, переваливаясь с боку на бок.

— Камаринского пляшет! Эй, дурачок ты мой, дурачок! — с укором сказал вожак.— И не знает, что его продали. Ведите живей со двора!

Егерь вынул из-за пазухи краюху и сунул медведю.

— Пошли, друг! — потянул он за цепь.

Зверь жадно ел, не трогаясь с места. Он поглядывал то на хозяина, то на егеря.

— Проводи немного. Пусть привыкнет к новым хозяевам! — попросил егерь.

Они вывели зверя на дорогу и повели за экипажем, в котором неторопливо ехал управляющий. Встревоженный запахом зверя, шустрый конек косился, фыркал и все норовил унестись в сторону.

4

Наступил день медвежьей охоты. Демидов обрядился в зеленый охотничий костюм. В руках он держал штуцер и, не скрываясь, любовался собою. К высокому крыльцу подали коляску. Анатолий и приятели его поспешно расселись. Сопровождаемый егерями, поезд тронулся к лесным трущобам...

Загодя на большую елань выслали возок с изрядными запасами вина, шампанского и провизии. Барский буфетчик Власий — седой благообразный старик с невозмутимыми строгими глазами — давно уже хозяйничал на густо-зеленой лужайке среди вековых сосен. Румяные дворовые девки расстелили на траве большой персидский ковер и бережно расставляли на нем яства.

Местечко облюбовали веселое. Рядом гомонил ручей, вода в нем была прозрачная, студеная, при питье заходились зубы. Кругом разливался смолистый запах. День выпал веселый, в кустах шумели малиновки, гудели шмели. В лесной чаще куковала кукушка. Вдоль ручья тянулись узкие елани, заросшие малинником. Алая сочная ягода густо покрывала кусты, просилась в рот.

Солнце косыми лучами пронизывало высокие могучие сосны, вершины которых светились позолотой.

В самую пору Власий приготовил лесной привал. Девки развели костер, разгоняя надоедливых комаров. Гремя бубенцами, наполняя лес криками, на елань выехал шумный поезд: Демидов с дружками, пьяненьким актером Савраской и поручиком Кабановым, егеря, лес-

ничие, загонщики, выжлятники. Позади всех неторопливо ехал Любимов.

Кони описали на елани полукруг и остановились у костра. Демидов проворно выскочил из коляски, сбросил охотничью шляпу и развалился на разостланном ковре. Его дружки с жадностью набросились на скатерть-самобранку. Захлопали пробки, в хрустальные бокалы полилось вино.

Анатолий быстрым взглядом обвел служанок и среди них не увидел миловидного лица. Хозяин пытливо посмотрел на управляющего и укоризненно покачал головой:

— Слышал, дочь у тебя красавица. Почему не взял на полеванье? Для кого бережешь добро?

Любимов молча опустил голову, промолчал. Наглые и бесцеремонные речи молодого барича задели его за живое.

— Что вы, Анатолий Николаевич! — сдержанно отозвался он.— Разве смею я допустить такую мысль? Зная ваше благородство, мне нечего бояться за дочь... Смотрите, в малиннике девки прячутся!

Власий с бесстрастным лицом наливал бокалы, принимал из рук стряпух подогретые блюда и ставил перед гуляками. Анатолию казалось, что он никогда так вкусно не ел и не пил, как на этой лесной елани. От искристого вина закружилась голова. Под веселый хохот собутыльников он бесстыже хапал стряпух, опрокидывая бокалы с вином. Буфетчик пренебрежительно поглядывал на хозяйских дружков, которые, как голодные псы, жадно поедали все, подзадоривая барича...

Приятный дымок тянулся над еланью, весело потрескивал сушняк в костре. Все шумней и шумней становилось под вековыми соснами. Один Любимов ничего не пил и вяло ел. Он украдкой поглядывал на Власия, как бы молча поощряя буфетчика почаще подливать в бокалы...

Между тем солнце поднялось высоко. Пора и на охоту,— затрубили рожки. И на звуки их, в самый разгар шумного веселья, вдруг с треском раздвинулись кусты и с бледным лицом на елань выбежала перепуганная девка.

— Ай, родимые, медведь в малиннике! Чуть не загрыз! — заголосила она.

Демидов схватил ружье.

— Эй, веди на зверя! — с удалью закричал он.

Засуетились егеря, слуги. Но Анатолию не пришлось далеко идти. Едва он поднялся, как из густых кустов, ломая их, на поляну выбрел большой медведище. Зверь приостановился, понюхал воздух и вдруг, поднявшись на дыбки, заревел. Умные глазки медведя добродушно поглядывали на хмельных охотников, опешивших от неприятной неожиданности. Поручик, а за ним Савраска на карачках поползли в кусты. Медведь смолк и, принюхиваясь, спокойно надвигался своей тяжелой тушей. Кто знает, может быть ему вспомнилась сельская ярмарка с ее разноязычным говором подгулявшей толпы?

Зверь раззявил пасть, алчно поглядывая на скатерть-самобранку, замахал лапами, взревел, точно запросил: «А ну-ка, люди добрые, подайте-ка и мне, бродяге!»

Все разбежались. Подле Анатолия остались буфетчик Власий да Любимов. Управляющий поощрительно улыбнулся Демидову.

— Везет вам, господин, зверь сам идет под выстрел. Не зевайте! — закричал он.

Хмельной Анатолий выглядел браво. Он поднял ружье и прицелился. Бедный странствующий Мишка, видимо, вообразил, что это сигнал к танцам, и сразу пошел вприсядку...

Не успел он как следует притопнуть камаринского, как раздался выстрел и огромный зверь, взревев, тяжелым кулем опустился у ковра.

— O, carissima bestia! [1] — в пьяном восторге выкрикнул Демидов.— Вот это выстрел!

Он отбросил ружье и заплясал вокруг медвежьей туши.

Власий нахмурился, укоризненно покачал головой:

— Эх, какого умного зверя ухлопали! Небось теперь вожак из кабака не выходит!

— Молчи! — строго сказал Любимов слуге, налил бокал шампанского и потянулся к хозяину.

— С полем! С удачной охотой, господин!

Из кустов выполз актеришка, подошел сконфуженный поручик. Через минуту на елани снова стало шумно.

[1] О, прекраснейший зверь! *(итал.)*

5

Прошел месяц, в старом демидовском доме шла попойка за попойкой. Хмуро проходили работные мимо барского дома. Не на шутку побаивался Александр Акинфиевич, чтобы не вышло беды. Кто может поручиться за озлобленного, истерзанного тяжелой жизнью человека? В краю еще хорошо помнили пугачевщину. Нет-нет да и срывалось у иного с языка: «Погоди, придет и на бар мор!» И хотя полицейщики нещадно расправлялись со смелыми людьми, а все же тлела в народе искра. Опасно было играть с огнем. Управитель усилил стражу. На барский двор с вечера спускались остервенелые псы-волкодавы, но на душе Любимова росла непонятная тревога.

Между тем Анатолий заскучал. Ему опротивели горы, серые дымки завода и отсутствие женского общества. Однажды Демидов вышел в прихожую. На лесенке, которая вела в светелки, вдруг послышались легкие шаги. Анатолий взглянул вверх. По ступенькам быстро спускалась голубоглазая стройная девушка. Солнечный луч ударил ей в лицо, и золотое сияние нимбом осветило ей головку.

— Ах! — от неожиданности схватилась она рукою за сердце и, вся пунцовая, смущенно остановилась перед Демидовым.

Очарованный и взволнованный, он не спускал глаз с чудесного видения, боясь спугнуть его. Так с минуту оба они, растерянные и смущенные, стояли друг перед другом. Она несмело подняла глаза и улыбнулась Анатолию. Он вспыхнул от восторга.

— Как тебя звать? — тихо спросил он.

— Глашенька! — прошептала она и прижала крохотный пальчик к пухлым губам.— Тише, а то батюшка услышит.

Демидов проворно снял с руки перстень и протянул ей.

— Что вы! Да разве ж это можно? — ужаснулась она.

Он, не слушая ее, поднялся на ступеньки к ней, взял руку и надел ей на безымянный палец колечко с бирюзой. Она с восхищением смотрела на голубой камушек.

— Нравится? — ласково спросил Анатолий.

— По сердцу! — с искренним восторгом прошептала она и, застыдившись, потупила глаза.

Он осмелел, осторожно взял ее руку и нежно поцеловал теплую ладонь. Девушка вспыхнула и, словно обожженная, отдернула кисть.

— Глашенька, я повержен в прах твоей красотой! — прошептал он.

Она шаловливо взглянула на Демидова и, нахмурив брови, вымолвила:

— Зачем вы компанию водите с нехорошими людьми? Прогоните их, они спаивают вас! Слышите?

Она капризно закусила губы. Анатолий низко склонил голову.

— Для тебя на все готов. Всю жизнь о тебе мечтал, Глашенька!

— Ой ли! — улыбнулась насмешливо девушка, но все еще не уходила.

— Клянусь, дорогая! — Он приблизился к ней поближе и, обдавая ее жарким дыханием, прошептал: — Приходи в парк. В ту дальнюю аллею. Знаешь?

Она оглянулась и согласно качнула головой.

И снова, так же неожиданно, как появилась, она исчезла за дверью светлицы.

Любимов удивился и обрадовался, когда Демидов велел срочно заложить кибитку и отвезти в Казань своих собутыльников. Господин даже не вышел проститься с ними. Он наказал через слугу:

— Живее вон их из моих владений!

Двух столичных забулдыг усадили в возок и выпроводили за ворота...

С этого дня Анатолий Демидов закрылся у себя в кабинете и старался пореже встречаться со своим управляющим.

6

Прошла неделя. Любимов стал тревожиться: «Спаси и помилуй, вдруг и впрямь барин образумится да еще возьмется за счетные книги, что тогда?» От такой мысли засосало под ложечкой.

Вежливенько, намеками он допытывался у Демидова:

— Ужели не наскучило вам, господин, в наших палестинах?

— Наскучило, да нельзя уезжать. Дела есть! — загадочно отвечал Анатолий.

«Какие дела могут быть у бездельника? Сколько

слез девичьих пролито, сколько, поди, разладу в семьи внес! Хоть бы сгинул скорее из Тагила!» — хмуро думал управляющий.

Верный раб, до последней капельки крови преданный своим господам, он вдруг возненавидел молодого Демидова и с нетерпением ждал его отъезда...

В одно ясное утро Анатолий неожиданно объявил своему управляющему:

— Готовь самых лучших коней. Которые порезвее. Люблю быструю скачку! Завтра на зорьке отбываю в Санкт-Петербург!

— По прохладе приятнее ехать,— согласился Любимов.— Только к чему заторопились так?

— Срочно понадобилось! — коротко и решительно сказал хозяин.

Управляющий с недоверием посмотрел на Демидова, и смутное подозрение закопошилось у него в душе. «Что-то задумал, ухорез!» — недоброжелательно подумал он.

С вечера приготовили коляску в дальнюю дорогу, отобрали лучших коней, начистили и задали им корм. Отрядили с десяток конных сопровождать хозяина.

Среди хлопот Любимов выкраивал время, чтобы заглянуть в светелку Глаши. В комнатке ее было тихо, уютно. Дочь выглядела покорной, ласковой.

— Слава тебе господи! — перекрестился на образа Любимов.— Радуйся, доченька, завтра на зорьке улетает из гнезда стервятник. Вот и кончается твое заточение!

Он ликовал, что подошел день отъезда и все обошлось хорошо, беда миновала.

Днем стояла жара. Туманная легкая дымка покрыла пруд, просторы, горы. Любимов зорко наблюдал за хозяином и не понимал перемены, которая произошла в нем.

Долго тянулся последний день пребывания Анатолия в Нижнем Тагиле. В парке шумел ветер. В прозрачных сумерках в меркнувшем небе проплыли кулики-кроншнепы. Чист и прозрачен был их стон. Казалось, это не стон слышится, а падает с неба беспрерывно серебряный звон.

Глядя на первые робкие звезды, Александр Акинфиевич подумал:

«Ну, вот и день прошел, слава тебе господи!»

Уходя спать, он еще раз зашел в светелку. В ней

сгустилась тьма. На полу протянулись дымчатые зеленоватые дорожки — в низенькие оконца заглянул золотой серпик месяца. Глашенька тихо посапывала во сне. Управляющий с умилением поправил одеяло, перекрестил дочь и тихонько вышел из горницы. Чтобы окончательно изгнать смуту из сердца, он в эту ночь крепко закрыл Глашеньку на запоры. У двери уложил старую няню.

Ему самому стало смешно от своей излишней осторожности. Успокоенный, довольный, он ушел к себе в спаленку и завалился спать...

Проснулся он очень рано. Под окном стояли в росе деревья, еще молчали птицы. Над прудом тянулся редкий призрачный туман, а на востоке вспыхнули первые робкие проблески зари. Любимов быстро оделся и, покашливая, неторопливо пошел к конюшне. В усадьбе все еще спало, а работники тихо суетились по хозяйству. В голове управляющего было ясно, на душе — покойно. Он посмотрел на синие вершины гор, зевнул.

— Благодать-то какая! — вздохнул он и подошел к конюшням.

Ворота были распахнуты настежь, а в дверях стоял сонный конюх. В густой взъерошенной бороде его запутались травинки.

— Кони готовы? — спросил Александр Акинфиевич.

— Хватились когда! — равнодушно отозвался конюх.— В самую полночь умчали. Вас наказывали не тревожить.

Нехорошее, злое чувство поднялось в душе Любимова.

«Словно вор среди ночи угреб!» — возмущенно подумал он и заволновался. Жуткое подозрение закралось в мысли. Он резко повернулся и быстрой походкой поспешил к дому. Откуда только взялись сила и проворство? Александр Акинфиевич быстро взбежал по лесенке в светелку. На ларе в предутренней прохладе сладко спала старуха. Он распахнул дверь и бросился к кровати дочери. Помятое одеяло откинуто, наспех разбросаны вещи. А Глашенька исчезла...

Он кричал, звал. Напрасно! Разъяренный, он сгреб и избил старуху. Бедная няня со страхом смотрела на расходившегося хозяина и лила слезы.

— Господи, господи,— крестилась она.— Неужто этот пес утащил нашу раскрасавицу?

Управляющий схватился рукой за сердце, в глазах его потемнело. Шатаясь, жадно хватая раскрытым ртом воздух, он сошел по лесенке вниз и выбрел на двор.

Перед крыльцом стоял конюх с тяжело опущенными руками. Он, как медведь, топтался перед управляющим. Вдруг он упал на колени и заголосил:

— Батюшка, не виновен я! Ведь сам Демидов приказал, шутка ли? Что поделаешь? А Глашенька просила передать: «Пусть папаша не волнуется. По доброй воле я с Анатолием Николаевичем ушла. Жажду, дескать, счастья!»

Ничего не сказал Александр Акинфиевич конюху. Молча вбежал в свою комнату, схватился за голову и рухнул на постель с криком:

— Глашенька, Глашенька, что ты наделала?

Никто не прибежал на его крик, словно вымерли все в доме. Слуги попрятались по темным чуланам в ожидании большой и страшной грозы...

Не погнался на лихих конях Любимов вдогонку за похитителем. Молча страдал и никого не наказывал. Он на что-то надеялся. Мрачный, одинокий бродил он по опустелым покоям демидовского дворца. Как всегда, он аккуратно появлялся в заводских цехах, проверял записи конторщиков, распоряжался. Держался он прямо, строго, словно не видел скрытых насмешливых улыбок. Казалось, ничего плохого не случилось в его жизни.

Прошло всего две недели, и в темный июльский вечер во двор неожиданно въехал возок. Из него выбралась укутанная фигура и поспешила к дому. На стук вышел сам управляющий и распахнул дверь. В ноги ему бросилась бледная, исхудалая дочь.

— Папенька, простите меня, окаянницу. Хотела спасти его от пьянства, а он бросил меня! Поманил — и бросил! — горькими слезами раскаяния расплакалась дочь.

— Глашенька! — радостно прошептал отец, поднял ее с пола и потащил за собой.— Пойдем, пойдем в светелку!

Он привел ее в горенку и усадил в кресло. Ни слова упрека отец не сказал дочери. По хоромам раздался его зычный голос:

— Эй, слуги!..

Беглянку накормили, напоили и уложили в постель.

Все так же заглядывал в оконце светелки золотой

серпик месяца, а по кабинету ходил снова счастливый Любимов.

«Слава богу, пронесло грозу! — умиротворенно думал он.— Экое дело, девичий грех! С кем не бывало! — Он украдкой взглянул на большой сундук и вздохнул облегченно: — Все покроется, все забудется! Все поклоняются золотому тельцу!»

И он неторопливо стал укладываться спать...

Глава шестая

1

Весной 1831 года Черепановы закончили вторую, еще большую паровую машину, которая стала обслуживать Павловскую шахту. Директор нижне-тагильских заводов Любимов сообщил об успехах Черепанова Павлу Николаевичу:

«Устраиваемая при медно-руднянском руднике Ефимом Черепановым с сыном вторая паровая машина силою сорок лошадей постройкой кончена и была перепущена. Сия машина по устройству режа, штанг и по установлению в горе труб пущена в тихое действие на две трубы. Оборотов делает в минуту пятнадцать, выносит воды каждая труба по три ведра.

Сия вновь построенная машина далеко превосходит первую как чистотою отделки, а равно и механизмом, а потому контора обязанною себя почитает труды Ефима Черепанова и его сына поставить на вид вашего превосходительства и покорнейше просит о вознаграждении их за устройство сей машины, дабы не ослабить их усердия на будущее время на пользы ваши...»

К тому времени, когда писалось Демидову письмо, в горном управлении на Урале произошли большие изменения. Пять лет тому назад, 22 ноября 1826 года, император Николай I издал указ об учреждении на Каменном Поясе должности начальника хребта Уральского, «для лучшего устройства горных заводов впредь до дальнейшего преобразования сей части». С назначением новой власти, облеченной широкими полномочиями, прерывалась последняя нить зависимости управления горною частью от общего гражданского управления. Генерал-губернатор оставался в стороне от горного и заводского дела. Среди горщиков и работных казенных

заводов отныне вводилась воинская организация и строгая дисциплина.

Директору нижне-тагильских заводов на этот раз захотелось похвастаться во славу своего господина, и о новой паровой машине Черепановых он сообщил начальнику хребта Уральского — генералу Богуславскому.

Ефим в эти дни томился в ожидании радости: он всеми силами добивался воли своему сыну Мирону. О себе отец не думал, его заботила только судьба его помощника, который обладал золотыми руками, ясным умом, а между тем находился в рабстве. За малейшую оплошность или просто по капризу заводчика Мирона могли и выпороть и продать, как продают на базаре скот. Отец тщательно скрывал свои терзания от сына, но Евдокия видела, как сильно страдает и томится старик. Сама того не сознавая, она усиливала эту мучительную боль. Подкладывая за столом сыну лучшие куски, мать со слезами на глазах шептала:

— Ах ты, голубь мой, сизокрылый мой! Полететь бы тебе высоко и далеко, да крылья связаны!

Ефим молча откладывал ложку и поднимался из-за стола. У него, крепкого, мужественного человека, спазмы сжимали горло. В раздумье он уходил из дому и подолгу бродил по берегу заводского пруда. Однажды в кустах подле плотины он наткнулся на валявшегося в грязи хмельного человека. Только что прошли дожди, и несчастный распластанный на сырой земле человек дрожал, как бездомный пес. Плотинный наклонился и узнал Козопасова. Оборванный, перепачканный в глине, с большими серыми мешками под глазами, он выглядел беспомощно и жалко. Черепанов поднял с земли механика.

— Идем ко мне, Степан! Отмоешься, переоденешься! — пригласил он.

— Нет, никуда я не пойду отсель! — печально покачал головой Козопасов.— Не отмоешь от му́ки мою душу! Подумай, кому я нужен? Да и чего ты меня жалеешь? Пожалей лучше себя и своего сына! Моя судьба кончена!

Речь несчастного мастера словно ножом полоснула по сердцу Черепанова. С большим трудом он уговорил Степана пойти к нему. Козопасова умыли, Ефим переодел его в свою чистую рубаху, и Евдокиюшка усадила дорогого гостя за стол, подкладывая ему самое лучшее.

Ласка и внимание хозяйки тронули механика. Он ел, а у самого на глазах блестели слезы. Хозяева делали вид, что не замечают их.

— Добрые вы люди, Ефим!—с нежной грустью сказал мастерко.— Спасибо вам, что не побрезговали мной!

— Ой, что ты! — вскрикнула хозяйка.— Не к месту говоришь такие слова! Умный ты, Степанко, и нашей рабочей крови. Таких бы людей, как ты, да побольше в нашей земле, возликовала бы она!

В глазах женщины гость уловил невольное восхищение им, и оно приободрило его. Благодарно глядя на Евдокиюшку, он с тоской пожаловался:

— Кто мы тут на земле? Первые работнички, рачители! Все помыслы и труды наши только о том, как бы украсить русскую землю, чтобы сделать ее поуютней, а труд человеку полегче и в радость! Погляди, милая, кругом, все сделано нашими руками: и завод, и домна, и плотина ставлены русскими умельцами, и палаты господину , и железо ковано работными людьми. И выходит, честь и слава русскому человеку на своей земле? Ой, нет, дорогая! Принижен и обездолен он! Раб презираемый! — произнес он с подчеркнутой жестокостью последние слова.— Положение его хуже скота! Но тут разница великая: скотина разума не имеет, а человек мыслит и видит извечную несправедливость. Раба можно выпороть, разлучить с семьей, насмехаться над ним! Ох, и тяжело, родная, жить, когда на каждом шагу чувствуешь, что ты в своей отчизне пасынок!

Ефим молча слушал Козопасова. Слова мастерка жгли его душу раскаленным железом. Но что поделаешь против страшной, жестокой силы барства, которое опутало родную землю?

— Так богом положено, Степанко! — покорно ответила хозяйка и опустила глаза.— Видно, гостюшка, так во святом писании поведано,— простому русскому человеку во веки веков маяться!

— По глазам вижу, милая, что говоришь ты одно, а думаешь другое,— спокойно возразил Козопасов.— Не бог, а люди придумали рабство. Только не вижу я исхода из крепостной кабалы! Горе, страдания и тьма беспробудная кругом! Видать, так и умрем в неволе.

— Все может быть,— согласился Ефим.— Николи не забуду, как провозили через Камень тех сердечных, что против царя поднялись... Видать, умные люди, да что вышло? В песне поется складно:

Рассадили их по темным кибиточкам,
Развозили их по темным тюрьмам...

Жена Черепанова покосилась на дверь: она поняла, о ком идет речь, испугалась: не дай бог, заушатель подслушает такие речи.

—Ты, Ефимушка, помолчи про тех, кто на Сенатской поднялись...

Опустив голову, Степанко продолжал в раздумье:

— Если бы не такие люди, Евдокиюшка, как они, так и надежды не будет. А без надежды — ложись и умирай! Спасибо и вам, родные мои! Частенько я думал об этом. Силу и радость приносит только добрый человек! Подумай, что́ есть русский человек? Сам горемычен, вечно в изнурительном труде, в рабстве, нищ до предела, а какой великой и доброй души! Ласковым словом он и обогреет тебя, и обласкает, и словно солнышко осветит тебе потемочки! Эх, трудно жить, родная, ох, как трудно! И где еще, в какой стране, есть такой умный, трудолюбивый и золотой человек, как наш, русский!

По мере того как мастерко успокаивался, речь его становилась плавной, и он почти перестал заикаться. Глядя на него, Евдокиюшка прослезилась. Гость не принял это в обиду,— не бессильной жалостью пригрела его простая русская женщина, а глубокой и большой любовью, на которую щедр русский народ. Обновленный, успокоенный, Козопасов ушел из домика Черепановых. Сейчас и звезды, казалось ему, засверкали ярче, и ветер из Запрудья стал мягче, ласковее, и даже неумолчный скрип созданной им штанговой машины в этот вечер зазвучал по-иному...

Не прошло и недели после встречи с мастерком, а в семью Черепановых пришло большое огорчение. То, чего больше всего опасались, свершилось: Павел Николаевич Демидов прислал вольную только одному Ефиму. В напыщенно написанной грамоте, в которой подробно перечислялись все многочисленные чины и звания хозяина, оповещалось: «Заботясь о славе наших заводов, побуждаемые отеческой заботой о верноподданном нашем, соизволили мы дать отпускную крепостному нашему Ефиму Черепанову».

В указе владельца не было ни слова о семье и сыне Мироне.

Управляющий Любимов, прослезясь, с чувством

объявил механику решение Демидова и ждал, что он упадет в ноги, но мастерко стоял, низко опустив голову, и молчал.

— Что ж ты безмолвствуешь? Или не рад отпускной? — удивленно спросил Александр Акинфиевич.

— Премного благодарны нашему господину! — низко поклонился Ефим, дрожащей рукой принял грамоту и тяжелой походкой вышел на улицу.

На Урал пришла ранняя весна, все ликовало вокруг: и бездонное ясное небо, и зазеленевшие леса, и воды, и горы. Птичьи голоса оглашали рощи и перелески. Пришел веселый шумный май с теплыми ветрами, с золотыми солнечными разливами, по небу тянулись косяки гусей, уток, лебедей. Сохатые исступленно ревели в брачной истоме, зычно и могуче оглашая горы. Радостная и кипучая жизнь напористо лезла изо всех земных щелей: зазеленели луга и елани, на березе развернулся мягкий и клейкий лист, птицы озабоченно вили гнезда, и с утра над влажной и теплой пашней распевали жаворонки. И в этот час, когда все в природе ликовало, на душе Черепанова сгустился беспросветный мрак. Механик молча спрятал отпускную и еще больше замкнулся в себе. Евдокиюшка хорошо понимала его душевное состояние; ласково посмотрев в глаза мужу, она тепло сказала:

— Не кручинься, отец. Жили до этого, проживем и дальше! Думай так, будто ничего и не было!

В самом деле, лучше было не думать о барской «благодарности». При сыне Ефим держался ровно, спокойно, словно ничего не случилось. Мирон удивился безразличию отца:

— Ты и отпускной не радуешься, батя?

— А чего радоваться? Да и на что она мне! Куда я уйду от любимого мастерства? Без него и жизнь не в жизнь! — В словах отца о работе прозвучала глубокая любовь к делу, и это успокоило сына.

Вскоре пришла новая награда Черепанову — медаль. И ее механик положил подальше. На молчаливый вопрошающий взгляд женки он ответил:

— Вдвоем с Миронкой заслужили, а медаль одна. Как ее будешь носить?

Так все шло по-старому, только в обращении Любимова к механику появились новые нотки. Разговаривая с Черепановым, директор заводов подчеркнуто величал его по отчеству:

— Счастливый ты, Ефим Алексеевич,— эвон какие награды привалили! Я много годков работаю, а медалью так и не пожалован.

Больше всех плотинному завидовал Климентий Ушков — владелец заводской конницы:

— Видать, в рубашке тебя мать родила, Ефим Алексеевич. Много откупных денег сулю я господину за волю, а он и ответом не удостоит. Директор Александр Акинфиевич весьма благосклонно принимает подарки и кое-какое попущение из уважения к моему богатству делает, а на просьбы, однако, одно долбит: «Куда суешься с кувшинным рылом да в калашный ряд!»

Все эти льстивые слова приносили еще больше душевных мук Ефиму. «Сын Миронка как был, так и остался в рабстве! Вот и радуйся!» — угрюмо думал он.

2

В апреле 1833 года из санкт-петербургской конторы пришло предписание о том, чтобы Мирон Черепанов срочно явился в столицу. Получение столь важного приглашения не особенно обрадовало молодого механика: его в эту пору занимали другие мысли. Вместе с отцом он задумал построить паровую телегу. Побывавшие на Каме приказчики рассказывали, что годов пятнадцать тому назад они видели первый русский пароход,— это сильнее разожгло и без того любознательного Мирона.

Весной 1819 года пермские жители валом валили на крутой камский яр, чтобы подивиться невиданному зрелищу. На темной воде по стремнине плыли два парохода. Построены они были на Пожевском заводе владельцем Всеволожским. Проекты этих пароходов составлял горный инженер Соболевский. Строили их в большом секрете и теперь удивляли ими уральцев. Пароходы сделали несколько рейсов перед городом, катали господ, после этого уплыли на Волгу и больше оттуда не возвратились. Однако молва о них пошла среди народа; широко и далеко разнесли ее бурлаки.

История с пароходами не давала покоя Мирону.

«А что, если применить пар и устроить на суше паровую телегу?» — напряженно думал он, и эти помыслы захватили его целиком. Только и дум у него было, что о паровой телеге! Слухом земля полнится, и до Черепановых дошли вести, что в Англии уже опробовали паровые повозки.

Известие о поездке в Санкт-Петербург тревожило и пугало Мирона. Взволнованно он собирался в дальнюю дорогу, а мать успокаивала сына. Она подолгу любовалась им и в душе гордилась: чувствовало ее сердце, что не впусте вызывают Миронку в главную демидовскую контору.

Выехал плотинный Выйского завода весной, как только установилась дорога. До Чусовой он добирался по трудным уральским проселкам: глухими борами, крутыми горами да тряскими гатями. Прибыл он в демидовскую Утку в самую пору: готовилось отплытие «на низы» каравана с железом. В маленькой деревянной Утке сейчас набилось до отказа пришлых людей. Со всего Камня, даже из далекой Чердыни, набрели сюда сотни бурлаков, которые, надрываясь, грузили в свежие тесовые коломенки грузную кладь. Поглядывая на синеющие просторы, по селу бродили матерые опытные лоцманы из Слудки, водоливы и толпы сплавщиков. Шумно, крикливо было в избах. Немало хмельных буянило у коломенок и стругов, только приказчики и могли угомонить их.

Мирон отыскал «казенку» демидовского каравана, который тихо покачивался неподалеку от берега, сдерживаемый крепкими якорями. С верховьев Чусовой на глазах прибывала шалая и неугомонная вешняя вода. Река вздулась, кипела, кидалась на берег и с шипением отступала, чтобы разъяренным зверем снова броситься вперед. В такую пору опасно пускать коломенки, и тагильский приказчик Шептаев выжидал удобной минутки. Ко времени и подоспел Черепанов. Оглядывая его ладную коренастую фигуру, караванный озабоченно спросил механика:

— Не боишься, Мирон Ефимович? Гляди, как играет и ревет река.

— А чего мне бояться? — спокойно отозвался тагилец.— Только и в ответе за свою душу. Тебе страшней: за железную кладь ответ держишь. Не доставишь — как взглянет тогда хозяин!

— Ой, и не говори! Страшно! — с нескрываемым ужасом вымолвил приказчик: — Идем, идем!

Всегда неугомонный и злой, на этот раз Шептаев обрадовался Черепанову и указал на свою каморку в «казенке»:

— Иди отдохни, пока спокойно. На плаву не до того будет. Страхов не оберешься!

Однако Мирон не пожелал отдыхать,— его тянуло полюбоваться на реку, и он остался на палубе коломенки. Все ему казалось здесь в диковинку: и пушка, выставленная на «казенке», и длинные потеси, и бунты тугих пеньковых канатов. У пушечки сидел сухонький обветренный старичок лоцман. Держался он тихо и сосредоточенно. Указывая на реку, старик восторженно сказал:

— Красавица, буянка, с такой и поспорить любо!

Черепанов улыбнулся в свою рыжеватую бородку, дед понял его сомнение, однако не обиделся.

— Ты, милок, не гляди, что с виду я стар,— сказал он сурово,— я ведь шестьдесят годочков на воде плавал, ровно гусь. И то верно, что, может быть, это последняя весна моей жизни, но скажу тебе — будь спокоен! Мастерство наше старинное, умное,— наши лоцманы николи не срамились, сам увидишь!

Старик не хвалился, держался уверенно и говорил о реке с большой любовью. При взгляде на серебряные блики вспененных вод глаза у него загорались юношеским блеском. Он шумно, полной грудью втягивал свежий речной воздух.

— Словно свою силушку в мое тело вливает! Ой, любо! Эх, Чусова-река, буйная дорожка! — сказал он весело.— По всему видно, завтра отвалим!

Толстый и важный, в суконной поддевке и в скрипучих козловых сапогах, распустив парусом широкую бороду, приказчик медленно расхаживал по «казенке», покрикивая на водоливов и потесных. К барже беспрерывно подплывали лодки от других коломенок, из них вылезали люди и шли за указаниями к Шептаеву. Ему доставляло большое удовольствие повышать голос, грозить, топать ногами, упиваться властью над сплавщиками. Недоступный и грозный демидовский доверенный только к лоцману относился снисходительно и его не трогал.

На ранней заре, когда сладко спалось, Мирона разбудил выстрел из пушки. Он вскочил, быстро оделся и выбежал на палубу. Над водой курился легкий туман, вершины высоких кедров на яру искрились под первыми лучами солнца. На реке быстро сновали лодки, шли последние приготовления к отплытию. Утренняя тишина простиралась над Чусовой, которая по-прежнему широко и неукротимо катила свои воды. Рулевые стояли у толстых смолистых потесей. Лоцман

был тут же рядом с ними и зорко вглядывался в голубоватую даль. Вот впереди, за просторной излучиной, порозовели облака, засинело небо. Все — и потесные, и водоливы, и приказчик — внимательно следили за стариком. Он взмахнул рукой, крепкие молодцы бросились поднимать якорь, обрубили путы, и коломенка тихо, незаметно пошла на стрежень. Все быстрее и быстрее она отходила от берега, еще мгновение — и могучим порывом ее подхватила коренная струя и понесла. Одна за другой на большом расстоянии отрывались от берега другие коломенки и тянулись на стрежень. Вскоре весь караван понесся по Чусовой.

Вчерашний старичонка лоцман неузнаваемо преобразился. Теперь перед Мироном стоял озаренный солнцем властный водитель каравана, за каждым движением руки которого с замиранием сердца следили двадцать пар зорких глаз потесных. По мановению его руки они дружными усилиями направляли потесь то вправо, то влево. Даже приказчик притих, принизился: хозяином на всем караване вдруг стал маленький сивобородый дед!

Чусовая неслась быстро, взбешенно, с разбегу билась о каменистые скалы, ревела, тянула вниз, в омут, клокотала и бурлила там. Горе, если прозеваешь и не повернешь коломенку вовремя из буйного течения,— не обогнуть ей тогда камня! А повернешь раньше — тоже беда. Гляди-поглядывай! Проворой будь! Время у лоцмана рассчитывалось на мгновения.

Впереди караван поджидали «бойцы». Издалека слышался рев разбушевавшейся стихии, виднелись валы сверкающей пены, над которой радугой сияла водяная пыль. Все затихли, со страхом прислушиваясь к нарастающему реву. Речная струя подхватила коломенку, как перышко, и понесла. Все кипело кругом, навстречу в бешеном кружении понеслись леса, горы, скалы. Эх ты, Ермакова путь-дорожка, шалая река! Лоцман стиснул зубы, глаза его засверкали,— чуть-чуть, почти незаметно, он шевельнул поднятой ладошкой. Не успел Мирон и глазом моргнуть, как коломенка быстрой лебедью пронеслась под самой скалой, так что можно было рукой шаркнуть по камню. Кипенем кипел рядом страшный водоворот-омут, с ревом бились о «боец» взбешенные струи, но «казенка» проскользнула, оставив позади себя шум и ярость бездны, и вырвалась на простор. У Черепанова сразу заликовала душа,

но лоцман по-прежнему оставался строг, не шевелился и напряженно смотрел вдаль.

Шептаев скинул шапку, перекрестился.

— Слава тебе, господи, «Разбойника» миновали! — со страхом посмотрел он назад. Там, одна за другой, с бешеной скоростью мимо «бойца» проносились коломенки.

Прошло десять — пятнадцать минут, и снова с прежней силой стал нарастать шум. Потесным ни дохнуть, ни пошевелиться нельзя, глаз не спускают с лоцмана. А он на своем месте, как орел среди бури. Мирону и страшно, и жутко, и весело от стремительного движения по опасным местам. Мгновения тогда кажутся вечностью, а вдали опять белые шапки пены, рев, беснование,— вода скачет табуном белогривых коней, вот-вот снесет, ударит, разобьет вдребезги и потянет в черную пучину! Секунда — и опять простор, озаренный солнцем, и река притихла, блестит, а в глубине ее отражаются опрокинутые кедры, бегущие облака и тень от скользящей коломенки.

Весь день не исчезал страх в напряженном ожидании очередных «бойцов». Как глубоко и легко вздохнулось, когда на третий день выплыли на синюю Каму! На высоком яру заблестели маковки церквей, забелели белокаменные торговые ряды и присутственные места,— из легкого тумана вставала только что отстроенная Пермь — губернский город. Тут с «казенки» сошел старый лоцман. Перед уходом он подошел к Мирону, хитро подмигнул:

— Ну, брат, подвезло, через все беды стрелой пронеслись! Счастлив ты, парень! Теперь без большой опаски доплывешь!

— Что ж, сейчас на отдых, отец? — спросил его плотинный.

— Это как поглянется, милок! — поклонился он Черепанову и удалился в каморку приказчика. Шептаев не утерпел и напоследок обсчитал старика. Лоцман взволновался, стал уламывать демидовского доверенного, но тот нахмурился — и ни в какую.

— Будет с тебя и этого! — Он бесцеремонно взял деда за плечи и выпроводил на берег...

По Каме плыли с песнями. Широко и привольно разлилась темно-синяя река. По берегам уходили назад деревянные прикамские городишки, серые деревушки, одинокие часовенки, ставленные на помин

загубленной души. Вечерами на плесах по-бурлацки варили уху и под звездами у костра слушали страшные сказки старого водолива Изотки. Из лесных чащоб ветер приносил запахи смолистой хвои. К чистым камским струям из нагорных глухоманей спускались медведи полакать студеной водицы. Нередко из густых зарослей выходил сохатый и склонял свои могучие рога над Камой-рекой. Пробирались к ней в вечерней тишине и на ранних росистых зорьках и черемная лисица, и гладкошерстая норка, и всякая пушная зверюшка. А на бережку за кустом нежданно-негаданно вдруг пробобочет притаившийся заяц.

Над головами ночью — высокий темно-синий купол неба с золотыми звездами. Под таким шатром еще краше, еще милее казались сказки Изотки. Пламя костра озаряло изборожденное крупными морщинами лицо водолива, а речь его лилась медленно, плавно, как золотая пряжа тянулась.

— Богатый, братцы, всегда завидует бедному, все норовит его обмануть. Я вам, милые, расскажу о смелом Иванушке, крестьянском сыне! — Изотка торжественно оглядел слушателей и продолжал весело: — Расскажу, дорогие, как он вместе с Коньком-горбунком чудес наделал, как он

...хитро поймал Жар-птицу,
Как похитил Царь-девицу,
Как он ездил за кольцом,
Как был на небе послом,
Как он в солнцевом селенье
Киту выпросил прощенье,
Как к числу других затей
Спас он тридцать кораблей,
Как в котлах он не сварился,
Как красавцем учинился...

Ночь притихла, трава сверкала росой, филин неслышно пронесся над кустами, а сказочник все сидел, обняв длинными и сильными руками свои колени, лицо его светилось лаской, и, глядя на золотой уголек костра, он продолжал размеренно-певучим голосом передавать сказку. У Черепанова мечтательно-тревожно забилось сердце. Он неподвижно сидел на земле, боясь проронить хотя бы одно слово. И когда Изотка внезапно смолк, Мирон не удержался и глубоко вздохнул:

— Чудо-сказка!

— Что за диво, дурак дураком и есть! — грубо возразил Шептаев и сплюнул в костер.

— Неверно! — вспыхнул механик.— В этой сказке великий смысл скрыт, он и согревает душу. Дурачком называется Иванушка в ней только на людском языке: не схож он с обыкновенными человеками, не так живет, как они, себялюбцы, живут! Честно служит людям Иванушка, терпит многое, и его не миновали человеческие немощи, но ради людей он решается на невозможное, и добрые всемогущие силы помогают ему, как своему собрату. А кто эти добрые силы, где они? — Черепанов внимательно посмотрел на водолива.

— Народ — великая и всемогущая сила! — сурово сказал старик.

Приказчик нахмурился, сердито оборвал сказочника. Поднеся к нему кулак, зло выкрикнул:

— Какой такой народ? Уж не ты ли, Изотка, тот русский народ? Не Миронка ли? Или вон потесные? Я их, такой народ, в эту жменю сожму, только мокрое место станет!

Красное пламя костра играло на рыжеватых жестких волосах Шептаева, оно ярко освещало все его круглое сытое лицо со множеством веснушек, походивших на пятна, какие бывают на вороньих яйцах. Изотка с плохо скрываемой ненавистью взглянул на него и со страстью ударил себя в грудь.

— Я народ! Все мы, трудяги, русский народ! Не хвались силой! Хоть ты здесь и хозяйский глаз, но сильнее тебя народ! — выкрикнул он с вызывающей горделивостью. Лицо старика внезапно преобразилось, засияло вдохновением. Потесные, водоливы и Мирон невольно залюбовались Изоткой.

Приказчик, встретившись с потемневшими глазами сказочника, промолчал. Затихли и остальные. А кругом, на необозримом пространстве между звездным небом и благоухающими травами, в воздухе разливались бодрящие запахи смолистого бора, дыхание набухшей весенними соками теплой земли, радость самой жизни. Из-за темного леса выплыл робкий серп месяца, и его трепетный свет заструился на тихой Каме и росистых травах. Весенняя радость проникала в пóры всего живого на земле, будоражила его кровь, заставляя людей мечтать, птиц — петь и суетиться, а зверя — ревом взывать к подруге.

— Живем мы, как черви в навозе, и всей красоты земной не видим! — снова с огоньком заговорил Изотка.— А отчего? Оттого, что вот хозяева наши отняли

у нас все радости! Эх, братцы, прислушайся, какая отрада!.

В кустах раздалась песня притаившегося соловушки. Лица у всех потеплели. Сплавщики жадно вслушивались в звенящую трель, в нежные переливы. Шептаев — и тот не устоял, задумчиво опустил голову и заслушался. Кто знает, может быть и в его заскорузлой душе проснулось человеческое чувство?

— Хорошо выводит колена, шельмец! — потрясая бороденкой, прошептал старый водолив.— Ну просто на сердце сладко щемит от такой песни!

Мирон очарованно разглядывал усталые бородатые лица демидовских холопов, их изодранные одежды — порточную рвань да прелые лапти, а сам думал: «Неприглядны, нуждой изъедены, а смотри, что творится! Какая ласковая и отзывчивая душа! Сами нищи, так песней и сказкой украшают свою жизнь! И нет на свете сказок да песен краше русских!»

Костер постепенно погасал, раскаленные угольки подергивались серой пленкой. Ярче на синем небе запылали звезды. За бугром в деревне прокричал полуночник-петух. Один за другим, кутаясь в латаные, ветхие зипунишки, сплавщики укладывались на отдых и быстро засыпали.

Шептаев, кряхтя, встал и пошел на покой в свою каморку на «казенке». У костра остались только двое: водолив Изотка да Мирон. Они сидели молча, боясь нарушить очарование весенней ночи. Только Кама-река все что-то шептала и сонно журчала на близких перекатах...

Миновали уральские реки, выбрались на Волгу, и коломенки поплыли против течения, влекомые бурлацкой силой. Широка и глубока Волга-матушка, но еще глубже и томительнее над ней бурлацкий стон. Впрягшись в лямку, бедолаги брели вдоль берега, шлепая истоптанными лаптями. Канат, на котором держалась коломенка, то натягивался и скрипел, то, при обходе коряг и пней на берегу, ослабевал,— бурлаков покачивало от натуги. Над ватагой столбом вилось комарье, жадно липло к бурлацкому телу, сосало кровь.

— Эй, тянем-потянем! — разносились выкрики над волжскими плесами, а за ними ухала разудалая и грустная «Дубинушка».

На коломенке, как дубовый кряж, врос деми-

довский приказчик и грубо подгонял бурлаков:

— Эй, живей шевели, бреди! Галахи!

Соленым потом поливали трудяги волжские пески, старые пни, болотистые топи, которые подходили к реке. Надрывались, хрипели и плевались кровью изможденные работой волгари, но брели и брели.

Мирон со страхом смотрел на тяжелый труд и думал:

«Простор и раздолье кругом, а работному человеку и податься некуда! Как вола, в лямку впрягли! Вот бы машину сюда!»

Подошел Шептаев и, указывая на ватагу, с восторгом обронил:

— Рвань, галахи, а силища какая! Всю Волгу в ярме обшагали!

Из-за мыса на горах в синей дымке встал златоглавый город. Приказчик повеселел:

— Гляди, вон он, батюшка Нижний! Эх, городок! — Он скинул шапку и истово перекрестился: — Слава богу, груз в целости доставили, то-то хозяину радость! Эхма! — Шептаев хлопнул в ладоши и сразу же после моления пустился в дикий пляс.

Водоливы с изумлением смотрели на демидовского доверенного.

— Ух ты, ирод! Брюхо не вытрясло, а совесть давно вынесло! И плясать по-людски не умеет!

Мирон удивился: и в самом деле, рыжебородый приказчик плясал, а глаза его были хищны и жестоки.

Спускался вечер, бурлаки выбивались из сил, а бурая широкая река все еще гневно бурлила пенистыми воронками, с ворчанием ударяясь о берег. Вверху, над холмами, в безоблачном ясном небе догорал закат...

3

Из Нижнего Новгорода до Москвы Мирон доехал на попутных лошадях. На постоялом дворе он отдохнул, походил по Белокаменной, внимательно присматриваясь ко всему. Его поразило радостное оживление, кипучесть и неугомонная стройка города. На главных площадях и улицах еще простирались огромные пепелища, но кругом высились леса, слышался бодрящий стук топоров, звенели пилы, покрикивали каменщики. Москва

залечивала раны, нанесенные иностранными полчищами. Наполеон и многие его сподвижники давно уже стали прахом, а бессмертный русский народ строил и обновлял свой великий город. Вновь на бульварах зазеленели молодые тополя, в больших зеркальных прудах заиграла рыба. Вешние дожди смыли копоть и сажу с кремлевских стен; восстановленные в прежней красе зубцы и башни снова горделиво вонзились в небо. Казалось, помолодела вся русская земля после прогремевшей бури, а с нею помолодела и стала краше Москва.

Досыта налюбовавшись Белокаменной, Мирон по совету постояльцев отправился в контору дилижансов.

Только что закончилось постройкой шоссе из Москвы в Санкт-Петербург, и теперь в столицу ходили спокойные рессорные экипажи. Мирон смущенно подошел к смотрителю и попросил записать его на проезд в дилижансе. Чиновник с унылым носом даже не взглянул на клиента. Коротко и деловито он предложил уральцу:

— Платите деньги, господин, и езжайте с богом! Трое пассажиров имеется, только и не хватало четвертого. Кстати, вон и сосед ваш по экипажу! — указал он на коренастого молодого человека с широким круглым лицом и выразительными глазами, весело блестевшими из-под очков. На путешественнике было старенькое потертое пальто и широкополая шляпа, через плечо переброшен плед в клетку. Черепанову сразу приглянулся попутчик. Он был значительно моложе Мирона, но выглядел солидно и держался с достоинством.

— Очень рад! — приветливо пожал он руку механику, озаряя его светлым взглядом.— Судя по виду, издалека путь держите?

— С Камня, из демидовских заводов! — степенно ответил Черепанов, радуясь, что так просто началось знакомство.

— Вот как! — поправляя очки и внимательно вглядываясь в тагильца, радостно воскликнул юноша.— Выходит, вы уралец! А я сибиряк. Земляки, одного поля ягодка!

Мирона одно смущало: не думает ли его спутник, что Черепанов вольный человек? Что будет, если он узнает, что рядом с ним поедет в дилижансе крепостной?

— Позвольте узнать, как величать вас? Меня зовут

Петр Павлович Ершов, студент Санкт-Петербургского университета! — просто представился юноша.

Тагилец опустил глаза, покраснел, но решил разом покончить с сомнениями и честно признался:

— Мирон, крепостной механик. У Демидова паровые машины с отцом построили.

Глаза студента изумленно расширились.

— Вот как, выходит, мне повезло! Радуюсь, что с вами поеду! — Он запросто взял Черепанова под руку и повел его в соседний трактир.— Подкрепим немного телеса. Путь дальний, хотя без терний.

В трактире, жадно хлебая горячие щи, он с упоением рассказывал о Сибири. Студент весь горел и был подвижен, словно ртуть.

— Нажимай веселей, друг! — подбадривал он Мирона.— Желаешь, я тебе про отчизну свою прочту одно послание?

Черепанов ласково улыбнулся ему в ответ. В трактире было пусто. Уронив голову на стойку, буфетчик сладко посапывал. Студент, вскинув глаза, вполголоса начал:

Рожденный в недрах непогоды,
В краю туманов и снегов,
Питомец северной природы
И горя тягостных оков,—
Я был приветствован метелью
И встречен дряхлою зимой,
И над младенческой постелью
Кружился вихорь снеговой...
Мой первый слух был — вой бурана.
Мой первый взор был — грустный взор
На льдистый берег океана,
На снежный горб высоких гор...

Сибиряк произносил слова четко, сурово. Крепкие и круглые, они, как литые колечки, срывались с его крупных губ и катились к сердцу слушателя. Он окончил, смолк, а Черепанов все еще очарованно смотрел на него.

— Что это? Песня, быль? — взволнованно спросил он.— Будто про мой родимый край сказано. Ах, сударь! — Он горячо схватил руку студента и хотел ее поцеловать.

— Что ты, братец! Разве ж это допустимо: не барин и не поп я! — с легкой насмешкой сказал тот.

Мирон смутился, покраснел.

— Хоть я и крепостной смерд, но барину руки не

лобызал, не приучен батюшкой. Твои речи вознесли меня высоко, схватили за душу. Вот говорил ты, и чуял я вой бурана, вихрь снеговой, сибирский! До чего хорошо!

Студент растерянно заморгал, снял очки и стал протирать глаза, будто запорошило их.

Перекусив, они вышли из харчевни. Над Москвой догорала заря. На ее алом фоне четкими силуэтами вставали кремлевские стены, островерхие башни, и среди них Иван Великий — златоглавая колокольня. Сиреневые тени легли на Красную площадь, и с Замоскворечья подул теплый, мягкий ветер. Над Кремлем засверкали первые робкие звезды. Взглянув на них, студент вздохнул:

— Сейчас время страшное, глухое, а придет пора, иные звезды засияют над русской землей!.. До завтра, милый человек! — Ершов поклонился и вскоре исчез в наступающем сумраке.

На ранней заре затрубил почтовый рожок, кони тронулись, и дилижанс, мягко покачиваясь на рессорах, покатился по мостовой. Минули заставу, пригород, выехали на шоссе. Разыгрался ясный погожий денек, и далеко виднелось в прозрачных полях. Передние места в экипаже заняли толстый обрюзглый помещик с костлявой чопорной супругой. Они сидели спиной ко второй паре пассажиров, стараясь не замечать их. Прямая как палка, с длинным носом, чванливая дама брезгливо поджимала губы. Она не желала вступать в беседу со спутниками. Рыхлый и оплывший муж ее, опустив голову, сразу же задремал под легкое покачивание дилижанса.

Мирону казалось, что он давным-давно знаком со студентом. Проникаясь к нему доверием, он рассказал о своей мечте — сделать такую паровую машину, которая перевозила бы груз и тем облегчила труд человека.

— Паровой дилижанс! — обрадованно выкрикнул Ершов, но сейчас же испуганно взглянул на дремавшего помещика и понизил голос. Он заговорил тихо, но горячо и страстно:

— Да знаешь ли ты, братец, что великое дело задумал! Вижу и душой чувствую: талантливый ты русский человек! Всем сердцем верю, что сбываются чаяния Михайлы Васильевича Ломоносова, который уверял, что «может собственных Платонов и быстрых

разумом Невтонов Российская земля рождать». Вот они идут! Жаль, весьма жаль, что не дожил Михайла Васильевич до наших дней!

Многое непонятно было уральцу из того, что говорил студент, но всем разумом он догадывался, что веселый и бойкий сибиряк искренно радуется его мысли и сочувствует ему.

Всю дорогу оба любовались спокойным русским пейзажем и тихим говорком делились впечатлениями. Помещик на почтовых станциях насыщал утробу и терпеливо выслушивал жалобы сварливой и надоедливой жены.

В Новгороде, над синим Волховом, студент и Черепанов долго восхищались закатом. Было тихо, хорошо на душе, и Мирон, взглянув на спутника, предложил:

— Я вам одну сказку поведаю,— на Каме от бурлаков слышал. Люблю байки да сказки: от них теплее становится на сердце!

Ершов склонил лобастую голову, теплые глаза его лучились.

— Нуте-с! — попросил он.

Мирон, глядя на быстрые воды Волхова, начал в полный голос:

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Не на небе — на земле
Жил старик в одном селе.
У крестьянина три сына:
Старший умный был детина,
Средний был и так и сяк,
Младший вовсе был дурак...

— Стой, погоди! — схватил Мирона за руку студент.— Неужели на Каме знают эту сказку?

— Знают! А что тут удивительного, если она радует душу? — рассудительно ответил уралец.— Сказка чудесна, светла, вот как эта заря! — показал он взором на сияющий нежный закат.— После нее дышать легче. Веришь ли?..

Он взглянул на студента и смутился: на ресницах юноши блеснули слезы.

— И мне по душе, сродни эта сказка! — тихо сказал он, обнял Черепанова и нога в ногу пошел с ним вдоль крутого берега...

За Волховом путешественников встретили мокрые ветры. Серые тучи низко ползли над полями — весна

в этих местах была скудная, чахлая. Под столицей пошли унылые болота, равнины, покрытые низкорослым кустарником да редколесьем. Утром в тумане перед путниками встал Санкт-Петербург. У Московской заставы дилижанс задержался: дорогу преградил полосатый шлагбаум. Из будки вышли усатые жандармы и попросили предъявить подорожную. Студент небрежно подал в опущенное окно дилижанса подорожную, и стражи вскоре возвратили ее. Грузный помещик вручил свои листы.

— Дворянин Иван Петрович Измайлов из Рязани! — почтительно огласил документы жандарм и взял под козырек.— Прошу!

Костлявая дама кокетливо взглянула на курносое лицо жандармского офицера, на его большие мутные глаза, похожие на выпуклые оловянные пуговицы, и заискивающая улыбка скользнула по тонким измятым губам женщины. Жандарм звякнул шпорами, лихо подкрутил ус и выразительно завращал глазами.

— Ах, боже мой! — вскричала костлявая жеманница.— Я где-то видела вас!

Офицер побагровел от удовольствия и протянул руку за подорожной Мирона; развернув ее, он громко, раздельно прочитал:

— Мирон Ефимов Черепанов, крепостной человек господина Демидова!

Помещица сердито передернула плечами, глаза ее потемнели от злости, и она, забыв об офицере, желчно набросилась на мужа:

— Что ты смотрел, пентюх, когда выправлял билеты? Как это можно,— мы всю дорогу ехали с мужичьем! С холопом! Что же теперь делать? Как быть? Ты опозорил меня, пентюх, на весь Санкт-Петербург! Боже мой, что скажет тетушка, генеральша Анна Михайловна! Пентюх, соня! Мешок! — Она готова была избить неповоротливого, нескладного супруга, если бы не офицер, который снисходительно посмотрел на помещицу и улыбнулся ей:

— Сударыня, теперь не возвращаться же вам после этого в Москву! Эй ты, вражья душа, получай свою подорожную! — грубо окрикнул он уральца и сунул в окно измятый лист.— Пропустить! — зычно прокричал он, и пестрый шлагбаум поднялся ввысь. Дилижанс покатился по столичной улице. Мирон сидел с низко опущенной головой. Шипевшая, как злая гусыня, по-

мещица злилась на мужа; она с нескрываемым презрением оглядывалась на соседей. Помещик терпеливо сносил выпады супруги. Изредка он хватался за голову, раскачиваясь, жаловался:

— Ну и век! До чего дожили: в одном экипаже с хамом едем!

Мирон еле сдержался.

— Неизвестно еще, кто среди нас хам! — гнёвно отозвался студент.— А вам, сударыня, семейные сцены тут не пристало разыгрывать. Да-с! — Он впился строгими глазами в желчную барыню и засмеялся ей в лицо: — Глядите, после сего случая тетушка Анна Михайловна не пустит вас во двор!..

Презрительно взглянув на студента, помещица отвернулась и с еще большим ожесточением зашипела на мужа. Счастье, что скоро подъехали к столичной конторе дилижансов и пассажирам пора было покидать станцию.

Прощаясь с Ершовым, уральский механик условился встретиться с ним. Мирон долго мял в руках шапку, смущенно глядя на студента.

— Спасибо, Петр Павлович, за науку и доброе слово! — поклонился он спутнику.— Будет ли тебе с руки встретиться с простым рабочим человеком? Не зазорно ли? Ведь я крепостной!

— Эй, милый ты человек, да на таких, запомни, Русь держится! Не смущайся, не красней! Что ж, что крепостной? Не нам с тобой стыдиться своей судьбы,— мы честные работники!

Они по-братски обнялись. Уходя, Мирон все оглядывался, а на душе было такое чувство, будто что-то дорогое потерял. Он пробирался по Мойке-реке и думал о дорожном товарище. Доброе, светлое чувство нес он в своем сердце. Уралец остался благодарен умному юноше, сумевшему успокоить самое наболевшее. Тяжело, невыразимо тяжело угнетала Мирона мысль о рабском состоянии. Чем ближе он подходил к демидовскому особняку, тем дальше уходила от него радость приятной встречи и нарастала тревога.

В демидовском особняке встретили Черепанова холодно. Ему отвели темный угол в шумной и неуютной людской, и разбитная ключница сердито предупредила:

— Отоспаться с дороги успеешь, сейчас в баню отправляйся! Пока не ополощешь телеса и в чистое не обрядишься, до подушки не допущу!

Пошла томительная и оскорбительная жизнь. Каждый дворовый и конторский писец мнил себя величиной и чванился перед уральцем. Мирон помрачнел, замкнулся в себе. Молча переносил он все, делал, что предлагали, однако держался перед всеми с достоинством, и когда указания делались настойчивее, он строго останавливал:

— Не перед вами мне отвечать! Прибыл по зову самого Демидова, с ним и разговор буду иметь!

— Далеко хватил! Гляди, чтобы Павел Данилович без мороки принял, и то счастье! — посмеивались над ним.

Главный директор Данилов и в самом деле не сразу допустил к себе Черепанова. Через секретарей он оповестил Мирона, чтобы тот зря не терял времени и объездил санкт-петербургские заводы: надлежит ознакомиться с машинами и механизмами, насколько это допустимо со стороны владельцев, а также подумать о том, что можно позаимствовать для уральских заводов. В столице было на что посмотреть и чему поучиться!

Глава седьмая

1

Выполняя указание Данилова, тагилец съездил в Петергоф, побывал там на гранильной и бумажной фабриках. Посетил он и Александровский завод, на котором прожил неделю и ознакомился с литьем и отделкой пушек. Мирон жадно изучал каждый механизм. Многое он почерпнул из опыта русских мастеров; каждый из них старался ему показать свое умение.

Возвращаясь с работы, он по обыкновению сворачивал на обширную площадь, на которой возводился величественный Исаакиевский собор. Здесь, среди лесов, подле возведенных стен устанавливались монументальные гранитные колонны. Их подвозили к невской набережной на особой громадной барже и с нее на катках осторожно передвигали на берег, прямо на тележки, стоявшие на колесопроводах. Колоссальные отшлифованные граниты легко передвигались по рельсам к месту стройки. Это было удивительное зрелище, целиком захватывавшее механика. Как просто и легко!

«А что будет, если паровой дилижанс поставить на подобные колесопроводы? Тогда наверняка он легко и свободно передвинет тяжелые грузы. Если такие глыбы без натуги влекут кони, то что сделает машина?» — с восхищением думал Мирон.

Он с любознательностью присматривался к тому, что творилось на строительной площадке. Уже закончили высокий фундамент и цоколи. Из твердого гранита сложили площадки портиков. Тут же были установлены мощные кабестаны, изготовленные русским подрядчиком на петербургском заводе. При помощи двадцати таких простейших машин поднимали гигантские гранитные колонны. Рассказывали, что на установке первой колонны присутствовал царь Николай Павлович, который потребовал, чтобы механизмы и люди работали по воинской команде: «Ать-два!»

Всеми работами по возведению колоннады заправлял купец Шихин, хитроглазый и весьма проворный подрядчик. Он давно своим острым глазом приметил Черепанова и сманивал на стройку:

— Хочешь, откуплю тебя у барина? Иди-ка ко мне на гранитные работы,— вижу, к машинам тебя тянет!

— Ворот — машина простая, древняя. Вот бы пáром поднять каменные столбы! — деловито предложил механик.

— У нас и без машины свой пар из голенищ со свистом валит! От работенки так прошибет, что пот ручьем! — иронически ответил подрядчик.— К чему мне машина, когда человек — самая дешевая тварь!

Купец снизошел к просьбе механика и свозил Черепанова в каменоломни, где добывали гранитные глыбы. На скалистом пустынном острове среди серого Финского залива под скучным низким небом шла работа русских богатырей. Еще не доходя до каменоломни, уралец увидел чудовищные грубо отесанные монолиты, сваленные неподалеку от пристани. Это была работа невиданных титанов, которые, казалось, сплеча, как лесорубы в лесу, рубили гигантские каменные стволы. Толщина их превосходила человеческий рост.

— Кто эти люди? — спросил у подрядчика Мирон и на самом деле представил себе богатырей.

— Да вот они, божьи работнички! — весело показал в сторону купец.

Из-за гранитной глыбы вышел хилый подслеповатый мужичонка в посконных портках и в изношенной

пропотевшей рубахе. Он низко поклонился подрядчику.

— Эй, Сенька, слышь-ка, проведи мастера! — окликнул тот каменщика.

Мужичонка проводил тагильца к месту добычи. По огромной скале мурашами ползали маленькие, тщедушные фигурки людей. Навстречу доносился легкий шум: каменотесы бурили дыры в твердом граните.

— Полезем, поглядим, что робится! — предложил рабочий и быстро, легкой кошачьей походкой стал взбираться на скалу. Мирон еле поспевал за ним. Он запыхался, не мог отдышаться, так труден и крут оказался подъем. По граниту, неподалеку друг от друга, в ряд трудились десятки мастеров, долбивших углубления. Трудно было даже представить себе, что эти слабые, маленькие люди могли сдвинуть гору и превратить ее в чудесную колонну!

— Надрываетесь? — сказал Мирон.

— Не долбим, а по́том своим прожигаем скалу! — утирая лоб, отозвался рабочий. Он разогнулся и показал рукой: — А ты вот туда, на отколку, сходи подивись!

Перед Черепановым стоял щуплый мужичонка с реденькой бородкой, ресницы его запорошило каменной пылью, а в распахнутый ворот рубахи виднелись острые ключицы. В чем только душа держится!

— Наша работенка такая, измотаешься вконец! Не успеешь оглянуться, и погост! За спиной всегда смерть! — пояснил он.— Что ж, без этого нельзя! Зато эвон какие дивные дворцы возводим! — с гордостью закончил он.

Измученный работой, безвестный человек думал об украшении своей земли, которая была ему мачехой.

Черепанов прошел на отколку. Там, на длинной скале вдоль выдолбленного желобка с кувалдами стояли каменотесы. В каменной щели в пробитых на равном расстоянии дырах торчали железные клинья. Никто из рабочих не обратил внимания на подошедшего Мирона. Только завидев вдали вышагивающего подрядчика, они, не докурив самокруток, выстроились в шахматном порядке и, поплевав на ладони, стали ждать сигнала.

Старшой взмахнул рукой, голосисто крикнул:

— А ну, братцы!.. Эх, разом!

В один миг одновременно поднялись тяжелые кувалды, прочертили кривую и со страшной силой

ударили по клиньям. Раз за разом, удар за ударом, входя в трудовой азарт, но соблюдая ритм, ударяли каменотесы по железу, сотрясая воздух и подбадривая друг друга:

— Еще раз! Еще разик!.. Два!..

Из-под кувалды сыпались бледные искорки. Казалось, не кувалды бьют, а ужасное огромное чудовище лязгает тяжелыми железными челюстями.

— Видишь, что за работенка! — весело подмигнул Мирону мужичонка.— От темна до темна поиграй так кувалдой, голова кругом!

— Не скоро! Ой, не скоро треснет! Всю душу до того вытряхнет! — сказал каменотес и позвал Черепанова: — Идем отсюда, что ли!..

Мирон посмотрел и как шлифуют монолиты и как их грузят. Колонны в восемь тысяч пудов каждая перекатывали на палубу плоскодонного судна вручную. С уханьем, надрываясь, тяжело работали люди. Одно неверное движение, просчет — и глыба раздавит!

«Да, нелегко и здесь доводится работному человеку,— с грустью подумал тагилец.— Все людской силой делается, и никаких машин. Издревле применяли молот, клин, каток, вот и все!»

Разочарованный и раздосадованный, он уехал с унылого гранитного острова.

2

Однажды утром Черепанова снова потянуло взглянуть на стройку собора. Он долго разглядывал кабестаны и нашел, что они несовершенны. Как бы в подтверждение его мысли русобородый молодец с синими глазами сказал Мирону:

— Все тут на человеческой жиле построено. Тянись из последних сил. Изматывает вконец. К вечеру человек в мочало обращается. А уж если канат сорвется или лопнет, ну берегись, тогда ворот так рванет — на месте смерть! Вот она, наша жизнь! — Он вздохнул и пристально посмотрел на уральца.

— Крепостной, небось?

— Крепостной,— с грустью признался Мирон.— Вот все на стройку влечет, на человеческий подвиг не терпится взглянуть. Поглядишь — мал человек, а какое дивное творение возводит... А ты кто сам?..

Мастеровой сдвинул на затылок поярковую шляпу.

— Оброчный,— сказал он.— С первого дня стройки здесь стараюсь: всю черную работу прошел, а ноне четвертый год — каменщик. Это ты верно, милый, заметил, что как бы мал человек ни был, он свой подвиг творит! Вот думка об этом и поднимает душу, крылатым делает рабочего человека, а иначе жизнь наша — сплошные потемки...

Он взглянул на заголубевшее над Невой небо, о чем-то задумался и вдруг предложил механику:

— Хочешь, я тебя на леса свожу, все тогда увидишь!

— Ой, братец, сделай милость! — попросил Мирон.

— Ну, коли так, шагай за мной!

По шатким крутым лесенкам Черепанов все выше и выше поднимался вслед за каменщиком, и все шире и шире распахивался перед ним большой город. Мастер взбирался вверх уверенно; был он молод, с озорными глазами. Бородку, видать, недавно отпустил.

— Я тебя, парень, давно приметил и так смекнул: привержен ты к доброму мастерству. В жизни, видать, свое счастье ищешь?

— Верно, счастье свое давно ищу. Мастерство у меня любимое. К механике тянусь.

— Так,— шумно вздохнул широкой грудью каменщик,— дело хорошее!

Схватившись за шаткие перила, он смело поднялся на последнюю узкую площадку. С нее раскрылось необозримое нагромождение каменных улиц и переулков. Вот глубоко внизу лежит Сенатская площадь, на ней скала, с которой вознесся Медный Всадник. Широкая полоса Невы чуть-чуть отливает синевой, а правее за ней на солнце сияет шпиль Петропавловской крепости.

— Хорош столица-город! Сказочен! — весело сказал каменщик и сбросил поярковую шляпу. Ветер вверху был силен, шевелил русые кудри и бородку, и синие глаза мастера восторженно заблестели.

Мирон очарованно смотрел на Петербург, на очертания его площадей, садов и прекрасных зданий. Влево из-за гряды синих облаков поднималось ликующее солнце, а на широкой реке в блеске утреннего солнца колебались сотни, тысячи мачт.

У каменщика умный взгляд, у губ тонкие складки, лицо энергичное. Он протянул руку и, указывая на золоченый шпиль Адмиралтейства, сказал:

— Вот что делает человеческий труд и старание! Нет краше на свете города! Но и здесь ты, парень, не найдешь своего счастья!

Сердце Мирона сжалось от скорби.

— Это я и сам чую: подневолен наш труд, и нет простора русскому человеку показать всю свою силу. Видно, крепостная кабала без конца-краю так и заглушит самое лучшее и красивое, что есть в народе!

Каменщик оглянулся, схватил механика за руку.

— Видно, одной тоской охвачены мы, одним пламенем горим! — с жаром сказал он.— Только вольный человеческий труд обратится в радость! А будет ли это? — Он пытливо взглянул на Мирона и махнул рукой.— Эх, была не была, поведаю тебе тайное, что ношу в себе!..

Они присели на ящик с остывшим раствором. С минуту мастер молчал, собирался с мыслями, потом шепотком начал:

— Уж я-то хорошо своими глазами видел, с чего начал наш царь-батюшка Николай Павлович и чего от государей приходится ждать...

Каменщик не сводил пытливого взгляда с Черепанова, говорил он ровно, спокойно:

— Подсказывает мне нутро, что ты свой человек, не избалованный, не из господской дворни. Рабочая кость!

Уралец кивнул головой и, не таясь, искренним тоном рассказал о своей семье, работе и думках. Своей откровенностью он тронул мастера.

Внимательно слушая его, каменщик поддакивал:

— Так, так, это хорошо; вижу, ты на правильную дорожку гнешь, для народа стараешься. И то верно, что каждый человек должен иметь свою мечту. Без нее человек, как птица без крыльев. Червь он тогда...

Мастеровой поднялся во весь рост, огляделся, заглянул вниз, прислушался. На стройке была тишина, только где-то в затаенном уголке со звоном падали редкие звучные капли. Каменщик наклонился к Мирону и таинственно предложил:

— Ты перекрестись, парень, поклянись господом богом, что молчать будешь, и тебе поведаю о том, что довелось мне видеть здесь, на Сенатской площади, в двадцать пятом году...

У механика перехватило дух. По Уралу давно ходили смутные слухи о людях, которые восстали против царя, но никто толком не знал, что случилось в те дни в Санкт-

Петербурге. Знали, что молодые дворяне восстали против Николая, требовали волю крепостным. Однако все словно туманом было укрыто. Сейчас Мирон вспомнил о своей поездке с батей в Екатеринбург. В этот день по Сибирскому тракту через город промчались взмыленные тройки. В каждой тележке между запыленными жандармами сидело по арестанту, скованному кандалами. Тройки неслись, из-под копыт клубилась пыль, а народ на ходу бросал в тележки кто сайку, кто крутое яйцо, а иной — медный пятак. Женщины, столпившись у ворот, плакали. Отец взглянул вслед мчавшимся тройкам и с упреком сказал:

— Эх, загубили добрых людей!..

Больше ни одним словом не обмолвился Ефим Алексеевич, но уже тогда понял Мирон, что люди, которых так торопливо увозили жандармы, не плохие люди. Простой народ не будет зря жалеть, да и батя не по-пустому сказал о них доброе слово.

Черепанов сбросил шапку и поклялся перед каменщиком:

— Перед господом обещаюсь молчать!

— А коли так, слушай! — Каменщик уселся и предложил: — Садись-ка поближе, речь по тайности пойдет. Четырнадцатого декабря это случилось на сей площади, мне тогда осьмнадцать годков было,— начал он свой рассказ.— В понедельник, еще задолго до рассвета, началась хлопотливая работа: каменотесы долбили гранит, плотники стучали топорами, визжали пилы, скрипели под людьми сходни, таскали вверх кирпичи, камни, тес. Со взморья продувал резкий ветерок, изрядно морозило. И хоть с ночи выпал свежий, чистый снежок и был уже десятый час утра, а светало лениво. В эту пору, в декабре, в Петербурге самое глухое время: день короток, сумрачен, а ночь велика, темна — волчья ночь! Так все и шло как положено. Старался и я от моготы своей, клал камень за камнем. Подрядчик тут же вертелся, приглядывался к моей работе; знать, по душе она пришлась ему. По правде сказать, он и не скрывал этого. «Ты,— говорит,— Степанко, хороший работник, но дух у тебя неспокойный, непокорный». Только хотел я ему в ответ слово молвить, да тут на площадку выбежал мастерко. Маленький, измотанный работой, бородка мочальная, но сейчас вдруг он какой-то иной стал, словно вырос в глазах людей.

— «Братцы! — закричал он на всю стройку.— Кидай работу! Гляди, родимые, что в столице робится! Войска поднялись против царя, за волю сюда идут, милые!»

Он и не досказал всего. Подрядчик тяжким шагом подошел к нему да как хряснет его по лицу увесистым кулаком, так бедолага весь кровью залился. Мы на подрядчика, а шум между тем все больше. Глядим и впрямь на Сенатскую площадь вступили войска и в каре построились, а кругом бушует народ. Машут шапками, кричат «ура»...

Подрядчика, конечно, оставили, он и сам потихоньку сбежал. После всего этого какая тут работа! Мы кто куда: один сбег на площадь, другой на забор залез, третий за полено взялся, четвертый камень принес. А сам я на штабеля дров забрался и гляжу, что дальше будет? Тем временем на площади войск стало больше, почитай тысячи две, а кругом густо народа. Как видишь, сколько кругом камня наготовлено для собора. И тогда немало гранитных глыб сложили не только на берегу Невы, но и кругом стройки и на самой площади. Люди на них поднялись и бодрящим словом перекидывались с гвардейцами. Повел я глазом на Васильевский остров, и там у Исаакиевского моста тоже большущая толпа простого люда. Полиция попробовала разогнать, да сил не стало. Народ, как бурное море, хлынул на площадь и смял полицейскую цепь. Впервые на своем веку, дорогой, увидел я, что полиция испугалась и молчит.

«Братцы, братцы,— кричу своим,— идем на площадь!..»

Какой-то солдат приметил меня и махнул рукой:

«Айда, парень, со всем народом волю добывать!»

«Погоди орать! — перебил его старый каменотес.— А как же в таком разе с царем будет?»

«А мы без царя!» — напрямик отрезал солдат.

Старик опешил, головой покрутил.

«Этак-то полегче жить, но так думаю, служивый, дворяне не дозволят! Гляди, спину лозой иссекут!»

Тут уж и я вступился:

«Ты не спорь, Акимыч, надо нам идти со всем народом! Его руку держать!»

Между тем к московцам прибыла помощь, пришли моряки Гвардейского Экипажа, подоспели три роты гренадеров. Народ прибывал со всех сторон, лишь ждали минутки, когда начнется. А с площади только

раздавалось «ура» — и никаких действий... Потом сказывали, князь Трубецкой не явился на площадь и не подобралось командира, который оказал бы твердость. А время шло, завернуло за полдень, мороз не сдавал, ветер усиливался, солдаты, хотя и гвардия, а в одних мундирах, стынуть стали...

Конечно, это на руку было Николаю Павловичу, который сам прискакал со свитой и стягивал свои войска. Вот там на углу он на коне гарцевал. Лицо сытое, бледное, надменное. Так и хотелось в него камнем запустить, но, думаю, сейчас и без того начнется настоящее и нам, рабочим, дремать не придется. Ох, горе, и в этот раз до большого дело не дошло! Принялись уговаривать восставших солдат покориться. Генерал Милорадович при голубой ленте вымчал на площадь, на коне ворвался в каре и стал посулы делать. Но не тут-то было! По нему из пистолета стрельнули, вижу — генерал закачался, шляпа с него слетела, телом припал к луке. «Вот наверняка будет схватка»,— решил я. Но и опять ничего, прискакал второй генерал уговаривать, угрожал, и тут из народа кто-то его по спине поленом огрел, еле унес ноги его превосходительство... Я на все это гляжу, а самого в лихорадке треплет, даже слезы на глазах выступили, горло пересохло.

«Братцы, братцы! — закричал я солдатам.— Начинайте, мы поможем... Эх-х...»

Каменщик перевел дух, его голубые глаза потемнели. Он ссутулился, словно великая тяжесть навалилась на плечи. Вздохнул и вымолвил:

«Тут бы и ринуться на своего вековечного врага: народ весь в напряжении пребывает, весь Петербург сбежался, только искру брось — живо займется полымя и пойдет крушить! А искры-то и нет, все тлеет, а живинки и не хватает. И вижу, царь подзывает генерала Сухозанета и что-то приказывает ему. Наши мастеровые все знали эту стерву, не раз видели на стройке. Первый подлец был! Глядим — скачет он галопом, и прямо в середину каре. Что он там говорил, не знаю. Сказывают, солдат стращал. Однако и этому не повезло, еле ускакал. Кто-то вслед ему стрельнул, с его султана только перья посыпались.

Ну, думаю, последняя пора подоспела, прозевают,— плохо будет! Холод жмет. Все больше и больше прибывает гвардейцев к Николаю. Затяжка ему, извест-

но, на руку. На сей раз с увещеванием послали митрополита в полном облачении. Солдаты, известное дело, перекрестились, а некоторые и ко кресту приложились, но все-таки строго ему сказали:

«Уходи поскорей, ваше преосвященство, боимся, чтобы беды какой не вышло!»

И столь грозно со штыками наперевес наступили, что митрополит, открещиваясь, еле добрался к нам, за изломанный забор.

«Что,— прикидываю,— и тебя обругали и прочь отослали!..»

Только подумал, гляжу — сам царь Николай выехал на Сенатскую площадь. Но лишь вступил он на нее, как раздался залп. Свита повлекла императора прочь. Пришло и наше время. Коли тебя, подлеца, солдатская пуля миновала, так знай, мы свое в ход пустим. Поленьями, камнями стали в него кидать. Я изловчился — и прямо в каску. Гляжу, царь вовремя голову отклонил. Эх, неудача! Ускакал, ирод! Скачет, а народ кричит, кто чем попало вслед бросает. Комья снега, поленья, палки, каменья полетели в царя и в его свиту. Сказывали, один бросил в Николая кругляшок, тут на храбреца налетел генерал и опрокинул его конем.

«Ты что делаешь?» — закричал генерал. Мастеровой нашелся и лукаво отозвался:

«Шутим мы, барин!..»

В конную гвардию, что царь вызвал к себе на помощь, тоже полетели каменья, замерзшая грязь, а полковника их окружили, и еле он выбрался из толпы. Вот оно, братец, что заварилось...

Черепанов изумленно разглядывал добродушного на вид мастерового. Просто не верилось, что он поднимал руку на царя. Угадав его мысли, каменщик тряхнул головой.

— Ты не гляди, что я такой,— сказал он.— Когда меня за живое тронут, сам не свой: тогда не только до царя, но и до бога доберусь!

Он грустно улыбнулся и продолжал:

— После всего на восставших двинули в атаку конногвардейцев, но их встретили дружным огнем и отбили. Что сделаешь в конном строю, когда гололедица и быстро наползали сумерки... Ох, тяжко мне думать об этом вечере! — пожаловался рабочий.— Ветер усилился, пошел густой снег, солдаты в мунди-

рах окоченели. И чувствую, тоска, смертная тоска навалилась на мою душу. Да что — на мою душу? Вижу, весь народ приуныл, кругом наступило зловещее безмолвие. И наши мастеровые на стройке притихли. Никаким часом, ни курантами это не отметилось, что тут такое произошло, что сейчас так захолодило душу. Упустили время, вот оно что! А главное — с народом не слились, хотя всей душой стремились простые люди помочь им...

Рассказчик замолчал, задумался. Видимо, воспоминания коснулись самого больного места его души. Мирон понял, что он горюет. Положил ему на плечо руку и душевно сказал:

— А ты не терзайся, все миновало...

— Э нет, милок, такое не минуется. Народная кровь не смоется, не забудется. Ух! — Он крепко сжал кулак и постучал по колену, пригрозил невидимому врагу.— Ну, погоди, напомним!.. Однако как ни тяжело, а правду досказать надо... По наказу царя из орудий открыли беглый огонь. Слышу, прогудело и ударило под карниз Сената, только щебенка посыпалась. Народ дрогнул, мастеровые кто куда: между бревнами, камнями, за гранит попрятались. Тут и пошло: второй, третий, четвертый залп, и прямо по солдатам да по народу. Крик, давка. Одни в подворотню побежали, другие в чужие дома, а большинство через перила да прямо на невский лед. Часть восставших по льду норовилась добраться до Петропавловской крепости, но по ним ядрами, ядрами...

Лед местами не выдержал, проломился и немало сердяг ушло вглубь... До самой тьмы била картечь, метались люди, падали в снег и не вставали больше. Вот, как сейчас вижу, по обмерзшим камням, хрипя, припадая, ползет старик с перебитыми картечью ногами и вопит:

«За что же, родимые?»

Эх, горемычный, так и не дополз, тут же у забора и застыл...

— Спустилась мгла, стала оседать изморозь, пала темная-претемная ночь, но и она не принесла успокоения,— грустно вымолвил каменщик и ниже склонил голову.— Как вспомню это времечко, так и сейчас сердце кровью обливается. Кругом лежала такая глубокая тишина, как на кладбище. Только на Сенатской площади и окрест пылали костры. Подле них толпи-

лись озаренные пламенем гвардейцы, грелись, несли караулы, да изредка раздавалось цоканье подков — разъезжали конные патрули.

Старшой всех мастеровых собрал на стройке и сказал:

«Выходи, братцы! Порадейте, выполнить надо царский приказ. Надлежит убрать с площади убитых и раненых!..»

Рассказчик смолк, пригорюнился. Молчал и Мирон, чувствуя великую тяжесть на душе.

— Век не забуду и внуков заставлю помнить! — продолжал каменщик; голос его окреп, и жгучая ненависть слышались в нем.— Что царь натворил! Вышли мы на площадь под командой унтеров, и куда ни взгляни, куда ни пойди — побитые и покалеченные тела навалом лежат, а снег стал багровым от крови. Немало полегло солдат, но больше всего простого мастерового люда. А за что? За правду, за то, что надеялись на вольность! Убитых клали на дровни и свозили на реку. Товарищи снег скребли и очищенное от крови место присыпали свежим. Мне довелось тела на подводы грузить. Милый ты мой, я крепостной человек и на своем веку много видел жестокостей, но такого злодейства до гроба не забуду! Санкт-петербургский обер-полицмейстер Шульгин, запомни, парень, это имечко, распоряжался бесчеловечно. Всю-то ноченьку на Неве от Исаакиевского моста до Академии художеств били проруби и мертвяков опускали в Неву. А были из полицейщиков и такие звери, которые заодно и раненых опускали под лед. Ни мольбы, ни жалобы, ни стоны не трогали сердца извергов. Ух, как распирало меня всего от злобы! Да что поделаешь? Молчал да скрипел зубами.

Каменщик взглянул на речной простор и с болью вспомнил:

— А к весне весь народ увидел царское «милосердие». В марте на Неве стали извозчики добывать лед и ужаснулись: вытащат льдину, а к ней примерзла или рука, или нога, или целое мертвое тело. Народ со всей столицы сбежался к прорубям. Обер-полицмейстер всех разогнал, а возчикам запретил рубку льда у Васильевского острова. В полую воду все тела быстриной унесло в море. Пошли им, господи, вечный покой. Горемыки, страдальцы, за нас поднялись...

Годы пролетели, а эту ночку не забуду до могилы.

Сколько жизней безвинно загубили, а уж что творили полицейщики, не приведи бог. Пустились на разбой, грабили и мертвых и раненых, которых опускали в проруби. Снимали одежонку, отбирали деньги, а того, кто убегал с площади, ловили и в первый черед грабили... Эх...

Черепанов закрыл ладонью глаза, сердце его учащенно билось. Он живо представил себе зимний день, ранний сизый вечер, ночь, костры на Сенатской площади и проруби на Неве. Механик не удержался, застонал.

— Сказывали, что Пугачев с барами был жесток,— взволнованно сказал он.— А как они с нашим братом, с солдатом и мастеровым, посчитались! Разве после этого будешь милостив к барину?.. А что же с теми, которые подняли недовольство на царя? Батюшка мой сказывал, что всех в Нерчинск заслали...

— Погоди, все скажу, дай только с силой собраться. Не могу разом все, больно душу мукой терзает! — Каменщик замолчал, приподнялся с грудки кирпичей, огляделся, прислушался.— Злое ухо ненароком услышит — тогда, парень, обоим нам не сносить головы!

3

Он смолк и долго-долго сосредоточенно думал о прошлом. Черепанов сидел потемневший, угрюмый. Прекрасный город, который открывался перед ним, сейчас померк. С высоты стройки ему казалось, что на каменной мостовой Сенатской площади проступают красные пятна. Он возбужденно посмотрел на мастера и попросил:

— Досказывай, разом уж всю горькую чашу изопью!

— Слушай, ежели так,— сумрачно отозвался каменщик.— Суд им всем был. Сам царь расписал — кого на каторгу, кого на поселение, а солдат прогнать сквозь строй в тысячу человек,— их шпицрутенами забивали насмерть. С плаца относили одни окровавленные лоскутья человеческого тела. Пятерых, запомни их,— Рылеева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского — царь осудил повесить.

Земляк мой Трофимов в ту пору служил в Петропавловской крепости сторожем. Слезно упросил я его

допустить меня к себе на жилье, как близкого родственника. Еле-еле уговорил. Старик добрый, хотя и покорный начальству. Видать, и его жалость прошибла...

Двенадцатого июля поутру я заслышал стук топоров.

«Что это?» — спрашиваю старика.

Он побледнел, затрясся и говорит:

«Плотники рубят на Кронверкском валу, из бревен возводят... Подходит, видно, батюшка, их последнее прощание...»

На другой день мне довелось видеть тех, кого осудили на каторгу. Народу набралось много: чиновники, военные, лакеи, женщины. Но больше всего собралось людей у входа в крепость, перед подъемным мостом, да их не пустили. Я в толпу лакеев затесался, да и затаился. Вывели осужденных из крепостных ворот на гласис Кронверкской куртины. На валу виселица: вот почему плотники топорами стучали. Кругом войско. Узников построили, и между ними и войском на красивом гнедом коне разъезжает генерал-адъютант Чернышев. Он что-то крикнул, и тут стали исполнять царский приговор...

Вызывали их, братец, поодиночке. Бледные, измученные, они становились перед палачом. Каждый падал на колени, и палач ломал на его головой шпагу, сдирал мундир и бросал в костер, который развели тут же, на площадке. Бородатый кат в атласной жаровой рубашке держался грубо, жестоко, многим из них причинил излишние страдания. Трофимов по тайности мне рассказал, что Якубович и без того сильно терзался от старой раны. Черкесская пуля пробила ему голову над правым виском, а палач шпагой нажал ему на мучительное место, а у Якушина содрал кожу с чела...

Около часа их терзали, потом обрядили всех в полосатые госпитальные халаты и снова под конвоем повели в крепость... А вскоре на тележках угнали их, скованных по рукам и ногам, на каторгу... Эх, милый, вот оно как!

— А что стало с теми пятью, которых царь приказал казнить? — с волнением спросил Мирон.

Каменщик промолчал, чело его нахмурилось.

— Тех не пощадили. Порешили, но как... И теперь не могу вспомнить без дрожи в теле...— Голос рассказчика в самом деле дрогнул, губы дергались. Овладев собой, он тихо доверился:

— Ты, парень, нашей, крестьянской кости, поймешь, что молчать надо! Сейчас, при царе Николае, вся Расея молчит, безгласна стала. Чуть что — ни милосердия, ни пощады...

— Так ты мне о них расскажи! — напомнил Черепанов.

— Изволь, всего не расскажешь. Про многих мне Трофимов сказывал, как они терзались перед смертью. Умер старик, а мне тайность доверил. Крепче всех запомнился ему тот, который про Ермака песню сочинил,— Кондратий Федорович Рылеев...

Мирон плотно придвинулся к рассказчику. Казалось, давнее время задело его крылом и воскресило минувшее. Кто на Камне не пел про Ермака? Эх, и песня! Как большая и широкая сибирская река, она захватывает и пленит душу русского человека!

— Скажи словечко о нем,— попросил механик, ласково заглядывая в глаза мастерового.

— Запомни, парень, что поведано старым человеком, до внуков донеси предание это! — строгим, величавым голосом сказал мастеровой.— В последнюю ночь Рылеев письмо писал жене. Часто отрывался, думал, метался по камере. С рассветом вошел к нему плац-майор с моим стариком Трофимовым и объявил, что через полчаса надо идти... Он присел, дописал письмо, а в эту пору ему на ноги железа надели. Узник держался спокойно, молчаливо. Он съел кусочек хлебушка, запил водой, перекрестился и сказал:

«Ну, я готов идти! Ведите...»

Черепанов сжал губы, хрустнул пальцами. Каменщик искоса взглянул на него и понимающе кивнул головой.

— Да, милый, хоть и за правое дело идешь на смерть, а душа зайдется. Ничего нет милее и дороже жизни!.. Тяжелее всего довелось другому узнику, Михаилу Павловичу Бестужеву-Рюмину. Тому еле двадцать три года минуло. Все дни он метался, как птица в клетке. Бился, искал освобождения, когда принесли ему кандалы и сказали: пора!

Перед выходом из тюрьмы он снял со своей груди образок Спасителя и вручил его Трофимову. Потом я видел этот образок у старика. Старый солдат при мне клялся никому не отдавать эту святыню: на нем, сказывал, двенадцать богатырей из тайного общества клятву дали. До гроба обещал хранить его! Куда этот

образок девался со смертью солдата, так я и не дознался...

Из оконца мне довелось увидеть, как всех пятерых повели на казнь. Их ввели в крепостную церковь в саванах и кандалах. И там они при жизни слушали свое погребальное отпевание...

Перед мысленным взором Мирона мелькнули трепетные огоньки восковых свечей, желтые застывшие лица живых людей в саванах и дребезжащий голос священника.

«Да, царь сумел больно ударить по сердцу, которое и без того источало кровь из своих ран!» — с ненавистью подумал он.

Каменщик продолжал глухим голосом:

— Народ издали глядел и томился, что будет на валу... Пятерых в саванах довели до виселицы. Все они крепко, по-братски обнялись и поднялись на высокую скамью, над которой болтались петли. Коренастый палач с рыжими баками, сказывали — швед, из-за моря за большие деньги призвали его на позорное дело. Он и накинул на осужденных петли и сильной ногой выбил из-под них скамью. Двое повисли неподвижно, а трое — Рылеев, молоденький Бестужев да Муравьев-Апостол — сорвались и всей тяжестью пали на ребро опрокинутой скамьи, сильно зашиблись. Народ ахнул, и в толпе закричали:

«Невинны! Невинны! Сейчас их помилуют...»

Их, конечно, никто не слышал, большой ров отделял народ от места казни. Трофимов по тайности передал мне, что Муравьев поднялся с земли и с презрением сказал:

«И этого у нас не смогли сделать!»

Страдал он сильно, да и все измучились. На их глазах снова водворили скамью, перетянули петли. И опять велели подняться на смертное место...

Я смотреть больше не мог, захолонуло на сердце. Еле отошел... Весь день тела для устрашения народа висели под виселицей в саванах. На другой день Трофимов только под утро вернулся домой.

«Ну, земляк, поспешай отсюда! — сказал он мне.— Боюсь я за тебя, место тут проклятое...»

Собрал я котомку, но все же спросил.

«Скажи по крайности, где эту ночь ты пропадал? Никому не скажу!» — пообещал я.

Солдат хмуро повел седыми бровями.

«Перекрестись, что после того не будешь приставать!» — сказал он тихо.

Перекрестился и жду его слова.

«Отвозил их на место вечного успокоения. Уложили их в рогожи, погрузили в лодку и сказали: «Вези!..» Предал тела земле. Помяни, господи, их души...»

«А где их захоронили?»

«Это не народу знать...»

Больше я не испытывал старика, но скоро среди людей пошел слух, что зарыли тела казненных на берегу Кутуева острова, а другие думку держали, что на Голодае, а были и такие, что утверждали, будто бросили их в яму с негашеной известью, тут же неподалеку, и затоптали...

Каменщик замолчал, поник. То, что смутно рассказывали Черепанову на Урале, встало перед ним во всей жестокости. От сознания этого на душу навалилась тяжесть. Какая страшная сила держит в крепостном рабстве миллионы людей?

— Неужто всем народным мукам не будет конца? — взволнованно спросил он каменщика.

— Всему конец бывает, придет и на них расплата! — строго ответил тот.— В давние времена Степан Разин поднял на бояр всю голытьбу, потом Емельян Иванович зажег пожар на всю Расею. Думается мне, что семена, посеянные на этой площади, обильно взойдут. Придет время...

По лестнице поднимались. Скрипнули тесины, и в отверстии показалась бородатая голова сторожа.

— Это ты, Степанко? — хрипло сказал он.— И чего тебя спозаранку в такую высь занесло?..

— Земляка привел. Пусть полюбуется Питером да работенкой нашей!

— То-то! — безразлично отозвался сторож и, построжав, предложил: — А все-таки, братцы, не мешает сойти вниз.

— Что ж, можно,— согласился каменщик.

Втроем они медленно, осторожно спустились вниз. У стройки Степан сказал Мирону:

— Ты, милый человек, приходи ко мне в барак. Вечером на взморье сплывем, страсть люблю рыбу ловить...

Черепанов возвращался на квартиру, и тяжелые мысли томили сердце. Думы были тревожны, смутны, но совершилось большое и решающее: он потерял веру в царя.

Молча пробрался он в людскую, забился в свой угол и, подложив под голову дорожный мешок, прикинулся, что спит. Но сон не приходил, и беспокойство в душе нарастало. Он сознавал, что обо всем услышанном следует молчать. И Мирон молчал, а на сердце все кипело.

Глава восьмая

1

Вскоре Черепанова вызвал к себе на доклад главный директор демидовских заводов и вотчин Данилов. За эти годы Павел Данилович изрядно обрюзг, постарел, но важности в нем прибавилось на двоих. Он восседал теперь в обширном кабинете, уставленном мебелью из черного, мореного дуба. Облачен был директор в темно-синий бархатный камзол, на груди — белоснежное кружевное жабо, височки зачесаны вперед, щечки старчески розовые, маленькие склеротические глаза немигающе уставились на переступившего порог механика.

Мирон поклонился и выждал, что скажет Данилов. Директор чуть приметно кивнул на приветствие механика, но с разговором не торопился. Потянувшись к золотой табакерке, усыпанной бриллиантами, он поиграл ею, посверкал, осторожно взял щепотку душистого тертого табаку и медленно заправил в широкий багровый нос с синими прожилками. Потом сладко прочихался, утер кружевным платком верхнюю бритую губу, задумался. Казалось, Данилову не было никакого дела до Черепанова. Положив на стол жилистые руки, он долго играл пальцами, любуясь перстнями. Наконец, видимо насладившись игрой в барина, он поднял плутоватые глаза на механика:

— Здравствуй, Черепанов! Рад видеть. Ведомы мне твои рассказы о санкт-петербургских заводах. Хвалю за любознательность и старание! Покровитель и владелец наш, Павел Николаевич Демидов, не оставит тебя и в дальнейшем своим вниманием! — Он благочестиво взглянул вправо. Там, на стене, в золотой багетной раме красовался портрет Павла Николаевича. Узкое болезненное лицо, бездумные глаза смотрели с полотна. Мирон понял, что надо благодарить хозяина, и, снова поклонившись,сдержанно сказал:

— Спасибо, Павел Данилович, за ласку и заботу! Мы с батюшкой только и живем машинами! Ноне отец ладит станок для сверления насосных труб; это улучшит и удешевит работу по откачке воды из рудника.

— Весьма одобряю! — вымолвил директор. После минутного раздумья он внезапно вспомнил об Ушкове: — Слыхал, что и Климентий ладит свою машину для откачки воды. Выйдет у него?

Мирон хорошо знал, что владелец заводской конницы не знает механики и не интересуется ею. Однако тагилец скромно ответил:

— О делах Ушкова не слышал. Может, что и надумал он, но, не оглядев его механизмов, судить не берусь. Одно скажу, по плотинной части старик Ушков — природный гидравлик. Чутьем доходит!

— Воли хочет! — выпалил вдруг Данилов.— Она не всякому дается. Перед хозяином отменно надо выслужиться! — Директор облокотился на стол и с мягкой вкрадчивостью продолжал: — Одного не понять мне, грешному человеку, к чему мужику воля? За господской спиной — как за каменной стеной! Воля — одно баловство!

Черепанова всего передернуло от суждений Данилова.

«А сам ты кто? Крепостной бывший. Выбрался из грязи в князи, так теперь другое запел! Забыл мужицкую долю. Эх!» — хотелось ему бросить упрек в лицо старому демидовскому холопу, но он сдержался и промолчал.

Главный директор побарабанил по столу перстами, вздохнул:

— Так! Вот и ты, Черепанов, не вознесись гордыней! Что вы ныне задумали с отцом?

— Ох, и сказать страшно! Ругать будете! — взволнованным голосом сказал Мирон. На его лицо легла тихая и грустная мечтательность.

— Говори! — потребовал Данилов.— Если умное задумали, то хозяин непременно одобрит! — Пронзительными хитроватыми глазами он уставился на механика.

— Паровую телегу, или дилижанс, надумали мы мастерить! — смущенно признался тагилец.

— Это что же, вроде дрожек Жепинского? — нахмурился директор.

— Совсем не то, Павел Данилович,— осмелев,

запротестовал Мирон.— Дрожки для потехи, а телега — перевозить руду из шахты до завода. Это намного облегчит труд и удешевит железо!

— Разумно толкуешь! — похвалил Данилов.— О сей диковинке стоит подумать. А ну-ка, расскажи подробнее!

Черепанов, не таясь, рассказал о своих замыслах. Он толково и просто объяснил директору действие паровой машины и колесопроводов.

Старик просиял, потирая от удовольствия руки.

— Так, так... В Англии, сказывают, подобные дороги думают строить. Дельно! Ты только подумай, а что, если и в Расее такое? Сколько железа на колесопроводы пойдет! Прикинь, какие барыши да выгоды нашему хозяину привалят! — восторженно выкрикнул он.

Мирон в продолжение всей беседы стоял неподвижно перед главным директором. Хитрые заплывшие глазки Данилова насмешливо поглядывали на Черепанова, прозрачно намекая ему:

«Хоть ты и умница и самоук-механик, а все же раб, так посему потрудись выстоять перед управителем!»

Павел Данилович снова потянулся к табакерке и, заправившись табаком, чихнул. Мирон промолчал, не пожелал здравия директору. Данилов строго покосился, вздохнул:

— Ох, времена пришли тяжелые: не токмо люди наши переменились, но и заморский отпуск славного уральского железа клонится к упадку. Недавно еще наш «Старый соболь» теснил Швецию на английском рынке. Досель мы первыми шли! Кто только не забирал у нас железа? Англичане Судерланд, Ригель, Торнтон! Годков тридцать тому назад шестнадцать контор и английских именитых купцов имели дела с нашей санкт-петербургской главной конторой. А маклеры и не в счет! Да что говорить! Довелось мне поставлять железо португальцам Велью и Мендезе да итальянцу Ливно! И опять же Голландия! — Он утер клетчатым фуляром широкий, изборожденный морщинами лоб и пожаловался: — В середине марта, бывало, перед навигацией в Санкт-Петербург наезжали иноземные купцы и маклеры, и тогда была горячая пора сделок на железо. И цены устанавливал наш хозяин. А на сих днях сэр Прескот со мной говорил, что по семьдесят пять копеек и не более за пуд даст, да и то, сказывает,

хуже еще будет, а господин Сулим и в том сомневается, чтобы получить семьдесят пять копеек за пуд. Купец Кононов — тот отказался от сделки, не обинуясь, сказывает: «Железо его высокородия хуже стало!» Вот ты с батюшкой Ефимом Алексеевичем и подумай, как бы поисправнее сделать машину для плющения железа, да и другие выдумки не помешали бы! Надо снизить цену, а то нас вытеснят англичане...

Механик внимательно слушал Данилова, а мысли текли о другом. Он встрепенулся только тогда, когда директор вдруг предложил ему:

— Нева-река в мае вскрылась, море на днях очистится, и пошлем мы тебя на корабле в Англию. Погляди там, что выгоднее: железо, прокатанное в валах, или кованное молотами?

Павел Данилович заговорил тише:

— Известное дело, англичане не уступят секретов, а ты все же вглядись в их прокатные машины. Не пользительно ли будет и нам такое завести у себя на заводах? Главное, дешевле надо научиться робить железо! Вот что важно! — подчеркнул он и внимательно оглядел Черепанова.— Ты перед дорогой получше обрядись, контора толику отпустит на обмундирование, да будь бережлив, честь хозяйскую высоко держи, много денег от нас не жди. Ну, ступай, ступай! Будь здрав!

Мирон поклонился:

— Спасибо за доверие, господин главный директор!

Данилов снисходительно склонил голову и занялся табакеркой. Навощенный до блеска паркетный пол сверкал, отражал в себе шкафы красного дерева, хрустальную люстру и бра. Уходя, механик понял, как высоко вознесся старый управитель. Ни словом не обмолвился он о жизни работных, руками которых создавались демидовские богатства и на труде которых директор сам изрядно разжирел. Горько стало на душе Черепанова; то ли от унижения, что пришлось простоять целый час навытяжку перед Даниловым, то ли от грустного раздумья, но почувствовал он себя страшно усталым.

2

Выйдя от директора, Мирон побрел по Санкт-Петербургу. Хотелось отделаться от тягостных раздумий. Над Мойкой-рекой зеленели старые тополя, легкий пух цветения носился над водами и набережной. Деревья склонили густые кроны, освещенные снизу голубоватым отблеском воды, и не шелохнутся. Весенний свет лился прямыми потоками на дома, и под этим светом особенно прекрасным казался город. Мирон миновал Исаакиевскую площадь, стройку и вышел к Медному Всаднику. Мечтательно смотрел он на вздыбленного коня, который, казалось, готов был сорваться с гранитной скалы и, гремя огромными копытами, поскакать по берегу. Он вглядывался в лицо Петра, в его протянутую длань и чувствовал грозный взгляд и властную мощь стремительного гиганта. От Невы шла прохлада, запах воды, закованной в гранит. Пахло смолой от причалов, барок и парусников. На плесе у Васильевского острова рыбаки тянули сети, и на солнце серебром сверкала бившаяся рыба. Весна во всей своей могучей силе и прелести чувствовалась здесь, на берегу полноводной реки. Она летела на крыльях вместе с легким влажным ветром, дышала в лицо, бодрила и вызывала в сердце какую-то смутную тревогу. Мирон думал о том, что в жизни хорошее и плохое лежит рядом и люди не хотят изгнать нелепости и гнет, которые мешают им жить.

Крепкая рука внезапно опустилась ему на плечо. Он оглянулся. Большая радость: перед ним стоял в своей измятой, широкополой шляпе улыбающийся студент Ершов.

— Что, братец, залюбовался? Любо и мило мне на Тоболе, но и тут сердце трепещет, глядя на всю эту красоту! — Лицо его сияло, он скинул шляпу, ветер взметнул слегка курчавые волосы. Полной грудью вдохнув глубоко невский воздух, он звучно, крепким голосом продекламировал:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный...

— Ах, мой друг, это он прочел мне свои строки. Они еще никому не известны. Мне доверил! — весь трепеща от радостного возбуждения, воскликнул студент и прижал шляпу к сердцу.— Сегодня великая и незабываемая радость у меня: я был у него — гения нашей поэзии, у Александра Сергеевича Пушкина! Он принял меня, обласкал! С каким вниманием он выслушал мою сказку «Конек-горбунок»! Я видел, как засверкали его глаза, как осветилось лицо гения, и он молвил мне, простому бедному студенту: «Отныне этот род сочинений можно мне и оставить!» Это ли не чудесно? — Он схватил Мирона за плечи, потрясал его и горячо повторял: — Пойми, это диво! Сказка! Очи сомкну в смертный час, в гроб лягу и при последнем дыхании благословлю его имя!

— Так это вы написали сказку! — ошеломленный открытием, воскликнул уралец.

— Я написал, мой друг, я! — горячо заговорил студент.— Да ты не чурайся меня. Ты задумал благое дело — паровые дилижансы, и я для своей Сибири стараюсь. Уж я ее, каторжную, разбужу! Сие чудо совершится поэзией! Гляди, что за диво совершает слово Пушкина! Какое волнение и мысли о свободе оно рождает в обществе! Его словам вторит вся молодая Россия. Ах, какие прекрасные слова:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Уральский мастерко смутился: его пленяли звучные стихи, очарование поэзии, но замыслы и значение, которые придавал Ершов стихам, его настораживали.

— Великие дела творит умное слово! — глухо сказал он опьяненному радостью студенту.— Но во многом не согласен с вами. Вот демидовский приказчик Шептаев не примет доброго слова. Не дойдет оно и до Данилова. Мнится мне, Петр Павлович, не поэзия совершит изменение жизни! Главное в другом! В чем оно, я и сам не додумался пока. Народы угнетены у нас, и одним прекрасным словом не прогонишь наших притеснителей и захребетников. Тут другое надо! Вот Емельян Иванович Пугачев хорошо начал, да где-то ошибочка вышла. Лежит вокруг нас огромная

сила народная, а кто ее подымет на вековечных наших угнетателей? Не слово одно, а люди тут нужны. И какие люди! — Мирон пытливо смотрел на студента.

— Поэзия, поэзия решит все! — горячился Ершов.

— Нет, Петр Павлович, не это решит нашу судьбу,— решительно отверг Черепанов.— Надо другой стезей идти. Хорошо начали здесь, на Сенатской площади, да побили их.

— Как, ты и о декабристах слышал? — удивленно вскрикнул студент и сейчас же оглянулся. На набережной было пустынно.— Значит, ведомо тебе и о Рылееве? — приглушенно спросил он.

— Не все, а кое-что ведомо. Дознался, что песню о Ермаке сложил он.

— Вот видишь,— опять за свое взялся Ершов.— Прекрасная песня. Весь народ поет, а что она делает? — Глаза его заблестели, он надел шляпу и спросил:

— А о Радищеве слыхал?

Черепанов простодушно признался:

— Не довелось узнать.

— Вот видишь! А что его книга «Путешествие из Петербурга в Москву» с умами людей сделала? Разбудила их! Да, разбудила! — сказал он восторженно и со страстью поведал о судьбе Радищева.

Мирон внимательно и молча выслушал. В душе его бушевало. Так вот как! Вокруг него лежит еще целый мир непознанного. «Были люди, которые смело говорили в лицо царям правду о крепостных!» — взволнованно подумал он и спросил:

— А что стало с ним?

— Известно что! По смерти императора Павла его, по просьбе Воронцова, царь Александр назначил членом комиссии по составлению законов. Но бывший опальный опять не по нутру пришелся начальству: он остался и после ссылки при своих взглядах. Председатель комиссии граф Завадовский, видя заступничество Радищева за права человека, зло сказал ему: «Опять принимаетесь пустословить по-прежнему. Видно, мало вам одной Сибири!»

День ото дня Радищеву становилось тяжелее. Умного и пылкого защитника крепостных травили и довели до крайности. В сентябре тысяча восемьсот второго года он принял яд и умер. Среди его бумаг нашли листок, а в нем было написано: «Потомство отомстит за меня». Эх-х... Хватит об этом! Идем, братец, со

мной, и ты немного забудешь горе...

Он не договорил, зашагал быстро, увлекая Черепанова к Марсову полю. В Летнем саду, за строгой железной оградой, высились зеленые шапки лип. Над площадью лились потоки мягкого света и чистого теплого воздуха. На дорожках суетились воробьи, чистились, неумолчно кричали, как серые мячики прыгали из-под ног. Наступал вечер, а солнце высоко стояло над Летним садом и городом. На лице студента светилась ласка и грусть.

Они дошли до Лебяжьей канавки; в ней на прозрачной воде колебались и морщились тени от зеленых купав. Группы господ разгуливали здесь, дамы кормили лебедей, которые белоснежными ладьями устремлялись к брошенным подачкам. Подошли к театру.

Молчаливый и послушный тагилец робко вошел со студентом в зал...

3

Со многим, о чем говорил Ершов, Мирон не был согласен, но он полюбил, крепко, на всю жизнь полюбил этого простого, умного и кипучего человека.

«Какое счастье, неизреченная радость, что довелось видеться и говорить с таким русским человеком»,— с благодарностью вспоминал он о студенте.

После посещения театра им не пришлось снова встретиться: Мирон спешно отбывал в Англию. Так и не удалось ему со Степаном выехать на рыбалку. Зашел он на третий день после душевной беседы в барак и спросил о нем.

Женщина испуганно посмотрела на Мирона и прошептала:

— Уходи скорее, милый! Степанку-то Кашкина, жандармы только вчоры забрали. Остер был на язык, неугомонный... С богом, с богом, голубь, уноси ноги!..

Он поторопился уйти и все опасался, что дознаются и о нем. «Вот уеду, и все забудется»,— думал он и торопился с отъездом. Перед отплытием Черепанов отправился в Летний сад. Он был насквозь просвечен солнцем, легкий ветер чуть шевелил листья тополей. Вдаль до чугунных узорных ворот уходила широкая дорожка, а по сторонам, под сенью дуплистых лип, стояли статуи. Впереди неторопливо шел невысокий, весьма подвижной человек в цилиндре и сюртуке, сильно перехваченном в талии. Неизвестный смахнул с головы

цилиндр и, держа его в руке, продолжал путь.

Неожиданно со скамьи поднялась дама и, не стесняясь, последовала за ним. Она многозначительно оглянулась на Черепанова и глазами показала на молодого человека.

— Это Пушкин! — прошептала она.

— Батюшки! — ахнул уралец.— Неужто сам великий сочинитель! — Он размашистым шагом свернул в боковую аллею и скоро обогнал молодого господина с цилиндром в руке. Еще минута, и он уже шел ему навстречу. Легкий, подвижной, Александр Сергеевич, не замечая Мирона, что-то бормотал под нос. У него были голубые глаза, в которых искрился смех. Смуглые щеки поэта обрамлялись светлыми бакенбардами.

Вдруг он поспешно надел цилиндр и проворно вынул из кармана записную книжку. Движение его было столь стремительно, что книжка упала на песок. Тагилец наклонился, поднял ее и почтительно вручил владельцу. Пушкин приветливо улыбнулся, крепкие ослепительные зубы его сверкнули.

— Благодарю! — певуче сказал он.

Черепанов не мог оторвать глаз от жизнерадостного, подвижного лица поэта; румянец застенчивости покрыл его щеки.

— Откуда же вы? — спросил Пушкин Мирона, разглядывая его костюм мастерового.

— С Урала, Александр Сергеевич. Довелось-таки увидеть вас! Простите! — Он учтиво поклонился и, по своей застенчивости, убежал.

— Погодите, погодите! — закричал вслед ему Пушкин, но Черепанов от счастья, охватившего все его существо, не слышал зова поэта.

Сейчас, стоя на палубе отплывающего корабля, Мирон безмолвно смотрел на прекрасный город, затянутый прозрачной дымкой. Из тумана, который стлался над заливом, бесшумно набегали волны и ударялись о деревянную пристань. Свежий воздух гулял по палубе, бодрил, но сердце щемила легкая грусть: уходила вдаль родная земля, ставшая ему сейчас еще более милой и дорогой.

На корабле все было чужое: английские матросы, сердитый и сухой, как палка, капитан. Он неприступно торчал на мостике с вечно дымившейся глиняной трубкой во рту, выкрикивая команду. На палубе сложены были тюки добротной пеньки, канаты, груды

ящиков и бочек. Среди них разместились бедняки-пассажиры со своими узлами и дорожными мешками. На баке меланхолично мычали быки, беспокойно блеяли овцы, рядом стояли клетки с домашней птицей. Рабочие-скотоводы в истрепанной, помятой одежде, ругая скот и друг друга, производили страшный шум. Все это — и рев быков, и блеяние овец, и крики людей — создавало дикую какофонию, вызывавшую тревогу. Ветер с хлестом полоскал паруса, носился по свинцового цвета водяному полю, бороздя его пенистыми волнами. Миновали маяк, и все постепенно стало заволакиваться туманом. У Черепанова тоскливо сжалось сердце:

— Прощай, Санкт-Петербург! Прощай, Россия!

Кругом простиралось серое, скучное море и бегущие над ним тяжелые дождевые облака. Крики одиноких чаек, провожавших корабль, бередили и без того затосковавшее сердце.

Мирон спустился в каюту, попробовал улечься на узкой койке, которая раскачивалась. Было неуютно, тесно и грязно. От непрерывного укачивания на теле выступил липкий пот, отяжелели веки. Он снова вернулся на палубу и под свежим ветром вглядывался в серую неприглядную даль. К нему неожиданно подбежала худенькая с рыжими косичками девочка, рассказывая что-то по-английски. Она вся сияла, щелкала языком, но Черепанов беспомощно улыбался и отмалчивался. Наконец он не выдержал, схватил ребенка на руки и поднял над головой. Радостное ощущение охватило его: щебечущая девочка казалась ему лучом солнца, внезапно упавшим с небес. Она поразила уральца блеском своих великолепных синих глаз. Он бережно опустил ее на палубу, ласково потрепал по румяной щеке и, вынув из кармана грецкий орех, предложил его попрыгунье. Глаза девчушки наполнились восторгом, она проворно схватила подарок и стала острыми зубками грызть скорлупу ореха. В эту минуту из-за нагроможденных ящиков и бочонков вышел багровый, с лицом бульдога, хмурый англичанин. Он видел все, подошел к дочке, грубо вырвал из ее рук орех и выбросил его за борт. Схватив ребенка за руку, джентльмен с нескрываемой ненавистью посмотрел на Черепанова и что-то прорычал. Его зеленые глаза метали молнии,— он готов был испепелить Мирона.

Разгневанный папаша увел своего ребенка в каюту, а обиженный механик остался одиноким на палубе.

Корабль по-прежнему плыл среди мутных волн; он то поднимался на пенистые гребни их, то опускался в пучину. Мирону не хотелось уходить в каюту; так и бродил он по палубе, поглядывая с тоской на море, вспоминая родину. Спустилась ночь, бледно светила луна на мутном небе, и еще печальнее и безотраднее показалось все вокруг.

— Почему рассердился этот господин? — спросил Черепанов шкипера, умевшего говорить по-русски. Коренастый загорелый моряк добродушно посмотрел на уральца и простецки ответил:

— Вы должны понимать. О, это большой господин, сэр Дуглас Хег! Он имеет свои дома в Ист-Энде. Сэр совсем не желает, чтобы его дочь имела разговор с простым человеком! — Шкипер пыхнул дымком из коротенькой трубки и улыбнулся одними глазами. Наклонясь в сторону собеседника, он тихо закончил: — Сам он когда-то был тоже совсем простой человек, но пристроился к одной строительной компании и имел очень счастливые дела в Ист-Энде! Вы хотите знать, что такое Ист-Энд? Это лондонские трущобы! Сэр Дуглас Хег умеет выколачивать из бедняков последние гроши, он вырывает у них изо рта сухую корку хлеба и сейчас хочет, чтобы его дочь стала леди!.. Покойной ночи, господин! — Моряк учтиво приложил руку к шапочке и вразвалку удалился на капитанский мостик.

Черепанов всю ночь страдал от морской качки, лицо его позеленело, в ушах шумело, и к горлу подкатывалась тошнота. С нетерпением он ждал утра. Едва засинело, он был уже на палубе. Кругом по-прежнему простиралось темное небо и неспокойное море. Он ждал восхода солнца,— да бывает ли оно над этим скучным морем? На востоке начала робко заниматься заря. Бледный, слабый свет пробился сквозь густую синь и становился все ярче и ярче, пока наконец на горизонте не вспыхнула заря. Прошло несколько минут, и там, где небо сливалось с морем, вдруг запылал пожар. Красное пламя зари на глазах перешло в золотистое, и теперь казалось, что весь восток залит сияющим расплавленным металлом. Пурпурные волны превратили поверхность воды в огненное море. Зарево пожара разгоралось, ширилось, разливалось по волнам, прибли-

жалось к кораблю, и вскоре он весь был объят розовеющими бликами.

Мирон стоял словно завороженный, не в силах оторвать глаз от пламенеющего востока. Наконец по небу пронеслась тонкая золотая стрела,— засиял первый ослепительный луч, за ним брызнули сотни ярких лучей, заставивших тагильца на мгновение закрыть глаза. Ликующее величественное светило медленно поднялось из-за горизонта, и все сразу встрепенулось, оживилось и заликовало. Запели в клетках петухи, замычал на привязи огромный пегий бык, завозились в загоне овцы.

Разгорелся теплый солнечный денек, море притихло, подобрело. Снова на палубу выбежала рыженькая девочка. Румяная и веселая, она мелькнула мимо Черепанова, задержалась на мгновение, дружески подмигнула ему и упорхнула дальше. В своем красном платьице она, как пестрая бабочка, мелькала среди бочек. До всего ей было дело, хотелось все знать, потрогать руками, обо всем пощебетать. В тот момент, когда она появилась на середине палубы, свершилось страшное: пегий бык вдруг сорвался с цепи, могучим ударом рогов опрокинул барьер, заревел и с налитыми кровью глазами устремился на красное платьице. Девочка пронзительно вскрикнула, закрыла ладошками глаза и, оцепенев, бледная, застыла на месте.

Из пасти животного валил горячий пар. Бык злобно хлестал себя хвостом и, опустив рога, готовился к страшному удару. Испуг за ребенка и жалость прожгли сердце Мирона. Не растерявшись, он быстро выхватил из груды теса толстую короткую доску и бросился навстречу разъяренному чудовищу. Он размахнулся и с такой силой ударил быка по черепу, что крепкая дубовая доска разлетелась в щепы. Только на одно мгновение глаза животного затуманились, бык опешил, и в этот миг Черепанов, проворно схватив ребенка, прижал его к груди и быстро поднялся на капитанский мостик.

Девочка обняла Мирона за крепкую загорелую шею: она вся трепетала от пережитого ужаса. Внизу разносились крики матросов, рев разъяренного быка, который долго метался по палубе, разбрасывая все по пути, наводя ужас на пассажиров. В конце концов моряки догадались взяться за шланги и, сильными струями воды охладив внезапную ярость животного,

заставили быка отступить в загон, где скотоводы снова привязали его на цепь...

Перевалило за полдень, когда Мирон наконец уснул в душной каюте. Сквозь сон он услышал громкий стук в дверь. Механик вскочил и распахнул ее; на пороге стоял отец девочки. Важный, в серых клетчатых брюках и черном фраке, в блестящем цилиндре и в белых перчатках,— казалось, он собрался на великосветский бал и мимоходом зашел к Черепанову. Ничего не говоря, англичанин величественно вступил в узкую каютку и деловито положил перед уральцем туго набитый кожаный мешочек.

— Что это? — раздражаясь заносчивостью гостя, спросил Мирон.

— Сто фунтов стерлингов! Вы честно заработали свой приз! О, вы настоящий храбрец! — ломаным русским языком заговорил англичанин. Всем своим видом он старался придать большую важность своим словам. Он свысока кивнул русскому и, повернувшись, вышел из каюты.

Красный от гнева, механик схватил кожаный мешочек с деньгами и, распахнув дверь, бросил его вслед англичанину. Снова наглухо захлопнув дверь, он не отзывался больше на стуки и окрики до самого вечера.

«Как они смели, торгаши, лавочники!» — негодовал он, ворочаясь на узкой койке.

Когда он в сумерки поднялся на палубу, к нему подошел шкипер и, улыбнувшись, сказал:

— Вас приглашает к себе капитан.

Мирон неохотно вошел в каюту командира корабля. В ярко освещенном помещении сидели двое: капитан и отец ребенка. Черепанов нерешительно остановился у порога.

«Опять бульдог устроит очередную пакость!» — неприязненно подумал он, но в следующую минуту эта мысль исчезла. Высокий сухой командир корабля поднялся навстречу гостю и широким жестом указал уральцу на кресло. Мирон спокойно уселся и ждал; глаза его, быстро обежав капитанскую каюту, на секунду задержались на рыжих баках англичанина, который сейчас выглядел сконфуженным.

— Мы пригласили вас, сэр, сюда, чтобы уладить досадное недоразумение! — по-русски заговорил капитан, усаживаясь напротив Черепанова.— Сэр Дуглас Хег,— он кивнул в сторону купца,— очень извиняется

перед вами! Вы благородный человек, и сэр теперь понял, что он совершил ошибку. Вы герой!

— Я просто русский,— скромно сказал Мирон.— Мой долг был спасти ребенка.

Капитан сурово взглянул в открытое лицо уральца.

— Я хорошо знаю русских и их язык, тридцать лет плаваю в Санкт-Петербург. Вы молодчина, и вам следует простить его! — предложил он.

Купец встал и протянул механику руку:

— Я очень виноват, весьма виноват. Вы благородный человек, должны простить меня.

— Охотно прощаю! — поднялся Мирон и крепко пожал англичанину руку.

— Если вы будете в Лондон, прошу быть моим гостем. Меня все знают. Я имею дома, много домов в Ист-Энд!

— Спасибо за гостеприимство! — сказал Мирон, и, так как ему было не по себе, он быстро откланялся.

Несколько дней он томился на корабле. Хотя сэр Дуглас Хег извинился, но рыжая девочка больше не показывалась на палубе. Томительная скука охватила Черепанова. Он не находил себе места, с тоской вспоминая об Урале и Санкт-Петербурге.

Наконец после долгого ожидания ранним утром в тумане внезапно возник голубоватый берег Англии. Все чаще стали встречаться рыбачьи суденышки и торговые корабли. Появились чайки. И вдруг совсем неподалеку вырисовались высокие аспидного цвета крыши и строгая готическая колоколенка,— корабль подходил к Нью-Кастлю. Здесь, перед этим сумрачным чужим городом, особенно остро почувствовался гнилой рыбный запах моря, с берега подул пронизывающий ветер, и густой противный туман стал наползать на окрестности и корабль.

Зашли в порт, и началась обычная крикливая суетня. Мирон стоял у перил и смотрел на холодные, влажные берега чужой земли.

«Вот она, Англия! — подумал он.— Как неприглядно и чуждо все здесь!»

Мимо пробежал знакомый шкипер.

— Когда же Лондон? — спросил Черепанов.

Моряк энергично махнул рукой в сторону и прокричал:

— Скоро, скоро! Войдем в Темзу, придем в Лондон...

4

Корабль медленно двигался по Темзе — унылой реке в сумрачных берегах. На равнине в тумане дымили трубы, тянулись плоские, закопченные кирпичные здания, которые сменялись доками, у причалов стояли баркасы, корабли, чернели скопища рыбачьих лодок. Проплывали мимо судостроительных верфей, где на стапелях, как ребра допотопных чудовищ, просвечивали остовы будущих кораблей. Мелькали фабричные городки с грудами мокрого от туманов кирпича и кучами угля. Иногда туман рассеивался и прорывалось солнце. Золотые брызги сыпались на ярко-зеленые пастбища, по которым бродили стада длинношерстных овец. За живыми изгородями поднимались черепичные крыши фермерских домиков, редкие невысокие деревья...

В полдень ветер разогнал молочный туман, и навстречу поплыл мокрый от дождя, сумрачный огромный город: тесно прижатые друг к дружке темные высокие здания, большие мосты, мощными арками перекинутые через Темзу. Проплывали нагромождения старых крыш, с торчащими трубами и дымами, узкие извилистые щели — тесные переулки Ист-Энда.

Оранжевое солнце висело над рекой, зажигая ее холодным сиянием. Мимо скользили вереницы барж. Дома становились все выше, среди них устремлялись к пасмурному небу колокольни церквей, башни из старого серого камня. Минуя их, корабль подошел к пристани. Рядом — на огромной высоте висящий в воздухе ажурный мост, подле — каменные здания таможни. Вот и набережная! Первое, что бросилось в глаза Черепанову, это высокий, широкоплечий полисмен — «бобби». Заложив руки за спину, в каске с блестящим ремешком, опущенным под подбородок, он важно расхаживал по каменному тротуару.

Лондон! Каким жалким и потерянным показался себе Мирон! Огромный, шумный гигант-город давил человека, принижал его и готов был каждую минуту его раздавить. Однако уралец не впал в уныние: с небольшим дорожным сундучком он отправился к Мак-Милю — демидовскому маклеру, знающему русский язык. Англичанин принял тагильца хорошо, но был удивлен, когда тот попросил устроить его попроще.

— У вас прекрасное место! Сэр Демидофф заваливает Англию железом, богáч! — сурово сказал он.— Ведь вы его представитель! Впрочем, понятно: все за-

водчики не щедры к своим работникам,— закончил он с грустью и вздохнул.— Идемте, я устрою вас в Ист-Энде у одного знакомого гончара! Он неплохо говорит по-русски. Это для вас будет хорошо. Не впервые ему принимать из вашей страны постояльцев!

Маклер Мак-Миль провел Черепанова в район, который представлял собою настоящую трущобу. Около часа ходьбы отделяло этот район от богатых, благоустроенных улиц Лондона. Словно в сказке, все быстро переменилось на глазах! Узкие переулки были стеснены грязными кирпичными домами, мимо которых по мостовой сбегали потоки мутной вонючей жижи. Тут же в мусорных кучах возились кривоногие, золотушные ребятишки. Навстречу попадались только простые люди, в убогой потертой одежде. Плисовые куртки, грязные шейные платки, истоптанные ботинки — вот все их одеяние! Миновали небольшую площадь, на которой размещался рынок. Что за торговля! Мирону стало не по себе: на грязных досках лежали груды бобов не первой свежести, увядшие овощи, кучи гнилых плодов и порченого картофеля. Подле них стояли с сумками в руках изможденные, с потухшими глазами пожилые женщины, одежды которых представляли жалкое рубище.

— Они не в состоянии купить и этого! Сейчас в Англии очень плохой заработок! — с мрачноватым видом пояснил маклер.

Да, бедность и одичание здесь лезли изо всех щелей. Мирон увидел двух мальчуганов, которые, как осенние мухи, липли к гнилым плодам, а еще дальше малыши исцарапали друг другу лица до крови, не поделив между собой извлеченный из вонючей жижи огрызок моркови.

После блужданий по переулкам Мак-Миль привел Черепанова в лачугу гончара. В небольшой, бедно уставленной только самым необходимым комнате приютилось целое семейство. Гончар Вильгельм Воорд, унылый худосочный мужчина, обрадовался, узнав, что Мирон русский.

— Мы с Фанни уступим ему свою постель! — сказал он маклеру.— Теперь мы сможем вносить плату за квартиру проклятому пауку Дугласу Хегу!

Рабочий указал уральцу на свою убогую постель.

— А где же вы будете сами почивать? — спросил Мирон.

Гончар махнул рукой.

— Проживем и без этого! — улыбнулся он.— Я когда-то служил моряком и привык ко всем невзгодам. Бывал и у вас, в России.

Последнее признание прозвучало особенно тепло. Мирону стало жалко эту приветливую семью, и он сказал:

— Нет, я не согласен занять вашу кровать. Разрешите мне занять этот топчан? — показал он на широкий деревянный диван.

Хозяева с благодарностью взглянули на Мирона, и он стал устраиваться на ночлег.

Стены в помещении пронизывала сырость, воздух был застоявшийся, прокисший. «Плохо живется английскому рабочему!» — подумал уралец и вечером, за огоньком, разглядывая гончара, спросил:

— Тебе, поди, лет пятьдесят наберется?

Слабая улыбка мелькнула на лице рабочего.

— Ты ошибаешься,— ответил он уныло.— Мне всего тридцать два года, но работа на господина фабриканта состарила меня на целых двадцать лет! Жена моя стала совершенным скелетом, а ведь ей всего двадцать девять!

В измученной, костлявой женщине трудно было признать молодую мать. Не только серое, изможденное лицо старило ее, но и потухшие мертвые глаза говорили о страшной усталости.

— Мы вечно голодны! Заработка не хватает на питание,— пожаловалась молодая хозяйка.— Сестра моя работает на фабрике обоев, и ей приходится не слаще моего. Но моему мальчугану еще хуже: ему всего семь лет, а он уже работает!

— Где же он? — спросил Мирон.

— Он еще на работе,— ответил гончар.— Я скоро пойду за ним на фабрику. Каждый день я ношу его на спине туда и обратно, так он слаб. Работа по шестнадцать часов в сутки сильно изнуряет, приятель. В полдень, в обеденный перерыв, я убегаю к нему с работы, чтобы покормить. Он стоит у машины, ест и работает! Ему на минуту нельзя оставить ее и уйти на свежий воздух. Мне приходится становиться на колени, чтобы накормить его. Вот как живем мы здесь, в своей старой доброй Англии! — с горькой иронией закончил он и вздохнул.

Он долго смотрел на трепетный свет огонька, думая

о чем-то своем. Не утерпев, он снова продолжал:

— Трудно нам изменить свою жизнь. Ведь и мое детство проходило так, как у сына. Я начал работать гончаром, когда мне исполнилось всего семь лет и десять месяцев! Сначала я относил в сушильню изготовленный товар в формах, а затем приносил обратно старые формы. Каждый день я работал по пятнадцать часов. Теперь ты видишь, почему я так рано постарел!

Поистине тяжело было слушать Мирону правду о рабочей семье. Расстроенный, он улегся на топчан, а они легли на убогую кровать, подостлав лохмотья. Долго с открытыми глазами лежал Черепанов в густой тьме, перебирая в памяти увиденное в Лондоне. Здесь, в Ист-Энде, он впервые почувствовал, что, где бы ни жил рабочий человек, везде в чужой, незнакомой стране он встретит близкого товарища, такого же труженика, как он сам!

Ранним утром, когда Мирон проснулся, хозяева уже ушли на работу. Отец еще затемно поднял своего семилетнего сына и на плечах унес его на фабрику. В мутные окна вливался грязный скупой рассвет, одежда Мирона оказалась пропитанной сыростью,— за одну только ночь она впитала в себя столько влаги, что, казалось, была под дождем.

«Здесь даже не топят, хотя кругом каменный уголь. Беднякам и топливо не по карману»,— уныло подумал он.

Мак-Миль за ничтожную плату представил Черепанову седого старичка переводчика Джексона. Еще недавно он работал клерком в Сити, в большой конторе Дугласа Хега, где вел обширную переписку на многих европейских языках. Он знал русский, немецкий, голландский, французский, испанский языки, но однажды клерк перепутал какие-то бумажки, в результате чего хозяин потерял пятьдесят фунтов стерлингов, и Джексона уволили.

— Что ж поделаешь, сэр! Я действительно становлюсь стар и многое путаю! — жалобно заморгал глазами тщедушный старичок.— Теперь перебиваюсь случайной работой.

«Опять этот неутомимый Дуглас Хег! И в море, и в Ист-Энде, и здесь — везде он властитель жизни и высасывает соки! — с возмущением подумал Черепанов, но сейчас же уныло опустил голову.— А разве Демидов не такой же кровосос?»

Клерк вел себя скромно, довольствовался самым малым. Он охотно всюду сопровождал Мирона. Везде он представлял Черепанова многозначительно:

— Представитель заводов Демидова. Возможный покупатель оборудования.

В Англии на всех заводах хорошо знали доброе уральское железо с маркой «Старый соболь» и инициалы «CCNAD». Перед Мироном широко раскрывали двери мастерских. Механик радовался радушному приему, но вскоре радость эта померкла. Он увидел, что англичане предусмотрительно показывают ему только устаревшее оборудование. Подобные механизмы имелись и на Урале.

Разочарованным тагилец возвращался в Ист-Энд. Джексон догадывался о кручине жильца и утешал:

— Не волнуйтесь, не вы первый, не вы последний оказались в таком положении. Заводчик никогда не покажет новой машины. Поймите, он боится конкуренции.

— Но меня бояться нечего: я не заводчик и не конкурент им! — протестовал Мирон.

— Владельцы хорошо видят, что вы отлично разбираетесь в механике, а это для них невыгодно.

После неудачных осмотров заводов Черепанов приготовился к поездке по железной дороге. Об этом он мечтал долгие месяцы. Незадолго до его приезда в Англии открылась первая железная дорога Ливерпуль — Манчестер. Клерк сопровождал тагильца. Они проехали от большого дымного города Манчестера, где сотни фабрик занимались выработкой шерстяных материй. Машина быстро тащила за собой маленькие вагончики-тележки. Они проносились с большой скоростью по мостам, сквозь тоннели, по насыпям через зыбкие болота по проложенным чугунным колесопроводам. На остановках Мирон выходил из вагончика и внимательно рассматривал колесопроводы. Но больше всего его интересовала машина. Он оглядел лишь ее внешний вид, а с внутренним устройством машины так и не довелось ему познакомиться. Через переводчика он попробовал сговориться с машинистом, но тот держался недоступно, с большой важностью.

— Он даже не желает разговаривать с нами! — разочарованно сказал Джексон.— Стоит ли нам после этого спорить с ним?

Они снова забрались в тележку-вагончик и, покачи-

ваясь, поехали дальше. Впереди показалась темная полоска воды. Море! Здесь, на маленькой станции, они сошли и долго бродили по берегу. О скалы бились волны аспидного цвета, серые горы высились над ними, а над пучиной с унылым криком летали чайки. Вдали в легком тумане белели паруса,— по большому водному пути из Англии в Ирландию плыли корабли...

Хмурый и недовольный, Черепанов вернулся в Лондон. Глухая, враждебная стена окружала его всюду. В Ист-Энде, в лачуге, он застал плачущую хозяйку. Крупные слезы безудержно катились по ее желтому лицу. Линялым передником она поминутно утирала их, но ей трудно было скрыть свое глубокое страдание.

— Что с ней? — огорченно спросил горшечника Мирон.

Горшечник поднял косматую голову и со вздохом ответил за жену:

— Ничего особенного не случилось. Это ждет каждого из нас. Наша молоденькая соседка, модистка Анна Ваклей, умерла от чрезмерной работы. Умная и хорошая была девушка!

— Выходит, надорвалась? Большой груз подняла?

Рабочий покачал головой:

— Она груза не поднимала. В Англии это делается иначе, мой друг. Девушка служила в богатой придворной мастерской. Хозяйка ее шьет исключительно на королевский двор. Наша модистка трудилась по шестнадцать — семнадцать часов, а когда выпадали срочные заказы, то и тридцать часов беспрерывно.

— Разве может выдержать такую маяту хрупкая девушка? — сочувственно сказал Мирон.

— Может! — сердито сказал гончар.— Они умеют заставить работать мертвых! Чтобы работница не упала от усталости и ее не свалил сон, ей дают в счет заработка стакан черного кофе или хереса. Видите, как шикарно! На днях в мастерской предстояло приготовить для одной леди роскошный бальный наряд, и бедная Анна вместе с другими девушками проработала тридцать часов. Ей не хватало воздуха, так много модисток трудилось в одной комнате. Она каждый день недоедала и вот, не закончив бального платья, умерла от истощения. Хозяйка мастерской готова была усадить ее за работу мертвой. Ах, куда идет Англия! Как жить в ней бедному человеку! — с тоской закончил гончар.

Тяжелое горе простых тружеников глубоко тро-

нуло Мирона. В этот день он долго ворочался и думал о судьбе отца и о себе.

Все лето Черепанов объезжал заводы, изучая выделку полосного железа посредством катальных валов. Ничего мудреного в этом он не находил и пришел к выводу, что ради этого не стоило ездить в Англию. Разглядывая на английском заводе чугунные валки, он заметил, что они часто ломаются при прокатке болванок. Несколько дней уралец отыскивал причину частых поломок и наконец догадался. Англичане решали дело просто: вместо лопнувшего валка они ставили запасной. Черепанов не утерпел и сказал:

— Вы зря портите много металла. Попробуйте сделать валки из металлов разной упругости, и тогда будет другое! Соедините гибкость железа и твердость чугуна. Сделайте концы железными, а середину облейте чугуном.

Мастер изумленно посмотрел на русского.

«Подумать только, какой простофиля этот русский мастеровой. Выболтал секрет даром!»

Подходила осень, настала пора собираться домой. У Мирона повеселело на сердце. Перед отъездом он побывал на сталелитейном заводе. Здесь выплавляли сталь из русского и шведского железа. Только тут и поглянулось тагильцу,— англичане варили сталь умело и быстро. Однако и в этом деле русские литейщики могли с ними поспорить!

В октябре Мирон распрощался со своими квартирными хозяевами.

— Без вас мы пропадем! — глядя ему в глаза, жалобно проговорила хозяйка и утерла невольную слезу.

Горшечник большими печальными глазами смотрел на Черепанова и молча пожимал руку. Ему трудно было сказать слово, чтобы не уронить достоинство мужчины, так как спазмы сжимали горло...

И вот Мирон снова на корабле. Как легко дышалось на море сейчас! Только что корабль выбрался из пролива, как Мирон повернулся лицом к востоку и с жадностью стал всматриваться в морские дали.

«Там, за волнами, милая русская земля! Там, на востоке, всегда всходит солнце!»

Глава девятая

1

В Санкт-Петербург пришла мрачная промозглая осень. Сеяли бесконечные надоедливые дожди, со взморья дул пронзительный ветер, который запирал в устье невские воды. Река вздулась, потемнела,— широкие волны бросались на гранитные набережные. В гавани море затопило склады. По небу тянулись грузные темные тучи, и все кругом выглядело мрачно. В парках и садах опустело, под ногами шуршал палый лист,— отошла пора листопада! В осенние дни поздно светало и рано наступали сумерки. Под косым дождем торопливо проходили унылые прохожие с позеленевшими от холода лицами. Все навевало тоску, однако на душе Мирона была радость. Он снова в родной стране, вскоре поедет на Каменный Пояс, и все будет хорошо.

Главный директор Данилов на этот раз принял Черепанова очень скоро. Он внимательно выслушал доклад механика и остался весьма доволен.

Усадив Мирона в кресло, Павел Данилович ласковым взглядом посмотрел на него.

— Покровитель наш Павел Николаевич остался доволен твоими замыслами. В сорочках вы родились, Черепановы! Дозволь поздравить тебя с хозяйской милостью! — Директор протянул свою жилистую руку: этого еще никогда не бывало!

Черепанов покраснел, на его сердце вспыхнула внезапная надежда: «Неужели вольную пожаловали?» Боясь спросить об этом, он вопрошающе уставился на главного директора.

— Отныне ты больше не выйский плотинный, а механик по всем демидовским заводам! — с важностью сказал тот.

Сразу померкло все.

— А как же батюшка? — удрученно вымолвил Мирон.— Он больше моего разумеет, да и переделал на своем веку немало. Мне до него далеко! Ох, далеко!

— Хозяином и сие предусмотрено,— ответил Данилов.— Твой батя станет первым механиком, а ты — вторым... Ох, господи, сколь внимателен к вам, холопам, наш многомилостивый барин! — Старик прослезился и глянул в сторону портрета хозяина, который висел на

том же месте. Оборотясь к Мирону, он с лукавинкой спросил:

— Доволен ли ты? Отныне жалованье вам, Черепановым, удваивается!

— Спасибо, много благодарны мы с батюшкой Павлу Николаевичу! — Мирон нескладно поклонился Данилову, а в голове мелькнула и взволновала мысль: «Что случилось? Почему плутоватый лис вдруг стал чрезмерно любезен и залебезил?»

Насладившись смущенным видом Мирона, директор схватился за изборожденный морщинами лоб, как бы силясь что-то вспомнить.

— Ах, совсем было запамятовал! — спохватился он.— Хозяину понравилась твоя выдумка о паровой телеге. Велел он вам с батюшкой строить, да так заинтересовался сим делом Павел Николаевич, что просил доносить рапортами о преуспевании в работе. Ну, раз так повернуло, то выходит, и заведение ваше дозволяется расширить до потребности, да Александру Акинфиевичу Любимову наказано, чтобы все, что понадобится для паровой телеги, враз изготовлялось на заводах по вашей нужде!

Снова радость охватила Мирона. Он очарованный сидел перед директором, глаза его заблестели. Данилов угадал перемену в настроении мастера:

— Вижу, ты премного доволен?

— И слов нет сказать, как доволен! — не скрывая радости, ответил Черепанов.— Дозвольте немедля на Урал ехать?

— Поезжай, да по дороге в Тулу заверни, узнай, что потребно там, да механизмы огляди! О сем доложишь Любимову. Ну, с богом!

Неслыханное дело: Павел Данилович встал с кресла и проводил Мирона до двери. Прощаясь, он похлопал его по плечу:

— Мыслю, что паровую телегу сладишь вскоре!

— Постараюсь, Павел Данилович. И за батюшку то ж могу пообещать: он спит и во сне видит нашу машину! — Механик поясно поклонился главному директору и покинул кабинет.

В тот же день он отправился на Васильевский остров, в Санкт-Петербургский университет. Сильно хотелось Мирону повидать Ершова. С волнением он вступил в старинное здание, поднялся по широкой лестнице и оказался в длинном-предлинном коридоре, который

уходил в сумеречную даль. Было пустынно, тихо, в аудиториях шли лекции. Из канцелярии вышел юркий писец и деловито оглядел Черепанова.

— Вам кого? — спросил он.

— Мне бы студента Петра Павловича Ершова. Писец оживился.

— Вы его, батенька, здесь не застанете. Господин Ершов отбыл на время из Петербурга.

Так и не довелось Мирону поделиться своей радостью с полюбившимся ему человеком.

В мальпосте он приобрел за семнадцать рублей билет на место в «сидейке». Это было похуже кареты-дилижанса. Хотя «сидейка» была и крытая, но в ней было тесно и сильно трясло. Под осенним дождем ехать было невесело, да и путники собрались угрюмые и молчаливые. Вместо положенных восьмидесяти часов до Москвы добирались четверо суток. В Белокаменной Мирон не задержался, раздобыл билет на дилижанс в Тулу и с легким сердцем отправился на ночлег.

«До Тулы всего сто восемьдесят верст,— думал он, засыпая,— и шоссе года два тому назад построили: доеду быстро!» В действительности все выглядело иначе. По непролазной грязи, по топям, в объезд мостам, снесенным осенним водопольем, он испытывал все муки путешествия по невозможным российским дорогам.

— Где же шоссе? — спросил он у станционного смотрителя.— Ведь сообщали, что отстроено!

— Верно, батюшка, была и шаша,— согласился древний смотритель.— Верно, отстроили ее, да прошел годик — и не стало шаши. Разрушилась: была да сплыла, во как!

— Как же так? — возмутился Мирон.— Да таких строителей под суд надо!

Старик безнадежно махнул рукой.

— Да кто их, разбойников, уличит, все чисто сделано! Комар носу не подточит!

— Государю о сем надо написать! — сердито сказал Черепанов.

— До бога высоко, до царя далеко! Да разве царь в силах наказать сих грабителей? Истинно скажу, с большой дороги разбойники! Его императорскому величеству доложили дело, а там и не распутать, что к чему. И написал государь Николай Павлович такое: «Шаши нет, денег нет и виноватых нет, поневоле дело кончить, а шашу снова строить!» Вот и ждем, батюшка, новых

казнокрадов! — Смотритель лукаво улыбнулся и стал заносить в книжку пассажиров.

После уральских заводов Тульский оружейный не произвел на Мирона сильного впечатления. В Туле преуспевал по выделке оружия только казенный завод. Не так давно через город проезжал царь Николай Павлович, который посетил выставку заводских изделий. Эта выставка сохранялась в старом кирпичном здании, и Черепанова потянуло ознакомиться с изделиями тульских мастеров. Весь день ходил уральский механик среди столов и витрин, на которых было разложено изумительное оружие, потребовавшее от творцов его большого терпения, глубокого ума и сказочного мастерства.

2

Не случайно управляющий санкт-петербургской конторой Павел Данилович Данилов так живо заинтересовался затеей Черепановых. Иные времена наступили на белом свете! В минувшем, восемнадцатом веке Россия по выплавке чугуна занимала первое место во всем мире. Но сейчас, в девятнадцатом столетии, произошли огромные изменения; Англия значительно опередила нашу страну, меркла слава знаменитого демидовского железа с клеймом «Старый соболь». Что случилось за эти годы? Урал ведь не оскудел рудами, леса для пожога угля — необозримый океан, и не перевелись на далеком Каменном Поясе золотые руки, умеющие плавить чугун! Не все уяснил себе Павел Данилович, а хозяева уральских заводов и того меньше задумывались над переменами, стараясь только выколотить побольше доходов из своих предприятий, работавших по старинке. А между тем техническая отсталость и каторжные условия крепостного труда губительно отражались на развитии уральской промышленности. Кроме того, первобытные топкие грунтовые дороги стали большой помехой в торговле. Из-за дороговизны и медленности перевозок на все хозяйственные предметы неимоверно выросли цены. На Урале пуд железа стоил на заводе восемьдесят девять копеек, а доставленный в Нижний Новгород, на Макарьевскую ярмарку, продавался по рублю две копейки, в Петербурге же цена его доходила до рубля двадцати пяти копеек. Нечего было говорить о

цене на железо, доставленное в западные губернии России. Там пуд железа стоил свыше двух рублей! Вот почему на западе в нашем государстве крестьянские савраски редко подковывались: не под силу было обедневшему русскому мужику приобрести дорого стоившую подкову. Колеса у телег не обтягивались железными шинами, оси ставились деревянные. На постройках везде употреблялись только деревянные гвозди, о железных и помышлять не приходилось. Из-за плохих дорог еще разительнее росли цены на хлеб. В Саратове рожь стоила около рубля, в Прибалтике цена ее достигала четырех рублей и выше.

Доставка продуктов баржами по водному пути тоже не обеспечивала потребности страны. Перевозка товаров в столицу по Волге тянулась две навигации. Обычно караваны барок отстаивались зиму в Рыбинске или в Твери, а весной следовали дальше. Купцам это было невыгодно: ждущий полгода новой навигации груз лежал мертвым капиталом. Вот если бы в стране появились железные дороги, тогда по-иному бы закипела жизнь!

В 1830 году в журнале «Северный муравей» появилась статья профессора Петербургского университета Щеглова, который, описывая преимущества железных дорог, убеждал, что «металлические дороги прекратят жалкие для нас и смешные для иностранцев случаи возвышения в Петербурге цен на первые потребности народного продовольствия оттого, что барки останавливаются с половины лета на зимовку за недостатком воды в расстоянии 200 верст и менее от Петербурга...»

Как это ни странно, но против профессора Щеглова ополчился не кто иной, как сам генерал-майор корпуса инженеров путей сообщения Дестрем, который стал доказывать, что железные дороги России не нужны. Вслед за этим всерьез встревожились владельцы конно-степных заводов. Они испугались, что с появлением железных дорог никто не станет покупать лошадей. Помещики крупных имений задумались о своем: кто же у них будет покупать овес, когда появятся первые стальные пути? Хозяева ямских предприятий тоже загоревали — уменьшится число пассажиров. Не меньшая тревога всколыхнула и содержателей постоялых дворов и корчмарей: никто не станет больше покупать сено и пить водку! Каждый думал о своем. В газетах и журналах запестрели статьи о паровых перевозках. Противниками железных дорог выступали министры, помещики и даже

главноуправляющий путями сообщения Толь. Он заявил, что «в России быстрая и срочная доставка по большей части не нужна».

Многого из того, что происходило, демидовский управитель Данилов не понимал. Но одно ему было ясно: постройка железных дорог потребует огромного количества железа. А где его брать, как не на Урале? На то и существуют демидовские заводы, чтобы поставлять железо! Поэтому Данилов так охотно одобрил планы Черепановых.

«Когда решится спор,— рассуждал про себя управитель,— к тому времени у нас и пароходная телега будет готова. Это лучше всякого слова убедит в том, на что способны наши заводы! Да и Демидовым лестно станет. Особенно возгордится этим Павел Николаевич. Нигде в России еще нет подобного, а у нас, в Нижнем Тагиле, уже своя первая железная дорога!..»

Павел Данилович не замедлил отдать по конторе распоряжение, чтобы все необходимое для Черепановых доставлялось без задержки.

Данилов отчетливо представлял себе, что может произойти, если в стране начнут строиться железные дороги. Хотя Россия и отстала в плавке чугуна, но уральские заводы все же давали в год свыше четырех миллионов пудов кричного железа. Шутка ли! Уральское железо проходило обработку под особыми кричными молотами и вполне заслуженно пользовалось доброй славой. Из-под прокатных станов на горных заводах выходили и плотный лист и крепкие шины. Верно, Англия сейчас шла впереди, но уральские умельцы многому могли поучить английских мастеров. Крепостное состояние мешало русским литейщикам и металлургам показать себя во всей силе.

Мирон Черепанов с большой радостью возвращался на Урал. Колесный путь — дальний и томительный. Сибирская дорога пролегала через Казань, Башкирию, пересекала глухие леса, горы и шумные реки. Чем ближе подъезжал путешественник к родному краю, тем пестрее становились краски осени. Леса сбросили золотую листву, только одни осиновые рощи пылали последним ярким багрянцем, да темно-синие ельники не меняли окраски и хмуро шумели под сибирским ветром. В небе не раздавались трубные крики журавлиных стай.

Перелетные птицы покинули края, охваченные дыханием осени. Только на глухих озерках да в тихих речных заводях уныло плавали одинокие уточки-подранки да обессиленный лебедушка — не видать им больше ясных теплых дней!

Осень навевала тоску, но стоило показаться вдали синей гряде знакомых гор, и Мирон встрепенулся, загорелся нетерпением. Теперь до Нижнего Тагила рукой подать!



ЧАСТЬ 4

Глава первая

1

По возвращении в Нижний Тагил Мирон сразу взялся за работу. К этому времени Ефим Алексеевич постепенно оборудовал большую мастерскую. В ней работало около полусотни отборных мастеровых: семнадцать слесарей, шестнадцать плотников, семь кузнецов и четыре машиниста. Черепановы соорудили плавильную печь, в которой сами плавили металл и сами отливали детали машин.

Днем и ночью механиков одолевали мысли о конструкции «сухопутного парохода». Не раз они вдвоем шагали по пустырю по направлению к Выйскому заводу; здесь намечено было уложить первые колесопроводы. По ним и пойдет их машина. Загодя они заказали отливку колесопроводов на Выйском заводе, а колеса — в Верхне-Салдинском.

Постройка пути мало беспокоила Черепановых. К этому времени на русских заводах накопился большой опыт: подобная первая внутризаводская рельсовая дорога была проложена еще в 1763 году на Змеиногорском руднике, на Алтае, русским механиком Кузьмой Дмитриевичем Фроловым. Его сын Петр Кузьмич затеял большое дело. Он вынес железную дорогу за пределы завода и создал несколько проектов многоверстных железных дорог. В 1806—1809 годах Петр Кузьмич соорудил рельсовую линию между Змеиногорским рудником и заводом, который был ставлен на реке Кораблихе, притоке Алея.

Самое замечательное — то, что строитель впервые применил выравнивание местности. Он скопал крутые уклоны, сделал выемки грунтов, построил над глубо-

кими оврагами мосты, пробил тоннели в горах — и дорога стала весьма удобной для движения, потребовала меньше тяговых усилий при перевозке грузов, да и опасности крушений исчезли.

Кроме того, Фроловы много думали и над формой колесопроводов. Это было чрезвычайно важно. До них применялись колейные рельсы, представлявшие собою углубление для колеса. Такие и видел Мирон за границей. Фролов придумал более надежные и удобные колесопроводы: он придал рельсу выпуклую форму. Такие колесопроводы не засорялись, с них легко скатывались упавшая руда, песок, грязь. А чтобы колесо прочно держалось на рельсах, он изменил его форму, устроив по его окружности желоб. Теперь вагонетка прочно и беспрепятственно катилась по путям.

Об изобретении Фролова много позднее написал профессор Санкт-Петербургского университета Щеглов. Черепановы эту статью не читали, но через досужих людей знали о ней и решили применить колесопроводы русского механика. Однако Ефим и Мирон пошли дальше Фролова: на Алтайской железной дороге вагонетки двигались конной тягой, а Черепановы решили поставить на рельсы паровой двигатель. Это было в России впервые.

За плечами Черепановых был большой опыт: они построили несколько паровых машин. Механики понимали, что центральное место в двигателе займут котел и топка. Расчетами ни отец, ни сын никогда не занимались, до всего доходили чутьем и опытом. Вот и сейчас им предстояло решить, как устроить машину, чтобы топка давала равномерный жар и чтобы котел выдержал большое давление паров. До всего они доходили после больших раздумий и неудач. Опыты и работа отнимали много времени, а санкт-петербургская контора торопила.

Данилов, интересуясь ходом дел, обязал Черепановых представлять «двухседмичные» сведения о наличности материалов при Выйском заводе, «какие из оных продвижаются при заводе вновь заводимые постройки».

Вскоре Черепановы представили в Нижний Тагил рапортичку о своей работе, а в ней сообщали, что «ко вновь строящемуся пароходному дилижанцу приготовляются деревянные модели, по коим отливаются чугунные и медные припасы, равно и отковываются

железные принадлежности, кои изготовляются своими рабочими, где находились разных цехов рабочих до 21 человек».

Мирон с плотниками тщательно мастерил деревянные модели, а отец весь январь следил за отливкой главных частей двигателя. Ефим помолодел в работе и успевал всюду: вместе с кузнецами он занимался поковкой железных частей, с литейщиками отливал чугунные и медные принадлежности. Им мерещился «сухопутный пароход». Вот перед ними лежат только что отлитые, еще теплые детали. Как приятно взять их в руку! Теплая шестеренка согревает шершавую руку, приятно давит на ладонь. Еще приятнее смотреть, как на станке обрабатывается медная деталь. Ефим аккуратно и крепко прижимает резец, быстро вращается валик. От резца вьется дымящаяся стружка. Она горит, сверкает, извивается змейкой и, обрываясь, падает у ног. Превосходно! Прекрасно дышится за кипучей работой, весело смотреть на белый свет! Черепановы так увлеклись делом, что позабыли об окружающем.

В работе все: и радость и печаль. В творческом труде обо всем забудешь!

Но люди не могли забыть о Черепановых. По Нижнему Тагилу прошел слух об их машине. Больше всех взволновал этот слух владельца заводской конницы Климентия Ушкова. Умный и строптивый Климентий Константинович давно уже недолюбливал Черепановых, страстно завидуя им. Весть о том, что Ефим с сыном строит «сухопутный пароход», на котором будет доставлять руду к заводу, сильно взбудоражила Ушкова.

Крепкий, важный старик явился в домик Черепановых. Он без приглашения, по-хозяйски уселся к столу и, сознавая свое значение, строго спросил Ефима:

— Правда, что ты новую машину строишь?

— Правда,— подтвердил Черепанов.— Если хватит сил, она во многом облегчит труд человека!

— Сатанинское дело ты задумал, Ефим! — И, подняв перст, Ушков указал на иконы.— Ты о боге подумал? Не вечны мы тут, человеки, на земле. Позовет нас господь ко престолу и спросит, как жили? Брось, Ефим, черта тешить!

Механик покраснел, вся кровь ходуном заходила в нем. Знал он: не о спасении души заботится Ушков, а о своей выгоде. Пойдет «пароходка», конница Ушкова

останется без дела. Овладев собою, Ефим ответил сдержанно:

— Умен и силен ты в священном писании, Климентий Константинович, уважаем нами. Но прошу тебя, не страши адом! Работному человеку ад не страшен, ему пекло уготовано тут, на земле. Гляди, как маются!

— Молчи, вольнодумец! — прикрикнул Ушков.— За такие речи язык рвут!

— Не чаю в тебе доносчика видеть! — спокойно отозвался Черепанов.

— Доносчиком николи не был и не буду! — сердито перебил владелец конницы.— Но скажи, зачем хлеб отнимаешь у меня? Ты и так счастлив: вольной обладаешь, а я все в ярме. Ах, Ефим, Ефим, для кого стараешься?

— Для народа своего стараюсь! — твердо ответил Ефим Черепанов.— Не обессудь, Климентий Константинович, не могу я отречься от своей мечты! И не завидуй,— что за «вольность» пожалована мне? Как медведь на цепи топчусь. Суди сам: вся семья в крепостных, сын Мирон тож в рабстве. Какие тут радости? Подумаешь, сердце кровью обливается. Не трави мои раны!

Ушков тяжело опустил голову. В густых темных волосах его серебрилась ранняя седина. С минуту длилось тягостное молчание, потом гость оживился, положил руку на плечо Черепанова:

— Послушай, друг,— вкрадчивым голосом заговорил Ушков.— Чую, тяжко тебе отречься от выдумки. Да и барские холуи строги, теперь не отвяжутся. Вот что скажу, друг: бери отступного,— молчи только, а машины пусть не будет. Скажешь, не вышла.

Словно огнем обожгло Черепанова.

— Не будет этого! — резко бросил он в лицо Ушкову и вскочил.

— Значит, ни так, ни этак? Подумай, Ефим, как бы потом не пожалеть! — со вздохом сказал тот.

— Не пожалею! Сам не сроблю — сын Миронка сделает. Он дальше моего шагает!

— Шагает-то шагает, но могут и остановить! — с многозначительной улыбкой перебил Ушков.— Ну что ж, тебе виднее!

Владелец конницы встал, надел шапку. У порога он снова задержался и сердито обронил:

— Не суждено, выходит! Отныне мы, Ефим, с тобой

враги! Насмерть враги! — Он хлопнул дверью, и вскоре за окном проплыла его могучая прямая фигура.

На душе Ефима стало тяжело. Угрюмый, ссутулившись, он прошел на свою «фабрику», целый день лихорадочно работал и молчал...

2

На Камне всю зиму лютовали морозы, на дорогах и в степях бушевали метели. Глухо гудели боры в горах. Господский парк разубрался в иней. На льду пруда темнели фигуры одиноких рыбаков, ловивших на блесну рыбу. На берегу возвышались громадные ели, отягощенные шапками снега. Застыла земля под зимним одеялом, укрылись звери в берлогах. Ночи пали темные, глухие, со спокойной и ясной тишиной. От жарких домен над Нижним Тагилом алело зарево.

В самую студеную пору, преодолев снега и расстояние, из далекого скита пришел старец Пафнутий, согбенный желтоликий кержак. Он забрел в избушку Черепановых, благословил хозяйку и попросил истопить баню.

Евдокия со снохой наносили воду, накалили каменку и проводили старца до бани. Приход скитника не сулил хорошего.

«До Ефимовой души добираются! — хмуро подумала поблекшая женка.— Обидится отец и прогонит наставника!»

Ей не хотелось обижать мужа, но она боялась и скитника.

Старец долго распаривал свое костлявое тело, кряхтел. Ополоскался, обрядился в чистое белье, вернулся в светлицу. Только уселся за стол, и Черепановы подоспели. Они низко поклонились старцу и стали умываться. Хозяйка тем временем покрыла стол скатертью, положила свежий пахучий каравай, расставила чашки, разложила ложки и с ухватом потянулась в печь. От горячих горшков запахло вкусным варевом — жирными щами, бараниной. Свежие, умытые механики сели за стол, настороженно поглядывая на старца.

Наставник Пафнутий молчаливо полез в дорожную котомку, извлек из нее деревянную чашку и ложку.

— Не мирщусь! — пояснил он хозяину.— Ни мяса, ни парного не принимаю. Сделай-ка мне, хозяюшка, тюрю.

Евдокия тяжело вздохнула.

— Эстоль брел, через пустыни и горы, и на одном квасе. Сгибнешь, батюшка, этак! — заикнулась она.

Скитник строго посмотрел на женщину.

— Тело смердящее пусть гибнет, а душа возрадуется. Горе филистимлянам, кои душу дьяволу продают! — торжественно произнес он, и глаза его фанатически блеснули.

Мирон хмуро посмотрел на старца. Тленом веяло от хилого сухого скитника. Бледное, изборожденное глубокими морщинами лицо, сивая с желтизной борода делали его неживым, выходцем из могилы. Голос старца звучал глухо, зло.

Он настоял на своем: хозяйка налила ему чашку квасу, накрошив туда хлебного мякиша. Старец поднялся, а за ним поднялись и повернулись к образу хозяева. Стали истово молиться.

Старец Пафнутий женок за стол не пустил, и они насыщались за холщовой занавеской. Все ели молча, уткнув глаза в чашки. Время от времени скитник кидал грозные взгляды на механиков. Он привык к покорности своей паствы и потому, заметя торопливость Мирона в еде, постучал ложкой по столу:

— Не торопись, малец! Бесовское дело обождет!

— Ты что, дедушка, грозишь? — вспыхнул Мирон.— Откуда выискался такой строгий? Батя у нас за столом за старшего, ему и строжать!

Глаза скитника недобро сверкнули.

— Кш! Кш! — застучал он ложкой.— Зелен речи держать! — Он отодвинул чашку.— Ефим, я к тебе пришел! — скрипучим голосом обратился он к Черепанову.— Пора подумать о спасении души! По земле идет блуд великий, ловцы сатаны пленяют души христиан. От скита послан сюда!

— Какая нужда во мне вышла, батюшка? — сдержанно спросил Ефим. Он отложил ложку, утер бороду.

— Без нужды, страстотерпцы, живем. Малому невеликое надо. Душу твою спасти пришел!

— Погоди, батюшка, что-то рано засобирался. Вот «пароходку» отладим, тогда и посмотрим, что будет.

— Не построишь ты своего демона. Прокляну! — Скитник вскочил, поднял над головой двуперстие.— Прокляну! Анафеме предам!

— Ни я, ни сын мой с демонами не знаемся! — не уступал Ефим.

— А какая сила сидит в железном чреве? Кто вечно в огне в кипящем обретается? Сатана! Вот кто двигает твои машины! Дьявол! Дьявол! — истошно закричал старец, и в углах рта его выступили пузырьки пены.

Черепанов пристально взглянул на скитника и спокойно ответил:

— Пар есть сила чистая, светлая! И облачко лебяжье — тот же пар на воздусях! Никакой нечисти в своей затее мы не видим. И ты не грози нам. Не дано тебе судить нас! Мы облегчение несем народу, а ты назад тянешь!

— Верно, батюшка! — обрадовался Мирон.

Холщовая занавеска шевельнулась, из-за нее выглянули встревоженные лица хозяек.

— Ты, младень, помолчи! — стукнул посохом старец.— С отцом веду речь, а не с тобой. Помолчи, окаянец! — сверкнул он мрачными глазами в сторону молодого механика.

— Он не дите, а умелец! — с гордостью за сына прервал скитника Черепанов.— И запомни, батюшка, Мирон не окаянец! На Камне он первый механик. И в Англии, в иноземщине, он побывал и людей и многое другое повидал. И тебя поучить может кой-чему!

— Эвон куда метнуло! — затряс в ярости посохом старец.— И ты, человек в разуме, мне перечишь? А коли в иноземщине был, то пусть пред святой иконой речет, что бритты — и те свои машины, сказывают, поломали, ибо злой дух в них хлеб от христиан поотнимал! Злой, песий дух в машинах!

Черепанов нахмурился. Упрямство кержацкого старца вывело его из себя:

— Злой дух у тебя под хламидой! Чего рычишь, как зверюга! Пришел под чужой кров и шумствуешь. Ведомо тебе, что бритты не потому поломали свои машины, что они худы для них. Восстали они против тяжкой кабалы своих заводчиков. Кабы машина — труженику, он радовался бы ей!

Старец опешил от неожиданного отпора, вылупил белесые глаза на Черепанова, и посинелые губы его задрожали в ярости.

— Свят, свят! Бес в нем, бес! — закрестился он, проворно собрал котомку и взял в руку посох.— Не место мне тут, где старших не почитают да с бесовской нечистью водятся. Николи подобного не видано и не слыхано! Не будет моего благословения на вас! — Он заки-

нул лямки котомки за плечи, перекрестился на иконы и, не оглядываясь, плюясь и ахая, пошел прочь.

Только скрылась за дверью хилая фигура скитника, как Евдокия вышла из-за холщовой занавески и с укором посмотрела на мужа.

— Что ты наделал, Ефим? Теперь на весь Камень опозорит! И ты хорош, задираешься, с кем не положено! — накинулась она на сына.

Старик сел на скамью, улыбнулся жене:

— Ну, чего расхорохорилась, как воробей перед дракой! Честное, моя милая, не опозоришь! Золото и в грязи блестит. Дело само за нас с Мироном покажет. Садитесь-ка, женки, за стол, благо кислый дух унесло! — оживился он. Угрюмость с его лица как рукой сняло. Он спокойно принялся за еду.

— Батюшка, а ведь он в Кержацкий конец побежал! — вдруг осенила Мирона догадка.— Вот светопреставление!

— Пусть, а мы свое дело знай: пустился в драку, кулаков не жалей! Мои думки сейчас о другом — о котле!

— Ты бы хоть за столом, отец, о другом сказал! — со вздохом взглянула на него женка.

— Матушка! — улыбнулся Мирон.— Разве можно думать о другом, когда всю душу одна мысль захватила!

За окном синел ранний зимний вечер. Вороны с граем кружились над высокими березами, примащиваясь на ночлег. Заголубели снега. В морозном небе замерцали звезды. Прямо из-за стола отец и сын снова пошли в мастерскую.

3

Черепановы упорно добивались своего, и в марте котел был готов. Его установили на железную раму-основу «сухопутного парохода» и решили испытать. На площадке, обнесенной плотным забором, было чисто, просторно. Синело апрельское небо. Неподалеку в овражке шумел ручей,— с верхов к пруду торопились талые воды. У закраин пруда лед вздулся, посинел. На фоне светлого неба черными ветвями четко рисовались деревья. Во всем — и на горах, и в лесу, и в беге облаков, и в первых талых ручьях, и в жухлости оседающего сне-

га — чувствовалось приближение весны. Вот-вот на Урал — золотую землю — тронутся косяки перелетных птиц!

Радостное пробуждение природы придавало Черепановым сил, но в душе каждого из них росла тревога. Отец явно волновался за исход испытания. Сына сжигало любопытство: какое давление пара выдержит котел? От этого зависит все! Он решил не щадить ни себя, ни своего изобретения, лишь бы установить предел давления.

Ранним утром разожгли топку. Уголь разгорелся жарко. Ефим стал подбрасывать топливо, не сводя настороженных глаз с предохранительного клапана, к которому прижимался стальной рычаг с делениями, а на рычаге была прикреплена тяжелая гиря. Прошло много томительных минут, пока в котле нагрелась вода и гиря на рычаге незаметно сдвинулась с места. Из трубы колечками, с легким шумом выбрасывало дым. Мирон с замиранием сердца следил за машиной. В нее быстро вливалась жизнь: заструилось тепло, почти незаметно для глаза задрожали стальные части. В железном чреве копилась и давала о себе знать нарастающая сила, толкавшая рычаг. Гиря медленно, ровно тронулась в путь: миновала третье, четвертое, пятое деление. Жар становился сильнее, вздохи паровика мощнее. Ефим усиленно подбрасывал уголь; раскаленный добела, он гудел в топке ярким пламенем. Черепанов стоял у рычагов и весело поглядывал на сына.

В чистый, прозрачный воздух неожиданно вырвалась белая струйка пара, клапан приоткрылся, и из него раздался радостный, ободряющий звук. Он призывно раскатился по горам, и на него вдали отозвалось эхо. Звонок и певуч весенний простор! От этого звенящего, пробуждающего звука, схожего с заводским гудком, у молодого механика затрепетала каждая жилочка.

За дощатым забором послышались встревоженные голоса. В щели, в круглые дырочки от выпавших сучков смотрели чьи-то любопытные глаза. Там, за площадкой, происходило движение, суетня и говор.

Снова взвился белый рыхлый парок, толчками поднимаясь к небу и тая, а вслед за ним, как торжественный призыв, тонко и голосисто что-то загудело-запело. За оградой раздался хмурый, удивленный возглас:

— Ревет, дьявол!

Десятки глаз, потемневших от страха, насторожен-

ных, незаметно следили за Черепановыми и машиной. Поодаль на дворе толпились мастеровые: во избежание несчастий Ефим не допускал их близко. Они с радостным изумлением смотрели на механика. Широкоплечий, коренастый, с распущенной бородой, Ефим величаво стоял на мостике у котла, и лицо его лучилось от радости. Паровик работал ритмично, исправно, с пружинистой эластичной силой,— словно в нем билось молодое, крепкое сердце.

— Породил беса и тешится! — снова раздался за оградой неприязненный возглас.

Черепанов удивленно взглянул на сына:

— Кто это?

— С Кержацкого конца все старики и старухи прибрели. И откуда прознали?

Ефим нахмурился. На душе угасла радость. Темная, чужая сила вторгалась в его замыслы, не давала спокойно работать. Да что́ старики! Приказчики — и те, соблюдая приличие, боясь демидовской кары, шутя, а на самом деле с недоверием и ехидцей спрашивали:

— Ну, скоро своего змея-горыныча пустишь? А как ты думаешь, доберется он до Санкт-Петербурга?

Не нравились Черепанову эти скрытые, но язвительные насмешечки. Спасибо, работные относились к нему доверчиво. Они, не скрываясь, гордились Черепановыми.

— Гляди, чего может достигнуть простой русский человек! — говорили в рабочих семьях.— Ума палата, руки золотые. Эх, кабы не крепостные цепи, ух, и размахнулись бы!..

Между тем давление пара в котле усиливалось: об этом говорили деления на рычаге. «Хватит!» — решил Ефим, но иначе думал сын:

— Давай, батюшка, до последнего!

— Да ты что! Не выдержит! — запротестовал отец.

— Может, и не выдержит, а испытать надо. Все нужно знать, чтобы добиться лучшего.— Глаза Мирона горели. Он с надеждой смотрел на отца.

— Пробуй, только осторожно! — Ефим уступил место сыну и, сойдя с мостика, озабоченно предостерег мастеровых своей «фабрики»: — Подальше, братцы, не ровен час взорвет! Покалечит!

На дворике стало тихо. Притихли и за забором. Мирон внимательно осмотрел котел, проверил, есть ли в нем вода, и подбросил уголь, а сам отошел подальше.

Подле машины оставаться становилось опасно. Риск взбудоражил молодого механика. Скажи ему сейчас: «Оставь все, останови машину»,— он ни за что не сделал бы этого! Он готов был лечь под плети, лишь бы добиться своего: узнать силу пара. А до этого приходилось доходить опытом.

Шли минуты. В наступившей тишине мощным дыханием гудел пар в трубе. Ефим насторожил ухо. За дощатым забором тихо возились и шептались ребята. Он слышал, кто-то скребется о доски. «Взбирается на забор!» — подумал механик, и в ту же минуту над тесинами показалась курносая ухмыляющаяся рожица мальчонки.

— Дяденька, а дяденька, погуди еще! Попугай старух, спасу от них нет!

— Подальше, ребята, котел может взорваться! — прикрикнул он.

Мальчонка ухмыльнулся и закричал со смехом:

— А мы не боимся!

За тесом завозились снова, и мальчуган исчез.

— Мой черед, мой! — заспорили звонкие детские голоса за забором...

И вдруг разом котел рвануло. Невидимой страшной силой его сдвинуло с места. С могучим ревом, клубясь, словно из пасти чудовища, вырвался пар. Трубу из тяжелого листового железа подбросило вверх, и с громом, дребезжащим гулом она покатилась к забору. Мимо Черепанова жихнули куски железа. Как золотые лобанчики, кинутые щедрой рукой, из топки разлетелись раскаленные угли. Чад и пар клубами закрыли развороченную машину, людей и самих механиков. Тонкий угасающий свист жалобно пронесся в воздухе,— из котла уходил последний пар...

— Га-га-га! — раскатисто раздалось за тесовым забором, и смех, яростный, ехидный и торжествующий, потряс воздух. Ржали, хохотали сотни глоток...

Ефим сжал кулаки, потемнел.

И в этот миг затрещали доски, что-то заухало, и большое прясло свежего теса под тяжестью многих тел упало на землю. Из парного тумана на Ефима на карачках поползли мужики, бабы,— бородатые старцы, ветхие старухи с горящими злобными глазами. Впереди всех добиралась, с распущенными космами, высокая жилистая скитница с исступленным взором. Ощерив

темный гнилостный рот, из которого торчал большой желтый клык, она хрипло кричала:

— Бес! Бес!

— Ага, ага! — кричали-орали кругом.

— Не допустил господь, изгнал вражью силу! — извиваясь тощими телами, тряся головами, размахивая руками радуясь и беснуясь, торжествовали взбешенные старые кержачки.

Среди этого мрака, рева и визга колокольчиками зазвенели голоса ребят:

— Дяденька, дяденька, вот это си-и-ла!..

Они юлили, мелькали среди обломков, всюду слышались их радостные, полные жизни голоса.

— Ах, милые вы мои! — с заблестевшими глазами вымолвил Ефим и, схватив чумазого сероглазого мальчонку, одетого в мамкин шушун и в батькины сапоги, прижал к сердцу.— Родной ты мой стрижанок! Жаворонушка мой!

Из «фабрики» выбежали мастеровые и стеной двинулись на незваных гостей. Но осмелевшие старухи не хотели уходить. Они теперь толпились у развороченного котла и хихикали. Среди них высился старец Пафнутий. Он тыкал посохом в топку и рычал:

— Чуете, адским смрадом несет! Дьяволище тут!

Мирону было и горько и смешно. Он не растерялся от взрыва,— все было впереди. Его не пугала работа,— таков удел всех пытливых людей. Не сразу Москва забелела, не сразу все в руки дается! Он подошел к отцу, обнял его:

— Не горюй, батя! Свое возьмем!

Перехватив горестный взгляд отца, Мирон вдруг озорно крикнул толпе:

— Эй, люди добрые, спасайся, кто может! Зараз еще тарарахнет!

Мигом все успокоилось, будто вихрь пронесся, прошумел и стих. Озираясь, молчаливо и торопливо убирались со двора кликуши и старцы.

— Эх, тьма египетская в бутылочке! — вдруг улыбнулся Ефим и махнул рукой.— Погоди чуток, наладим машину, и загудит она по чугунным рейкам! Эх, любо-дорого!

Повеселев, он сказал сыну:

— И то слава богу, что живы остались и народ не покалечили!

Усталые и взволнованные, отец и сын прошли в ма-

стерскую. Один за другим от станков стекались к ним мастеровые. Тяжело было старому механику смотреть им в глаза.

— Ну как, братцы, что скажете? — глухо спросил он.

Вперед выбрался слесарь Мокеев, крепыш с густыми темными волосами, забранными под ремешок. Он вытер руки о передник, поднял на Ефима умные глаза.

— А так скажем: давай дальше! Сегодня не вышло —завтра осилим! Поглядим, кто последним возрадуется. Будет и на нашей улице праздник, Ефим Алексеевич!..

В ту самую пору, когда Черепановы обдумывали ладить новый котел, кержаки во главе со скитником Пафнутием отправились к дому механика. С причитаниями, вздохами они шумно ворвались в светлую горенку и обступили Евдокию. Женка побледнела, в отчаянии опустила руки.

— С Ефимом худое сотворилось? Что молчите? — умоляюще спросила она.

Костлявые, желтоликие кержачки исступленно заговорили:

— Жив, жив! Что ему станется, твоему ироду? Бес-то с грохотом убег и железки-подковки свои растерял!

— Бог силен! Не хочет господь губить праведные души! — возвысив голос, изрек старец.— Евдокия, убереги их от напасти! Ведомо тебе, что они бесов тешат! Без покаяния умрут, и душа уйдет прямо в лапы к дьяволу! — Голос его звучал предостерегающе-торжественно, большие свинцовые глаза вдруг зажглись безумием.

— Слушай! Слушай! — закричали кержачки, подталкивая женку к старцу.— Беда грядет от затей Ефима! Птица на лету сгибнет, куры перестанут нестись от сего дьявольского шума и дыма. Отговори строить машину!

— Не трожь! — сурово перебила старух Евдокия.— Не галди! Не базар тут! И ты, отец, не грози карой. Бог и без тебя распорядится! — Она неустрашимо встретила взгляд фанатика.— Не стращай! Черепановский корень не из трухлявых, не сломишь.

— Ты что же, против старца? — зашумели кержачки.

— Молчи! — насупилась Евдокия.— Я в своем дому! Добрые люди без шумства входят в избу соседа, а вы что? Где пристойность? Ведомо вам, женки, что муж есть глава семьи, его и слушать надо!

Старец дрожащими руками теребил бороду, молчал. Евдокия резко сказала:

— Умен мой Ефим, оба с Миронкой к свету тянутся, а вы их в ночь зовете! Стыдитесь!

— Ух, дьяволица, замолчи! Убью посохом,— не утерпел и пригрозил скитник.— Женки, прочь отсюда! Тут дщерь вавилонская!..

Он раздвинул толпу и пошел к порогу. За ним, перекликаясь, потянулись женщины.

— Ах, Дуня, и в девках ты озорная была и по сю пору не угомонилась! — укорила старуха с Кержацкого конца.— Ты бы подластилась к Ефиму. Ведь муж...

— Уйди, не терзай меня! — отозвалась Евдокия и ушла за холщовый полог.

Невестки не было дома. Женка всплакнула. Не о том она горевала, что кержачки ругали ее, кручинилась она о другом: выдержат ли муж и сын тяжелые испытания...

Вечером она по-праздничному убрала стол. Садясь за трапезу, Ефим понял, что жена все знает. Она подкладывала сыну лучшие куски, смотрела на него с особой нежностью.

— Ешь, сынок! — В голосе ее разливалась такая сердечная теплота, что Ефим не утерпел и сказал:

— Что же ты нас не ругаешь? А ведь многие не верят в нашу затею! Особо кержаки!

— Кержаки — они всегда так! Строги! — сдержанно ответила она.— А ругать вас ни к чему. Небось на душе мука?

— Мука! — признался старик.— Руки опускаются, мать, когда подумаешь. По совести сказать, пал духом.

— Вот это зря! — с тихим укором отозвалась она.— Ты да Миронка — только и радости у меня. И радость та идет от ваших дел. Подумай, Ефимушка, работенка-то ваша не простая — дивная. Вы у жар-птицы золотое перышко похитить задумали. И в добрый час! А тем огоньком вы озарите темноту нашу: и Кержацкий конец и всех людей. Великая сладость в таком труде, родные мои! Ныне несмышленыши убоялись, а завтра славить

будут! Дивный, идущий от сердца труд никогда не пропадет. От него вся наша радость идет!

Речь женки звучала тепло, просилась в душу. Незаметно отходили и таяли под теплым дыханием сочувствия и одобрения все дневные невзгоды и треволнения.

— Спасибо, мать, тебе за доброе слово! — дрогнувшим голосом сказал Ефим и взглянул на сына. Миронка улыбнулся, глаза его без слов говорили: «Видишь, какая у нас матушка! Она сама золотое перышко, всякую печаль добрым словом живо смахнет!»

4

В июне 1834 года повытчик выйской заводской конторы Кирилка Королев в двухседмичной рапортичке доносил Любимову о том, что «вновь строящийся пароходный дилижанец с успешностью отстройкою оканчивается, который уже частовременно в действие пускается, через что успех желаемый показывает, и еще некоторые члены у него перестраиваются, где своих рабочих находилось до 9 человек».

Новый котел Черепановы изготовили с еще большей тщательностью. Мирон несколько раз делал чертежи механизмов, но отец браковал их. Сын не обижался: опыт показал, что котел долго нагревается, а паров дает недостаточно.

— Слабосилен будет! — рассматривая эскиз, говорил сыну Ефим.— Тут надо так, чтобы котел быстро нагревался и топлива шло помене. А главное, чтобы паров — могучая сила!

Вместе с Мироном они долго разглядывали поврежденную топку. Снова водрузили сверженную трубу на старое место. Жгли горючее и наблюдали, что творится в топке. Жар вместе с дымом быстро уносило в трубу.

— Видишь! — показал сыну Ефим.— Небушко отапливаем, а паров нет.

Много ночей не спали они. Черепановым казалось, что вот догадка где-то близко, но пока она ускользала от них. Отцветала весна. Отшумели талые воды. Леса наполнились буйною жизнью, ликованием. Брачная пора была в полном разгаре, парами собирались звери, птицы, отгуляла-отметала икру рыба в холодных горных речках. По ночам из-за крутогорья вставал такой ясный месяц, что все казалось облитым золотым сиянием.

Отбушевал май, подошел июнь. Мирон томился от бессонницы. Он вышел на крылечко подышать ночной прохладой. На дворе лежали густые тени от заборов, кустов и строений. В зеленом потоке лунного света пробежала кошка с фосфорическими глазами. Тишина плыла над горами, лесами, прудом, над Тагилом. Вдали на горизонте вспыхивали зарницы, где-то за горами гремела гроза. Там сейчас со скал низвергались бушующие потоки, шумели вековые боры, и темное небо из края в край озаряли зигзаги молний...

«Зигзагами, зигзагами, а если?..» — Внезапная догадка осенила Мирона. Он вскочил и заходил по двору. Мозг лихорадочно работал. До чего же все просто! И как только он раньше не догадался? Надо увеличить число дымогарных трубок, и тогда... тогда тепло не убежит сразу в трубу, пары станут возникать быстрее, будут уплотняться и набирать силу.

Он тихо прошел в избу и разбудил отца. Ефим в одном белье, крадучись, вышел во двор. Отец встревоженно посмотрел на сына:

— Опять что случилось?

— Надумал, батя, как добыть скорее пар. Вот, гляди сюда!

Стоя среди двора, на залитой лунным светом площадке, Мирон стал рисовать на земле схему парообразовательных трубок.

— А сколько? — тихо спросил отец и, присев, стал рассматривать рисунок.

— Это как дело покажет! — отозвался Мирон.

Оба на четвереньках ползали по двору. Бородатый Ефим походил на ребенка, занятого увлекательной игрой. Он то пригибался к земле, разглядывая чертеж, то приглушенно спорил с сыном. Мирон суетился, рисуя чертеж на земле...

Они и не заметили, как на крылечко вышла Евдокия, покрытая стареньким салопом. Она долго молча смотрела на странную игру.

— Что вы тут робите? Сдурели и старый и малый! — с укоризной сказала она.

Ефим проворно вскочил и смущенно отозвался:

— На ветерок вышли да залюбовались. Месяц-то какой! Посеребрил все...

Она покачала головой:

— Шли бы лучше спать! Дня для вас мало. Все спорки да работа, и умирать некогда будет!

— А мы умирать и не собираемся; жить будем да радоваться! — весело ответил Ефим.— Иди, матка, мы сейчас...

Ночь прошла в раздумье. Хотелось скорее начать в мастерской работу. И как только месяц закатился за гребни гор, а на востоке заалела заря, Ефим появился у постели сына:

— Поспешим, Миронка!

По дворам на Гальянке и в Кержацком конце голосисто кричали петухи. Над прудом тянулись белесые космы тумана, веяло прохладой. В мастерской еще никого не было, а Черепановы уже принялись за работу.

День за днем они трудились над конструкцией парового котла и добились своего. Они увеличили число дымогарных трубок до восьмидесяти. Котел поставили на раму, подвели колеса.

Мастеровые залюбовались новой машиной. Ее поставили на колесопроводы среди двора, и «сухопутный пароход» ждал испытаний.

Был он более двух аршин длиною. Под котлом, обшитым деревом, диаметром около полутора аршин, располагались два цилиндра паровой машины, действующей на колеса. Надо всей этой конструкцией спереди возвышалась непомерно высокая труба, а позади на площадке — место для машиниста. Когда Черепанов становился на площадку, он на полтуловища возвышался над котлом, так что видел и машину и путь перед ней...

«Сухопутный пароход» не походил на «Ракету» Стефенсона и превосходил ее по силе. Но вот беда: «пароходка» двигалась только вперед! А как пустить ее обратным ходом? Снова начались муки, снова отец и сын часами присматривались к механизмам.

«Что двигает? Пар. Выходит, надо заставить пар идти в другую сторону, и тогда колеса побегут назад!» — раздумывал Мирон.

Он долго возился над приспособлениями, пока не добился своего. В августе «сухопутный пароход» стоял среди двора под ярким солнцем и ждал пути.

В двухседмичной рапортичке о работах по Тагильскому заводу сообщалось:

«Пароходный дилижанец отстройкою совершенно окончен, а для ходу оного строится чугунная дорога, и для сохранения дилижанца отстраивается деревянный сарай».

Черепановы ждали подвоза с Верхнесалдинского завода чугунных реек, чтобы начать возведение дороги к руднику. Тем временем они испытали машину и обучали молодых механиков управлять ею.

Этой порой в Нижний Тагил прибыл странствующий профессор, инженер венского политехнического института Франц Антон Риттер фон Герстнер. Он побывал в Казани, проехал на Урал, посетил Белорецкие заводы, Златоуст, Кыштым и добрался до демидовского горного гнезда. Иноземец интересовался литьем металла, рудной добычей, но, прослышав от Любимова об изобретении Черепановых, упросил управляющего допустить к осмотру «пароходного дилижанца». Любимов поколебался, помялся, но согласился. В сопровождении приказчика Шептаева они отправились пешком к черепановской «фабрике».

Высокий, худой австриец журавлем вышагивал по полю, щурил близорукие глаза, поминутно утирал пот и жаловался:

— Сибирь — холодная страна, а почему летом тут такой жара!

— Так уж самим господом заведено,— подняв хитренькое лисье лицо, ответил Шептаев.— По русскому, значит, вкусу — в полной мере. У нас зима — так по-доброму зима: мороз трескучий, бодрый, кровь жгет, лицо румянит! Опять же и снега, батюшка, как перины пуховые! Ну, а летом, что верно, то верно,— жара! И то весьма хорошо. По русской пословице, пар костей не ломит. Вот и выходит: живем здорово и крепко!

Любимов строго посмотрел на приказчика, и тот умолк.

— Пожалуйте по сей дорожке, мимо березок, вон к тому забору! Там и машина! — любезно показал управляющий.

Герстнер хорошо понимал по-русски, но говорил с акцентом.

Черепановы издали заметили Любимова и вышагивающего рядом с ним долговязого человека.

— Батя, к нам идут! — крикнул Мирон.

— Ну и пусть идут! — спокойно отозвался Ефим, продолжая работать.

Во дворик вошли управляющий и Герстнер. Любимов шумно поздоровался:

— Здорово, хлопотунчики! Вот ученого привел, делами вашими он заинтересовался.

— Милости просим,— сдержанно поклонился Черепанов.

Австриец с любопытством разглядывал механиков. По виду — простые мастеровые, в кожаных запонах, в козловых сапогах, без шапок, но волосы аккуратно сложены под ремешок. Оба коренастые, рубахи на мускулистых грубых руках закатаны до локтей.

— Господин Герстнер из Вены прибыл, полюбопытствовал! — заскочил вперед Шептаев.— Покажи-ка свое рукоделие!

Отец и сын переглянулись. Мирону вспомнилось путешествие в Англию, где его не допускали и близко к машинам. Ефим нахмурился.

— Что ж, можно,— сухо ответил он.— Машина вся перед вами, любуйтесь!

Бывалый Ефим быстро понял, что иностранец хорошо разбирается в механике, и беспокойство за судьбу своего изобретения овладело им. Однако он и виду не подал, а взобрался на площадочку для машиниста и показал действие «сухопутного парохода».

Герстнер, изумленный, стоял перед машиной.

— Можно взглянуть чертеж? — заискивающе посмотрел он на управляющего.

— А мы без чертежей робили! — отрезал Черепанов.

— То есть как? — удивленно уставился на механиков иностранец.

— А так, вот этими руками,— сурово пояснил Ефим.— Чертежам мы не обучены. Мы во все домыслом доходили, что к чему.

— Не может этого быть! — еще более удивился Герстнер. Он подошел к машине и стал внимательно ее разглядывать.

Сняв перчатки, он ощупал каждую деталь. Улыбка не сходила с его лица; он заглянул и в топку, в которой ослепительно сверкал раскаленный уголь.

Время от времени он отрывался от машины и задавал вопросы.

— Вот у меня главный мастер! — показал глазами на Мирона отец.

Мирон простодушно почесал затылок.

— Да я, батюшка, не мастак говорить,— простецки сказал он.

Герстнер насквозь видел этого с виду простоватого, но умного и сдержанного мастерового. Он спросил Мирона:

— Сколько лошадиных сил ваша машина?

— А так полагаем, если ко времени повозки для руды подоспеют, всю ушковскую конницу заменим! — уверенно ответил молодой Черепанов, и в серых глазах его заиграли веселые огоньки.

— Что такой есть ушковская конница? Единица меры? — изумленно уставился Герстнер.— Сила давлений пара на квадратный дюйм внутри котла? — хлопая ладонью по тесовой обшивке, поинтересовался иностранец.

— Вот этого не могу знать! — развел руками Мирон.— До этого не додумались!

Герстнер пожал плечами. Он насмешливо посмотрел на Любимова и спросил:

— Ви пробоваль этот сухопутный дилижанс?

— Колесопроводы еще не подоспели,— угодливо ответил управляющий.— Но так думаю, все будет хорошо!

— Не знаю. Полагаю, машина эта не потащит груз. Чугунная дорога — хорошее дело, но по ней надо лошадь пускать! Это очень выгодно. Молодой человек сказал, заменит конницу, но зачем и к чему? — спросил Герстнер.

Он слез с площадочки, вытер о белый платок руки. Кое-что он угадал в устройстве машины, но самое главное — мощность ее осталась невыясненной. Профессор догадывался, что молодой крепостной механик не такой простак, каким он прикидывается.

— Ви и ваш папаша — чудесный мастер! — покровительственно похлопал он по плечу Мирона.— Кое-что тут есть, но сомневаюсь, что паровой дилижанс будет столь полезен: он не сможет тащить груз! — Он улыбнулся холодной улыбкой и любезно предложил Любимову: — Можно возвращаться!

Управляющий засуетился и, показывая на подоспевший экипаж, предложил:

— По жаре ходить тяжело. Разрешите довезти.

Герстнер забрался в экипаж, Любимов сел рядом. Приказчик Шептаев остался на «фабрике». Иностранец учтиво махнул Черепановым шляпой, и коляска скрылась в облаке пыли.

— Ты что-то не в духе, Ефим Алексеевич! — недовольно заговорил приказчик.— Немного немца обидел, и про господ Демидовых доброго слова не сказал. А подумай, чьим иждивением и по чьей мысли сей дилижанец устроен? Рвением и волею господ Демидовых. Что ж

ты опростоволосился — даже чертежей не показал!

— Отстань! — сердито оборвал его Черепанов.— Не тебе судить меня!

Он круто отвернулся и пошел в мастерскую. Шептаев покрутил головой.

— Скажи, какой строптивый! Ну, погоди, мы тебя еще обротаем! — Он хмуро посмотрел на Мирона и поплелся вслед за коляской...

5

На уральских заводах издавна повелось: каждая рабочая семья имела коровенку и покосы. В Нижнем Тагиле так пестовали и приучали к суровому краю свою кормилицу, что за долгие годы вывели невиданную на Камне, выносливую, непривередливую породу. Коровы-тагилки на всем Урале славны. Когда наступала сенокосная пора, приходил долгожданный праздник: работа на заводе останавливалась на месяц-полтора, и все от мала до велика переселялись на покосы. В поемных и лесных лугах строились балаганы, шалаши, и началась страда. И как легко и привольно дышалось в лугах после дымного завода! От зари до зари в лугах раздавались оживленные голоса, песни, смех. Только совсем дряхлые старики да старухи оставались на печи, все живое тянулось на покосы. Никакими силами не удержать было в эту пору тагильца в полутемном цехе и в угрюмом забое!

Черепановым пришлось все забыть: у них наступила своя страдная пора. К середине августа на выйский пустырь подвезли смолистые шпалы, а с Верхне-Салдинского завода доставили чугунные рейки. Под навесом стояли готовые фургончики для перевозки руды. В дни, когда в пойме Тагилки-реки звенела коса, на поле раздались другие звуки: копачи ровняли трассу и укладывали сосновые пластины плотно к земле, а на них тянули колесопроводы, прикрепляя их к дереву коваными гвоздями. Чугунные, грибообразные в разрезе рейки, отлитые по образцу фроловских, выглядели массивно и радовали душу Черепанова.

«Вот она, путь-дорожка! — восхищенно думал он.— Дождались-таки!»

Мирон работал с рвением. По его лицу струился пот. Солнце нещадно жгло землю, раскаленный воздух реял

над полем, и все предметы принимали в нем зыбкие очертания. Провешенная линия протяженностью в четыреста сажен уходила вдаль, вешки расплывались в горячем воздушном потоке.

Однажды к полдню из-за горы Высокой выползла черная туча, блеснули молнии и загрохотал гром. По равнине пробежал порывистый ветер, поднял воронки пыли и, кружа их, понес вдоль трассы. Вслед за этим на горячую землю упали первые тяжелые капли дождя. Они запрыгали, как ртутные шарики, обволакиваясь песком. Дохнуло свежестью, и скоро набежали споркие косые струйки дождя.

Давно не было такой грозы. Гремело всюду: в горах, в борах и на потемневшем пруду. Гудела земля, под вихревым напором шумели и скрипели деревья, но звонче всего гудели проложенные рейки.

Беспрестанно сверкали молнии, гремел гром,— казалось, земля раскалывается на части.

Глядя на увлеченных работой Черепановых, никто не ушел с дорожки. Ливень не в состоянии был прогнать людей. Мокрые, возбужденные, они укладывали шпалы.

Постепенно уползла туча, вслед за нею над полем пронеслись последние косые потоки дождя. И, как бы на прощанье, от края до края горизонта ослепительно блеснула зигзагообразная молния, ударил и рассыпался гром. Чудовищной невидимой силой разбросало по полю сложенные чугунные колесопроводы, и гроза, как укрощенный зверь, стихая, смолкла в горах...

Дождь утих, брызнули солнечные лучи над заводским прудом; упираясь одним концом в заливные луга, а другим — в Кержацкий посад, засверкала радуга. Запели птицы, повеселели травы, заблестела изумрудами близкая березовая роща.

Шлепая по лужам босыми ногами, через поле бежали женщины и ребятишки.

— Против бога пошли! Гляди, как шибануло! — кричали кержачки.

Никто на них не оглянулся, каждый делал свое дело. Ефим еще старательнее забивал гвозди, легонько позванивали рейки. Мокрый и веселый Мирон, завидя старух, вскочил и закричал озорно:

— Чего раскричались, милые! Это господь бог послал с небес кузнеца для прокладки колесопроводов. Чуяли?

Морщинистая, сгорбленная бабушка с клюкой в

руке постучала по рейке, уселась рядом на шпалы и горько заплакала.

— Чего ты, голубушка? — ласково, не злобясь, спросил Ефим.

Она взглянула на механика зоркими глазами и, улыбаясь сквозь слезы, призналась:

— Сама вот не знаю, как быть: то ли радоваться, то ли плакать?

— А ты и поплачь и порадуйся за всех нас! — присоветовал Мирон.

— И то верно! — согласилась старуха.— Приходил с покосов Ушков, все стращал: «Гляди, через поле змей пойдет!» А как шибануло, ну и подумала я: расказнил господь грешников. Ан нет! Целехоньки! Выходит, для прилику поворчал и смилостивился. Ну как тут быть?

Она подперла щеку костлявой рукой и умильно посмотрела на Ефима:

— Эх, и постарел ты, Алексеич! Гляди, паутинки в бородушке засветились. Господи, как скоро времечко летит, словно красное летечко проходит... А ты не сердись, мы ведь бабы. Что наставник скажет, ту погудку и тянем! — сказала она добродушно.— Скоро ли твой змей-горыныч за рудой полетит?

— Теперь скоро! — миролюбиво ответил Черепанов.

Солнце снова жарко пригревало, от одежды валил пар. Мирон с размаху ударил по рейке и засмеялся:

— Поет, чугунная душа! Радуется!

Воздух стал чист и прозрачен. Постепенно угасла радуга. Только кудрявые березки все еще сверкали крупными каплями влаги. Бодро и хорошо работалось...

Аккуратный повытчик выйской конторы в очередной двухседмице сообщал в Нижний Тагил: «Прочие постройки по случаю страдного времени все остановлены, кроме как некоторые переправки происходят у пароходного дилижанца, и строится для оного чугунная дорога по Выйскому полю, где и обращается рабочих своих до 26 человек».

6

«Сухопутный пароход» был построен. Он стоял среди двора за высоким забором. Возвышалась длинная труба, сверкали бронзовые части. Отец и сын много раз проверяли, осматривали его и целыми часами любова-

лись своим детищем. Исполнилась их мечта! Много мучительных дней, беспокойных терзаний осталось позади, однако и сейчас Черепановых не покидала тревога. Отец и сын скрывали ее друг от друга: машина ждала последнего испытания. Отец волновался главным образом за сына.

«Пойдет она, волю принесет Мирону! Ему еще много жить и работать!» — с надеждой думал Ефим Алексеевич.

В последнюю ночь перед испытанием он не сомкнул глаз, ворочаясь, все думал о «сухопутном пароходе». В глухую полночь, когда все уснули, старый механик неслышно поднялся с постели, быстро оделся и босой вышел из домика.

Стояла ясная сентябрьская ночь. Над Тагилом сиял месяц, в старом демидовском парке, залитом призрачным светом, тихо шелестели деревья. С гор лился свежий ветер, а в низинах клубился туман. Черепанов медленно побрел по улице.

В темном небе мигали частые звезды. Осень напоминала о себе: то зашуршит под ногами палый лист, то обдаст холодной крупной росой задетый кустик. Тихо. Только на Гальянке в низеньких оконцах мельтешат три огонька да лениво перебрехиваются псы. Темным шатром впереди возвышается гора Высокая.

Сердце застучало учащенно: вот и забор, а за ним — машина! Ефим Алексеевич бесшумно подходит к воротам и, томясь, молчаливо стоит перед ними. Он вглядывается в щель, видит залитый лунным светом двор, посреди которого, опершись на палку, стоит старый дед Потап. Опустив голову в бараньей шапке, он добродушно разговаривает с кудлатым псом.

— Ты да я, старина,— две живые твари тут! — глухо рассуждает старик.— А кто в трубе сидит, и не разберешь: может, бес, а может, разум?

Пес Лохматка повизгивает, трется о ноги старика. Ветер проносит облачко, на мгновение закрывает месяц, а затем снова все сияет: росистые травы, лужи с водой, заводский пруд. Но приятнее всего, изумительнее всего кажется Ефиму убегающая в зеленую дымку чугунная дорога. Завтра по ней пойдет «сухопутный пароход».

А сердце колотится сильнее. Знает Ефим Алексеевич, что все добротно сделано, все пригнано и много раз испытано, но тревожные мысли не дают покоя.

Дед Потап зевает и говорит псу:

— Большой разум имеет рабочий человек! Он и горы рушит и диво-дивное творит. Эх, Лохматка, оберегаем мы с тобой, может быть, такое, от чего простому человеку светлее станет жить!..

Пес вдруг почуял человека и разразился хриплым лаем. Старик встрепенулся и закричал:

— Эй, кто тут бродит? Проходи дале, штрелять буду!

— Дед, открой-ка! — отозвался Черепанов.

Собака пуще залаяла. Сторож засуетился, подошел к воротам и брякнул запором.

— Проходи, проходи! — ласково позвал он механика.— Ты что ж, Ефим Алексеевич, полуночничаешь?

— Не спится, дед. Тревожно на душе! — признался механик.

— Сам понимаю, милок. Дело такое, чуешь, выходит: на всю Расею, на весь свет чудо откроешь. Я и сам чуток не в себе. Дивно! Ну, иди, иди, погляди на свое детище!

Чтобы не смущать Черепанова, он отошел к воротам, присел на скамью и стал заправлять трубку. Потянуло махорочным дымком, дед крякнул и задумался.

Ефим Алексеевич долго ходил вокруг своей машины, всматривался в нее, улыбался и ласково гладил металл шершавой рукой. «Пароходка» казалась ему живым существом, частью его души, и, если бы поблизости не сидел дед Потап, Черепанов непременно сказал бы ей два-три хороших слова. Он поднялся на площадку машиниста, погладил отливающие синевой стальные рукоятки и не удержался, прошептал:

— Эх, сивка-бурка, вещая каурка, выручай!..

Старик выкурил трубку, подошел к Черепанову:

— Все не налюбуешься, все еще тревожишься, Ефим Алексеевич? Это, милок, хорошо, очень хорошо, когда человек тревогу на душе за дело свое носит!.. Иди-ка ты спать, завтра ведь день какой! — напомнил он.— Вишь, стоит, словно сил набирается! — кивнул он в сторону машины.— Эх ты, змей-горыныч! — добродушно сказал он.

Оба они еще долго стояли и любовались «сухопутным пароходом».

— Ну, иди, иди! — заторопил старик механика.— Иди, усни чуток!

Черепанов тихо побрел к дому. Все так же ярко светила луна. Он осторожно скрипнул калиткой, и на-

встречу ему с крылечка поднялся сын. Отец слегка смутился, но сказал ласково:

— Ну, Миронушка, готовься, завтра поведешь пароходку!

— Нет, батя, машину вести тебе! — сердечно отозвался сын и проникновенно посмотрел в отцовские глаза; он без раздумья уступал честь отцу.

— Не спорь, сынок! — перебил шепотом Ефим Алексеевич и посмотрел на оконца: «Не проснулась бы ненароком старуха!»

Мирон догадался о тревоге отца и сказал тихо:

— Ты думаешь, она спит? Да матушка больше нашего тревожится, только виду не подает. Батя, повесели ты материнское сердце, веди сам машину!

Отец тихо вздохнул и стал подниматься на крылечко.

— Эх, ночка ясная! — вдохновенно прошептал он и скрылся в сенцах.

Мирон тихо пошел за отцом. Словно заговорщики, они неслышно разделись в потемках и улеглись.

Пропели первые петухи, предвестники утра, а старый механик все еще не спал. В оконца зеленовато-мутным потоком вливался лунный свет и растекался по дорожке.

7

Распахнулись настежь ворота, и прямо от них стрелой уходила чугунная дорога. У навеса стоял, дымясь и шумно вздыхая курчавым паром, «сухопутный пароход». Вдоль колесопроводов колыхалась шумная пестрая толпа, в которой суетились не только свои, демидовские, но и пришлые люди из окрестных заводов и горных селений. Прибрели серые, мхом поросшие старики. Из дальних скитов кержаки привезли старицу Марфу. У коновязей позванивали бубенцами кони, выстроились в ряд экипажи, бегунчики, таратайки,— все заводские конторы опустели. Управляющие, приказчики, повытчики, полицейщики во главе со становым, усатым, заплывшим жиром Львовым толкались у машины. Ждали появления Александра Акинфиевича Любимова.

На дорогу, которая тянулась рядом с чугункой, высоко неся голову, оглашая поля ржанием, вымахнул запряженный в легкий тарантас серый в яблоках жеребец: кожа на нем отливала серебром. В тарантасе в

синей поддевке и в картузе важно сидел Климентий Ушков. Вытянув длинные руки, он придерживал иноходца. В толпе залюбовались ушковским выездом.

— Огонь-конь! — хвалили опытные коногоны серого.— Прытчей и легче его нет на всем белом свете!

А Ушков все больше горячил лихого. Конь дугой выгибал лебединую шею, высоко выбрасывал ноги, гарцевал. В толпе женок с Кержацкого конца с умилением глядели на породистое животное:

— Святая скотинка!..

— На таком сам Егорий небось скакал...

— Ах, батюшки, резвый бегунок!

Среди женок выделялась сухая высокая старица Марфа. Она держала в руках что-то, накрытое белым рядном. Сурово сжав тонкие губы, скитница мрачно смотрела вдоль чугунной дороги...

Мирон стоял на площадке машиниста. Отец и мастеровые держались подле фургонов, прицепленных к машине.

Солнце поднялось высоко, когда на дорожке заклубилась пыль и показался экипаж управляющего.

— Едет, едет! — загомонили в толпе.

Все пришло в движение. Толпа растянулась вдоль пути. Засуетились полицейщики. К Черепанову подбежал становой и предупредил густым голосом:

— Так и знай, перво-наперво своих мастеровых повезешь! Других не дозволю. Не до-пу-щу!

— Ладно, будет по-вашему,— спокойно ответил Ефим и крикнул деду Потапу: — А ну-ка, служивый, оповести народ!

Сторож с флажком в руке и егерским рожком в другой важно откликнулся:

— Будет сполнено, Алексеич, в точности!

Он вышел в распахнутые ворота и зашагал по шпалам. Старик торжественно размахивал флажком и время от времени трубил в рожок.

— Стерегись, братцы, сейчас помчит! Сторонись!— просил он мужиков и женок.— Наш конь такой, без удил бежит. Не дай бог, потопчет! — шутил он и зорко поглядывал на колесопроводы, все ли на месте. От его хозяйского взгляда ничто не ускользало. Ровно, спокойно, словно темные змейки, отливая синью, тянулись рейки.

Дед Потап, поторапливаясь, утирая пот, прошел до тупичка и повернул обратно. На дорожке навстречу ему,

играя и резвясь, шел ушковский иноходец. Климентий Константинович выпучил на сторожа серые глаза и рассмеялся в лицо старику:

— Ты что, как архангел, трубишь? Не надеешься на черепановское диво?

Дед хитро прищурил правый глаз, стрельнул взглядом и прокричал:

— Отпеваю отходную твоей коннице!

Ух, и жиганул бы его Ушков кнутом, если бы не волновалось кругом людское море! Только и крикнул вдогонку вестнику:

— Счастье твое, старый снегирь, что народу много!

Дед лихо подошел к воротам и махнул рукой:

— Айда, давай!

Любимов с дочкой Глашенькой уже стоял у машины. Завидя Потапа, он улыбнулся.

— Гляди, какой шустрый! Без деда пропадать тебе, Ефим Алексеевич! — с легкой шуткой сказал он и вытащил белый платок.— Ну что ж, господа механики, покажите-ка нам свое чудо-юдо!

Он взмахнул платочком.

Слесари, плотники, мастерки — все живо повлезали в фургончик и закричали:

— Подбавь жару!

Мирон подбросил угля в топку. Дымок из трубы стал гуще. Дохнуло белым облачком пара, и вдруг засвистел гудок, воя и переливаясь всеми оттенками своего сильного, певучего голоса. И так радостно было это пробуждение новой могучей силы!

Многие перекрестились. Снял шапку и Любимов, а за ним приказчики и все служащие.

— Вот оно как! До чего силен! — радостно выкрикнул дед Потап и весь засиял.

— В добрый путь, Мирон Ефимович! — напутствовал механика управитель завода.

«Сухопутный пароход» вздрогнул, двинулся с места и плавно полегоньку покатился по чугунным рейкам. Чем дальше отходил он от мастерской, тем быстрее набирал силу, ускоряя ход.

— Ура-а! — загремело в толпе. Мастерки, горщики, литейщики, коногоны замахали шапками.— Ур-р-а-а! — радостно кричали они, пытаясь бежать за машиной. Но она все быстрее и быстрее уходила вперед. Над полем потянулся дымок, искры сыпались словно из пасти сказочного чудовища, а Мирон для большего шику еще

раза два дал пронзительный свисток, который подхватили горные дали.

— Змей! Змей-горыныч! — заголосили бабы из Кержацкого конца и вытолкали на дорогу скитницу Марфу. Она сбросила белую холстинку и с иконой на груди стала посреди колесопроводов. Мрачными, непреклонными глазами смотрела скитница на приближающееся к ней чудовище.

— Свят, свят! Сгинь, сатана! — истово крестилась она.

А машина, распуская хлопья редкого пара, гудя, мчалась вперед. Вот она близко, совсем рядом. И дрогнуло сердце суровой скитницы, словно ветром ее сдуло с полотна дорожки. Она со страхом отступила перед новой, побеждающей силой.

Другие старцы взяли из ее рук икону и, поддерживая скитницу под локотки, повели прочь.

Мирон держался спокойно, уверенно, прислушиваясь к ровному дыханию машины. Позади вдруг закричали в толпе. Он покосился и увидел: по дорожке вдоль трассы горячил своего серого Ушков. Он рвал вожжи, визжал, с удил жеребца падала кровавая пена.

— И-и-и! — донесся до Мирона пронзительный, надрывный крик.

Механик не повернул головы, перевел рычаг, и послушная машина пошла так, что в ушах засвистел ветер. Крик позади смолк.

Замедляя перед тупичком ход, Черепанов оглянулся,— там вдали, опустив голову, ехал Ушков...

Когда механик дал задний ход, машина пошла так же плавно и ровно. Каждое движение хозяина она исполняла точно и скоро.

Поравнявшись снова с Ушковым, Мирон не рискнул его окликнуть,— жалко было тревожить старика. Но Климентий Константинович сам окликнул механика:

— Поздравляю с победой! Будь здрав, Мирон Ефимович! — И, печально опустив голову, подумал:

«Да, видать, другие времена пошли! И новые денечки требуют иных песен!»

«Сухопутный пароход» тихо вошел в ворота и стал на исходном месте. На сей раз в фургончик усадили управляющего с дочкой, забрались приказчики, старики и сам становой. На площадку машиниста поднялся Ефим.

У всех захолонуло сердце, когда машина тронулась;

она шла ровно, ритмично постукивая колесами о чугунные рейки. Клубился парок, вдоль полотна размахивали платками, кричали что-то веселое. Глаза у Глашеньки заблестели, лицо разрумянилось. Она прижалась к отцу и прошептала:

— Как хорошо, батюшка!

Отец думал о другом,— что дешевле: сей дилижанс или конница Ушкова?

Допоздна Черепановы катали народ. И только когда над лесом стал погасать вечерний закат, Ефим вспомнил про жену и позвал ее на машину.

— Прости! — огорченно проговорил он.— Сколько трепета на сердце было...

— Сама знаю! — тихо отозвалась она и проворно полезла в фургончик. Сердце ее ликовало.

Замерцали первые звезды. Народ нехотя расходился. Навсегда ему запомнился этот день. И как его забыть, когда в этот день в России появилась железная дорога — Тагильская, по которой побежал первый русский паровоз! Черепановы не знали, что в эту самую пору на западе, за границей спорили о целесообразности построения подобных дорог. Доминик-Франсуа Араго, знаменитый французский физик, астроном и политический деятель, высмеивал передовых людей, «которые думают, что два параллельно положенных железных прута могут преобразить гасконские равнины...»

От Уральских гор до гасконских равнин Франции далеко-предалеко, и высмеивания французского ученого не дошли до России. А если бы и дошли, то все равно не помешали бы замыслам Черепановых. Слишком велика была их вера в свои силы. Непреодолимым препятствием к осуществлению мечты их стало другое — царская, николаевская Россия.

Глава вторая

1

В то время когда отец и сын Черепановы пустили по Тагильской железной дороге второй, более мощный «сухопутный пароход», в Санкт-Петербург возвратился из путешествия по России профессор Франц Антон фон Герстнер. Он остановился в отеле «Кулон», сняв три прилично меблированные комнаты, и уселся за работу.

Об этом немедленно стало известно демидовскому управителю Данилову. Прошел месяц с тех пор, как Павел Данилович получил секретную эстафету о посещении иностранцем Нижне-Тагильского завода; он давно поджидал его, догадываясь, что неспроста фон Герстнер заглянул в горное гнездо хозяев и не зря он обозревал черепановское изобретение. Только профессор переступил порог отеля, тотчас появился слуга — разбитной малый, секретный соглядатай, нанятый Даниловым.

Каждое утро он приходил в кабинет Павла Даниловича и, плотно закрыв за собою дверь, почтительно ждал вопросов.

Угрюмый грузный старик не сразу накидывался на доморощенного сыщика. Он медлил, выдерживал его долго в томительном ожидании, и лишь после частых и выразительных покашливаний слуги управляющий нехотя поднимал голову.

— Ну, сказывай! — строго приказал старик.

— Сидит и пишет. Всю ночь огонь горит! — таинственно сообщал соглядатай.

— Все пишет? — удивленно спрашивал Данилов.

— С утра пишет. Рвет и опять строчит, как приказна строка!

— И о чем бы ему, проклятому, писать? — прищурив свинцовые глаза, допытывался Павел Данилович.

— Слушок есть: царю пишет о чугунной дороге!

— Ух, бес! — побагровев, сердито сжал кулаки управитель.— Я так и знал! А ну, иди, иди! Смотри, глаз не своди! Получай для вручения коридорному! — Данилов, кряхтя, вынул серебряный рубль и отдал соглядатаю.

Холоп тихохонько удалился за дверь, а старик вскочил и забегал по кабинету.

«Обойдут! Ой, обойдут! — хватаясь за голову, со злостью думал он.— Неужто без нас все сотворится?»

Ему хотелось забить тревогу и обо всем написать демидовским наследникам, но опытный, лукавый управитель знал, что из этого ничего не выйдет,— не понять молодым Демидовым его беспокойства! И не то в ярость приводило Данилова, что иностранец опередит русских. Злобило сознание, что барыши уходят из рук.

«Эх, жил бы Никита Акинфиевич, он бы показал этому немецкому шаромыжнику! Непременно добрался бы до самого государя. Глядишь, и хозяин не в убытке, и мы, его слуги, не в обиде,— погрели бы слегка руки!

Ах, бес! Ах, идолище!» — в большом расстройстве хлопал себя по ляжкам старик.

И хотя это было весьма хлопотно и накладно, но решил он не спускать зорких глаз с иноземца.

Герстнер и в самом деле не думал покидать российскую столицу. Закрывшись в кабинете, он писал доклад императору Николаю о железных дорогах. С тактом, но напористо профессор доказывал царю выгоду постройки рельсовой дороги от Казани до Москвы, а затем и дальше, до самого Санкт-Петербурга. Это будет величайшая железная дорога во всем мире. По ней легко и быстро можно будет перевозить хлеб в столицу из плодородных приволжских краев!

Хитрый, ловкий, образованный, он быстро соображал и разбирался в обстановке. Но на этот раз Герстнер был в большом затруднении, нервничал и часто рвал написанное. Он столько наслышался о русском царе, о его холодных, леденящих глазах, что перо валилось из рук и по спине пробегал холодок. Про царя рассказывали, что, когда граф Пален доложил о тайном переходе двух евреев-контрабандистов через границу, реку Прут, и потребовал им смертной казни, император написал: «Виновных прогнать по «зеленой улице», сквозь тысячу человек двенадцать раз. Слава богу, смертной казни у нас нет, и не мне ее вводить».

В поисках счастья Герстнер объездил много стран: Англию, Францию, Швейцарию, Бельгию. Везде счастье, как синяя птица, улетало от него. Ему посоветовали отправиться в далекую Россию, где многие немцы хорошо устраивали свою судьбу. Он поспешил сюда и на лошадях объехал тысячеверстные пространства, приглядываясь к русским людям и к их жизни. Франц Антон Герстнер твердо решил урвать свою долю добычи в этой стране, сильно поразившей его бескрайними просторами и неисчерпаемыми богатствами. Ему, выходцу из маленькой Богемии, все здесь было в диковинку. Он приехал в Россию без определенных проектов и совсем был далек от мысли о чугунных дорогах. Но вот на Урале, где он думал познакомиться только с рудами и заводами, в небольшом горном городке он увидел чудо. Простой русский мастеровой, плохо знающий грамоту, соорудил паровоз, и этот двигатель совсем не походил ни на «Ракету» Стефенсона, ни на другие виденные Герстнером двигатели.

«Чугунная дорога — вот что должно принести мне

удачу!» — разглядывая черепановское изобретение, решил он.

С этой поры им овладела неотвязная мысль взяться за постройку подобных дорог в России. На первых порах он не мечтал о паровозах и в своем проекте удовлетворялся конной тягой. А паровозы, паровозы... Впрочем, покажет будущее!

Сейчас Франц Антон Герстнер целыми часами расхаживал по комнатам. Он прекрасно понимал, что самый убедительный проект останется бесплодным, если у искателя не найдутся влиятельные защитники. Тем более дела с русским царем при неудаче опасны.

Как-то в одном семействе ему рассказали, что владелец русских стекольных заводов Сергей Мальцев недавно посетил Англию и, конечно, воспользовался случаем, чтобы прокатиться по железной дороге из Ливерпуля в Манчестер. Русскому заводчику так понравилось удобное путешествие, воочию убедившее в пользе подобного предприятия, что по возвращении на родину он не замедлил написать царю докладную записку с подробным проектом о построении дороги в России. Николай прочел записку Мальцева, обозвал в сердцах автора проекта сумасбродом и, по виду в шутливой форме, а на самом деле еле сдерживая гнев, предложил министру финансов Канкрину отправить прожектера в сумасшедший дом. Конечно, купцу все сошло безнаказанно. Другое может случиться, если он, Герстнер, безродный скиталец, обратится к царю...

На время оставив проекты, профессор вдруг стал частым гостем немецкой колонии. Здесь ему удалось познакомиться и сойтись поближе с австрийским послом бароном Фикельмоном. В один из дней почтенный посол пригласил Герстнера к себе на обед. Гость не замедлил воспользоваться случаем. Улучив удобную минутку, он рассказал о своих замыслах барону.

После сытного обеда они сидели в уютном хозяйском кабинете. Посол явно был в хорошем настроении, беспрерывно дымил сигарой и щурил свои близорукие глаза на профессора.

— Вы задумали необычное дело! — с нескрываемым доброжелательством говорил барон.— Как соотечественник ваш, я должен дать вам некоторый совет.

Он ближе пододвинулся к Герстнеру, пустил волну пахучего дыма и сказал тихо:

— В нашем деле все зависит от царя. Я хочу сооб-

щить вам кое-что о его характере. Это играет большую роль, и вы должны учесть все обстоятельства в своем поведении. Русский царь весьма любит умную, вовремя поднесенную лесть. Не забывайте этого, мой добрый соотечественник, и будьте как можно более приятным!

Профессор угодливо склонил голову. Всем своим покорным видом он выражал высокое уважение к послу, что очень понравилось последнему. Между тем хозяин продолжал:

— Россия — страна случайностей. В Петербурге большую роль играют связи. Вы имеете покровителей при дворе? — Посол проницательно посмотрел в глаза гостя.

— Нет,— с ноткой грусти признался Герстнер.

— Весьма печально! — вздохнул барон и на мгновение закрыл глаза.

Гость догадался о колебаниях, которые происходили в эту минуту в душе посланника. Медлить было нельзя, и он вкрадчиво, угодливо сказал:

— Я всю жизнь буду признателен вам, господин посол, если поможете мне! Дорога должна принести доход не только мне, но и многим немцам...

— О, тогда другое дело! — живо подхватил посол.— У нас, немецких дворян, при царе есть защитник, великий защитник — Александр Христофорович Бенкендорф! Вы пойдите к нему с моим письмом, и он устроит вам высочайшую аудиенцию.

— Вы мой спаситель! — взволнованно заговорил Герстнер и раболепно поклонился посланнику.

Неделю спустя в кабинет Павла Даниловича ворвался потный, взмыленный соглядатай. Не ожидая разрешения, он уже с порога закричал:

— Уехал! Уехал к самому Бенкендорфу!

Данилов вздрогнул. Поднявшись с кресла, он мутными глазами уставился на малого:

— Чего орешь? Закрой хлебало!

Тяжелой шаркающей походкой он подошел к слуге и, словно старый гусь, зашипел:

— Да знаешь ли ты, о ком слово молвил? Да ведаешь ли ты, что граф Бенкендорф — самое близкое лицо к государю? Неужто этот плюгаш до самого начальника Третьего отделения допер?

Старик растерянно огляделся кругом, заохал:

— Ну, теперь не остановишь супостата, до самого главного добрался. Вьюн, лукавец, пройдоха!

Ругаясь, он вышел в людскую и велел закладывать экипаж. Приодевшись в новый камзол, Данилов срочно отбыл к знакомому «благодетелю» и там самолично дознался, что австрияк Герстнер и впрямь был принят грозным Бенкендорфом.

Не знал Павел Данилович, что и после приема у начальника Третьего отделения обласканный профессор вернулся с прежней смутной тревогой на душе,— слишком труден был доступ к царю. Чтобы не уронить достоинства государя, Бенкендорф любезно попросил Герстнера прислать свое подробное жизнеописание и сведения о прежних занятиях. Искатель счастья снова засел за письменный стол, со всей тщательностью исполнил требуемое и, что самое важное, закончил докладную записку царю. В ней Герстнер писал:

«Ваше величество! Проникнутый желанием ознакомиться с прогрессом промышленности и сооружениями государственного значения за последние десять лет счастливого царствования вашего величества, я прибыл в Петербург в конце августа прошлого года, где пробыл только несколько дней и, не задерживаясь более в столице, направился внутрь страны, добрался до Казани, откуда возвратился сюда несколько дней тому назад. Сделав более 4000 верст, я вынес убеждение, что счастье и благоденствие народов, которых провидение вверило вашему величеству, бесконечно возросло за последние 10 лет во всех тех отраслях, на которые вы обращали внимание, и что народы не перестают благословлять творца их счастья...

...Несмотря на проведенные уже мероприятия, существует еще одна сторона народного хозяйства, введение которой принесло бы еще большую пользу для страны, а именно — улучшенные пути сообщения, облегчая сношения между отдельными провинциями, облегчат в то же время перевозку товаров и местных продуктов, содействуют процветанию торговли.

...Железная дорога, построенная с величайшим совершенством между Москвой и Петербургом, дала бы возможность в 20 или 24 часа доезжать от одной столицы к другой и с той же удобностью перевозить войска и огромные съестные припасы в продолжение 2—3 дней. Если же продолжить дорогу до Нижнего Новгорода или, лучше, до Казани и завести правильное паровое судо-

ходство по Волге и Каспийскому морю, тогда товары могли бы перевозиться из Петербурга даже к пристани Каспийского моря в 10 или 15 дней. Сим скорым, дешевым и надежным сообщением азиатская торговля была бы упрочена для России и удалила бы сильное совместничество Англии».

Аккуратно изготовленные бумаги с приложением своих дипломов на пожалование в кавалеры Богемии профессор отвез в канцелярию графа Бенкендорфа и стал ждать.

Прошла неделя, медленно потянулась другая, а Бенкендорф все отмалчивался. Угрюмый и молчаливый Герстнер валялся на диване и с досады грыз ногти. Он даже с неохотой поднимался со своего ложа, чтобы отобедать. Чертежи покрылись пылью, а владелец их изрядно оброс щетиной: давненько с тоски перестал бриться.

Зато возликовал Павел Данилович. Бойкий малый докладывал ему в десятый раз:

— Валяется. Не спит, плохо жрет, только ногти грызет!

— Стало быть, с досады! — облегченно вздохнул Данилов.— Видать, мимо носа пронесло. Поманило, и нет! И все валяется?

— Пластом лежит! — весело подтвердил соглядатай.

— Скажи на милость! — удивленно пожал плечами управитель.— Немец немцем и в горе остается. Во всем своеобычный порядок. Наш бы русский купец с досады нахлестался. Ух, и нахлестался бы! Вдрызг! А тут, неужто это порядок?

Однако напрасно тешился Павел Данилович: когда, казалось, все забыли о Герстнере, его вдруг нежданно-негаданно пригласили к царю.

За окном кабинета серел обычный скучный петербургский день. В огромной мрачной комнате было мало света. Герстнер ожидал встретить в царских покоях пышность и очень изумился незатейливому убранству кабинета: несколько простых стульев, мебель красного дерева, обтянутая темно-зеленым сафьяном, небольшой диван, вольтеровское кресло и неподалеку высокое трюмо, около которого стояли сабли и шпаги императора, а на полочке стояла склянка духов, лежали щетка и гребенка. Но более всего поразило иностранца то, что в кабинете, впритык изголовьем к стенке, стояла ар-

мейская походная кровать, покрытая серым суконным одеялом. Тут же висела старенькая офицерская шинель.

Царь сидел за большим письменным столом, спиной к огромному окну. На нем был простой штаб-офицерский мундир с золотыми эполетами. Положив длинные руки на зеленое поле стола, Николай не сводил пронзительных глаз с профессора. Он даже не пригласил его сесть и поморщился, когда австриец с вожделением посмотрел на кресло.

С большим усилием Герстнер поборол робость и сдержанно-льстиво, чуть склонив голову, доложил:

— Ваше императорское величество, я объехал многие страны, но таких беспредельных пространств и такого мудрого государственного устройства нигде не встречал. Всюду я видел отеческую заботу о народе вашего величества. В короне российской для полного благоденствия не хватает одного — победы над пространствами. С великим счастьем я приношу к стопам вашего величества всю свою энергию и познания для выполнения исполинского замысла, достойного вашего царствования. Железные дороги, государь, явятся той золотой цепью, которая соединит между собой все части империи, по справедливости называемой неизмеримой...

На неприязненном продолговатом лице Николая лежала суровая безмятежность. Он убрал со стола руки и оперся ими о колени. Царь безмолвствовал, и Герстнеру стало страшно, противный холодок пробежал по его спине.

«Все проиграно, последняя ставка бита!» — в отчаянии подумал профессор. Но тут Николай резким движением вдруг вскинул голову и быстро спросил:

— Для меня самое важное — военное превосходство; что могут дать ваши дороги в военных целях?

Герстнер мгновенно оживился и горячо заговорил осмелевшим голосом:

— Ваше императорское величество, смею привести в доказательство существенный факт. Железная дорога будет в состоянии перевезти через двадцать четыре часа после предупреждения пять тысяч человек пехоты, пятьсот человек конницы со всей артиллерией, обозом с лошадьми. Я позволю себе сослаться на Англию. Тамошнее правительство во время беспокойств в Ирландии в два часа перебросило войска из Манчестера в Ливерпуль для следования в Дублин.

Николай поднялся.

— Да, это заслуживает внимания! — отчетливо сказал он.— Ваш проект будет передан на рассмотрение комитета. В этом деле я ваш защитник! — Царь протянул Герстнеру руку, и тот поспешил оставить кабинет.

Оживленный и радостный, возвратился профессор в отель «Кулон» и впервые за все время заснул безмятежным, глубоким сном.

2

Проходили последние мартовские дни 1835 года. Над столицей простиралось ясное, заголубевшее небо. Невиданно рано вскрылась река. Потоки солнечного света дробились в невской волне. Река разлилась широко, плавно неся полые воды в гранитных берегах. По-иному выглядел Санкт-Петербург, на проспектах появились первые весенние цветы. Днем на солнышке изрядно пригревало, и, хотя в пригородных лесах и оврагах, по низким полям все еще белел снег, чувствовалось, что белизна эта ненадежная, последняя: вот-вот дохнет южным ветром, и все исчезнет,— побегут по оврагам шумные, резвые ручьи.

В эти дни Герстнер верхом на лошади несколько раз проехал полями и рощами вдоль шоссе, ведущего из столицы в Царское Село. Ему не терпелось начать изыскания. С каждым днем в нем росла уверенность, что на сей раз ему удастся добиться своего.

Действительно, вскоре австрийский посланник Фикельмон пригласил профессора к себе на обед и сообщил по секрету приятную новость: по приказу царя созывался комитет для рассмотрения проекта Герстнера. Сам Николай присутствовал на этом заседании.

— Мой дорогой соотечественник, вы угодили в самое сердце царю,— с улыбкой сказал посол гостю.— Наш высокочтимый Александр Христофорович Бенкендорф поделился со мной этой радостью. Русский государь дрожит за корону, так как еще хорошо помнит декабристов, и он сказал своим вельможам: «Дороги Герстнера принесут нам неисчислимые выгоды. Но особо обращаю ваше внимание на внезапность, когда потребуется передвижение войск!» Кто же посмеет в этой стране пойти против своего государя? Царь даже изволил пошутить: «Вот построят железную дорогу, и неплохо будет прокатиться из Санкт-Петербурга в Мо-

скву отобедать к князю Дмитрию Владимировичу Голицыну и потом вернуться опять к ночи назад...»

Сообщение австрийского посла подтвердилось. На заседании единогласно была признана польза от железных дорог, и Николай приказал создать новый комитет. В него вошли главноуправляющий министерством дорог Толь, Бенкендорф и Сперанский.

Ни Герстнер, ни демидовский управляющий Данилов не знали, какие ожесточенные споры происходили сейчас на тайных заседаниях этого особого комитета, где сразу же обнаружились большие разногласия.

Слух о проекте Герстнера проник и в особняки крепостников, вызвав такие же оживленные толки. Однако никто из членов комитета не рискнул официально заикнуться о своих сомнениях, и только министр финансов Канкрин решительно выступил против железных дорог. Пользуясь благосклонностью государя, он осмелился представить свои возражения в письменном виде. В них министр доказывал, что «железные дороги не основаны на безусловных видах пользы, а имеют достоинство относительное. Предположение покрыть Россию, так сказать, сетью железных дорог есть не только мысль, превышающая всякую возможность, но одно сооружение такой дороги до Казани можно почесть на несколько веков преждевременным».

Канкрин категорически отрицал также военное значение дорог, ибо «для перевозки войск,— писал он,— потребуется громада повозок, кои, может быть, в течение нескольких лет вовсе не понадобятся». Писал Канкрин и о том, что «паровые повозки не могут быть допущены».

Беспокоился министр финансов и о возможном истреблении лесов, так как у нас якобы «каменного угля нет», и о том, что от проведения железных дорог «понесет значительные убытки и расстройство обширный крестьянский промысел извоза, а может быть, и водяного сплава».

Граф Толь при царе держался весьма замкнуто и не выступал против построения железной дороги Санкт-Петербург — Москва, однако на заседаниях комитета, в отсутствие Николая, осторожно высказывал сомнения в пользе подобных дорог в России, где имеется много превосходных водных путей и где климат чрезмерно суров.

— Едва ли при таких обстоятельствах,— говорил

граф,— железные дороги могут быть построены с надеждой на успех.

Неожиданно у Толя блеснула мысль, которая, по его мнению, должна была показаться убедительной царю Николаю. Зная, что император не любит и боится простого народа, он однажды в его присутствии воскликнул с пафосом:

— Нельзя отрицать, что идея Герстнера сулит некоторые выгоды, ваше величество, однако подумайте и о том, что перевозка пассажиров по железной дороге есть самое демократическое учреждение, какое только можно было придумать для преобразования государства!

Царь молча опустил голову. С минуту длилось тягостное ожидание.

— В этом есть правда! — после раздумья согласился Николай.

С тех пор как дело Герстнера перешло в комитет, судьба австрийца больше не интересовала демидовского управляющего.

«Теперь слово за царскими министрами! — думал он, однако не мог успокоиться.— Неужто такое дело затеют без русского купца и заводчика?»

Данилов строго соблюдал интересы своих хозяев, но и себя не забывал: прижимистый Павел Данилович кое-что утаил на «черный день».

Вольготно и хорошо жилось старику у Демидовых, ничто ему не угрожало, но в душу управляющего давно закрался бес алчности и как червь точил ее.

«Хватит с меня! Весь сивый стал, побурел. Пора пожить и для себя! — с необычным жаром, распаляя себя заманчивыми надеждами, думал он.— Эх, в купцы бы махнуть! Показал бы я им, шельмецам, где раки зимуют!»

В эти часы Данилов вспоминал жадного и хваткого Никиту Акинфиевича.

«Вот это демидовское семя! Весь в деда и в батюшку своего был, а внуки — проедалы. Лесть безмерно любят; оттого и слепы, что не видят своей выгоды!» — думал он о молодых хозяевах — Павле и Анатолии Демидовых. Однако старик спохватывался, сейчас же отгонял от себя «сомнительные» мысли и горько, по-холопски качал головой: «Эх, горе-то какое! Башка сивая, а бес спокою не дает!»

Сказывалась у Данилова старая рабская привычка,

которая вошла в плоть и кровь: сколько в душе ни бунтовал он против Демидова, но всегда холопски смирялся перед ним.

Не докладывая владельцу о своих намерениях, решил Павел Данилович на свой страх и риск добраться до комитета. Мысленно он перебрал всех его членов и обдумал, к кому обратиться.

«Канкрин — немец, червивая душа. Жаден! Своим попустительствует, а русским — ни-ни, не смей! Сам старик, а молодых бабенок смертельно любит. Через них, что ли, захватить на крючок? — прикинул в уме демидовский доверенный, но тут же с брезгливостью отбросил подлую мысль: — Вот уж николи сводником не был, а на старости лет и подавно!»

Мысли Данилова перебежали на главноуправляющего ведомством путей сообщения.

«Граф Толь? Но и от него, как чесноком, разит немецким барством! Он не только нашего брата, но и русского духу не терпит! — поморщился старик.— А до господина Бенкендорфа, спаси и помилуй нас господи, не только с просьбой добраться, но лучше за версту кругом обойти его!»

И вдруг он вспомнил о Сперанском и обрадовался.

«Этот — русский! — одобрил он свой выбор.— Хотя и русские разные бывают. Другой — ровно бешеный пес, норовит из зависти своего же русского ядовитым зубом цапнуть. Знавали и таких».

Сколько ни прикидывал Павел Данилович, а выходило, что самый подходящий и доступный для него человек — Сперанский.

Старик тщательно обрядился в темный суконный камзол, в русские сапоги со скрипом, расчесал бороду. «Слава богу, давно из моды вышли парики!» — облегченно вздохнул он. В экипаже, запряженном парой вороных, он отправился к Сперанскому.

Словно наворожил кто Данилову: ему повезло, он удачно попал на прием к сановнику. Сперанский принял его запросто, усадил старика в кресло и сразу перешел к делу.

— Сказывайте, почтенный, по какой нужде пожаловали? — спросил он, разглядывая умными глазами кряжистую фигуру Данилова.

С лукавым видом, издалека начал свой разговор Павел Данилович.

— По столице, ваше превосходительство, ходят слухи о чугунке...

— Стало быть, вы о железной дороге? — улыбнулся Сперанский.— Скажите, любезный, купцы сим делом заинтересовались?

— Ой, как заинтересовались! Шибко засуетились, ваше превосходительство! — с жаром воскликнул Данилов.— Вы сами подумайте: где это видано, чтобы такое затевать без русского купца и заводчика! Да наш Урал-батюшка, к примеру будь сказано, испокон веков доброе железо на всю Расею отпускал! И топоры, и косы, и шины, и кровельное железо, а о пушках да ядрах и сказывать не приходится! Кто же, как не Демидовы, чугунные колесопроводы поставить могут для задуманного?

Сперанский внимательно слушал Данилова и кивал в такт головой. Его серые умные глаза смотрели прямо. Одет сановник был в темный мундир с двумя звездами, вокруг жилистой шеи тщательно повязан белый галстук. Опрятность и сдержанность чувствовались в его одежде и поведении. Павел Данилович тяжко вздохнул, утер пот, выступивший на обширной бледной лысине, и выжидательно посмотрел в глаза Сперанского.

— Согласен с вами, почтенный,— еле заметно улыбнулся сановник.— Для возведения железных дорог понадобится очень много рельсов...

— Вот, вот именно, ваше превосходительство! — обрадовался Данилов догадке собеседника.— Кроме того, рассудите сами: если иноземцы свой капитал в стройку вложат, то, как божий день ясно, они и доходишки в свой карман положат. Не так ли?

— Вы правы! Хорошая мысль! — одобрил Сперанский и живо перевел разговор на заводы. Интересовался он буквально всем и особенно расспрашивал про работных.

— Скажите, любезный, как обстоит дело с правовым положением на демидовских заводах? — спросил он.

— Чего-с изволили сказать, ваше высокопревосходительство? — недоумевая, взглянул на сановника Данилов.

— Правовое положение, понимаете? — настойчиво повторил Сперанский.

— Ага, понимаю, понимаю! — угодливо подхватил старик.— Да у нас все как есть — по закону; как его императорским величеством государем предписано, так и держимся...

А в голове Данилова мелькнула злая, насмешливая мысль: «Нашел о чем спрашивать! Тоже «правовое»! Да у нас, поди, на всем Камне сплошное бесправие, и ничего; живем и бога славим! Да неужто про мужиков и работных законы пишутся? Это только для господ дворян!»

Злоязычен бывал порой Павел Данилович, но на этот раз крепко прикусил язык и умильно поглядывал на сановника...

Покинул Сперанского демидовский управитель обнадеженный. Неторопливо он возвращался домой. Сидя в высоком экипаже, весело поглядывал по сторонам и кому-то невидимому грозил:

«Погоди, и к нам придет удача! Демидовскую рельсу мы положим на дорогу. Непременно! И, кто знает, может еще Павел Данилович Данилов в купцах походит. Ух, и держись тогда! Размахнемся — удержу не будет!» И такая радость подмывала самоуверенного старика, что ему хотелось выскочить из экипажа, броситься первому встречному купцу на шею и сказать: «Гляди, милай, я вот этими самыми локтями немцев для вас растолкаю!»

Однако он не выпрыгнул из экипажа и никуда не бросился. Посмотрел угрюмо в спину кучера и властно крикнул:

— Эй ты, орясина, сворачивай к храму пресвятой Казанской божьей матери! Свечу надоть водрузить перед образом!..

Сперанский на заседании комитета в присутствии царя заявил:

— Ваше императорское величество, вам известно, что я сторонник железной дороги. Одно только соображение меня сильно беспокоит: капиталы на строительство будут заграничные, потому и доходы все от устроения дорог будут навсегда принадлежать иностранцам!

Николай нахмурился. С недовольством, исподлобья, он посмотрел на Сперанского, но тот не смутился и спокойно продолжал:

— Рассудите, государь: по проекту привилегии, предложенному вашему вниманию господином Герстнером, начало уплаты налогов концессионерами предусматривается лишь через пятьдесят лет; значит, русская казна не будет даже участвовать в доходах от дорог!..

Царь не сдержался. Звеня шпорами, он поднялся перед столом и грубо прервал своего сановника:

— Не могу согласиться с вами: для России полезнее всего привлечение именно иностранных капиталов!..

На этом краткое заседание окончилось. Однако Сперанский не сдался: он сам составлял ответы Герстнеру и не хотел выдавать ему привилегии до тех пор, пока не будет организована компания.

Сперанский любил все устойчивое, солидное и поэтому не особенно доверял шаткому в своих действиях австрийцу. Не скрываясь, он отстаивал перед царем в своей докладной записке развитие отечественных капиталистических предприятий.

«Дух коммерческих компаний у нас только что возникает,— писал он,— правительству должно его поддерживать, а поддерживать иначе нельзя, как вводя и поощряя одни предприятия обдуманные и сколько можно верные. Один или два примера неудачи и упадка могут подавить рождающееся к ним доверие, и тогда трудно будет снова возбудить его...»

Герстнер вел себя весьма осторожно: он пока не просил у правительства ни субсидий, ни гарантий доходов, боясь преждевременно отпугнуть русские власти. Он рассчитывал на получение привилегии: если она будет дана, то, несомненно, появится и возможность образовать акционерное общество.

Между тем до этого было далеко. Комитет потребовал у Герстнера подробных финансовых выкладок: сколько будет стоить дорога, какой доход она станет приносить, какие имеются в виду капиталы и каков размер их?

Профессор, проклиная все на свете, снова принялся за расчеты и проекты.

Тем временем сведения о разногласиях в комитете постепенно просочились в печать, и сразу закипели страсти вокруг вопроса: нужны России или не нужны чугунные дороги?

Данилов, который до сих пор ничего не читал, кроме библии и Апостола, на сей раз с рвением взялся за журналы и газеты, в которых печатались статьи о дороге. В журнале «Общеполезные сведения» Павел Данилович прочел статью, заманчиво озаглавленную: «Мысль русского крестьянина-извозчика о чугунных дорогах и пароходных экипажах между Санкт-Петербургом и Москвою».

«Любопытно, весьма любопытно знать, с каких это пор русские мужички-извозчики стали пописывать!» — с насмешливым недоверием подумал Павел Данилович.

Водрузив очки на багровый с синими склеротическими прожилками нос, он стал читать. Не сводя глаз с печатных строк, он то и дело ахал:

— Ну и бес! Ишь, леший! Да неужели это извозчик? Чую, милый, кто ты такой есть человек!

«Крестьянин-извозчик» писал в журнале:

«Дошли до нас слухи, что некоторые наши богатые господа, прельстясь заморскими затеями, хотят завести между Питером, Москвою и Нижним чугунные колеи, по которым будут ходить экипажи, двигаемые невидимою силою, помощию паров. Мы люди темные, неученые, но, проживши полвека, бог привел измерить свою родную землю, быть не раз в неметчине, на ярмарке в Липовце и довольно наглядеться иноземного да наслушаться чужих толков. Затеваемое на Руси неслыханное дело за сердце взяло: хочу с проста ума молвить, авось люди умные послушают моих мужицких речей!»

— Ах, поганец, соловьем разливается! — ухмыльнулся в бороду Павел Данилович.— Ловко барин пишет. А ну-ка, посмотрим дальше! — Он снова с большим рвением взялся за статью.

«В самой Англии, как слышно, не все затеи по нутру народу,— продолжал «крестьянин-извозчик»,— говорят, что с тех пор, как завелось там на фабриках чересчур много машин, рабочие люди лишились дневного пропитания и так разрослась бедность, что приходы принуждены собирать деньги для прокормления нищих. Не дай бог нам дожить до этого! Пока господь бережет нас и царь милует, есть у нас руки и кони, так не пойдем под окны напевать заунывные песенки.

Но русские вьюги сами не потерпят иноземных хитростей, занесут, матушки, снегом колеи, в шутку, пожалуй, заморозят и пары́. Да и где взять такую тьму топлива, чтобы вечно не угасал огонь под ходунами-самоварами. Али тратить еще деньги на покупку заморского угля для того, чтобы отнять насущный хлеб у православных? Стыдно и грешно!»

Данилов лукаво покрутил головой. Из-под мужицкого армяка темного и неученого крестьянина явно выглядывали руки крепостников-помещиков и предпринимателей извозного промысла.

— Ох, милай, узнаю! — рассмеялся Данилов, закрывая журнал.— Такой мужичок-извозчик и у нас в Тагиле есть. Ушков! Крепостной, а вся заводская конница в его руках. Телеги его, кони его, и прибыль вся ему! Вот и взвыл... А ну-ка, что в сей книжице сказывается? — Павел Данилович взял со стола тощую брошюру и там прочел:

«Я признаюсь, с своей стороны, что, кроме необходимости, ничто в мире не могло бы заставить меня лететь со скоростью 40 верст в час... навстречу ветру, бросающему в лицо с противодействующей быстротой мелкий оледенелый снег, ветру, охлаждающему оконечности моего носа... (минус 1), что, по толкованию алгебры, доказывает, что я останусь без носа! Когда сошник вашего самобега встретит твердую массу оледенелого сугроба,— массу, которая сильным ударам ручных инструментов уступает незначительными кусками, тогда вы представляете собою жалкий, но поучительный пример ничтожеств искусства против элементов природы, и дорого дал бы я, чтобы быть свидетелем позорища, как паровоз ваш, подобно барану, который, не будучи в силах пробить рогами стоящей перед ним стены, уперся в нее могучим лбом своим и брыкается с досады задними ногами...»

— Сам ты баран! — не утерпел Данилов и отбросил книжонку. Заложив руки за спину, он прошелся по комнате.— Погоди, господа хорошие, придет наш час. Берегись, барин! Заводчик и купец шествуют!

Он снял очки, бережно положил их в футляр и неожиданно примиренно подумал: «Ох, господи, господи, сколько шуму и грызни возле сего дела!»

И вдруг Павел Данилович снова раскатисто захохотал: ему вспомнилась одна история. Ездил он во Флоренцию с докладом к Николаю Никитичу и видел там, как во дворе прислуга налила в тазик наваристую похлебку для барских собачонок. Изнеженные, капризные болонки брезгливо отворачивались от еды, повизгивали, чванились. Горничная девка и так и этак упрашивает песиков, а они сунутся острыми мордочками в тазик, нехотя, лениво лакнут раз-другой — и опять за чванство. И тут откуда ни возьмись налетел огромный, сильный волкодав. Своим большим телом он разом расшвырял болонок и прямо с бега, единым махом опростал тазик...

«Вот так и купец набежит и одним махом все заграбастает! Пиши не пиши, он хозяином будет вашей затеи!» — самодовольно подумал Данилов.

3

Герстнер понимал, что нелегко ему будет одолеть противников. Но чем больше на него нападали, тем упрямее становился он. Австриец сумел добраться до редактора журнала «Северная пчела» Фаддея Булгарина и уговорил его написать статью о пользе железных дорог. Булгарин был не из тех людей, которые оказывают содействие бескорыстно. В этом убедился и Данилов. Коридорный из отеля «Кулон», заглянув в отсутствие профессора в его записную книжку, нашел там запись: «Передано господину Булгарину 2000 рублей».

Когда соглядатай доложил об этом Павлу Даниловичу, тот в восторге хлопнул себя по ляжкам:

— Провора немец! Гляди-ка, по-купецки научился взятки давать. Вроде «барашка» в бумажке... Ах, черт!

— А чего тут учиться? — с насмешкой отозвался соглядатай.— На том в сию пору все стоит! Кто их, сударь, взяток, нынче не берет? Бог — и тот, смотри, лампадным маслом, свечами да ладаном не гнушается!

— Ты гляди! — строго прикрикнул на малого управитель.

— А чего, сударь, глядеть! Небось сами знаете, время ноне какое: все берут, а пристава да исправники просто на жалованье у воров и конокрадов!

— Кш, дьявол, о чем ты молвишь? — испуганно зашикал Данилов. Но малый не унимался. Смеясь, он рассказал:

— Да вы, сударь, послушайте, что на днях тут неподалеку в одном селе произошло. Становой пристав украденных коней разыскивал. Да где искал? В сундуке у попа! Там и нашел... Да что вы, сударь,— разъяснил соглядатай, заметив недоумение на лице Данилова,— не коней, известно, а восемьсот рублевиков, которые ему жеребчиками померещились. Ну и цоп в свою пользу!

— Уходи, уходи! — приказал Павел Данилович и удалил болтливого слугу.

В раздумье управляющий зашагал по комнате.

«Да, времена ныне николаевские! — со вздохом подумал он.— В строгости, кажись, держат всех, а хапуг и ворюг развелось как крыс в хлебном амбаре!»

Вскоре в «Северной пчеле» появилась статья Фаддея Булгарина. Данилов покачал головой над замысловатым названием статьи.

«Гляди, оповестила-то как! «Патриотический вопрос: могут ли существовать в России чугунные дороги и будут ли они полезны?»

В статье Булгарин рьяно ратовал за железные дороги и советовал Герстнеру скорее приниматься за дело.

— Так, так! — крякнул Данилов.— Ну, а далее что?

А далее Булгарин заканчивал статью с умилением и восторгом: «Подумать только, одно и то же лицо может отслужить во здравие государя императора одно молебствие утром в Казанском соборе, а другое вечером в Кремле!»

Данилов поморщился и, обращаясь к отсутствующему Булгарину, спросил мысленно: «А скажите, господин хороший, какому богу вы сами изволите молиться?»

Ответ на это последовал через несколько дней. В той же газете тот же Булгарин написал о противнике Герстнера:

«Дестрем, как дважды два — четыре, доказал превосходство каналов перед железными дорогами и трудности устроения последних в нашем климате».

Тут уж и демидовский управитель, сам изрядно плутоватый, не удержался от изумления: «Ловко! Выходит, и нашим и вашим, господин хороший, служите. А бог ваш един — золотой телец!..»

Тем временем Герстнер, видя, что дело сильно затягивается, внес новое предложение о постройке Царскосельской железной дороги. Не ожидая решения, он за свой счет, на риск приступил к нивелировке трассы.

Стояла ранняя весна. С утра разгорался солнечный звонкий день; всюду над полями распевали жаворонки, щебетали птицы, радуясь теплу. Высокий, худой Герстнер, без фуражки, в болотных сапогах, стоял за нивелиром и производил отсчеты.

Ничто его не интересовало, так он был увлечен своим делом. Он даже не заметил, как неподалеку от него на пригорке остановилась коляска, а из нее вышел

демидовский управитель. Данилов долго любовался легкими пушистыми облаками, лебединой стайкой, плывшей в синем просторе; прищурив полинявшие глаза, он с упоением прислушивался к трелям жаворонков и жадно вбирал в легкие живительный воздух весны.

«Эх, благодать-то какая! Жить бы да жить только! — со вздохом подумал он и с грустью посмотрел на свое обрюзглое тело.— А тут незваная, непрошеная старость!»

В эту минуту перед лицом животворящей природы он впервые пожалел о том, что вся его жизнь, как мутный поток, протекла в каменном сером городе.

Отгоняя от себя эти мысли, он недовольно встряхнул головой и заметил вдали инженера за нивелиром. Данилов узнал Герстнера.

— Гляди-ка, что делает чертов немец! Ну и напорист, сатана! — с восхищением вырвалось у него.

Старик снова сел в коляску и покатил среди зазеленевшей озими. Упорство иностранца ему понравилось.

«Был бы я, милок, помоложе, тогда и я, пожалуй, показал бы себя, а теперь что же? Стар! Развалина!» — с огорчением подумал он.

4

Царь Николай разрешил Герстнеру постройку железной дороги из Петербурга в Царское Село. Резолюция императора гласила:

«Дорогу дозволяю, одного я требую непременно: Герстнеру, по всей вероятности, для его дела понадобятся знающие иностранцы. Пусть их выпишет, но не иначе, как по предварительном соглашении о каждом из них с Александром Христофоровичем Бенкендорфом. Да сверх того, чтобы между ними не было ни одного французского подданного. Этих господ мне не надо!»

В течение нескольких дней Герстнер нашел пайщиков. В дело вступили крупнейший русский сахарозаводчик граф Бобринский, купец первой гильдии Бенедикт Крамер, консул города Франкфурта Плитт и сам прожектер. Организаторы внесли всего семьсот пятьдесят тысяч рублей паевых из трех миллионов, необходимых для начала. Однако и с такими средствами можно было приниматься за постройку.

1 мая 1836 года Герстнер приступил к проложению трассы.

Как только демидовский управляющий Данилов прослышал об императорском указе, он немедленно поспешил на Мещанскую улицу, куда из гостиницы перебрался Герстнер, заняв в частном доме обширные покои. Всю дорогу Павел Данилович торопил кучера, колотил его в спину кулаками и в запальчивости кричал:

— Шибчей гони, окаянный! Не ровен час, опоздаем!

Очень беспокоился Данилов, чтобы его не опередили другие поставщики.

«Проныра народ пошел; только и жди, что последний кусок из глотки вырвут!» — в расстройстве думал он.

Кони мчались, из-под копыт сыпались искры, а управляющий не мог спокойно и минуточки посидеть: ерзал на сиденье, привскакивал,— того и гляди на повороте из экипажа выбросит!

Кучер с распущенной черной бородищей свистел, щелкал в звонком воздухе бичом и на весь Санкт-Петербург орал:

— Пади! Берегись! Раз-дав-лю!..

Прохожие в страхе жались к домам, а кучера так и подмывало созорничать и крикнуть старому управителю: «Не вертись, леший! Как рвану, так и с катушек долой!»

Вихрем домчались до квартиры Герстнера. Мужик проворно осадил коней:

— Прибыли!

Данилов клубком выкатился из экипажа и вбежал в подъезд. На пороге перед ним мгновенно вырос швейцар в добротной ливрее, обшитой золотыми галунами. Он по-гвардейски вытянулся перед прибывшим, откозырял:

— Вам куда, ваше степенство?

— К профессору Герстнеру! — задыхаясь от спешки, выпалил Павел Данилович.

— Опоздали, ваша милость! — учтиво, с легким сочувствием вымолвил швейцар.

— Что так? Аль на стройку укатил барин?

— Укатил, только подале — в Англию! — ответил слуга.

— Не может того быть! — наливаясь яростью, заорал Данилов.— Я ему шины, железо, рельсы дам!

— Опоздали самую малость, сударь! Он за этим и укатил! — обеспокоенно поглядывая на горячего старика, сообщил швейцар.

— Ах, прострел его забери! — сгреб с головы картуз и хлопнул им по коленке Данилов. Схватившись за круглую и плешивую, как тыква, голову, он заголосил:

— Обошли, кругом обошли, фоны-бароны!

Ливрейный с соболезнованием взглянул на грузного, рыхлого управляющего:

— Не огорчайтесь, ваше степенство, вы еще свое возьмете. Стройка только что начинается; глядишь, все понемногу нахапают!

— Прочь, сатана! — обиделся не на шутку Данилов.— Да нешто мне пристало крохи подбирать? Да знаешь ли ты, кто я таков? Да слышал ли ты про Демидовых?

Швейцар смахнул с головы картуз:

— Вся Расея наслышана!

Почтительность швейцара обезоружила Данилова, запальчивость его прошла. Он сразу обмяк, раскис и шаркающими неверными шажками побрел к экипажу. Подсаженный под локти швейцаром, он отвалился на спинку сиденья и расслабленным голосом выдавил:

— Вези, братец, на стройку!

Вороные зацокали подковами по мостовой. Ливрейный, с картузом в руке, остался позади. Поглядев разочарованно вслед укатившему старику, он тяжко вздохнул и покрутил головой:

«Эх, тоже демидовские выискались! Жадюга! Что бы честному служаке на чаек...»

Данилов поспешил на Царскосельское шоссе.

— Тут-ка потише коньков пусти! — приказал он кучеру.

Не слезая с экипажа, зорко, как старый плешивый коршун, поглядывая с высокого сиденья, управитель ко всему присматривался. То, что он увидел вокруг, заставило его понемногу успокоиться. На всем обозреваемом пространстве, неподалеку от шоссе, поблескивали лопаты и топоры,— тысячи людей копали в низинах канавы и сооружали земляную насыпь. Проступающим контуром шла она от Санкт-Петербурга на юг, к Царскому Селу. Вереницы тачек, груженных сырой землей, тянулись к трассе. Покрикивали десятники. В чистых, ясных просторах вились синие дымки, горели

костры с подвешенными над ними черными котлами. Иссушенные, истомленные стряпухи варили для грабарей обед. По пригоркам, словно кротовьи норы, виднелись землянки. Над резвой бегуньей-рекой разносилось дружное уханье,— плотники загоняли в илистое дно крепкие смолистые сваи.

Кучер осторожно провез Данилова через утлый мостик, и снова экипаж выкатился на зеленую горку. Перед стариком раскинулось широкое поле. Прямо через него, словно по шнурочку, выстроились полторы тысячи солдат. Бронзовые от загара, потные, они дружно, ритмично вскидывали лопатами, и, словно темная подвижная волна, на невысокую насыпь бросалась нагретая солнцем горячая земля.

— Попридержи коней! — глухо обронил Данилов.

Старик неторопливо вылез из экипажа и вразвалку, как раскормленный гусак, пошел к ближнему шалашу, устроенному из ивовых ветвей. Навстречу Данилову из балагана вышел испитой, с опухшим лицом мужичонка. Завидя Павла Даниловича, он быстро смахнул с головы истрепанный гречушник и с забитым видом поклонился ему.

— Эй ты, мякинное пузо, от кого робишь тут? — ткнул в него Данилов, бесцеремонно разглядывая посконную пропотевшую рубаху на мужике. В дыры рваной его одежонки виднелось расчесанное до крови тело.

Мужик угрюмо поклонился Данилову.

— От белозерского купца Щедрина хлопочем... Ох! — схватился он за живот.

— А что же ты не работаешь? — строго спросил Павел Данилович.

— От пищи брюхом измаялся. Худо, хозяин, кормят! — с безнадежным видом пожаловался мужик.— Да и заработков не видно...

— А ты сбег бы! — прищурив ехидные глаза, со смешком посоветовал Павел Данилович.

— Что ты! Что ты! — испуганно замахал руками мужичонка.— Да нешто это допустимо? Да и куда без пашпорта сбежишь? Ни документу, ни денег подрядчик не дает на руки. Вот она, жизнь!

— Н-да, выходит, не сладко живется! — с наигранным сочувствием вздохнул Данилов.— Неужто так и все тут маются?

— Ой, маются, господи, как маются! Дотянем ли до осени? Только на линию вышли, а народ уж посо-

чился, потихоньку, тайком, как вода под вешним снегом,— заговорил землекоп.— Солдатам — тем податься некуда. Попробуй, живо по «зеленой улице» проведут. А то как же? Самому царю дорожку выглаживают!

Данилов вдруг посуровел, сдвинул брови.

— Ну, ты гляди, пес, до царя-батюшки не касайся. Бит будешь! — пригрозил старик, недовольно повернулся и пошел к экипажу.

«Кто же это такой? Аль еще новый кровосос-подрядчик выискался? Сколько их на мужицкой шее сидит!»—уныло подумал землекоп.

Павел Данилович проехал всю трассу до Царского Села. На всем протяжении ее шла напряженная работа. Приглядываясь к ней, демидовский управляющий похвалил:

— Ой, и что только делает проклятый немец! Ну и напорист, сатана!..

На закате Данилов вернулся к столичной заставе. От кирпичных домов на землю легли косые тени, в тихом вечернем просторе носились стрижи. Экипаж выбрался к Обводному каналу. Над мутной вонючей водой высились копры. Несмотря на позднюю пору, полста поденщиков забивали сваи. Кучер показал бичом в сторону хлопотавших:

— Сказывают, день и ночь тут мастерят! Ох и работенка!..

Данилов хмуро посмотрел на плотников, на груды смолистого теса и тяжело вздохнул:

«Обвел чертов немец, обвел русских купцов!»

Старик привалился к спинке сиденья, затих. Уставшие кони мелкой трусцой побежали к дому...

5

Всю весну на трассе кипела напряженная работа. Прошли майские солнечные денечки, подошло хмурое, дождливое петербургское лето. Мучительно было работать по колено в гнилой ржавой воде и в грязи. День и ночь донимали гнус и комары, налетавшие тучами. Телеги с грузом зачастую уходили в топь, кони надрывались, падали. Случались дни, когда работа на дороге замирала и казалось, никогда в этом проклятом месте не будет жизни. По́ ночам потихоньку убегали со стройки грабари, землекопы, плотники. Только

солдаты терпеливо надсаживались в непосильном труде.

На Обводном канале в шесть недель забили триста толстенных свай и возвели большой деревянный мост.

Данилов несколько раз выезжал на дорогу, приглядывался к работам. Каждый раз он возвращался раздосадованный.

«Этакое дело упустил! Как теперь прицепиться?» — раздумывал он и все поджидал Герстнера.

Профессор в эти недели пребывал в Англии. Он неутомимо разъезжал по заводам и делал закупки. Герстнер купил за границей 1938 тонн железных рельсов на 698 тысяч рублей, 132 тонны чугунных подушек, стрелок, гвоздей и чек[1] на 219 тысяч рублей. Мысль о конной тяге была оставлена, и он сторговал у англичан шесть паровозов с запасными частями, уплатив за все 285 тысяч рублей.

Пайщики догадывались, что Герстнер переплатил много денег. По-хозяйски-то следовало бы выждать, так как в Англии начался промышленный застой и во всем чувствовалось катастрофическое приближение кризиса. Заказчик переплатил британцам по меньшей мере на одну треть дороже. Может быть, он был в сговоре с английскими заводчиками и не обидел себя? Акционеры подозревали это, возмущались, но молчали. Хитрый, увертливый Герстнер так же легко обошел их, как и русских поставщиков, у которых должен был покупать железо. А между тем в России имелось немало предприимчивых заводчиков, готовых взяться за изготовление рельсов, подушек, колес, шин. На это указывал и комитет. По настоянию Сперанского, на заседании было записано, что «приготовление требуемых железных полос не так затруднительно, чтобы оно на первый раз, хотя и посредством молотового действия, не могло быть произведено на наших уральских заводах, где при некоторых, особенно при Тагильском Демидова, вводятся уже катальные машины».

К этому времени на Герстнера подал жалобу в министерство финансов заводчик Петр Андреевич Новиков, державший в аренде Дугненский чугуноплавильный и железоделательный завод. Он предложил поставить на стройку чугунные подушки в большом количестве по четыре рубля ассигнациями за пуд с до-

[1] Затычек.

ставкой на место, но Герстнер хитро отмалчивался. Купца это расстроило, и он возмущенно написал:

«Неизвестна прямая цель молчания его, но если он хочет получить материалы из Англии, то по вреду для отечественных произведений, притом тогда, когда я объявил цены, почти равные английским, допустить его к такому ввозу иностранных изделий, коими обильно наше отечество, не следует».

Несмотря на полученные исключительные привилегии, Герстнер обязан был покупать железо в России. Только тогда, когда русские заводчики откажутся по заказу Герстнера поставлять железо по цене не дороже чем на пятнадцать процентов английского, он имел право делать закупки за границей.

Австриец нагло обошел эти условия, поспешно выехав в Англию.

Вскоре из-за границы прибыли рельсы, два вагона, два шарабана, а позднее доставили в разобранном виде и паровозы. Для их сборки ждали английских и бельгийских механиков.

Вернулся из Лондона и Герстнер. Данилов сразу поспешил к нему. Профессор встретил демидовского управляющего с надменным видом.

— Я слышал, что и вы подали на меня жалобу в комитет? — с желчью сказал он.

— Правильно, я обращался к его высокопревосходительству господину Сперанскому,— оглаживая бороду, признался Павел Данилович.— Только не с жалобой, а добивался своего. Демидовское железо «Старый соболь» превыше других в мире! Рельсы и мы доставить можем!

— Я не мог ждать милости от русских заводчиков. Мне надо торопиться, дорога не ждет! — подняв острые плечи, сухо ответил Герстнер.

— Помилуйте, зачем этак! Только пальцем шевельните, мы в три счета железом вас завалим! — не сдавался Данилов.

Толстый, с обвислым громадным животом, сидел он перед сухопарым австрийцем и не сводил с него плутоватых глаз. Он насквозь видел душу этого искателя счастья и оценивал его.

«Ловок, проворен, бестия! Хапуга, ну да и наши купчики, хвала богу, охулки на руку не положат!»

Заплывший жиром, он говорил с тяжелой одышкой, хрипло:

— А потом «сухопутные пароходы» или «паровые дилижанцы» и мы строить мастаки. Взять наших Черепановых...

По лицу Герстнера пробежала нервная судорога. Он засмеялся деланным деревянным смехом. Данилов с изумлением поглядел на иностранца.

— Что вы надумали, сударь? — зло спросил строитель дороги.— Кто вам поверит, что ваш неграмотный мужичок может делать такое чудо? Нам надо солидное предложение!

— Погодите, господин хороший, этот мужичок сробил диво, паровой дилижанец, и на нем руду возит у нас на заводе! — нахмурился Данилов.— Да с таким делом я к самому государю Николаю Павловичу пойду да поклонюсь!

Герстнер вспылил.

— Вы забываете, с кем имеете дело! Граф Бенкендорф тоже участник нашего дела! — с резкостью сказал он.

Демидовский служака опустил глаза. Руки у него затряслись. Все ходуном ходило внутри Данилова.

«Поди ж ты, что творится на русской земле! Мы уж не хозяева на ней. Пришел чужой, без роду-племени, и что хочет, то и делает! Эх-х!» — тяжко вздохнул он и укоризненно покачал головой:

— Эх, милай ты мой! Господин хороший! Будем начистоту говорить: вижу, проиграли русские купцы. Одолели нас! Таких я люблю, ой, люблю! — залебезил Павел Данилович и потянулся, чтобы обнять строителя. Герстнер отодвинулся. Данилов встал, подошел к двери, прислушался. В квартире стояла глубокая тишина.

— По тайности у меня к вам дело есть,— шепотом заговорил он.— С глазу на глаз. Возьмите меня в компанию. Я акций у вас возьму и деньгу на кон, но чтобы ни-ни!..

Герстнер мгновенно повеселел, лицо его оживилось. Он с удивлением рассматривал беззастенчивого хитрого старика.

— Сколько? — спросил он.

— Могу сотню-другую тысяч доверить, только чтобы и барыши по достоинству! — глуховато сказал Данилов.

Герстнер понял, что этот прижимистый старик и

впрямь отвалит двести тысяч на акции компании. Это весьма кстати!

— Тогда уж и я молчок! — тихо продолжал Павел Данилович.— Вези рельсы из-за границы, из-за моря, от черта-дьявола, лишь бы прибыльно,— я молчок! Только уж и вы молчок обо мне. Рассудите, господин хороший: и у меня крест на шее имеется, не хочется расстраивать своих благодетелей Демидовых, хоть по копеечке, по алтыну у меня малость скоплено. По рукам, что ли? — Не ожидая согласия, он схватил костлявую руку Герстнера и по-торгашески хлопнул. Профессор поморщился:

«Словно цыган торгует коня! Фу-у!»

Все же он приятно улыбнулся Данилову и похлопал его по плечу:

— Можете быть уверены, ваше степенство, что об этом никто не будет знать!

Он вежливо проводил демидовского управляющего до двери и учтиво раскланялся с ним.

Данилов раздумал ехать в экипаже и, приказав кучеру возвращаться на Мойку, потихоньку побрел пешком. На душе у него не шевельнулось чувство раскаяния. «Кругом иноземцы осилили. Куда пойдешь, кому пожалуешься? Царь — и тот полунемец. Только Сперанский русский, попович, умен, да один в поле не воин. С волками жить — по-волчьи выть, Павел Данилович!» — старался он оправдаться в своих глазах.

И ни разу не вспомнил Данилов, что стар, близок его конец, а детей нет, что только бесполезная жадность побудила его к сделке с иностранцем. Старик тяжело дышал, жирная шея в складках побагровела. Задыхаясь от тучности, он холодно и отчужденно думал:

«Черепановы? А что они? Нынче каждый о себе думает! Каждому кулику свое болото: мне тут, в Санкт-Петербурге, жить да поживать, а им там, на заводишке!»

Равнодушно он вспомнил и о «паровом дилижанце», махнул рукой: «Пустая затея!»

27 августа 1836 года у Царского Села началась укладка рельсов. Одновременно с этим на площади перед церковью Семеновского полка заканчивалось стройкой здание первого в Санкт-Петербурге вокзала.

Подошла осень. По небу тянулись серые вереницы облаков, березки стояли в позолоте с поникшими вет-

вями. Каждый миг отрывался желтый лист и плавно скользил вниз. Казалось, тонкие, гибкие ветки дерева струятся золотым сиянием. Из-за туч изредка вырывалось солнце, и тогда поля кругом озарялись теплым, ласковым светом.

Данилов стоял на мосту, построенном через Обводный канал, и смотрел вдаль. К синеющему окоему убегала ровная прямая насыпь, на которой тускло поблескивали рельсы. Радостное, бодрящее чувство подмывало старика. Он не утерпел и сказал стоявшему рядом плотнику:

— Вот и путь-дорожка! Куда только заведет она?

Плотник, устюжинский мужичонка, человек себе на уме, хитренько прищурился и отозвался загадочно:

— Известно, куда заведет: кое-кого — в могилу, лихоимца — в тюрьму, а выжигу — к денежной жизни.

— Брысь, черт! — окрысился Данилов.

Плотник улыбнулся:

— Да вы не сердитесь, сударь! Это не про вас сказано. Про немцев да про наших купцов-ухорезов то сказано!..

6

Пробное движение по железной дороге началось за год до официального открытия. На первой поре по рельсам пустили шарабан, в который впрягли гуськом двух сильных коней. Поезд тронулся «во всю конскую прыть». Со всех концов столицы поспешил народ на любопытное даровое зрелище. Мещане с женами, дворовые толпами бежали вдоль насыпи, размахивали шапками, платками, кричали от восторга.

Экипажи катились ровно, быстро, и лошади без напряжения бежали вперед.

Данилов не удивлялся. В свое время он побывал на Алтае, в Змеиногорском руднике и видел чугунную дорогу Петра Кузьмича Фролова, по которой вагончики, груженные рудой, легко тащили сытые резвые кони. Он с нетерпением ожидал появления на рельсах паровоза. Частенько он заходил в длинный сарай, где бельгийцы собирали машину. К сараю были подведены рельсы, и ждали, что собранный паровоз вот-вот тронется по ним. Тем временем ударил жестокий мороз, выпал глубокий снег и вдоль линии загуляли метели.

Павел Данилович упал духом. Исстари по первой пороше на Руси устанавливался санный путь. «Как

побегут на морозе колеса — вот дивно!» — с тревогой думал он.

К этой суровой поре и подоспели собранные механиками паровозы. Они были приземистые, с длинной трубой и казались странными чудищами. Начищенные медные части их сверкали. Из трубы лениво вился дымок: машинист постепенно разогревал топку. Каждый паровоз имел свое имя: «Богатырь», «Слон», «Орел», «Стрела», «Проворный». Для опробования первым решили пустить «Богатыря». К нему прицепили два вагона, груженные лесом, за ними тянулись дилижансы с немногочисленной публикой. Паровоз тронулся, плавно вышел из сарая, подкатил к площади, на которой шел молебен. Данилов истово молился:

«Дай же, господи, побежать ему, тронуться в путь! Вывози, милай! — с трогательной любовью он посмотрел на паровоз.— Выручай, а то плакали мои денежки!»

Священник окропил иорданской водой поезд, и локомотив, пронзительно засвистев, тронулся в путь. Павел Данилович ни жив ни мертв сидел в дилижансе. Ему было и страшно и весело. Пышущий жаром и пламенем, железный зверь послушно катился по рельсам. Ни мороз, ни ветер, ни метелица, которая, вихрясь кругом, засыпала глаза,— все было ему нипочем! Напрасно в бессильной ярости голосила поземка,— паровоз пыхтел, осыпая золотым дождем сугробы. Мимо быстро мелькали высокие мачты с горизонтальными перекладинами, на которых висели черные шары. Эти своеобразные маяки служили для передачи депеш.

«Словно нечистая сила прет! — с суеверным страхом подумал Павел Данилович и перекрестился.— Ох, господи, прости мои прегрешения, вольные и невольные!..»

Между тем «железный конь», шумно выдыхая клубы белого пара, с нарастающей быстротой уносился вперед. Прошло немного времени, и в снежном сумраке показались очертания Царского Села. Паровоз постепенно замедлял ход, вздохи стали реже, тише, и он плавно, ровно подошел к вокзалу.

Метель стихла. На паровозе заиграл особый органчик, оповещая публику о прибытии поезда.

Кондуктор обходил пассажиров и отбирал жестяные билеты, которые тут же сдал в билетную кассу для новой продажи.

Данилов вышел из дилижанса, ощупал голову, грудь, ноги, облегченно вздохнул. И вдруг в него точно бес вселился: такая неуемная радость всколыхнула его, ну, хоть в пляс пускайся!

— Эхма, пошла-закрутила! Наша взяла! — подмигнул он служителю, стоявшему у поезда.

Кондуктор косо посмотрел на Данилова и с укоризной сказал:

— И не стыдно, так хмельного перехватить! Седина в бороду, а сам степенство потерял!

— Эх, милай, ничего ты не понимаешь! — весело отозвался Данилов.— Будешь радоваться такому делу: ведь я пайщик всему. Вот оно что!

— Прошу извинить! — подтянулся кондуктор и вежливо откозырял.

— Ну, вот видишь! Давно бы так! — отозвался Павел Данилович и важно зашагал к вокзалу...

Глава третья

1

29 июня 1836 года, в день Петра и Павла, в нижне-тагильском соборе шло торжественное молебствие о ниспослании здравия и долголетия хозяину завода Павлу Николаевичу Демидову. Издавна повелось, что в день именин хозяева жаловали своих подданных «милостью». Управляющие, приказчики, ближняя демидовская челядь получали денежные подарки, а служащим читалось очередное распоряжение хозяев о наградах. Особенно любил писать напыщенные обращения к работным Павел Николаевич. По стилю и манере они во многом копировали царские указы и начинались торжественными словами: «Верноподданным нашим тагильцам».

На этот раз во время молебствия среди работных разнеслась весть о том, что сегодня вручат вольную Черепановым. Наконец-то! Все понимали, какой мучительной ценой досталась механикам долгожданная радость! Светло и ободряюще поглядывали тагильцы на Мирона Ефимовича, лишь один Ушков держался отчужденно и хмуро.

В храме все выглядело благолепно: сверкало многочисленными огнями золоченое паникадило, разукра-

шенное хрустальными подвесками, в которых дробился и рассыпался всеми цветами радуги теплый свет, приятно мерцали разноцветные лампады и желтые трепетные огоньки восковых свечей. Впереди всех, в новом бархатном кафтане, в окружении свиты из управляющих, приказчиков и станового, важно держался директор нижне-тагильских заводов Александр Акинфиевич Любимов. Рядом с ним стояла дочка Глашенька. Она не столько молилась, сколько любовалась своим нарядом — пышным розовым платьем, отделанным тонкими брюссельскими кружевами. Глашеньке шел уже двадцать пятый годик, по-уральски она считалась перестарком,— отошли годочки для выхода в замужество, но выглядела она совсем юницей. По сравнению с ней отец казался обрюзглым, дряхлеющим стариком. И впрямь, стан когда-то грозного заводского управителя согнулся, плечи опустились, и на голове морщилась большая розовая лысина. Александру Акинфиевичу было под семьдесят лет. Трудно было ему в эти годы справляться с большим делом, но он и виду не подавал, все молодился и держался важно, грозно. Обрюзглый, он тяжело дышал, крестил грудь мелкими крестиками и склонял при поклоне только большую голову с бахромками седых волос. За ним шеренгой стояли служащие: уставщики, приказчики, повытчики, караванные, механики. А еще дальше теснились рабочие. Семья Черепановых приютилась в сторонке, рядом с приказчиком Шептаевым, обряженным в синюю суконную поддевку и в новые козловые сапоги со скрипом. Ефим терпеливо и чинно ждал окончания богослужения: радость наполняла его — он верил, что сегодня к Мирону придет счастье. Ох, как ждал его отец! Сам молодой механик сильно волновался: он пристально поглядывал то на грузного Любимова, то на знакомых, стараясь по их лицам узнать решение хозяев. Но, казалось, все только и заняты молитвой, чинно стоят перед иконами, истово крестятся и конца-краю не будет затянувшемуся богослужению. Смутное беспокойство все больше овладевало Мироном. Неподалеку от него, прислонившись к стене, стоял Козопасов. Глаза его были опущены долу, весь он, постаревший и скорбный, вызывал жалость.

«Да, плохо сложилась судьба Степана, а ведь талантливый человек! — раздумывал Черепанов.— И что только сробили с ним! Искалечили, затравили. Так и

пролетела жизнь без радости, в муках. Неужели так и со мной поступят?»

Молебствие подходило к концу, в церкви началось движение. Первым ко кресту и под благословение иерея подошел Любимов. Он неторопливо склонил голову, перекрестился, облобызал распятие и стал в сторонку. Как коршун, сурово поглядывал он на заводских, чтобы пристойно подходили ко кресту, зная каждый свой черед. Сохрани бог сунуться раньше старших! Где-где, а тут, в храме, сразу должно быть видно, какую ступень в демидовской иерархии занимает человек! Вначале шли управители, исправник, пристав, служащие, а после всех — рабочие.

Наконец и эта церемония окончилась, но никто не расходился из церкви. Снова все чинно заняли свои места и ждали. Поскрипывая ботинками, на амвон взошел управляющий, торопливо, мелкими шажками подбежал к нему повытчик и вручил две грамоты. Все затаили дыхание и не сводили настороженных глаз с Любимова. Он извлек из футляра сверкающие очки в золотой оправе, основательно водрузил их на мясистый нос и, оглядев богомольцев, развернул первую грамоту. Глухим, хрипловатым голосом он провозгласил:

— «Верным нашим тагильцам от его превосходительства, владельца тагильских заводов...»

Александр Акинфиевич медленно, с торжественным видом стал оглашать все чины и звания, награды и заслуги Павла Демидова...

Все поглядывали на Черепановых. Мирон покраснел, опустил глаза и дрожащими руками мял картуз.

«Почему же так долго? Зачем все эти титулы? Где же главное?» — с нетерпением ждал он заветных слов.

Увы, Любимов читал наставление хозяина работным:

— «Помните благодеяния наши и благодарите господа. Трудитесь и удесятерите свои заботы о нашем добре. Будьте послушны вашим наставникам, набожны и не прельщайтесь кознями лукавого...»

Мирон недоуменно посмотрел на отца. Лицо Ефима Алексеевича потемнело, он крепко сжал зубы. Стоял отец неподвижно, скрывая свой гнев. Из полутьмы храма донесся шепот:

— Искариоты, иуды, поучают...

Мирон покосился — шепот показался ему знако-

мым, козопасовским. Но механик, склонив голову, мрачно смотрел в землю, а по его щеке катилась тяжелая слеза. На сердце у Мирона стало нехорошо. Он переглянулся с женой и хотел выйти из толпы, но в эту минуту Любимов окончил читать послание Демидова и, хрустя бумагой, развернул вторую грамоту.

Высокий, громоздкий управляющий вдруг подтянулся, с важностью оглядел всех и раздельно объявил:

— Ноне зачту вам об особой милости, о даровании вольности крепостному нашему механику Мирону сыну Черепанову!

— Как! — схватился Мирон за сердце и жалобно оглянулся на семью.— Где же слово о вас?

Он вытянулся весь в напряженном ожидании. Сердце гулко отбивало удары. Почему так медленно и нескладно читает грамоту господин управляющий? Механик насторожился, лелея последние надежды. Сквозь шепот толпы растерянный и смущенный Мирон слышал каждое слово, торжественно провозглашенное Любимовым.

А желанного среди этих слов упоминания о матери, о жене, о трех ребятках все нет и нет.

По храму, как шелест листвы, прошло изумленное перешептывание:

— Одного освободили... Одного... Гляди, что робится...

Управляющий закончил чтение грамоты и подозвал Мирона:

— Подойди!

Отяжелевшей походкой, опустив голову, Черепанов подошел к Любимову и протянул руку за «вольной».

— Кланяйся, кланяйся, благодари! — зашептал ему седенький иерей.

Мирон поклонился и, взяв грамоту, ничего не видя, пошел из церкви. Все молча расступились перед ним и скорбными взглядами провожали его угрюмую фигуру...

Следом за ним, пропуская управляющего с дочкой, высыпали из храма тагильцы. Любимов с Глашенькой уселся в поданный экипаж и отбыл в демидовский дом, который был совсем рядом. Он сидел с гордо поднятой головой, как будто совершил людям великое благодеяние. Ни разу он не взглянул на Мирона.

Молодой механик стоял под старой развесистой березой, зажав в кулаке скомканную «вольную».

«Вот так отпускная! — с горькой иронией думал он.— Поманули, а сами покрепче цепью приковали к Демидову!» Он возмущенно кинул грамоту вслед экипажу.

Подоспевший отец торопливо поднял бумагу и спрятал за пазуху.

— Что ж теперь делать, батя?

— Жить и работать! — твердо ответил отец.— Не мы первые, не мы последние. Барин на то и барин, что у него ни совести, ни чести!

Подошли мать, женка и ребятишки. Они жались к Мирону, заглядывали ему в глаза.

— Не печалься, родной! — утешала сына Евдокия.— Не думай о нас! Мы и так век отмаемся!

— Эх! — тяжко вздохнул Мирон.— Видно, конца-краю не будет нашему горю!

Откуда только и появился Степан Козопасов? Он положил руку на плечо механика и сказал загадочно:

— Сколько веревочке ни виться, а конец будет! — Он посмотрел на безоблачное небо и закончил: — Парит ноне сильно. Гляди, вот-вот подойдет гроза!

2

Летом 1836 года старик Черепанов побывал в Перми, куда по воде сплавом был доставлен отлитый в Париже памятник Николаю Никитичу Демидову. Весьма грузный монумент состоял из десяти бронзовых фигур; центральная, и самая величественная, олицетворяла покойного владельца нижне-тагильских заводов. К памятнику был изготовлен массивный каменный пьедестал. Все это доставили по воде из Франции, и сейчас предстояло переправить сухим путем от Перми до уральской вотчины Демидовых. Дороги на завод шли горами, увалами, болотами, лесами. Через дебри да раменья по ненадежным проселкам да по ветхим мостам через быстрые горные речушки не протащить такого тяжелого груза. Хотя лето стояло сухое, жаркое — трава посохла, болота порыжели, а в борах воздух курился ароматными испарениями, пахло лесной пушицей, шалфеем, свежей сосновой смолой,— все же пускаться в путь было рискованно. Да и как смастерить такие могучие колеса и оси, которые выдержали

бы такую кладь? И кто поручится за то, что если они и выдержат, то не застрянут в пути? Отправить памятник дальше сплавом от Перми по Каме, а там по Чусовой, поближе к Вые,— тоже не годилось. Капризна и буйна Чусовая на порогах! И кто ведает, не ударит ли такой струг о камень-«боец», каких сотни на быстрой реке, и тогда пиши пропало! Самое удобное переправить груз морозной уральской зимой по санному пути,— в это время года всюду пути-дороги.

С большими трудностями Ефим Алексеевич и ватага камских бурлаков перетащили монумент с баржи и установили на временное хранение в сарае.

Подошел декабрь, ударили продолжительные лютые морозы, сковало реки, и установился зимний путь. Черепановы сладили особые сани, и старик отправился в Пермь за памятником. Через горы, увалы, через реки по ледяным мостам быстро бежали, пофыркивая, кони. Под монотонное пофыркивание, поскрипывание саней мастер вспомнил о столкновении с Ушковым. Зло, крепко рассердился Климентий Константинович на Черепанова за его паровоз! К тому же сильная зависть жгла сердце владельца конницы: он до сих пор оставался крепостным, а Черепановы получили вольную. Пусть без семьи, а все же вольные. В тайниках души Ушкова все еще копошилась надежда на то, что если чем-нибудь порадовать господ Демидовых, то и они в долгу не останутся. С такой мыслью Ушков прибежал в заводскую контору и со слезой запросился перед управителем:

— Батюшка Александр Акинфиевич, смилуйся, окажи честь! Слов нет, Черепановы на чугунные дороги мастера, но уж там, где кони пойдут, там Ушковы не уступят своего места! Не дай, батюшка, механикам в таком деле перебить нам дороги. Из одной благодарности к благодетелям нашим Демидовым порадеем.

Любимов вызвал на совет Черепанова, тот не прекословил. Порешили на том, что механик поедет с конницей Ушкова только для наблюдения и обережения памятника.

Выехали они с Ушковым на разных подводах. На остановках Ушков важничал. Переваливаясь уточкой, он ходил в добротной теплой шубе, в серых чесанках-пимах и зычно покрикивал на ямщиков:

— Живей, живей, ребята! Разумей, по какому делу торопимся!

Только накричавшись вволю, потешив свою хозяйскую душу и проверив, кормлены ли кони, он шел и садился за стол.

— Покорми нас, хозяюшка, чем бог послал! — просил он стряпуху и тут же вытаскивал из дорожной укладки свою деревянную чашку и ложку.— Сполосни, да в нее и наливай щи погорячее!

Он строго соблюдал кержацкий порядок: ел только из своей посуды. Перед едой аккуратно и тщательно умывал над бадейкой руки, после чего истово и чинно молился. Ел он медленно, торжественно, точно священнодействовал. Черепанову нравились опрятность и чистота Ушкова, но было и другое в характере владельца конницы — прижимистость, тяжелая рука. Ямщиков своих он держал в ежовых рукавицах. Они трепетали от одного его взгляда.

Дорогой Климентий Константинович держался с механиком ровно, спокойно. Казалось, бесконечный зимний путь погасил его зависть и все обиды.

По доброму санному пути они наконец добрались до Перми. Остановились на строгановском подворье. Ушков принялся кормить коней, дал им роздых, а Черепанов обдумывал погрузку. Синел вечер, когда в комнатку, которую занимал Ефим, осторожно вошел незнакомый пожилой человек из строгановской конторы. Худенький, остроносый, весьма скудно одетый, он смущенно переминался у порога, поглядывая на кряжистого бородатого механика.

— Мне бы господина Черепанова,— учтиво спросил он.

Ефим ухмыльнулся в бороду. Он приветливо посмотрел на гостя и пригласил:

— Садись, добрый человек! Не знаю, сюда ли зашел по делу? Господина Черепанова здесь нет, а вот крестьянин Ефимка Черепанов пред тобою!

Глаза незнакомца вспыхнули восторгом.

— Довелось-таки увидеть! Бесконечно счастлив! — Он протянул Черепанову худенькую руку и крепко пожал большую крепкую руку мастера.

Черепанов удивленно разглядывал гостя.

— Не знаю, чему радуетесь. Мы с вами николи до этого не встречались,— суховато сказал он, и недоверие закралось в его душу.

«Шаромыжник, что ли, пронюхал и обвести думает?» — кольнула неприятная догадка.

Но гость и не собирался «обводить» тагильца. Он уселся к столу и вытащил из кармана книжицы в сером переплете. Бережно развернул их и с довольным видом сказал:

— Вот счастлив, не токмо за вас, но и за отечественную науку; радуюсь и за себя, что довелось увидеть вас, Ефим Алексеевич!

— Что за черт? — вырвалось у механика.— Шутить, сударь, изволите!

— Нет, нисколь не шучу. Прочтите! В сих журналах о вас писано, о «сухопутном пароходе»... Вот, извольте! Последнюю страницу! — Гость раскрыл книгу и предупредил: — Сие есть «Горный журнал», книга пятая за тысяча восемьсот тридцать пятый год, и вот, сударь, о вас тут значится.

Просветленный и спокойный, он размеренным голосом прочитал заметку:

— «Нижне-Тагильских горных господ Демидовых заводов механик Ефим Черепанов, известный в уральских промыслах множеством полезных заводских машин, им устроенных, занялся в последнее время делом паровых машин... Машины его успешно действуют при известном медном руднике Нижне-Тагильского завода, где оные употреблены для беспрерывного отливания воды, сильный приток имеющей, из глубины сорока трех сажен. После того устроена им же еще одна паровая машина силою в сорок лошадей в заводах наследниц Расторгуева. По ходатайству главного начальника заводов хребта Уральского Черепанов всемилостивейше награжден серебряною медалью».

Время от времени отрываясь от чтения, незнакомец ободряюще поглядывал на механика.

— Дозволь книжицу, добрый человек! Не знаю, как и звать тебя! — с волнением протянул руку за журналом механик.

— Егорушкин Иван Власьевич,— поклонился гость.— Пожалуйста! Только еще не все зачитал о вас. Тут-ка написано и о «сухопутном пароходе». Кстати, у меня и еще одна книжица есть, и в ней тоже написано о вас. Вот! — Он извлек из кармана новый журнал и прочел:

— «В «Горном журнале» сего же года номер пять напечатано было известие о том, что в Нижне-Тагильском заводе господа механики Черепановы устроили «сухопутный пароход», который был испытан неодно-

кратно, причем оказалось, что он может возить более двухсот пудов тяжести со скоростью от двенадцати до пятнадцати верст в час.

Ныне господа Черепановы устроили другой пароход, большего размера, так что он может возить за собою до тысячи пудов тяжести. По испытании сего парохода оказалось, что он удовлетворяет своему назначению, почему и предложено ныне же продолжать чугунные колесопроводы от Нижне-Тагильского завода до самого медного рудника и употреблять пароход для перевозки медных руд из рудника в завод...»

Голос чтеца прозвучал торжественно. Он закончил и весело сказал Черепанову:

— Как видите, в самой столице знают о «сухопутном пароходе»! Льщу себя надеждой, что там обратят свое внимание на отечественное изобретение!

— Голубчик ты мой! — со слезами радости вымолвил Ефим.— Потешил ты мое сердце. На старости лет могу подумать, что недаром прожил век! — Он дрожащими руками расправил журнальчик в серой неприглядной обложке и не мог оторвать глаз от заметки о себе.

— Не знаю, чем и благодарить тебя, Иван Власьевич,— дрогнувшим голосом сказал он.

— А ничем. Я просто хотел порадовать вас. Мне, русскому человеку, весьма лестно, что наш мастеровой умен и превзошел иноземцев. За славу земли отеческой радуюсь! — искренним тоном, горячо высказался Егорушкин.— Притом, по совести признаюсь, мне механика тоже мила, у Строгановых с малолетства повлекло на сие дело.

— Так ты механик! — радостно вскричал Черепанов и, схватив за руку, крепко пожал ее.— Вдвойне приятно мне!

— Да моя судьба поскучнее вашей, Ефим Алексеевич! Все мои замыслы пресекаются, и нет им ходу, а меж тем они сильно облегчили бы труд солевара!

— Эх, милый, и моя судьба невеселая! — признался чистосердечно Ефим.— Скажу тебе от доброго русского сердца: не дождаться нам светлых дней...

— Может, и так, а может быть, и не так! — мягко ответил строгановский механик.— Мы, пожалуй, и не дождемся, когда будем работать на радость труженику, а вот внуки наверняка дождутся иных дней. Верую в это, Ефим Алексеевич, сильно верую!

— Кто же мужику и работному такую жизнь принесет? Уж не Пугачев ли, Емельян Иванович, явится? Так умер он! — печально сказал Черепанов.

Иван Власьевич задумался, потом улыбнулся и тихо сказал:

— И Пугачев сыграл в этом деле немало! За простых людей шел. Верно, умер он, но дух его силен среди народа. Но, скажу вам, тут сильнее люди придут, которые дальше видят, чем наш брат крестьянин.

— Да где же они, эти люди? Что-то не вижу их! — усомнился Ефим.

— Уже близко! — со страстью вымолвил гость.— Вы сами знаете, Ефим Алексеевич, что через Урал провозили тех, что против царя пошли...

— А ты, милый, тише... Бог знает, кто подслушает! — осторожно предупредил Черепанов.— И, по совести, я мало кумекаю в этих делах.

— В этих делах всякий понимает, потому что на своем хребте науку ненавидеть господ прочувствовал. Вот мне один списочек попал, зачитаю.— Иван Власьевич вытащил из бокового кармана затертый листик и пояснил: — Сие есть сочинение господина Радищева. Самому мне пришлось сего умного человека увидеть и говорить. Ах, какое это счастье, Ефим Алексеевич, какое счастье! Послушайте, это ода «Вольность».

Строгановский механик вполголоса, но с большой выразительностью произносил грозные строки стихов. Черепанов, склоня голову, внимательно слушал. Его поразили блеск в глазах гостя, которому уже перевалило за пятьдесят лет, его огромная страсть и, главное, нескрываемая вера в то, что он читал.

Иван Власьевич окончил оду, воцарилось долгое молчание. Оба внимательно рассматривали друг друга.

— Да-а,— наконец со вздохом прервал безмолвие Ефим.— Вот оно как! Ничего не скажешь, когда читал, сердце мое будто в жменю взял... Только вот что, ух, устарел я, шибко устарел для таких дел! — с горечью вырвалось у него.— Дивлюсь, отколь у тебя такая сила?

— Жажда найти правду не дает покоя моей душе! Всю бы землю обошел, отыскивая ее! — мечтательно сказал гость.

— А найдется она, правда, на земле? — сомневаясь, спросил Черепанов.

— Найдется среди простого народа! — уверенно сказал Егорушкин.— Вспомните мое слово!..

До полуночных петухов засиделись механики. Черепанов слышал, как за дощатой перегородкой возился Ушков: долго молился богу, что-то бормотал про себя, потом хлопал костяшками на счетах, а затем все стихло, погас свет.

Вскоре ушел и гость, оставив после себя тихую радость и тревогу в сердце Ефима. Долго он не мог уснуть, да и среди ночи не раз просыпался, зажигал свет и читал заметки, раздумывая над тем, что рассказал Иван Власьевич.

Лежа впотьмах, он не мог успокоиться от радостного волнения. Ефим долго думал, что же его так беспокоит, отчего поднимается горечь?

«Большую правду поведал Иван Власьевич! — подумал он.— В самом деле, называют господами, а того не ведают, что семьи наши крепостными остались!» — кольнула сердце обидная мысль. И тут Черепанов вдруг понял, сколь много опасностей таят эти статьи. «Дознаются о сем в столичной конторе, найдутся завистники. Да и Павел Николаевич Демидов, который именует заводских своими верноподданными, непременно обидится, что так мало в сих строках сказано о Демидовых!» — с огорчением подумал он.

Так до утра проворочался Ефим и не уснул. И боль и радость принесли ему столичные вести. Едва только засинело за окном, он поднялся, умылся и неслышно ушел с подворья. Медленно, в глубоком раздумье он вышел на берег Камы. Задумчивый, худощавый, одетый в старый полушубок, он скинул шапку и долго смотрел с крутого яра на Пермь, на Закамье и на застывшую под лебяжьим покрывалом реку. Все кругом было обычное, знакомое — простой северный русский пейзаж, озаренный скупым восходящим солнцем, серебрились снега, укрывшие Каму пушистым одеялом. В Закамье густо синели леса. Направо, в Егожихе, курчавились дымки завода. Хорошее, бодрящее чувство проснулось в душе у Ефима, он широко вдохнул полной грудью упругий камский воздух.

— Эх, мать-отчизна моя милая! — прошептал он и надел шапку.

Прямо с камского яра Черепанов пошел к сараю, в котором хранился памятник, и принялся за бережную укладку тяжелых литых фигур...

Обратный путь был долгим и трудным: то сани застревали в глубоких сугробах и подолгу приходилось

их откапывать да проминать дорогу, то на раскатах, подгоняемые санями, кони разносили так, что и фигуры и литые детали летели в снег. С натугой и ухищрениями их снова водворяли на место. Несмотря на зимний путь, кони надрывались, калечились, и спустя шесть недель, когда вдали показались дымки Нижне-Тагильского завода, десятка два отощавших одров еле-еле тащили груз.

Ушков притих, угрюмо поглядывая на ямщиков. Ефим старался отвлечь его внимание от лошадей, но все было напрасно.

Завидев Тагил, Климентий Константинович снял шапку, облегченно вздохнул:

— Ну, кажись добрались. Боялся я, что осрамлюсь на весь Каменный Пояс!

Памятник доставили к Выйскому заводу и сгрузили подле строящейся церкви, неподалеку от линии черепановской дороги.

3

Пока отец хлопотал над доставкой памятника, Мирону пришлось возиться с перестройкой ларей у Выйской плотины. Старые, обветшалые, они отказывались служить,— того и гляди снесет их в ближайшее половодье. Из добротного теса Черепанов ладил водопроводы. Предстояло старое заменить новым, но для этого приходилось остановить вододействующие колеса. Против этого восстали Любимов и управляющий Выйского медеплавильного завода, который никогда не прерывал работу, даже в сенокосную страду. Чтобы не останавливать механизмы, Черепановым предложили устроить к воздуходувным мехам медеплавильных печей конный привод. Это был возврат к старинке. Мирон долго не уступал и добивался поставить двигателем на время смены лагерей свой первый «сухопутный пароход», но контора не соглашалась на это. И вот у Выйской плотины вновь появились кони, засвистел кнут погонщика. Стучали топоры плотников, перекликались мастера, ржали кони. На плотину наехал Ушков. Довольный, злорадствуя, он обошел стройку.

— Что, брат, кони вернее, чем пар? То-то! — с удовлетворением сказал он Мирону и показал в сторону чугунной дороги.— Не дымит и не сыплет больше

искрами твой демон. — В голосе его прозвучало торжество.

Тяжело обошлась механику эта злая насмешка, однако он сдержался и спокойно ответил:

— Кони — верные помощники человека, это верно, Климентий Константинович. Но пар — сила более мощная! Она во много раз могучее коней и даже силы падающего потока. Ей принадлежит будущее!

Ушков рассмеялся:

— Слов нет, хороши твои машины. Одно плохо, дров много пожирают!

Сказанное Ушковым не являлось для Черепанова новостью. На это обычно ссылались и тагильские управители, стараясь притормозить достройку чугунной дороги.

...Лето было в самом разгаре: только бы и строить чугунные колеи от медного рудника до Выи. Между тем работа у Выйской плотины отнимала много времени. Все же Черепанов решил не сдаваться. Он донимал Любимова, убеждал его, но управляющий долго уклонялся от прямого ответа, так как поджидал указаний из Санкт-Петербурга, не зная, что Данилову было не до этого: все внимание его поглотила постройка Царскосельской железной дороги.

После долгих мытарств Черепановым удалось добиться своего. Когда Мирон заканчивал возведение ларей, ему вручили ордер на постройку чугунки.

Длина дороги намечалась в три версты. Мирон тщательно произвел все расчеты и рьяно взялся за строительство. Снова к нему вернулись радужные надежды. Помолодел и отец. Оба старались до заморозков закончить прокладку колесопроводов. В механической мастерской Черепановых снова закипела жизнь. Ефим Алексеевич отобрал двух лучших механиков — Панкрата Смородинского и Прохора Рышкова — и обучил их управлению машиной. Крепкие плечистые уральские парни были первыми машинистами на русском паровозе.

К осени на новой линии стали возить в фургончиках руду. Доставка ее производилась быстрее и обходилась дешевле конной. Александр Акинфиевич вынужден был признать все выгоды «сухопутного парохода», о чем и поспешил довести до сведения санкт-петербургской конторы, но и на это от Данилова не последовало отписки. Очевидно, там, в столице, случилось что-то,

заставившее забыть о черепановском пароходе. Охладел к новой дороге и Любимов.

После поездки в Пермь Ефим Алексеевич забеспокоился сильнее. И не зря он волновался. Его опасения, что заводское начальство и Демидовы будут злы за статьи, помещенные в «Горном журнале», оправдались. Не знал Черепанов еще того, что оба известия, которые он привез, полностью перепечатала санкт-петербургская «Коммерческая газета» и в газете Черепановы снова именовались господами. Это не было оставлено без внимания Демидовыми. Вслед за этим отец и сын почувствовали в отношении к себе сильную перемену. Директор петербургской конторы Данилов, казалось, совсем забыл о тагильских механиках. Другим тоном заговорили с ними и управляющие заводов. Любимов стал замкнутым, диковато поглядывал на Ефима и вместо личной беседы с механиком слал ему официальные бумажки. Отныне в ордерах значилось другое обращение. Вместо обычного вежливого «контора просит вас», теперь писалось: «предписывается вам безоговорочно исполнить сие предписание».

Болея душой за дело, Ефим Алексеевич решил поговорить начистоту с управляющим. Любимов принял его с неохотой, долго продержал в конторе, пока допустил к своей персоне. Теперь он держался высокомерно и отчужденно. Молча выслушав Черепанова, он выложил перед ним «Постановление о механических занятиях в нижне-тагильских заводах».

— Прочти-ка! — указал он перстом.

Механик с волнением взял бумагу и стал медленно читать. Чем больше вникал он в смысл постановления, тем ниже опускал голову. Ефим хорошо понимал, что все написанное в грамоте в первую очередь относится к нему.

«Известно здесь,— писалось в постановлении,— что в заводах многие хорошие люди держатся весьма странного правила: что буде они составили каковое-либо предположение, то они же должны выполнять оное и никто другой не имеет права вмешиваться, иначе они обижаются, якобы тем стесняется их усердие, но правило сие признается совершенно фальшивым и даже вредным заводовладетелем, ибо нельзя допустить мнения, чтобы домашние природные механики могли быть безошибочны, а члены главной конторы не могут быть всеведущими...»

У Ефима екнуло сердце,— вот строки и о них! Буквы расплывались перед его глазами, когда он читал о себе. Все становилось ясным.

«Черепановым предоставляется право,— сообщалось в грамоте,— везде иметь главный надзор и наблюдение за машинами, постройками и поправками оных...» Но «прожект одного, порученный к исполнению другому, не лишает чести и награды за полезное первого: следовательно, сей последний не должен обижаться тем, что его мысль предоставлена другому лицу привести в исполнение...»

Горька показалась Ефиму незаслуженная обида: его святое право на осуществление своего изобретения объявлялось «совершенно фальшивым».

Он поднялся и, молча откланявшись, пошел к выходу. Управляющий поднял руку и бесстрастно остановил его:

— Погоди чуток, дело есть!

Ефим вернулся и, стоя перед столом, выслушал новый приказ:

— Памятуя великие благодеяния к тебе покойного господина нашего Николая Никитича, поручаю вам, Черепановым, иметь наблюдение в установке доставленного из Перми монумента. Великая честь выпала вам!

Механик снова молча поклонился и, разбитый духом и телом, вышел из конторы...

В 1837 году на главной площади против церкви водрузили памятник Николаю Демидову. По углам обширного основания гранитного пьедестала укрепили литые чугунные группы. В первой из них сидит прекрасная женщина в древнегреческой тунике, с крылышками на голове, а подле нее стоит мальчик с раскрытой книжкой и указкой. Сие означало, что отрок Демидов постигает мудрость. На втором углу — юноша высыпает из рога плоды в подол своей наставнице. В третьем — воин в доспехах, с лицом Николая Демидова, защищает отечество, которое изображает женщина в печальном образе. И, наконец, последняя группа представляет Николая Никитича в старости... Он беседует с той же богиней о пользе науки, искусств и торговли.

На вершине пьедестала величественно возвышается группа из двух фигур: Демидов в долгополом сюртуке, на который возложены все регалии, владелец заводов,

протягивает руку помощи коленопреклоненной женщине с царской короной на голове.

Скульптор по просьбе наследников Демидова вложил в свое творение весьма дерзкую мысль: «Демидов в трудные минуты приходит на помощь отечеству».

Работные, однако, по-иному рассудили смысл монумента. Показывая на изящные фигуры, они разъясняли их:

— Наверху — главный петух Демидов, а кругом его женки да детки! Вот на кого мы робим!

4

Внезапно Черепановых всколыхнула последняя надежда. По Уралу прошел слух, что едет обозревать свое отечество наследник-цесаревич Александр Николаевич. Вскоре слух подтвердился сообщением из санкт-петербургской демидовской конторы, которая уведомляла, что цесаревич действительно отправился на восток, уже миновал Тверь, Ярославль, Кострому, Вятку, вскоре вступит в пределы Урала и, весьма возможно, посетит Нижне-Тагильский завод. Ехал наследник с большой свитой, в которой состоял его воспитатель, поэт Василий Андреевич Жуковский. Сопровождали царского наследника генерал-адъютант князь Ливен, пять адъютантов, лейб-хирург и многочисленная дворцовая челядь: камердинер, рейткнехты, фельдъегери, мундткох с двумя помощниками. Блистательный поезд, состоявший из десятков экипажей, двигался быстро. Дороги просохли, реки разлились полноводно, и на всем пути путешественников сопровождала живительная весна. Флигель-адъютант при особе наследника, генерал Юрьевич, обстоятельно доносил в столицу: «Мы опереживаем в нашем пути природу и здесь находим весну почти в том виде, как ее оставили в Петербурге: деревья только что распускаются, и во вчерашний переезд по горам видели в ущельях еще много снега... В Перми, как и в Вятке, нет дворянства, да и знатного капитального купечества очено мало. В губернии хотя находится до 250 тысяч помещичьих крестьян, разделенных между 16 владельцами, но эти баричи живут или за границей, или в столицах. Строгановы, Голицыны, Бутеры суть главнейшие помещики-заводчики...»

Цесаревич и его свита, прибыв в попутный город, посещали больницы, школы, тюрьмы и выставки. Пермь не понравилась наследнику: даже иллюминация не

могла скрыть убогости этого города, который состоял из немногочисленных каменных домов и скопления деревянных лачуг. На представление к цесаревичу пришли чиновники и купцы с женами и дочками, наряженными в шляпки и в чепцы. Увы, наследник успел заметить только два-три миловидных личика на весь город!

Каждый день из Екатеринбурга в Нижний Тагил мчались курьеры, привозившие новости. Любимов сбился с ног в беспрестанной суете. Он заботился об украшении завода: на видных местах соорудили транспаранты, приготовили тысячи плошек и свечей для иллюминации. В конюшнях стояли наготове выхоженные резвые кони. Чинились мосты, подновлялись дороги, а на въезде в завод воздвигалась пышная триумфальная арка, обвитая свежею зеленью. Полицейщики во главе с приставом Львовым выбивались из сил, наводя на дорогах и во встречных селениях порядок. Зная ретивость полицейских служак, Любимов написал инструкцию о порядке обращения с народом на время проезда цесаревича, а в ней указывалось, что полиция должна подавать собой пример вежливости и кротости в обращении с людьми.

Трудно, однако, было полицейщикам превратиться в овечек. Так и подмывало их совершить рукоприкладство. Одно только и удерживало — боязнь, как бы обиженные не пожаловались цесаревичу. Приписные крестьяне вели себя весьма подозрительно: собирались на тайные сборища, шептались; до Львова дошли слухи, что на всем пути следования наследника на дорогу выходили ходоки и падали на колени перед каретой, высоко подняв над головой свои прошения.

«Как бы и у нас подобного не стряслось!» — встревоженно думал пристав.

Это его больше всего пугало. Он притих и ходил поникшим.

Между тем приготовления к встрече подходили к завершению. Закопченные заводские здания побелили, убрали с глаз долой полуразвалившиеся хибары, разметали ветхие плетни, засыпали прозеленевшие лужи, дорогу к заводу посыпали золотистым песком и рубленым ельником, вдоль улицы натыкали ряды свежекудрявых березок. К этому времени пышно зазеленел барский парк, зацвела сирень, и белый демидовский дом высился среди зелени прекрасным видением. Далеко за полночь в главной конторе светились огни, повытчики спешно готовили выборки из дел, чтобы на

любой вопрос цесаревича дать быстрый и толковый ответ. Над прудом в вечерний час разносилась приятная музыка — крепостные артисты упражнялись в игре.

Черепановы тоже ждали важных событий. Верилось им, что на их «сухопутный пароход» обратят внимание. Они до блеска начистили бронзовые части машины, тщательно проверили ее работу и оборудовали особо удобные вагончики на случай, если цесаревич пожелает прокатиться по железной дороге.

27 мая 1837 года из Екатеринбурга на взмыленном иноходце прискакал последний гонец, и по заводу быстро разнеслась весть: царский наследник приехал и намерен посетить Нижний Тагил. Начался переполох.

Бледнея и потея, Любимов в сотый раз подробно допрашивал гонца о поведении и привычках цесаревича. Вестник обстоятельно докладывал:

— В шесть вечера его высочество со свитой прибыли в Екатеринбург и, не теряя времени, отправились на старый монетный двор, в коем чеканятся только медные монеты. Цесаревич взял одну копеечку на память. Отсюда зашли в гранильную фабрику, где его высочество изволили залюбоваться мастерством гранильщиков камней. «Где научились сему искусству?» — спросил у них наследник. На это бородатый кержак-гранильщик степенно ответил: «От рождения далось оно в руки: деды и отцы наши тем занимались и нам по наследству передали...»

— Где их высочество изволили остановиться? — допытывался у гонца Любимов.

— Изволили они отдыхать в доме главного начальника горных заводов, что стоит над обширным прудом. И весь город в ту пору светился бесчисленными огнями, а вечером адъютанты его высочества вышли на высокое крыльцо и принимали просьбы от народа, а тех просьб было подано шестьсот тридцать три.

— Бес! — стукнул кулаком по столу Любимов, вскочил и взволнованно заходил по комнате.— Вот откуда дует злой сиверко! Злыдни переведенцы и приписные только и ведают, чтобы досаждать своим господам!

Он заметался, как зверь в клетке.

— Торопись, братец,— крикнул он,— зови сюда пристава Львова! Надо за народом последить.

28 мая цесаревич выбыл из Екатеринбурга, и в семь часов вечера он был уже на Старо-Невьянском заводе, где в старинном доме, строенном Никитой Демидовым,

пил чай и после краткого отдыха поехал дальше, в Нижний Тагил.

Над горами простиралась теплая майская ночь. Бесчисленные зеленоватые звезды переливались над лесами. Кони вынесли коляски на возвышенность, и перед наследником еще ярче и заманчивее засветились огни множества плошек и фонариков, запылали костры и смоляные бочки, осыпаясь дождем золотых искр. На каланче пробили одиннадцать четких ударов, и торжественно-величавые звуки поплыли над озаренным прудом и широкими заводскими улицами. Цесаревич приказал остановить карету и на минуту залюбовался ночным Тагилом. По сверкавшему пруду плавал иллюминованный ботик. И вдруг по чьему-то мановению раздался хор певчих и на соборной колокольне ударили в колокола.

Наследник уселся в карету и, встречаемый возгласами народа, двинулся по широкой улице.

После ужина цесаревич вышел на балкон и был оглушен ревом: пятнадцать тысяч заводских крепостных, согнанных полицейщиками со всей демидовской вотчины, кричали по команде «ура».

Только в два часа ночи гость изволил отойти ко сну. Ему отвели обширную хозяйскую опочивальню. Под окнами демидовского дома всю ночь ходили двадцать четыре почетных кафтанника, оберегая сон цесаревича. Любимов настрого запретил даже звонить на работу, а поселковому пастуху наказали не трубить на ранней заре, а прогнать стадо коров на выгон стороной...

Только-только над горами взошло солнце и засияли росой умытые травы,— Черепановы уже были на «пароходке». Мирон стоял на площадке машиниста и поддерживал пары. К машине вместо обычных грузовых тележек прицепили новенькую пассажирскую повозку, разукрашенную зеленью. «Сухопутный пароход» стоял на Выйском поле, неподалеку от плотины, по которой предполагался проезд цесаревича. Любимов приказал Черепановым держаться со своей машиной на одном месте, шума не производить и больше паров не пускать. Оборони бог, если кони его высочества испугаются и понесут! Полицейщики зорко наблюдали за дорогой и «сухопутным пароходом». Солнце высоко поднялось над горами, роса испарилась, и над прудом растаял сизый туман. Легкий теплый ветерок доносил запахи трав, со-

снового бора и цветущего барского сада. Из трубы машины лениво поднимался рыхлый парок и сейчас же таял в ясном воздухе. Над полем носились стрижи, распевали жаворонки. У дворца царило оживление: то и дело выбегали и входили слуги, повытчики и приказчики. Несколько раз на крыльцо выходил Любимов и щурился на солнышко.

Но вот распахнулись стеклянные двери, и на крыльцо по ковровой дорожке вышел наследник. Мимо «пароходки» в эту пору пробежал скороход.

— Ты куда? — окликнул его Мирон.

— К руднику. Его высочество выразили желание спуститься в шахту. Спешу упредить о том управляющего! — запыхавшись, прокричал в ответ скороход.

Между тем цесаревич неторопливо, со скучающим видом прошел в церковь, прослушал ектенью. После краткой молитвы он учтиво приложился к руке священника и последовал дальше. За ним поспешила блестящая свита. Столпившийся народ во все глаза рассматривал будущего правителя России. Был он высок, строен, взор имел задумчивый. В двух шагах от цесаревича суетился Любимов, давая ему пояснения. Наследнику показали больницу — большую светлую избу с десятком кроватей, застланных чистым бельем и одеялами. Василий Андреевич Жуковский пристально взглянул на управителя и спросил:

— Здесь всегда так чисто бывает? А почему нет больных?

Любимов низко поклонился и, не моргнув глазом, ответил:

— Всегда. Хвала богу, у нас все здоровы. Чистый воздух и умеренный труд делают работного счастливым!

По губам Жуковского скользнула ироническая улыбка.

Поспешили в доменный корпус, где шел выпуск чугуна. Раскаленный металл сыпал мириадами ослепительных искр, обдавая блестящую свиту сухим жаром.

— Великолепно! — восхищенный зрелищем, вымолвил наследник, но сейчас же заслонил лицо рукою.— Ох, дышать нечем!

Жуковский внимательно разглядывал горновых. По их лицам струился обильный пот, покрасневшие глаза слезились от жара, брови и волосы были обожжены. Со стороны казалось, что двигаются они легко и проворно, но трудно было обмануться, вглядываясь в литейщиков

пристальней. Каждый мускул рабочих дрожал от страшного напряжения. Одно неверное движение — и беда неминуема.

— Ваше высочество, пора уходить! — обеспокоенно окликнул своего воспитанника поэт.

Цесаревич ласково посмотрел на Жуковского и повернул к выходу.

— А вот и школа, государь! — залебезил Любимов, показывая на приземистое каменное здание.— Здесь заводскому мастерству юношей обучаем.

Наследник молчаливо прошел в здание. Умытые и обряженные в чистую одежду юнцы чистыми голосами спели кантату.

Цесаревич потребовал порцию приготовленного обеда. Повар, одетый в белоснежный халат и колпак, поставил перед гостем чистую миску с варевом. Наследник испробовал его.

— Хороши щи! — немногословно вымолвил он и приложил надушенный платок к губам.— Что там еще не осмотрено?

— Вот, пожалуйста, сюда, ваше высочество,— пригласил в бронзерную мастерскую Любимов. Там на столах и полках красовались расставленные изделия — литье из бронзы и чугуна. Навезли его по случаю приезда цесаревича из Каслей. Наследник долго разглядывал чудесную ажурную работу каслинских мастеров-кудесников. Вот старуха пряха сидит и сучит длинную нить. Она сгорблена, глаза ласковые, но светится в них грусть.

— Отчего она печальна? — неожиданно спросил гость.

— Радоваться ей нечему, ваше высочество. Старость не радость! — расторопно ответил управитель.

Цесаревич усмехнулся, и взор его перебежал на бронзовую лошадь. Он протянул руку в белой перчатке и потрепал ее по холке.

— Славный жеребец!

Не обмолвясь ни словом о других каслинских изделиях, гость повернулся и сказал Жуковскому:

— А теперь пусть везут на малахит!

Наследник и свита уселись в экипажи и поехали к Выйскому руднику.

— Едут! Едут! — с криком проскакал мимо Мирона полицейщик Львов.

Черепановы подтянулись, скинули шапки. Сердце

Ефима учащенно забилось: только бы увидели «сухопутный пароход» и заинтересовались им!

Экипажи приближались быстро. В первом из них Черепановы увидели цесаревича, а рядом с ним степенного Жуковского.

— Гляди, батюшка, и Любимов с ними! — показал отцу Мирон.

Напротив наследника сидел толстый управитель и давал пояснения. Внимание цесаревича привлек бронзовый памятник Демидову. Он приказал замедлить движение и, не сводя взора с фигур, спросил Любимова:

— Что за монумент?

— Это памятник владельцу здешних заводов покойному Николаю Никитичу, радением которого и процветает ныне наш завод и рудники!

Любимов похолодел, когда заметил, что наследник пристально взглянул на коленопреклоненную женщину с короной на величавой голове.

«Быть грозе!» — быстро сообразил он и втянул голову в плечи.

Однако гроза миновала его: равнодушный взор цесаревича перебежал дальше и остановился на машине Черепановых.

— Что за диковинка? — спросил он.

— Это, ваше высочество, первый «сухопутный пароход» в России! Он таскает руду и перевозит пассажиров.

— Кем устроена машина? — уставился наследник на Любимова большими, навыкате глазами.

— Наши заводские механики Черепановы изобрели машину, ваше высочество!

— Похвально! — улыбнулся цесаревич и махнул рукой.— Можно быстрее!

Черепановы уныло смотрели, как заклубилась пыль и вереница экипажей покатилась дальше.

«Теперь все кончено! — скорбно подумал Ефим: ноги его отяжелели, и он с хриплой одышкой сошел с «пароходки».— Плох будет хозяин!» — разочарованно посмотрел он вслед наследнику престола и, горбясь, побрел по Выйскому полю.

Мирон все еще стоял на площадке, на что-то надеясь, но экипажи не вернулись больше. После осмотра Выйского рудника гости миновали плотину и укатили дальше, на другие заводы.

Приездом наследника остались довольны лишь Лю-

бимов, которому цесаревич подарил бриллиантовый перстень, управитель Выйского медеплавильного завода, награжденный золотыми часами, да полицейщики с прислугой. Им отпустили из казны цесаревича девятьсот рублей.

Обо всем, высказанном наследником, повытчики Нижне-Тагильского завода занесли в бархатную книгу, обернули ее шелком, уложили на вечные времена в кованый сундук и хранили ее под семью замками...

После посещения цесаревичем Нижнего Тагила больница вновь приняла убогий вид, ученики заводской школы обрядились в рвань, и хорошие щи сменил постный суп и плохо выпеченный хлеб.

5

Черепанову мечталось приблизить Уральские горы и леса, руды и богатства к сердцу отечества. «Сухопутный пароход» изменял представление о времени и пространстве. Все внезапно становилось ближе и доступнее. Если бы продолжить линию чугунных колесопроводов до Москвы и далее, до Санкт-Петербурга, соединить с ними хлебородные районы Волги, по-иному зацвела бы жизнь в отчизне!

Но мечта его меркла. Каждый день теперь приносил новые придирки со стороны заводских управляющих. При всяком удобном случае они старались ущемить и унизить Черепановых. Для наблюдения за машинами и усовершенствования механизмов у них не оставалось времени. Все дни механики пребывали в разъездах, приводя в порядок разные механические приспособления на заводах и плотинные устройства. Паровозы портились, подолгу стояли в ремонте, и творцы их постепенно возвращались в прежнее положение плотинных мастеров. Любимов не скрывал своего равнодушия к Черепановым. Спустя два года после появления «сухопутного парохода» он писал в санкт-петербургскую контору:

«Выгоднее строить плотины и водяные колеса, нежели строить и содержать паровые машины. Это в чужих краях земля с рекой или речкой стоит дорого, а здесь они ничего не стоят. Вододействующие колеса по простоте своего устройства редко требуют значительных исправлений, а также расходы на содержание,

смазку и прочее для них не составляют почти никакого счета».

Так все и пошло по старинке. Одряхлевший управляющий не любил беспокойных новшеств, да они казались ему и ни к чему при даровой крепостной силе.

Ефиму Алексеевичу Черепанову шел шестьдесят пятый год, но он сильно осунулся, посивел и часто прихварывал, жалуясь на сердце. Его окончательно сломили бесконечные придирки и выговоры нижне-тагильской конторы.

В мае 1838 года Ефим Алексеевич написал прошение об увольнении его на пенсию.

«Достигнув преклонных лет,— писал он,— и чувствуя болезненные припадки, не в состоянии далее продолжать службу...»

На просьбу Черепанова не последовало ответа, и он продолжал работать по-прежнему.

26 ноября 1839 года в Нижнем Тагиле устраивали торжество в честь дня рождения сына Павла Николаевича. На праздник Любимов пригласил управителей, лекаря, исправника, пристава, почтмейстера, повытчиков, Ушкова и Черепановых.

Ефима и Мирона усадили на дальний край стола — «кошачий угол». Опустив глаза в тарелку, старый механик горько переживал это унижение. Подвыпивший Ушков пробрался к самому Александру Акинфиевичу и, поднимая чару, все время провозглашал льстивые тосты. Все пили и кричали «ура». Вместе со всеми поднимался и Ефим, но, не осушая чарки, прикладывался к ней губами и снова отставлял ее.

— Ты что ж это, за господ чураешься пить? — заревел Любимов.

Багровый, с припухшими веками, он встал и, опираясь о стол, поднял чару.

— Гляди, вот как надо за здравие нашего господина! — Он разом опрокинул чару в широко раскрытый рот и тут же поперхнулся, закашлялся и, побледнев, схватился рукою за сердце.

— Ох, худо мне...

Его подхватили под руки и, уведя в спальную горенку, сдали на руки лекаря, а сами поспешно вернулись допивать и доедать господское угощение.

Черепановы тихо поднялись из-за стола и незаметно выбрались из барских покоев.

Весной в Нижний Тагил пришел царский манифест о постройке железной дороги Петербург — Москва. Ни жив ни мертв стоял Черепанов в церкви, когда священник оглашал грамоту: снова на душе заворошились старые надежды. В мае на Урал прилетела еще весточка — председателем комитета по возведению железной дороги назначался наследник престола Александр Николаевич. Ободрился Ефим Алексеевич.

— Ну, сынок, может быть, и вспомнит о нашей машине! — утешаясь последней надеждой, сказал он сыну.— Ведь он видел нашу «пароходку». Зачем ему иноземные, когда свои машины налицо!

Сын скорбно посмотрел на отца и промолчал — не верил он больше своей удаче.

Очень удивился Черепанов, когда его в тот же день вызвали к управляющему. С того памятного дня Любимов так и не поднялся с постели: у него отнялись правая рука и нога. Пожелтевший, с обострившимся носом, он лежал, погруженный в пуховики. Но старик не унывал:

— Погоди, скоро, скоро отпустит, опять заверчу делами!

Встретил он Черепанова шумно:

— Слышал, что в державе нашей творится? Вот когда приспела обильная жатва для нас!

У Ефима Алексеевича в ожидании замерло сердце: вот-вот Александр Акинфиевич заговорит о машинах. Любимов заворочался в пуховиках, пытливо поглядел на механика.

— Катальные валы сможешь умножить на заводах?

— Мастерство знакомое,— спокойно ответил Черепанов и все ждал разговора о «пароходке».

Любимов одобрительно качнул головой.

— Хорошо. А печи пудлинговые, могущие нагреваться газами доменного колошника?

— И это в свое время ладили, Александр Акинфиевич, и успех был.

— Вот и я так думаю! — Управляющий вздохнул.— Ах, Ефим Алексеевич, нужный ты нам человек. Только и разговору сейчас о железной дороге между Санкт-Петербургом и Москвой. Выходит, будет спрос и на железные рельсы. И я так прикидываю: наш Нижне-Тагильский завод сможет выдать в год сто тысяч пудов. Вот где господам Демидовым барыши!

Ефим потускнел, но все же осмелился спросить:

— А что же с «пароходкой», Александр Акинфиевич? Вот уже с месяц по вашему приказу стоят на рельсах машины и ждут ремонта.

Любимов болезненно поморщился:

— Ну и пусть стоят! Коштоваты! Слышь-ко, Климентий Ушков согласился возить медную руду на конях во многажды дешевле!

Черепанов потупил глаза, руки его задрожали, но он все еще не верил такому решению.

— Зачем вызвали к себе, Александр Акинфиевич? — упавшим голосом спросил он.

— А затем, чтобы сказать тебе: не унывай, Ефим Алексеевич, может быть, рельсы катать будем, ну вот дела и прибавится на заводах. Ох-х! — Управитель тяжело вздохнул и снова заворочался в пуховиках.— И говорил мало, а устал! — пожаловался он.

Черепанов покинул покои управляющего. Вышел он на улицу, освещенную июньским солнцем, а в глазах его темно было от скорби. Его потянуло на Выйское поле. Вот они, чугунные колесопроводы: поржавели, между потемневших тесин-шпал пробивалась бледно-зеленая травка, а в тупичке одиноко стояла его машина — сиротливая, безжизненная. Бронзовые части потускнели. На высокой трубе сидела ворона и чистила перья. Завидев механика,закаркала, взмахнула крыльями и нехотя тяжело полетела прочь...

Ефим подошел к своему детищу, присел на подножку. Долго сидел он с тяжело опущенными руками. Давно ли тут, на линии, кипела веселая жизнь! Сколько было радостей и надежд, и вот сейчас все ушло безвозвратно!..

Он снял картуз, набежавший ветер зашевелил седые волосы. Механик горько вздохнул:

— Не дождаться нам счастья!

Сказал, и на душе стало невыносимо тяжело. В этот день он еле добрел до дома. Завидя его, старуха обеспокоилась:

— Что случилось, отец? Лица на тебе нет!

— Ничего, ничего, все хорошо! — печально отозвался Ефим.— Вот только прилягу немного, что-то сердце щемит...

Он разделся и лег в постель. Этого еще никогда не бывало, чтобы Ефим ложился в кровать среди бела дня.

— Захворал наш старик,— опечалилась Евдокия и погнала молодку: — Сбегай за лекарем!

Но Ефим услышал, поднял голову и строго сказал жене:

— Не зови лекаря, не надо! Не поможет он мне. Душа моя скорбит, и лекарь не порадует ее.

Он отвернулся к стене и замолчал. Чтобы не беспокоить его, женщины вышли из избы. Солнце клонилось к закату. Обеспокоенная долгим сном мужа, Евдокия осторожно вернулась, прислушалась к дыханию. Тих и неподвижен был Ефим Алексеевич. Женка заглянула в застывшие глаза и с криком упала на постель:

— Батюшки-светы... Да как же так!.. Ефимушка...

Лицо у механика было ясное, спокойное — все печали отошли от него. Евдокия упала на грудь покойника, ласкала его голову, разглаживала волосы, омывала лицо его теплыми, сердечными слезами...

Глава четвертая

I

Владельцы нижне-тагильских заводов не интересовались больше семьей Черепановых, и потому смерть Ефима Алексеевича нисколько не тронула их. Они, казалось, забыли и об Урале,— никто из них так больше и не побывал в своем родовом гнезде. Для них важны были деньги, а они поступали исправно. Прижимистый Павел Данилович и нижне-тагильский директор за долгие годы сумели создать послушную машину — целый штат заводских управителей, приказчиков, надсмотрщиков, стражу, которые выжимали все силы и соки из работных. Денег Демидовым требовалось много! Старший брат Павел ничего не жалел для того, чтобы выбиться в столичную знать. Младший, Анатолий Николаевич, окончательно поселился в Париже; он не знал родины, забыл родной язык. Его не привлекали скучные донесения и рапорты заводских управителей. Всеми делами заправляли секретари, они и переводили отчеты управляющих с русского языка на французский. Но даже и эти переводы Анатолий ленился читать и, не ознакомившись с документами, писал неизменное «apria». Если ему и доводилось написать что-либо, то писал он столь неразборчиво, что и сам не мог понять своего письма. Только угодливые секретари понимали написанное.

Каждый год санкт-петербургская контора исправно

переводила Анатолию Демидову два миллиона. Этот золотой поток привлекал к нему самых разнообразных людей. В Париже жили сотни и тысячи изящных мотов и мотовок, которые умели пускать по ветру целые состояния. Любовные истории всегда поглощали огромные капиталы. В золотой мешок постоянно метко направлялись стрелы Амура. Анатолий прекрасно понимал, что слишком долгие привязанности влекут за собой большую расплату, и потому старательно избегал их. Он менял своих любовниц так часто, как меняет модница шляпки. Ему были открыты двери самых чопорных салонов Сен-Жерменского предместья, но он зачастую предпочитал встречи с художниками, писателями, композиторами. С шумной ватагой представителей парижской богемы он любил посещать людные, задымленные табаком ночные кабачки Монмартра. Однако увлечения, попойки и угарные ночи не прошли бесследно для молодого повесы: в двадцать восемь лет он стал лысеть, лицо его постепенно приобретало лимонный оттенок. В эту пору он сдружился с Эдмондом Гонкуром. Ему нравилась его маленькая, тихая, полутемная квартира в глухой улочке, заросшей травой.

Анатолий приезжал к Гонкуру в блестящей карете с фамильным гербом, степенно входил в тихую обитель, усаживался у пылающего камина, протягивал ноги к огню и, согретый ласковым теплом, молча отдыхал. Гонкур, высокий, изящный, с большими темными глазами, казался весьма нежным и хрупким. Он садился на подлокотник кресла, мечтательно смотрел на пламя и после долгой паузы принимался неторопливо рассказывать о светских развлечениях. Голос его звучал успокаивающе.

Однажды, когда они наслаждались теплом камина, в комнату ворвалась высокая щебечущая молодая парижанка, и все сразу наполнилось возней, смехом и восхищенными восклицаниями. Анатолий очарованно смотрел на девушку. Ее стройная, гибкая фигурка была обтянута черным бархатным платьем, а сверкающие золотые локоны в беспорядке рассыпались.

— Едемте! Сейчас же едемте! — весело выкрикивала она.

Эдмонд учтиво поклонился ей.

— Принцесса, но вы еще не знакомы с Анатолием Демидовым. Вот извольте!

«Так это принцесса Монфор, родная племянница

Наполеона»,— догадался и обрадовался Анатолий.

Они оба пристально посмотрели друг на друга. Анатолий был пленен ее красотой. Стройная, нежная, с пышными золотистыми волосами и с кожей удивительно матовой белизны, она казалась самой чистотой.

Демидов не удержался:

— Позвольте сопровождать вас? Моя карета к вашим услугам.

— Едемте! Едемте без отговорок! — защебетала она и, подойдя к столу, произвела на нем живописный беспорядок, опрокидывая фарфоровые безделушки, флаконы.

— Что вы делаете? — переполошился Эдмонд.

Матильда, схватив его за руку, оттащила от стола и закружилась с ним по комнате.

— Сумасшедшая! — пробормотал Гонкур.— Ну что с ней поделаешь? Разве можно сопротивляться этому бесенку? Анатоль, придется ехать!

— Но меня не приглашают! — с огорчением отозвался Демидов.

— Нет, и вы сопровождаете меня! Теперь вы не покинете меня, раз встретились на моем пути! — смеясь, многозначительно сказала она.

Принцесса уступила свой экипаж Гонкуру, а сама перебралась в карету Демидова.

— Скажите же, куда мы по крайней мере торопимся? — ласково посмотрел на нее Анатолий.

— Как, разве вы не знаете — сегодня четверг у баронессы Обернон де Нервиль!

— Но я не приглашен! — пожал плечами Демидов.

— И не надо! — капризно надув губки, отозвалась она.— Вы мой паж.

— Вы прекрасны и покорили мое сердце! — всматриваясь в ее глаза, шепнул он.

— Нет, нет! Не говорите мне этого! — жеманно запротестовала она.— Я не во вкусе современных парижан. Теперь им нужны толстые ленивые Магдалины.

— Это не в моем вкусе.

— Не говорите глупостей! — Она придвинулась к нему и взяла его за руку. Анатолий изумленно продолжал смотреть в мерцающие глаза спутницы и не мог оторваться от них.

— В чертах вашего лица есть что-то от дяди, Наполеона!

Она засмеялась:

— Почему вы так пристально смотрите на меня?

Он не знал, что на это ответить. Плечо его близко коснулось ее плеча. Они безмолвно мчались по вечерним парижским улицам, и у обоих было хорошо на сердце.

Кони внезапно остановились, распахнулась дверца кареты. Строгий лакей с седыми бакенбардами чинно стоял, ожидая их выхода. Матильда выпорхнула из гнездышка, успев ободряюще шепнуть:

— За мной, Анатоль!

Через обширный вестибюль они прошли в гостиную, озаренную множеством огней. Демидов и ранее встречался с баронессой Обернон де Нервиль. Сейчас в зале шелестело платьями, сверкало драгоценностями, туманило голову ароматом тонких духов многочисленное дамское общество.

Навстречу Матильде и ее спутнику уже спешила хозяйка с застывшей улыбкой на лице. Анатолий превосходно знал этот тип парижской женщины. Эта заученная улыбка обратилась у нее в привычку, как у балерины входит в привычку умение держаться на пальчиках. Она выглядела чудесно в этом золотистом вечернем свете, но красота ее была фальшивой и безжизненной, как красота куклы.

Рядом с ней суетился муж, плотный карапузик с розовой лысинкой, большой охотник до трюфелей. Он слишком чревоугодничал и теперь растолстел. Его маленькие глазки, блестевшие из-под очков, были похожи на поросячьи. Он глупо улыбался и не сводил глаз с жены, восхищаясь каждым ее словом.

— Ах, дорогая, как поздно! — приветливо встретила Матильду баронесса.— Тут уже давно затеялся большой спор! — Она выразительно посмотрела на Анатолия и взяла его под руку: — Я так рада, так рада видеть вас! Жозеф, поторопись! — обратилась она к мужу. И ласковый карапузик мгновенно покатился шариком среди шумящих платьев.

Анатолий вскоре остался среди толпы разряженных дам. То и дело слышались восклицания: «Ах, какой чудесный муар-антик!» — «Что за прелесть воланы!» — «Я перевернула горы тарлатана, поплина, гипюра, и ничего не нашлось к моему лицу. Просто ужас!»

Даже Анатолию становилось скучно среди этих взволнованных чем-то прелестных существ: все сводилось у них к разговорам о выборе материи, лент, к отделке шляпок, кружевам, к модисткам, парикмахеру и магазинам.

«Ах, бог мой, как скучно!» — тайком зевнул Анатолий и попытался выбраться из пестрого канареечника, но полная дама, в бархатном платье с вырезанным четырехугольником на груди, окаймленным брюссельскими кружевами, с головкой пылкой испанки, схватила его за руку:

— Где же Эдмонд? Скажите, где он?

К счастью, Гонкур сам подвернулся под руку, и дама бросилась к нему. Черные глаза ее горели, когда она прощебетала:

— Мы все так жаждем услышать последние новости! Они всегда у вас в запасе.

Можно было подумать, что она и в самом деле ждет восхитительного рассказа Эдмонда, но Матильда, улыбаясь, прошептала Анатолию:

— Притворщица! Скажите ему, пусть остерегается. Она уже и так имеет вечным любовником этого плешивого поросеночка! — указала она глазами на карапузика-хозяина.

Вышколенный слуга, одетый в черное, внес на серебряном подносе крохотные чашечки с кофе и бисквиты. Его окружили, разбирая чашечки. Матильда подняла умоляющие глаза на Анатолия:

— Увезите меня поскорее отсюда!

Он не ждал вторичной просьбы: незаметно среди прибывающих гостей вышел в вестибюль, быстро оделся и выбежал к экипажу.

Через минуту со ступенек крыльца неслышно сбежала Матильда. Он распахнул дверцу кареты, и она, как летучая мышь, юркнула в уголок. Он привлек ее к себе, крикнув кучеру:

— Гони!

2

Как заговорщики, они понимали друг друга без слов. Желание другого угадывалось по одному взгляду, по выражению лица. Стоило только им покинуть знакомые чопорные салоны Сен-Жерменского предместья, как Матильда увлекала его прогуляться по ночному Парижу. Далеко за полночь Анатолий отправлялся с ней на шумные, людные бульвары. Наступила весна, цвели каштаны, поздно погасал оранжевый закат над крышами Парижа. Под деревьями густела тьма, синеватые

огоньки газовых рожков придавали этой полутьме приятную таинственность, которая влекла к себе. Женский молодой смех в ночных аллеях каждый раз пробуждал в Демидове любовную тоску. Было что-то бесшабашное, озорное в поведении Матильды. Страсть к острым, запретным ощущениям всегда влекла ее к сомнительным приключениям.

Вместе с шумной толпой они шли по засыпающему Парижу. Матильда толкалась, оглядывалась, как мидинетка, ищущая дешевых приключений. Строгая, воспитанная и холодно-равнодушная в салонах, здесь, на бульварах, принцесса становилась другой.

Дольше всех сверкал и колобродил бульвар Рошешуар, растянувшийся у подножия Монмартра. Демидов уводил Матильду в артистическое кабаре, где всегда бурлило и кипело веселье. Художники-иностранцы со всех частей света растрачивали в нем последние сбережения, здоровье, устраивая в промозглых, прокуренных подвальчиках ночные праздники.

Париж! Самый веселый город в мире ревностно всеми способами выкачивал золото из иностранцев. Здесь растрачивались миллионы, но золотой поток не оскудевал. На смену одним приходили другие. И в то время, когда рабочий Париж спал, забывшись тяжелым сном, нарядные кафе, бары, кабаре были переполнены.

В кафе их всегда окружали толпой художники,— монмартрская богема хорошо знала русского разгульного барича. Охмелевшие от вина, они в присутствии молодой женщины говорили двусмысленные вещи, а Матильда ясной улыбкой поощряла их.

Над городом гасли огни, пустели кафе, безлюдными становились бульвары, когда они выбирались на улицу, охваченную предутренней свежестью. Она зябко куталась, прижималась к нему и томно просила:

— Теперь скорее отвезите меня домой!

...Они были знакомы около месяца, но уже многие завсегдатаи кабачков приметили красивую парочку. Каждый день Матильда придумывала все новые и новые капризы, искала новых, более острых развлечений.

В Париже, подле Центрального рынка, всегда кипела своеобразная жизнь. В глухие ночные часы этот район привлекал к себе голодных и тех, кто хотел кутить до утра,— здесь кабаки и бары были открыты всю ночь. Во мраке к рынку с грохотом двигались огромные фургоны, двухколесные фуры, повозки, запря-

женные медлительными грузными першеронами. Словно страшное, ненасытное чудовище, рынок распахивал двери для потоков овощей, мясных туш, корзин с фруктами, с рыбой, мешков картофеля. И в то время, когда раздавались крики грузчиков, огородников, толстых, расплывшихся торговок, в окрестных кабачках у стоек и за столиками шла своя буйная, неугомонная жизнь. Кого только здесь не было! Старые, изношенные женщины, безобразие которых не мог скрыть грубый грим, наглые и циничные апаши, сутенеры, приказчики, всем пресытившиеся господа...

— Поедем в базарное кабаре! — упросила однажды Демидова принцесса. Ей хотелось видеть предутренний кабацкий Париж.

Анатолий повез ее. Он много раз бывал здесь раньше и знакомой узкой лестницей провел ее в этаж для «чистой» публики, к столику в глубине зала. В кабаре царили шум, угар и грязь. За соседними столиками кутили студенты, спуская последнее, иностранцы, дамы с кавалерами, заехавшие сюда прямо с бала.

Матильда жадно вдыхала отравленный воздух кабака, глаза ее блестели от возбуждения. Лакей во фраке поторопился подойти к ним, и Анатолий начал выбор блюд по меню, в то время как принцесса, притихнув, очарованно смотрела на танцующую пару. Две плоские, длинные девушки, прильнув друг к другу щеками, телами, ногами, слившись вместе в одно четвероногое мрачное существо, танцевали странный танец. Глаза их глубоко запали в черные глазницы, лица были бледны, и улыбка напоминала оскал. Казалось, два мертвеца танцуют свой загробный танец. Чудился тлен могилы...

Это была не жизнь, а смерть, отрицание светлой радости и чистой большой любви, но Матильда не отрывала взора от танцующих. Анатолий изумленно посмотрел на принцессу. Он начинал понемногу разгадывать ее.

Все здесь кругом было полно самого беззастенчивого цинизма. Высокий сухопарый англичанин, хмельной, с тупыми мрачными глазами, поднимает бокал и льет вино за корсаж своей даме, а она громко визжит, визжит без конца. Она не отбивается, ей весело, чересчур весело. А рядом за столиком, уронив рыжую голову, навзрыд плачет девушка, подруга же ее с возбужденными от кокаина глазами тупо смотрит на пьяное горе.

Сизый от дыма зал наполняет неумолкаемый гомон;

в него вплетаются тонкие, нежные звуки скрипки, которая захлебывается в этом грязном омуте. Седовласый старик с шарфом на шее, гордо подняв голову, водит смычком. Глаза его зажмурены. Он, видимо, не хочет видеть угарного веселья, беснования. Или, может быть, он вспомнил свою молодость, золотую юность? Или старается не смотреть на фрукты, вино, женщин, чтобы не раздражать свое голодное тело?

Матильда сидит не шевелясь, прищурив глаза, жадно разглядывая окружающее. Вот парочка — совсем молоденькие, только что оперившиеся птенцы. Она — наверняка модистка или белошвейка, а он — приказчик,— это выдают его манеры. Они упоены, не сводят влюбленных глаз друг с друга. Время от времени он берет руку возлюбленной и медленно, полузакрыв глаза, самозабвенно целует каждый пальчик. Она улыбается, и на лице неподдельная чистая радость. Как хочется Матильде быть на ее месте! Хорошо испытать подобное!

В этот миг что-то слонообразное, полосатое тяжелой походкой топает мимо столика, и густой злющий голос рокочет в зале:

— Вот он где! Я содержу его, а он — со шлюхой!

Анатолий, замерев, во все глаза смотрит на Матильду. Толстая рыжая торговка в клетчатом переднике и в бретонском чепце уперлась руками в бока и извергает потоки брани. Наконец она грубо набрасывается на девушку, только что млевшую от восторга, схватывает ее за высокую прическу, треплет и бьет кулаками. В зале раздаются смех и подзадоривания. Буянка опрокидывает девушку на пол, избивает, а хмельные рожи хохочут и ржут. Никто не думает вступиться за несчастную.

Утолив ревность, слониха схватывает за руку своего напроказившего любовника. Он покорно идет за нею, улыбается, а она, колыхаясь толстым, студенистым телом, все еще отпускает по адресу соперницы самую отборную брань...

— Какая мерзость! — с ужасом вскрикнула Матильда.— Ой, какая подлость! — Глаза ее наполнились гневом. Она схватила Анатолия за руку.— Нам здесь не место!

Когда они вышли к Центральному рынку, над стеклянной кровлей догорали огни. Обметали и обмывали тротуары, продавцы готовились к началу торговли. Матильда с брезгливостью посмотрела на толстую жен-

щину с наглыми глазами, присевшую у прилавка, и вздрогнула.

— Какая мерзость! — возмущенно повторила она и затормошила Анатолия.— Подумайте, у него не нашлось мужества вступиться за подругу! Низость!

...Над Парижем занимался рассвет. Анатолий взял фиакр, усадил рядом с собой принцессу, и они помчались по бульварам.

Она всю дорогу молчала, опустив голову на грудь. Он незаметно любовался ее возбужденным лицом.

Когда фиакр остановился, Матильда вдруг оживилась. Весело прощебетала:

— Наконец-то вы мне нравитесь, мой милый!

И не успел Анатолий опомниться, как она обняла его и жарко, поспешно поцеловала. Выпорхнула из фиакра и приложила мизинец к губам:

— Молчите! Дальше нельзя... Вам следует поговорить с моим отцом!..

Темная фигурка ее мелькнула, словно бабочка, под фонарем подъезда, и быстро исчезла.

Извозчик вздохнул:

— Все они таковы, мосье! — тихо покачал он головой.— Только и стараются надеть упряжь нашему брату! Э-ге, пошли! — крикнул он на трусивших коней, и фиакр снова загремел по мостовой.

3

Отец Матильды, бывший вестфальский король Жером, занимал ныне очень скромную должность директора Дома инвалидов. Направляясь к нему, Анатолий предполагал встретить ветхую руину человека. В большом обществе очень много рассказывали о похождениях старого селадона, вся жизнь которого ушла на бесконечные амурные дела. В браке бывший король не нашел счастья: с первой женой, американкой Паттерсон, Жером развелся, а вторая жена, принцесса Екатерина Вюртембергская, мать Матильды, скончалась, оставив Жерома вдовцом. Все это должно было оставить на нем неизгладимый след, и Демидов весьма поразился, когда в скромной казенной квартирке Дома инвалидов встретил бодрого, молодящегося старика, державшегося с большим достоинством. Гостя он принял с распростертыми объятиями и удостоил его приглашением к обеден-

ному столу. Развенчанный король был женат теперь на простой флорентинке Бартолини, высокой и строгой даме с ястребиным носом. Жером трепетал перед нею, величая супругу маркизой.

Когда усаживались за стол, он, по обычаю коронованных особ, усадил жену слева, а гостя справа, оказывая тем ему высокую честь. Трапеза началась в полной тишине, торжественно. Матильда, не спуская глаз с Анатолия и отца, то вспыхивала, то бледнела. Она трепетала, когда Демидов украдкой разглядывал обстановку, представлявшую собой рухлядь, служившую по крайней мере нескольким поколениям. В квартире все выглядело убого, красноречиво говоря о тщательно скрываемой нищете. Плохо выбритый слуга в штопаных нитяных перчатках подавал на стол. Движения этого першерона с угрюмым взглядом были замечательно неуклюжи и грубы. Он с явным неудовольствием ставил перед Демидовым скромные блюда и наливал ему в бокал плохое вино. Мрачно склонившись над гостем, он в нерешительности несколько секунд держал графин над бокалом, видимо раздумывая, стоит ли наливать приглашенному драгоценную влагу? Только злой взгляд «короля» заставлял его наполнять хрустальный сосуд.

Обычно дерзкая, бесцеремонная и насмешливая в обращении с другими, здесь, в квартире отца, Матильда притихла, зябко поеживалась, внутренне трепеща за исход задуманного. Умная и предусмотрительная во всем, она, без сомнения, хорошо понимала, что Демидов догадывается о нищете их семейства.

«Чтó бы сказал Анатоль, если бы узнал, что этот увалень слуга является во всем доме единственным, играя роль повара, конюха, лакея и камердинера! — с ужасом думала принцесса.— И как держался бы он, если б узнал, что мачеха, «маркиза» Бартолини, сама штопала слуге нитяные перчатки, ругая при этом его, как последняя торговка на базаре!»

Только поведением своего отца дочь осталась вполне довольна. «Король» Жером держался осанисто и, как опытный капитан дальнего плавания, ловко проводил свое суденышко среди рифов и подводных камней. Чтобы напомнить Анатолию, с кем он имеет дело, Жером весьма много говорил о недавней старине, о своих дворцах в Вестфалии и особенно широко разглагольствовал о привычках своего брата, Наполеона I. В движениях бывшего короля сквозило немало театральности, наиг-

ранности, и Демидову становилось приятно, когда сквозь всю наносную шелуху ему вдруг удавалось в лице Жерома уловить что-то величавое, строгое, отдаленно напоминавшее черты Наполеона I. Просто не верилось, что этот чудаковатый, церемонный старик когда-то сидел на королевском престоле.

Живя в Париже, Демидов многому научился. Он хорошо знал, что за всей этой словесной мишурой и наивной театральностью в поведении бывшего короля скрываются огромные долги и пошлости. Сидя за столом Жерома, он прекрасно ощущал всю тщетность усилий бывшего короля прикрыть высокопарной болтовней свою бедность. Он знал, что за громким титулом принцессы Матильды де Монфор скрываются нищета и безденежье. Анатолий не самообольщался, но его тщеславию льстило, что все же его избранница — родная племянница Наполеона I и дочь бывшего короля. Из песни слова не выбросишь! Чего стоит одна слава!

«Пусть знают в России, что Демидов породнился с родом императора Бонапарта! — горделиво рассуждал он.— А все остальное — чепуха! У меня хватит денег прикрыть эту наготу!»

После обеда Жером увел Анатолия к себе, в полутемный кабинет. Перед истертым диваном на круглом столике стояли две чашки черного кофе. Жером устало опустился и пригласил гостя сесть рядом.

Наступил решительный момент, и Демидов хорошо это понял. Хозяин придвинул ящичек с сигарами и любезно предложил их гостю.

Лицо «короля» выглядело спокойно и серьезно. Наклоняясь к Анатолию, он сдержанно, как о самой обыкновенной вещи, спросил:

— Теперь скажите, мой милый Демидов, какие ваши намерения?

Анатолий встрепенулся,— все шло хорошо.

— Я хочу просить у вас руки вашей дочери! — с улыбкой признался он.

— Ах, мой милый! — прослезился Жером.— Как неожиданно вы нанесли мне удар в самое сердце! Что я буду делать без моего сокровища? — Он потянулся и, обняв Демидова, по-стариковски всхлипнул.— Я понимаю, очень хорошо понимаю вас, моих дорогих голубков. Когда любят, обычно не знают преград! — ласково заворковал он, но тут как бы спохватился, освободил Демидова и, тяжело опустив голову, сидя в задумчивой

позе, вымолвил: — Что же вам сказать? Есть маленькое «но», однако я не смею огорчить вас им. Нет, нет, не смею! — решительным тоном выговорил он, поднялся с дивана и заходил по зашарканному ковру.— Право, не знаю, как и быть! — в деланном раздумье продолжал он.— В таких делах я, мой милый, совершенный профан, хотя и король! — В голосе Жерома прозвучали горделивые нотки.— Знаете что? Это маленькое «но» великолепно разрешит маркиза Бартолини. В таких вещах она разбирается лучше императоров и королей! Идем же к ней!

Он любезно взял Анатолия под руку и увлек к супруге. Матильды в комнате не было. В большом сумрачном зале их встретила одинокая «маркиза».

— Вот, передаю вам, моя очаровательная! — сказал Жером, учтиво поклонился и поспешил удалиться.

Грузная флорентинка с темными оливковыми глазами, под которыми набухли серые мешки, усадила Демидова рядом и сладчайшим голосом сама повела речь:

— Я догадываюсь, в чем дело, мосье! Вы избрали самое лучшее, что можно найти в Париже. Это прелестное существо, настоящий ангел! Да, да, ангел! — Она молитвенно сложила руки и возвела очи горé. С пламенной страстностью она в течение часа убеждала Анатолия в достоинствах своей падчерицы. Демидов диву дался: то ли она в самом деле так сильно любит Матильду, то ли старается поскорее сбыть ее с рук?

— Ангел, ангел небесный! — сладко вздыхала Бартолини.— Но вы ведь должны понять, что мой король будет в большом затруднении. Сможете ли вы их преодолеть? Ведь вам предстоит не простой брак! — торжественно заключила она и пристально посмотрела ему в глаза.

— Постараюсь преодолеть все препятствия! — решительно ответил Демидов и, загораясь желанием разом покончить дело, стал настаивать: — Скажите, в чем дело? Речь идет о приданом? Оно мне не нужно!..

— Нет, нет, это еще не все! — сверкая глазами, обрадовалась флорентинка. В голове ее быстро промелькнула мысль: «Слава богу, половина дела устроена!»

Поколебавшись с минуту, она умильно призналась Анатолию:

— Матильда имеет титул... Дочь короля... Племянница императора... Понимаете, ей не совсем удобно в глазах общества выходить замуж за простого дворя-

нина. Не обижайтесь; ради всего святого, не обижайтесь! — прильнув жирным плечом к гостю, залепетала Бартолини.

— Что же тогда делать? — огорченно спросил Демидов, а в душе его все бушевало от оскорбления. Ему хотелось вскочить, затопать ногами и закричать попросту, по-дедовски: «Нищеброды! А ты кто сама, давно ли стала изображать собою маркизу? Хорош и король, у которого лакей прислуживает за столом в штопаных перчатках!»

Однако он сдержался, потемнел и опустил голову. Тогда послышался тихий, вкрадчивый голос итальянки.

— Что предпринять? — как эхо повторила она.— Для вас, сын мой, все это просто. Вы так богаты, так сказочно богаты! В конце концов можно купить титул. Я знаю одно княжество... Да, да, Сан-Донато, под Флоренцией... Надо его купить вместе с титулом. Вы станете князем Сан-Донато! Прелестно! Да благословит вас мадонна! — Она рассматривала его коровьими глазами и хладнокровно, как решенное дело, сказала Анатолию: — Когда вы едете в Италию? Завтра или через неделю? Впрочем...— Тень озабоченности легла на лицо флорентинки.— Впрочем, нужно позаботиться о приданом. Конечно! Отец разорился на ее наряды...

Она уже командовала и высчитывала, как хозяйка. Демидова коробило от бесцеремонности этой увядшей женщины, которая, не спрашивая, распоряжалась его богатством. Однако он терпеливо со всем соглашался.

Когда итальянка оговорила все до мелочей, она вдруг улыбнулась и захлопала в ладоши.

— Жером! Матильда! Где вы? Идите скорее сюда! — по-мужски зычно закричала она, упираясь короткими руками в крутые жирные бока.

На ее зов мгновенно появились отец и дочь. Раскинув руки, Жером привлек к себе Анатолия и Матильду и, снова старчески всхлипывая, заговорил совсем весело:

— Я очень рад, очень, что все хорошо устроилось! Будьте счастливы, дети мои!

Посредине комнаты, подбоченившись, в позе победительницы стояла «маркиза» Бартолини.

— Мосье Демидов, благодарите небо за ниспосланное вам счастье: вы роднитесь с королями! — торжественным голосом провозгласила она.

...С этого дня обрученные забыли дорогу в шумящий,

разнузданный Монмартр. Они решительно избегали художников и былых знакомых по кабачкам. Анатолий и Матильда ревностно занялись приобретением приданого. Невеста неутомимо развозила жениха по магазинам, ателье и антикварным лавкам. Приказчики выбрасывали перед нею груды шелка и нежнейших тканей. Она жадно зарывалась в их пену руками. Казалось, наслаждению ее не будет предела. Можно было ожидать, что вот-вот она целиком нырнет в этот поток шелестящей нежной пены, чтобы насытиться сладостью обладания им. Демидов поражался мотовству своей будущей супруги. Она покупала десятки, сотни ненужных вещей, отыскивая на берегу Сены мрачноватые антикварные магазины.

— Погляди, как он мило и загадочно улыбается! — тормошила она Анатолия, показывая на золоченого Будду, таинственно глядевшего из полумрака магазина.— Непременно эту безделицу надо отослать домой!

Долго сдерживаемая жажда роскоши овладела Матильдой,— ей хотелось все иметь. Особенно не давали ей покоя наряды...

На короткие часы Анатолию удавалось оставаться без невесты, и тогда он, по старой привычке, бежал в ближайший монмартрский кабачок, где его шумно встречали знакомые художники. Они пели ему шутливые печальные песенки, слегка подтрунивая над ним.

Только один раз за всю неделю удалось зайти к Гонкуру, с дружеской укоризной встретившему его.

— Вы забыли меня, совсем забыли! — упрекал он Демидова.

В эту встречу так и не наладилось веселого, приятного разговора об искусстве. Эдмонд держался настороженно, словно потерял что-то дорогое и теперь скорбит об этом.

Анатолий с легкой насмешкой рассказал ему о своих поездках по магазинам, ателье и модисткам. Гонкур покачал головой.

Провожая гостя, Эдмонд тяжело вздохнул:

— Берегитесь, Демидов, эта золотая курочка разорит вас!..

Назавтра Анатолий, благословляемый Бартолини, выехал в Италию.

Здесь, во Флоренции, все еще пустовало огромное отцовское палаццо, оберегаемое слугами во главе с управляющим Мелькиером— пронырливым, дородным италь-

янцем, с тяжелой нижнею челюстью, выпиравшей, как у гиббона. Молодой хозяин ожил, почувствовал прилив сил и занялся устройством дел. Бартолини оказалась права — княжество Сан-Донато продавалось вместе с титулом. Анатолий с Мелькнером поехали в имение, тщательно осмотрели дворец, окрестности и остались очарованными. Бродя по залам дворца, Анатолий мысленно занимался его отделкой.

Если в Париже сгорала от нетерпения приобретать нужное и ненужное Матильда, то в Италии внезапно проявил бурную деятельность Демидов. Он добился признания за ним титула князя Сан-Донато. По его настоянию Мелькиер отыскивал по всей Италии три тысячи стройных, сильных стрелков, формируя из них придворную гвардию. Со всех концов страны в Сан-Донато съехались и сошлись каменщики, мраморщики, резчики, позолотчики и взялись за переустройство дворца.

Анатолий Демидов, князь Сан-Донато, готовился к приему принцессы Матильды де Монфор в своем крошечном государстве, отстоявшем на расстоянии всего нескольких миль от Флоренции.

4

...Анатолий Николаевич почтительно проводил супругу до дверей спальни, и оба весело переглянулись. Светло-серые с золотистыми искорками глаза Матильды призывно мерцали на бледно-матовом лице. Она раскрыла пухлые губки, хотела что-то сказать, но зарделась и только улыбнулась. Муж нежно поцеловал теплую ладонь жены и оставил ее одну.

Она вошла в огромную, высокую комнату, отделанную шелком с позолотой. Что-то театрально-бутафорское было во всем, что окружило молодую женщину за порогом спальни. Перед ней тотчас появилась камеристка, худощавая, но хорошо сложенная блондинка. Девушка сделала книксен и, ожидая приказаний, восторженно смотрела на госпожу. Нежные, тонкие черты лица прислуги были приятны. Матильда благосклонно улыбнулась служанке.

«Наконец-то окончилось скучное свадебное путешествие!» — облегченно подумала она и, краснея, сказала камеристке:

— Вы мне не нужны! Можете уходить!

Девушка послушно склонила голову, но не уходила. Она не могла уйти, не уложив госпожу в постель.

На минуту молодая женщина забыла о своей служанке. С чисто женским любопытством Матильда разглядывала комнату, ее будущее гнездышко. Посреди паркетного пола, на возвышении под шелковым балдахином, стояла величественная кровать красного дерева — замысловатое, подавляющее вычурностью сооружение. Балдахин поддерживали нежнокрылые амуры. А кругом — гирлянды искусственных цветов, раковины, драпировки, ленты, зеркала. Сверху на паркет и ковры ровно лился густо-голубой свет ночного фонаря, озаряя тонкие кружева и простыни. По правде говоря, она не ожидала такой пышности. Матильда медленно поднялась на возвышение, пристально оглядела подавляющую роскошь и сладко вздохнула:

— Какое прекрасное ложе!

С кошачьей легкостью, неслышно к ней подошла камеристка и стала ее раздевать.

Когда служанка ушла, Матильда легла в постель и закинула за голову тонкие руки. Матовый свет заливал ее голубой волной, играл нежным мерцанием в зеркалах. Лежа на пышной постели, молодая женщина видела себя отраженной много раз и долго любовалась собой. Глаза ее по-прежнему струили золотистые искорки, как костер в синей ночной мгле.

Она ждала мужа и томилась.

Незаметно подкрался сон, и Матильда не помнила, сколько времени она продремала под теплым голубым светом. На мраморном камине мелодично прозвенели часы. Она проснулась вдруг от непонятного страха. В спальне стояла сонная глубокая тишина, ровно лился свет. Никогда в жизни она не чувствовала такого одиночества, как в эту ночь! Ей хотелось вскочить, закричать, позвать камеристку, но гордость не позволила ей снизойти до этого.

«Что же он медлит?» — с изумлением подумала она, уткнулась в подушку и горячим дыханием обожгла ее. На ресницах заблестели слезы обиды и оскорбления.

Несколько раз проиграли затаенно-нежно часы, а она все не могла уснуть: ворочалась, маленькими сильными кулаками взбивала подушку и прислушивалась к тишине.

«Что же он не идет? — беспрестанно спрашивала она себя.— Это ужасно и недопустимо! Невозможно!»

Все в ней протестовало против неожиданного одиночества, но самое главное — ее все больше и больше обуревал страх в этой большой и молчаливой комнате. Терпение истощилось; страшась чего-то и дрожа от негодования и прохлады, она схватила легкую подушку и вместе с ней, в ночном халатике, вышла из спальни...

Было далеко за полночь. В широкие окна лилась густая лунная мгла, светившаяся, как изумрудное тело медузы. Матильда неслышно шла, как лунатик,— с протянутыми руками, белая, невесомая в потоках этого призрачного света. Глаза светились восхитительными искорками,— они сияли от злого возбуждения. Сердце бурлило гневом...

Вот наконец спальня мужа! С подушкой в руке, растерянная и дрожащая, она стояла перед высокой, массивной дверью. Мужество оставило ее, она готова была расплакаться, как девочка, но только робко постучала в дверь и тихо-тихо позвала:

— Анатоль! Анатоль!

Никто не отвечал. Лицо молодой женщины вытянулось, головка поникла. Какой несчастной она почувствовала себя в эту минуту!

— Анатоль! — вдруг резко закричала она и стала барабанить кулаками в полированную поверхность. За дверью послышался шорох, кто-то неслышно подошел и встревоженно спросил:

— Кто здесь?

— Анатоль, это я! Это я! — задыхаясь, повторяла она.

Князь Сан-Донато тихо распахнул дверь и впустил жену в свою комнату. Он был в ночной, доходившей до пят, рубашке и в колпаке, в дрожащей руке держал зажженный канделябр.

— Боже мой, что вы? — в ужасе прошептал он и взял ее за руку.— Как вы решились? Что может подумать о нас прислуга?

Матильда сердито взглянула на мужа. Искорки в ее светлых глазах превратились в гневные, колючие булавки.

— Идемте спать! — требовательно выкрикнула она.— Мне нет дела до других!

Она быстрыми шажками подбежала к алькову

мужа, бросила туда свою легкую подушку и вслед за ней опустилась в мягкую постель.

— Гасите свет! — приказала она, и Демидов покорно затушил одну за другою свечи...

Утром она вернулась на свою половину грустная и разбитая. До полудня молодая женщина неподвижно пролежала в постели, задумчиво разглядывая амуров. Камеристка тщательно одела госпожу, но прелестный наряд не улучшил настроения Матильды, и вид ее попрежнему оставался безрадостным.

С этого дня Матильда сходилась с мужем только за обедом и завтраком. Хотя они и совершали совместные прогулки, но супруга сразу охладела к Анатолию. Часто в минуты разъездов, когда они сидели рядом в экипаже, он ловил на лице жены выражение то презрения, то брезгливости, а прекрасные глаза ее обдавали его леденящим холодом.

Княгиня Сан-Донато одиноко бродила по пышным, но неуютным залам дворца, в котором все было принесено в жертву показному великолепию. Слуги в роскошных, расшитых золотыми позументами ливреях, охранная дворцовая гвардия, конюшни с чистокровными выездными лошадьми — все это придавало внешний блеск существованию, но не приносило долгожданной радости.

Камеристка давно заметила томление и муки своей госпожи. Однажды, разоблачая княгиню на ночь, служанка понимающе улыбнулась, вздохнула. В ответ на это Матильда застенчиво призналась камеристке:

— Он робок или бог знает что!

Девушка сверкнула глазами.

— Мужчины всегда такие! — горячо сказала она.— Когда им дается счастье в руки, они слабеют, охладевают! Они любят препятствия!

— Полно, моя дурочка, это далеко не так! — весело рассмеялась Матильда и схватила ее за подбородок.— У тебя хорошие зубки, Аннет!.. Хорошо, сделаю по твоему совету! — сказала она, а сама разочарованно подумала: «Нет, он не придет ко мне! Нужно самой! Пора спросить, что же, когда?»

Она снова пришла к нему ночью, словно кающаяся грешница, и робко постучалась в дверь. Демидов открыл свою комнату и впустил жену. Она устало опустилась в глубокое вольтеровское кресло, закрыла рукой глаза, глубоко вздохнула:

— Анатоль, скажи, что случилось?

Тонкий, исхудалый, в длинной ночной рубашке, он походил на призрак. Ироническая улыбка скользнула по его губам. Он насмешливо ответил ей:

— Моя милая женушка, я очень долго ждал вас и сильно терзался. Что же мне оставалось в утешение? Одно — женщины! Видимо, я не рассчитал своих сил на будущее.

Не успел он окончить, как раздалась звонкая пощечина.

— Вор! Вы обворовали меня! — с негодованием закричала она и выбежала из его комнаты.

С этой ночи они были еще более сдержанны по отношению друг к другу. Никто не заметил трещинки в их семейном счастье. За завтраком Анатолий со святой невозмутимостью справлялся у жены:

— Как почивали, мой друг?

Лучезарные и радостные глаза Матильды устремлялись к голубому небу:

— Превосходно!

Однако княгиня скоро стала томиться. Чтобы развлечься, она решила заниматься живописью. Во Флоренции подвизались сотни голодающих художников, и Анатолий привез одного из них в Сан-Донато. Но странное дело — он ни на минуту не оставлял свою жену наедине с черноглазым бойким итальянцем. Князь терпеливо долгие часы просиживал с ними в обширном светлом зале, где шли уроки, и не менее терпеливо выслушивал болтовню Матильды. В эти часы, казалось, она вспыхивала, как свечечка, и своим мягким золотым сиянием озаряла художника.

Жена разводила на холстах пачкотню, а итальянец умильно разглядывал ее и фальшиво восторгался:

— О, как превосходно, синьора! Здесь почти линия Рафаэля!

«Бесстыдник! Лжец! — хотелось закричать Анатолию и затопать ногами.— Как смеешь ты низводить гения до пошлости?»

Однако он сдерживался и учтиво прерывал учителя:

— Не говорите этого, княгиня возомнит о себе!

Матильда не обижалась на мужа, по крайней мере делала вид, что не обижается. При художнике она обнимала Анатолия и целовала в лоб.

— Какой же ты злой! — весело щебетала она.

Демидов чувствовал фальшь в ее смехе, в движениях, во взглядах. Однажды он перехватил мимолетный многозначительный взгляд Матильды, которым она перекинулась с итальянцем. Князю Сан-Донато стало не по себе.

«Между ними что-то есть!» — решил он и еще строже стал наблюдать за женой во время уроков.

Наконец молодая женщина не выдержала комедии и покинула живопись, чтобы больше не возвращаться к ней.

— Скучно! — с нескрываемой зевотой призналась она и забросила искусство.

5

Многие месяцы молодые супруги вели отчужденный образ жизни. Сохраняя внешне мир и учтивость, они ненавидели друг друга. Демидов вполне удовлетворил свое самолюбие перед светским обществом: он, потомок тульских кузнецов, женат на дочери вестфальского короля! Во всех других отношениях его супруга ничем не отличалась от обычных пустых и легкомысленных женщин. У нее ничего не было святого и благородного. При заключении брачного контракта в мэрии Анатолий подписал торжественное обещание воспитывать будущих детей в духе римско-католической церкви,— этого настойчиво добивалась невеста. На самом деле уже тогда они заведомо обманывали друг друга, так как пользовавший Демидова врач заявил ему: «Мосье, вы вконец израсходовались. Я должен вас предупредить о печальном будущем: у вас не будет детей». Двадцатидевятилетний мужчина, лысоватый, с утомленными глазами, владелец огромных богатств, безразлично пожал плечами. «Не будет — и не надо! Сударь, меня интересуют мои потомки так же, как прах и кости моих предков! Я живу только для себя и в свое удовольствие, а остальное меня не касается!» — цинично сказал он.

Подписывая брачный договор, принцесса, в свою очередь, безразлично относилась к делам католической церкви. Она никогда и ничего не понимала в церковных обрядах, предоставляя этим заниматься священникам. На пункте о вероисповедовании будущих детей князя Сан-Донато настаивал кардинал, и принцесса не могла отказать ему в этом: она всегда с благоговением относилась к красной кардинальской мантии. Сейчас, живя

в небольшом княжестве под Флоренцией, она давно забыла о важном пункте контракта.

Совсем неожиданно осанистый дворецкий корректно, с таинственным видом доложил Демидову:

— Ваша светлость, прошу уберечь княгиню от недоразумений. Эти жирные каплуны попы везде суют свой нос!

— Что им нужно в моем дворце? — взволнованно спросил Анатолий.

— Ах, ваша светлость, разве вы не знаете, что они стерегут наши души! — тихо сообщил дворецкий.— Они могут увидеть... Их светлость взяли из домашней церкви золотую чашу и по незнанию превратили ее в некий сосуд известного назначения...

Сан-Донато улыбнулся выходке супруги.

— Ну, милый мой, это меня не касается. Предупредите ее светлость о грозе,— еле сдерживаясь от смеха, сказал он.

Дворецкий послушно поклонился.

Изящный, полный прелести безмятежный мирок, который окружал Демидову, показался ей чересчур тесным и однообразным. Через полгода она потребовала у супруга:

— В Париж! В Париж! Я задыхаюсь здесь, в пресной воде этого голубого аквариума!

Как древоточец грызет старинную мебель, так усердно она точила мужа в течение трех недель. Наконец он согласился, махнув на все рукой:

— В Париж так в Париж!

По совести говоря, он и сам не прочь был пожуировать в этом Вавилоне. Даже для него там найдутся утехи!

Они отправились в карете в приятное весеннее путешествие через Альпы, Канны, Ривьеру, полные оживления и радостей. Два месяца они прожили на лазурном берегу Средиземного моря, и Анатолий, чтобы не показать себя потомком плебеев, терпеливо сносил флирт своей супруги и сам не оставался в долгу. Покинутый Матильдой на долгие часы, Демидов бродил по берегу моря, уходил в горы, и там, в маленьких деревушках, любовался стадами овец, домашней птицей и грузными медленными быками, тащившими по темной пашне тяжелый плуг. По соседству с пышной Ривьерой существовал иной мир — обиталище суровых и грубых поселян, тяжелого труда и простых отношений. За князем Сан-

Донато всегда бегали толпы оборванных ребятишек, жадных попрошаек с протянутыми за подачкой загорелыми ручонками.

Однажды на берегу моря он встретил смуглую смеющуюся девочку. Она была одета в сильно изношенную полинявшую рубашонку, но это единственное ветхое одеяние являлось самой лучшей оправой для четырнадцатилетней резвуньи. Сквозь дыры коротенькой рубашонки мелькало ее крепкое бронзовое тело. Изумленными глазами дикарки она смотрела на Демидова, протянувшего ей золотую монету. Девочка растерянно смотрела по сторонам, не зная, что делать: верить ли внезапному счастью или поскорее убежать от него. Ее мелкие белые зубы блестели, как влажный жемчуг, жадный взгляд перебегал с рослой фигуры незнакомца на монету и обратно. В этом маленьком существе происходила борьба, но голод должен был в конце концов победить. Улыбаясь, она взяла золотую монету и крепко зажала в руке. Потупив глаза, девочка испуганно поглядывала на господина и чего-то ждала, но Демидов только нежно потрепал ее по щеке:

— Какая ты красавица, крошка!

— Благодарю, мосье! — быстро присела она и, мелькнув босыми ножками, побежала вверх по горной тропе.

В три дня он приручил к себе эту маленькую приморскую дикарку. Может быть, приносимая ею каждый раз золотая монета подкупила сердце ее родных, но она аккуратно в полдень прибегала на берег. Раз он опоздал и пришел внезапно, когда она купалась. В белой пене прибоя ее тело тускло блестело золотым слитком. Завидя Анатолия, она поспешно убежала за кустик и накинула на себя рубашонку. Дикарка не успела завязать на шее шнурок, стягивавший в складки ее старенькую одежду, и Демидов заметил маленькую обнаженную грудь, золотистую и почти созревшую.

Бесконечно взволнованный, он выждал, когда она закончит свой несложный туалет, сел рядом с ней, и давным-давно забытое волнение овладело им. Боясь спугнуть ее, он решил действовать осторожнее.

— Сведи меня в деревню, к твоему отцу! Я хочу видеть его и поговорить о твоей судьбе,— предложил он.

Девочка встрепенулась, смуглое личико ее вытянулось, в глазах была печаль.

— Ах, мосье! — грустно отозвалась она.— У меня нет ни отца, ни матери. Я живу у тетушки.

— С ней столковаться будет еще легче,— сказал Анатолий и, взяв ребенка за руку, сказал, как повелитель: — Веди!

Она привела князя в какую-то трущобу. В лачуге без окон, без мебели, на куче травы лежала седая рыхлая женщина. Она изумилась при виде гостя, но не поднялась. От нищенки разило вином. Мутными алчными глазами старуха уставилась на Анатолия.

— Ах, мосье, вы, оказывается, красавец! Если бы я была моложе, не уступила бы вас племяннице! — бесцеремонно разглядывая его, сказала она.— Кш! Кш! — замахала она на девочку.— Уйди, дай мне поговорить с мосье!

Сверкнув глазами, дикарка выбежала за порог. Там под густой тенью платана послышался ее ломкий, звонкий голосок. Тетушка прислушалась к пению ребенка, тяжело вздохнула:

— Поверьте, и я когда-то так пела! В ее возрасте я уже имела любовника. Ах, мосье, поверите ли, как мне жаль это сокровище! Как хотите, это же родная кровь! Но я дала покойной сестре слово устроить судьбу ее Мари. Отчего же нет? На что я могу рассчитывать, мосье?

Эта откровенность покоробила Демидова, но привычка видеть во всем продажность взяла свое. Не опуская взора, он прямо смотрел на старуху.

— Тысячу франков,— тихо предложил он.

— О, мосье, это так мало! Из этого не сделать и приданого моей малютке. Ах, мне жалко ее, так жалко! — Она прижала грязную руку к сердцу, и пьяные слезы потекли по ее дряблым щекам.— А потом учтите: и мне утешиться необходимо. Нет, мосье, дайте две тысячи франков, и тогда я согласна!

— Хорошо! — согласился Демидов и протянул ей визитную карточку.— Отправьте девочку в этот отель!..

В сопровождении кавалеров и дам княгиня Сан-Донато отправилась на день-два в Монте-Карло испытать счастье. В этот день старуха привела Мари. Девочка очень много потеряла в новом голубеньком платьице и башмаках.

Демидов бесцеремонно прогнал старуху:

— Вы пока не нужны мне!

Кряхтя и жалуясь на судьбу, женщина нехотя поки-

нула отель, оставив подростка с Демидовым. Анатолий посадил свою маленькую гостью за стол. Бесстрастный, с окаменелым лицом слуга прислуживал им, подавая блюда и наливая в бокалы вино. Девочка со страхом поглядывала на черный фрак лакея, на его белые перчатки и не могла сдержаться, чтобы не спросить Анатолия:

— Кто этот строгий господин?

— Это неважно: он не сделает тебе ничего плохого. Пей, моя золотая!

После двух бокалов шампанского Мари захлопала в ладоши и засмеялась. Она смеялась звонко, как заливается колокольчик в горах. Смех ребенка был беззаботен, радостен и брызгал, как искорки в бокале шампанского...

Ребенок опьянел, возился, словно котенок, всему удивляясь и резвясь. Демидов строго взглянул на лакея, и тот бесшумно удалился. Маленькая резвушка покорно уселась рядом с Демидовым.

— Ты пьяна, мое золотце. Иди усни немножко! — Он уложил ее на софу, а сам присел рядом.

Мари покорно прикорнула среди пуфов, сбросив грубые башмаки на ковер, и быстро безмятежно уснула...

Так до вечера просидел Анатолий подле своей гостьи, любуясь ее загорелыми ногами, крепкими, с легким золотистым пушком, и тонким, тихо посапывающим носиком. В углу комнаты стали сгущаться сумерки, когда Мари проснулась.

И в этот миг, точно по уговору, старуха переступила порог.

— Ах, как жаль, что вы уезжаете, мосье! — огорченно заговорила она, беспрестанно ощупывая в кармане тысячефранковые билеты.— Вы щедры, очень щедры!

Она пошепталась с племянницей, и глаза старой женщины округлились от удивления:

— Ей положительно везет, мосье! — с материнским умилением сказала она.— Да благословит ее мадонна, она снова сухой вышла из воды! Полгода назад она на взморье понравилась одному невзрачному старичку. Этакий скряга с плешивой головой. Он уплатил триста франков и был так же снисходителен к моей девочке. Ах, мосье, какое это счастье! — Она подняла глаза к потолку и трижды набожно перекрестилась: — Пошли вам матерь божия удачи...

Они ушли, а Демидов долго с балкона любовался маленькой гостьей. Она еле поспевала за широко шагающей старухой, а в руках ее раскачивались на тесемочке снятые башмаки...

6

Матильда вернулась из Монте-Карло оживленная, без умолку щебечущая и сейчас же потребовала:

— В Париж! Скорее в Париж!

Но в летние месяцы «большой» Париж перемещался на взморье. На Елисейских полях, в Булони и на бульварах было пустынно: дамы и кавалеры отбыли на сезон купаний. И Матильда снова застонала:

— В Бретань! Скорее в Бретань! Там сейчас разгар сезона!

Попав в свою стихию, Демидова и минутки не оставалась спокойной. Она объехала знакомые салоны, всюду болтая об искусстве, литературе и музыке.

Наконец через неделю Анатолий увез супругу в Бретань.

На западном берегу Финистера, неподалеку от деревушки Сент-Этьен, у самого океана они сняли заброшенный старый замок — с зубчатой стеной, рвом и полуразрушенными бойницами. От него в глубь провинции тянулась широкая зеленая долина, утопавшая в яблонях и розах. Здесь все еще сохраняло бретонскую старину: тихие поэтические деревушки, развалины замков, ветхая часовня с выбитыми стеклами, остатками двери и портиком с древней статуей богоматери. Неподалеку от часовни валялись в чаще зеленого леса огромные камни — единственный остаток исчезнувшего монастыря.

В замке было все, что мечтала иметь Матильда. В огромном закопченном камине пустынного зала с мрачной мебелью вечерами весело трещали дрова, бросая светлое пламя и причудливые тени. Здесь, в покинутом гнезде феодала, было тепло и уютно. Хорошенькая служанка в жаркие полдни приносила из погреба холодный сидр и вино. Приятно было выпить его после прогулки.

В темные ночи в замок доносился глухой прибой океана, отчего мрачновато и страшно делалось в рыцарском гнезде. Раз в комнату ворвался сильный порыв ветра и задул свечи в канделябрах. Стало жутко, темно.

— Я боюсь! Ох, я ужасно боюсь! — закричала Матильда, прижимаясь к мужу.

— Тогда надо переехать в деревенский отель! — предложил Анатолий.

— Что ты, что ты, мой милый! — запротестовала жена.— В этом страхе вся прелесть. Хорошо бы, если б еще привидения здесь были!

Утром Демидов попросил старика управляющего, молчаливого, сурового бретонца, заделать получше рамы. Полушутя, он сказал ему:

— Жаль, что в замке нет привидений!

— Помилуй бог, сударь! — набожно перекрестился старик.— О них давно забыли, но...

Он приблизился к Демидову и таинственно прошептал:

— Мне самому недавно такое привиделось... Ох, матерь божья!

— Да что ты! — весело вскрикнул Анатолий.— Ты хоть расскажи.

— Извольте, сударь! — Старик лукаво посмотрел на Демидова, подумал и тихо сказал: — Знаете, сударь, большой зал, тот самый, в котором камин. Мне довелось под хмельком весной отсиживаться там от старухи. Она, изволите знать, не любит, когда я посещаю «Приют трех разбойников». И вот сижу в одиночестве, чтобы не скучать, разжег в камине дрова и, пригревшись, вздремнул малость... Тут часы пробили полночь. И что вы думаете, сударь: с последним ударом часов распахнулась дверь, и в зал вошла похоронная процессия. Видит господь и пресвятая матерь божия, не вру! — Бретонец снял шляпу и набожно перекрестился.— Впереди шел старик в широком плаще, высокий, с длинными седыми волосами. Под плащом у него блестели доспехи. За ним несли открытый гроб, а в нем лежало тело покойной госпожи. Медленным шагом они направились через весь зал, не заметив меня, молча прошли во двор замка, и я видел в окно, ваша светлость, как они направились к маленькой часовне... Я узнал их, мосье. Узнал и видел, как вижу сейчас вас. Это был дедушка нынешнего хозяина замка и его жена, которую он прирезал, застав наедине с пажом. Верьте мне, сударь. Да будет благословенно имя матери божьей! — Старик снова перекрестился и лукаво улыбнулся Демидову.— Как видите, здесь все есть. Мы денег даром не берем. Упаси нас бог!

Неторопливой походкой он ушел в глухой парк. Среди вековых деревьев долго мелькала его сухая согбенная фигура.

Когда Демидов передал жене рассказ бретонца, она радостно захлопала в ладоши.

— Как превосходно! Ведь это клад! Как хорошо, что здесь все угрюмо, пусто! Я жажду одиночества и тишины!.. Ах, Анатоль, я безумно устала! — капризно пожаловалась она...

Утром они уходили на море, которое струилось и серебрилось под солнцем. Бесчисленное множество чаек, гагар, бакланов носилось над волнами. Серые скалы, покрытые мхами, казались пилигримами, идущими на поклонение океану. Веселый свет струился с небес, украшая позолотой побережье. Однажды в полдень из местных казарм выехали к морю драгуны. Они сбросили на берегу мундиры и купали резвых лошадей. Под потоками солнечного сияния голые загорелые бретонцы, сидя без седел на гривастых конях, плыли в серебристое море. В изумрудной волне океана всадники казались золотистыми мускулистыми кентаврами, собравшимися плыть в заокеанские дали.

— Смотри, какая прелесть! — залюбовалась ими Матильда.— Это божественно!

Крепкие могучие тела сверкали от соленых брызг. Широкие груди лошадей, как ладьи, рассекали волны, и кентавры наполнили побережье крепким солдатским говором.

— Смотри! Смотри! — Супруга схватила Анатолия за руку.

Впереди ярко-рыжая резвая лошадь вынесла голого всадника из пенящейся волны. Он сидел с чисто звериной грацией, чуть подавшись вперед, уцепившись за гриву. У бретонца был низкий лоб с грубыми надбровными дугами, толстые губы и большой рот, блестели крепкие волчьи зубы. От всей широкой грудастой фигуры веяло огромной жизненной силой. Она ощущалась во всем: в крепких мускулах, в крупной голове, покрытой рыжей бараньей шерстью. Эта животная покоряющая сила звучала в его чересчур громком смехе, светилась в ярких, полных блеска, нахальных глазах.

Принцесса раздувала ноздри, с выражением неодолимого удовольствия разглядывая всадника.

— Боже мой, какое прекрасное чудовище! — вздохнула она.

В словах слышалась зависть. Демидов был подавлен невыгодным для себя сравнением: этот кентавр, разбрызгивающий кругом несокрушимое здоровье, и он сам, бледный, с усталыми глазами, с лицом, отливающим желтизной. «Ах, женщины, женщины, везде, во всех концах света, вы одинаковы!» — подумал он и вспомнил старую консьержку[1], которая однажды сказала ему: «Вы не удивляйтесь, монсиньор, что эта мадам изменяет мужу. Что же делать, когда он слишком стар, а она очень молода? Ах, монсиньор, когда я была молодой, то даже звезды шептали мне: «Молодость должна быть молодой, а старость — старой!» Не так ли? И вспомните, монсиньор, галльскую поговорку: «И скряга и мот — оба одинаково угодят на кладбище!» Там, под землею, укроется все: и радости и грехи!..»

Демидовым снова овладело знакомое жгучее чувство ревности. Он хмуро смотрел на бретонцев. Давно известна истина, что любовь богата радостями, а ревность — муками, но Анатолий только сейчас во всей силе ощутил это. Он видел и скрытно возмущался тем, что Матильда при виде кентавра смеялась и вся сияла.

Анатолий сердился и тихо шипел:

— Вы слишком много внимания уделяете, моя дорогая, этому низколобому животному!

— Перестаньте! — сердито одернула она мужа.— Вы всегда во всем видите только грязное! Не были ли вы сыном прачки?

Все ходуном заходило в Демидове от злой насмешки, но он сдержался и решил выждать и отомстить. Здесь, на глазах публики, выпад был невозможен.

Спустя неделю Анатолию понадобилось выбыть в Париж по делам банка. Провожая мужа, Матильда нежно обняла его.

— Не думайте о плохом, Анатолий: все будет хорошо! — заговорила она тихо, ласково. Ее тонкие белые руки легли ему на плечи, и бесконечная нежность светилась во взгляде молодой женщины. Как огонь мягчит и топит воск, так ее обещания согрели его сердце, и он уехал спокойный и даже счастливый...

Десять дней, которые Демидов пробыл в Париже, его жена провела по-своему весело. Вечером, в сопровождении служанки Аннет, она пошла в грязный при-

---

[1] Привратницу.

морский кабачок. Здесь было шумно и весело. В почерневшем зале за дубовыми столами сидели и распивали сидр и вино загорелые погонщики мулов, фермеры, огородники, мелкие торговцы, солдаты и даже бродячие монахи. Матильде понравилось это шумное, беззаботное общество. Вместе со служанкой они заняли в полутемном углу столик, пили и много курили. В густом табачном дыму все время раздавался вызывающий смех Матильды. Со стороны казалось, что это падшая женщина поджидает очередного случайного любовника. К ним и подошел, как на приманку, понравившийся ей недавно бретонец, громадного роста кавалерист с длинными волосатыми руками. Он без стеснения присел к столику и поставил перед Демидовой кружку пенящегося вина.

— Я вижу, ты скучаешь, красотка! Выпей — в жилах заиграет кровь! — Детина пожирал ее глазами. Перед жилистым, загорелым бретонцем Матильда казалась маленькой и хрупкой. Он взял ее узкую мягкую руку в свою широкую шершавую ладонь и погладил ее.— Вы городская, мой чертенок! Откровенно говоря, ты мне во как понравилась, моя курочка! — Он провел ребром руки по горлу.— Ну, пей, пей! Это дешевое, но хорошее вино. Солдат рад быть щедрым; но знаешь, моя козочка, в нашем кошельке не всегда водятся денежки! — Он говорил по-крестьянски медленно, рассудительно, прижимаясь к ней плечом и обдавая острым запахом пота. Странное дело, этот запах непонятно возбуждал женщину. И, не отстраняя его от себя, она в один прием выпила кружку вина. С непривычки у Матильды закружилась голова, и, заигрывая с бретонцем, она томно улыбалась ему. Бретонец возбужденно раздувал ноздри, хрипло смеялся, обнимая ее сильными руками и прижимая к себе.

— Ох, и здорово же ты хлещешь вино, моя девочка! Какая ты теплая, словно добрая лошаденка!

Приключение становилось забавным. Аннет скромно опустила глаза, жеманничая. Солдат подмигнул служанке:

— Ты потерпи, крошка, сейчас придет Жан. Он сегодня немного запоздал. Вот явится и займется тобой. Угостит вином!

Матильда стала держаться настороженно. Словно хорек, она выскользнула из сильных объятий конника, глянула в его зеленые кошачьи глаза и сказала:

— Мы торопимся, петушок! Но я всегда готова снова увидеться с тобой! — Она не устояла перед соблазном и, схватив его за густую рыжую шевелюру, затормошила. Он заржал от удовольствия и, обхватив ее, припал к ее устам толстыми влажными губами. Это было чистейшее колдовство! Никогда она не испытывала подобных поцелуев. Кривоногий, с длинными руками обезьяны, бретонец отравил ее любовным ядом.

Матильда вырвалась из объятий солдата и шепнула:

— Завтра приходи к часовенке... Там мы повеселимся, мой петушок!

Шурша дешевыми крахмальными юбками, молодые женщины исчезли в табачном дыму подвальчика. Послышалось хлопанье дверью.

— Хороша, шельма! Ох, хороша! — вздохнул кавалерист.

7

Приехал Анатолий и сразу заметил что-то неладное. Смутно догадываясь о несчастье, не зная, как рассеяться, он сел в седло и помчался по дороге к лесу. Свежий ветер не развеял страшной тоски, которая внезапно захватила его сердце. Он миновал старинную часовенку, всю утонувшую в глухой заросли жимолости. В чаще журчал ручей. В былые дни они с Матильдой нередко заглядывали сюда. Среди мшистых камней всегда стояла торжественная тишина, на серой, увитой плющом стене висело старинное распятие. Матильда дома никогда не молилась, но здесь, в этой благостной тишине, она вдруг становилась на колени и набожно крестилась...

Конь свернул по знакомой тропке. Вот и часовенка. Все так же лепетал ручей. Осиротело выглядело распятие. Тишина. Анатолий присел на камень и задумался.

Внезапно он вздрогнул, словно от прикосновения змеи. В шорох листвы всплеском ворвался знакомый смех. Дрожа от предчувствия несчастья, негодуя, он неслышно пробрался в кусты, и все закружилось у него в глазах.

В тенистой лесной берлоге, на примятой траве Анатолий увидел звероподобного кавалериста и Матильду. Она сидела подле него и смеялась...

Демидов с хлыстом в руке кинулся вперед, схватил за руку жену и отбросил от бретонца. Охваченный порывом неистовой ревности, он двинулся на соперника, но между ними встала жена. Не помня себя от гнева, она вырвала хлыст из его рук и дважды ударила мужа по лицу.

Кавалерист схватился за бока и покатился по траве: его потрясал неудержимый пароксизм смеха. Он хохотал, хватаясь длинными жилистыми руками за траву, выдирая ее с землей, скалил крупные желтые зубы, фыркал, брызгал слюной, как рассерженный барсук...

В князе Сан-Донато внезапно проснулась и забушевала кровь его предков — тульских кузнецов. Он выхватил из рук жены хлыст, переломил его и с кулаками набросился на женщину...

Бретонец вдруг перестал хохотать. Сидя на траве, подбоченившись, кавалерист что-то соображал. Минута — и лицо солдата преобразилось в благодушной улыбке.

— Так это ваша женушка! Понимаю! — снова засмеялся он и совсем панибратски подбодрил Демидова: — Так ей и надо! Она обошлась мне в три франка! Эй, милок, не бей под глазок, не надо ставить фонарики!..

Анатолий брезгливо взглянул на драгуна и быстро, с бьющимся сердцем, вышел из лесной берлоги. Пошатываясь, он взобрался в седло. Конь пустился по тропке, а следом затрещали ветки, и из чащи выбежала Матильда.

— Анатоль! Анатоль, прости! — простирая руки, закричала она.

Демидов, не отвечая, хлестнул по коню и понесся в городок.

В тот же вечер он вернулся в Париж, а следом за ним на другой день в особняк на Елисейских полях прибыла и Матильда.

Тихая и покорная, она пришла в кабинет мужа. Склонив бледное лицо, Матильда каялась и просила:

— Анатоль, я великая грешница. Прости меня, дай мне развод! Я уйду, мы не можем жить вместе!

Демидов поднял на жену хмурые глаза.

— Развратница, а не грешница! — с сердцем вырвалось у него.— И запомни, что так легко не расстанешься со мной! Я муж, что хочу, то и сделаю с тобой! — Он угрожающе поднял кулаки.

— Ах, боже мой, как вы смеете! — закричала она, отступая от мужа.

— Все смею! Все! — в гневе заорал он.

— Нас могут услышать слуги, князь!

— Пусть видят, пусть слышат! Кто здесь хозяин? Я, я — Демидов...

В особняке стало тихо. Княгиня Сан-Донато покинула мужа и возвратилась к отцу. Старик не обрадовался дочери.

— Вы, моя милая, должны примириться с мужем,— умоляюще посмотрел на нее слезливыми глазами дряхлый Жером Бонапарт.

— Никогда! — запальчиво вскрикнула дочь.— Не смейте мне говорить этого! Уж не полагаете ли вы, что я сяду на вашу шею?

— Разве можно так разговаривать со своим королем? — укоризненно покачал головой отец.

— Вы были король! А теперь вы старая, дряхлая кляча! Чиновник Дома инвалидов! — гневно закричала она.

— Ах, боже мой, что случилось во Франции? Разве это допустимо? Я не слышу, не слышу! — Он закрыл пальцами уши и тяжело опустился в кресло...

Княгиня обратилась за помощью к адвокату. Слуга Фемиды разъяснил ей:

— Мадам, выйдя замуж за подданного России, вы стали, в свою очередь, подданой этой страны; следовательно, ваш брак целиком подпадает под действие законов Российской империи. А законы о браке там гласят вот что... Впрочем, лучше зачитаем текст. Слушайте!

Адвокат развернул толстый, в кожаном переплете, фолиант. Показывая на него, он пояснил:

— Это свод законов Российской империи, том девятый. Мадам, здесь написано буквально: «Жена обязана повиноваться мужу, как главе семейства, пребывать к нему в неограниченном послушании, оказывать ему всякое угождение. При переезде куда-либо мужа жена должна следовать за ним, она не может наниматься на работу без позволения мужа...» Видите, мадам, вы уйдете, а он через полицейского вернет вас обратно...

Матильда растерялась, ей стало страшно.

— Но он может меня преждевременно вогнать в могилу! — огорченно выкрикнула она.

— В России так и бывает,— согласился с нею адвокат.— Вас может развести только духовная консистория русской православной церкви. Но тогда вам, мадам, придется взять на себя вину.

— Это же скандал!

— Безусловно! — согласился адвокат.

— Тогда, может быть, обойти закон? — робко предложила она.

Служитель Фемиды вскинул голову, усмехнулся наивности княгини.

— Мадам, вы забываете, что мы имеем дело с Демидовым! — с важностью сказал он.

Матильде предстояло сложное бракоразводное дело. Но вот, казалось, ей улыбнулось счастье: в Париж инкогнито прибыл российский император Николай Павлович. На придворном балу Матильда упала перед ним на колени:

— Ваше величество, разведите меня с Демидовым!

Она умоляюще смотрела на русского царя, по ее нежному лицу катились горькие слезы. Однако княгине не удалось разжалобить русского императора, который в душе считал Наполеона узурпатором, ненавидел его и принцессу Монфор.

Царь учтиво поднял принцессу с колен:

— Увы, дорогая, я всего лишь император в моей стране! Если бы я был петербургским митрополитом, даже архиереем, тогда...

Он не закончил своей речи,— его увлекли светские дамы, обеспокоенные неожиданной скандальной сценой.

Глава пятая

Старший брат, Павел Николаевич Демидов, оставил армию в 1826 году; лет пять после этого он пребывал егермейстером императорского двора, а в 1831 году получил звание камергера и должность курского губернатора. Хотя Курск существовал еще во времена великого князя Владимира и почитался городом старинным, но губернским он сделался только в 1797 году, в царствование Екатерины Алексеевны. Хлебный и богатый,

расположенный в живописной местности на берегах Тускари и Куры, новый губернский центр тонул в обширных густых садах, в которых на зорьках дивно распевали прославленные курские соловьи. На краю горы, омываемой тихими реками, сохранялись остатки древней крепости, но былая слава курских порубежников давно отошла. После Санкт-Петербурга камергеру Демидову здесь показалось скучно. Привольно и по-сибаритски он разместился в обширном губернаторском доме. В большой сводчатой людской всегда толпились многочисленные праздные слуги: камердинеры, лакеи, официанты, кучера, конюхи, егеря. Немало числилось в штате и хорошеньких дворовых девок, обученных комедийному действу. Хотя после столичной жизни особенно ощущалось отсутствие шума и кипения в Курске, зато вновь назначенный губернатор сразу стал властителем целой области, маленьким феодалом, что очень пришлось по сердцу Павлу Николаевичу. Он всегда считал себя человеком особой, возвышенной породы, любил власть, величие и лесть. Направляя свои указы на уральские заводы, он обычно писал: «Моим верным тагильским подданным». Он требовал от заводских служащих раболепия, и в бумагах, пересылаемых ему из санкт-петербургской конторы, а также из Нижнего Тагила, пышно перечислялись все чины его, звания и награды. Он изо всех сил старался придать значительность всему, что окружало его.

Вновь назначенный губернатор удивил местную знать и окрестных дворян-помещиков шумными пирами, на которых гостей увеселяли неслыханным доселе в этих местах оркестром роговой музыки. Крепостные музыканты, привезенные Демидовым из столицы, были обряжены под придворных егерей. Роговые инструменты, обтянутые черной кожей, с виду казались некрасивыми, но внутри были тщательно отделаны. Звуки, которые издавали они, отличались необыкновенной чистотой и тонкостью. Эти инструменты весьма походили на гобои, фаготы, кларнеты и охотничьи рожки, но тон их был неизмеримо нежнее и приятнее. Каждый музыкант издавал только одну ноту, не сводя своего напряженного взора с пюпитра. Упаси бог сфальшивить! Павел Николаевич немедленно отсылал «фальшивца» на конюшню для порки.

Роговая музыка пленяла слух всякого понимавшего

в ней толк — так прекрасны и взволнованны были звуки, которые в безветренную погоду слышались за семь верст в окружности.

Ко всему этому Демидов отличался еще одной страстишкой: он любил играть роль просвещенного мецената, отыскивая для этого самые разнообразные поводы. В свое время в Курске подвизался и умер в 1803 году известный поэт Иван Федорович Богданович, автор «Душеньки». К приезду нового губернатора могила поэта заглохла: обветшал крест, и все заросло могучим бурьяном. Демидов посетил кладбище, и вскоре по его желанию на могиле Богдановича соорудили превосходный памятник, изображающий «Душеньку».

Занимаясь искусством и науками, Демидов решил освободиться от управления заводами. Пристало ли ему, губернатору, заниматься этим делом? Он предписал главному директору Павлу Даниловичу Данилову принять бразды правления над всеми демидовскими заводами. В грамоте было написано:

«Даю вам полное хозяйское право управлять делами по нашему имению вместо меня самого. Я расположен на долгое время освободить себя от беспрестанного беспокойства для отдохновения после многих трудов своих и наилучшего поправления своего довольно порасстроившегося здоровья...»

Павел Николаевич в самом деле к этому времени изрядно износился — не прошла бесследно бурная молодость. Хворости и недомогание донимали губернатора; не помогал ему и мягкий южный климат. Демидов часто наезжал то в Москву, то в столицу, навёрстывая отсутствовавшие в Курске радости, а от них еще большее недомогание овладевало им. Заботливые великосветские мамаши уговаривали курского губернатора:

— Не пора ли вам, Павел Николаевич, оставить холостую жизнь и зажить семьей? Посмотрите, сколько кругом прекрасных и благовоспитанных девиц!

Каждая из матерей алчно поглядывала на Демидова, мечтая пристроить свою дочь. Но совсем о других невестах думал он. Молодой камергер всегда и везде оставался верен себе: он хотел, чтобы его невеста обращала на себя всеобщее внимание.

В начале 1836 года Павел Николаевич посетил Москву и был приглашен на бал к одному именитому мо-

сковскому крезу. Он охотно поехал туда повеселиться. Бог весть, кого и чего здесь не было! Шампанское лилось рекой. Хозяин подходил к гостям и приглашал к столу. Что за осетры, за стерляди, что за сливочная телятина манили к себе! Но более всего Демидова привлекали хорошенькие, свежие лица московских девиц. Проказницы танцевали до упаду, и к полуночи их щечки побледнели, волосы развились, рассыпались, украшения пришли в беспорядок, платья обдергались, перчатки-митенки промокли от пота. Ах, как суетились маменьки, тетушки и бабушки, чтобы привести в порядок гардероб своих попрыгуний,— но танец следовал за танцем, и ни одна из милых девиц не хотела сойти с блестящего паркета.

Внезапно среди очаровательных головок, как царственная лебедь, мимо Павла Николаевича проплыла высокая стройная красавица, слегка склонив лицо, озаренное большими темными глазами. Демидов остолбенел. Он не мог оторвать взора от мраморных плеч, от сияния чудесных глаз. Девушка прошла величаво, не опуская взора, не смущаясь блеском бала, и своей спокойной ослепительной красотой пленила Демидова.

— Кто это? — взволнованно шепнул он хозяину.

— Аврора Карловна Шернваль! — восторженно отозвался тот и, взяв Павла Николаевича под руку, отвел в сторону.— Милый мой, эту прелестницу сам пиит Баратынский воспел. Послушай, дорогой! — И, не ожидая согласия гостя, он продекламировал возвышенно и важно:

Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари!
Всех румяным появленьем
Оживи и озари!
Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой и порой
Мыслит с тихою тоской:
«Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?»

Сгорая от нетерпения, Демидов спросил:

— Да где же она была досель? Что-то я не видел ее — зарю прекрасного утра.

— Ах, милый мой, заря единожды пылает утром! Не торопитесь, я должен вас предупредить: эта дева божественная, но и роковая. Послушайте, мой друг!

Он увлек Павла Николаевича в дальние покои, продолжая на ходу рассказывать:

— Она была помолвлена в Санкт-Петербурге, и перед самой свадьбой жених оставил ее вдовой! Красавица приехала сюда, в Москву, к сестре Эмилии. Когда сердце ее излечилось от раны, она готовилась вступить в брак с полковником Мухановым — другом Баратынского, и вот печаль — опять жених до свадьбы умер! Рок, тяжелый рок тяготеет над сей красавицей!

— Пустое! Веди, знакомь! — попросил Демидов.

Губернатора представили Авроре Шернваль. Горделиво подняв голову, она прямо и внимательно смотрела на Павла. Ему стало и холодно, и жутко, и вместе с тем приятно. Пробыв на балу еще час-другой, красавица уехала вместе с сестрой. Демидову показалось, что с ее отъездом все окружающее потускнело. Она удалилась, а смех ее все еще звучал в его ушах. К своему ужасу, Демидов понял, что здесь он завяз навсегда, что глаза Авроры будут его преследовать всюду, как два манящих огонька, и что, одним словом,— прощай покой! Пришла любовь!

Он решил не тянуть с делом и, выждав приличием положенное время, сделал предложение. После колебаний и раздумий Аврора уступила его просьбам. Куда же деваться двадцатитрехлетней деве? Все наперебой ухаживали за ней: придворные вельможи, блестящие свитские гвардейцы, Лермонтов и Баратынский воспели ее прелести в стихах, но, увы, она была бедной невестой! Без приданого никто из поклонников не решился сделать решительный шаг. А потом эта роковая слава...

Демидов объявил о своем решении директору санкт-петербургской конторы Данилову. Много лет прошло с тех пор, когда всему хозяином был покойный Николай Никитич, адъютант Потемкина. За это время сильно постарел Павел Данилович, ссутулился, шаркал ослабевшими ногами, но все еще крепился и держал подчиненных в большой строгости. Выслушав хозяина, управитель печально опустил голову.

— Не знаю, что и посоветовать вам, мой господин,— с разочарованием сказал он.— Когда ваш батюшка задумал сочетаться законным браком с Елизаветой Александровной Строгановой, то разумней нельзя было и придумать. Экие богатства сливались воедино! Подумать только: Демидовы и Строгановы! Вы сами,

мой господин, рассудите: ведь это металл и соль на всю Расею! А ваша невестушка, слов нет, красы неописанной, благородства полного, но, кроме красы, за ней — ни одной крепостной душеньки, ни одной захудалой деревеньки или сельца.

— Разумно сказано! — согласился Павел Николаевич.— Но такая красавица, как она, одна на всей земле; подумай, она станет моей женой!

Старый управитель хорошо знал тщеславный характер своего владельца и потому покорно склонил голову.

— Лестно! Будет по-вашему, господин мой! Что прикажете по сему случаю?

— Наказываю,— торжественно заговорил хозяин,— не мешкая, конторе отпустить на мою свадьбу, кроме обычных расходов, полмиллиона рублей.

У Данилова задрожали руки, от волнения пересохло в горле. Такой суммы он никогда сразу не отпускал владельцам заводов! Не успел он прийти в себя, как Демидов предложил еще более неслыханное:

— По старому русскому обычаю, Павел Данилович, жених должен преподнести невесте подарок. Надумал я купить известный всему миру алмаз «Санси», а потому готовь еще миллион золотых франков.

— Да помилуйте, господин мой, разве можно тратить этакие деньги! — воскликнул Данилов, и глаза его стали злыми. Так и хотелось сказать хозяину: «Ну и невесту вы себе подыскали, батюшка! Голь-шмоль перекатная!» Однако старый лис сдержал негодование.— Подумайте, господин мой,— заговорил он заискивающе.— Ваша покойная матушка, царствие ей небесное, оставила горы жемчуга да самоцветы превосходной игры. Можно выбрать, что заблагорассудится душе!

— Нет! — решительно сказал Павел Николаевич.— Я хочу приобрести «Санси», и он будет наш!

Через месяц Демидов держал в руке заветный самоцвет,— он купил его у герцогини Беррийской. И вот он теперь лежит на ладони нового владельца и переливается таинственным светом, чаруя взор.

На официальной помолвке Павел Николаевич преподнес невесте маленький футляр. Аврора раскрыла его, и глаза красавицы в первый раз вспыхнули радостью.

Она не знала, что тысячи крепостных работных, над-

рываясь, в муках и в страшной нужде, день и ночь не покладая рук, работали долгие годы, чтобы дать возможность придворной красавице, которая никогда не работала и презрительно смотрела на крепостных, приобрести этот камень.

В 1837 году Павел Николаевич женился на Авроре Шернваль, а через полтора года, в 1839 году, у них родился сын Павел. С этого времени Демидов, казалось, потерял последние силы. Он стал быстро хиреть, оставил губернаторство, и супруга повезла его к берегам Бретани. Но не пришлось ему воспользоваться мягким климатом: ранней весной, 25 марта 1840 года, он скончался в Майнце, оставив вдове и сыну сказочное богатство.

Глава шестая

1

Прожив несколько лет в Петербурге, Аврора Карловна с единственным сыном Павлом уехала на Урал, в Нижний Тагил, где деятельно занялась делами демидовской вотчины. К этому времени угас от водянки старый нижне-тагильский управляющий Александр Акинфиевич Любимов. Перестарок Глашенька так и осталась доживать век на заводе в одиночестве. На место умершего, по договоренности со своим совладельцем князем Сан-Донато, Аврора Карловна пригласила в главноуправляющие заводом польского шляхтича Антона Ивановича Кожуховского — человека галантного, с пышными темными усами и весьма обходительного с дамами.

С этих дней пустующие старинные покои вновь наполнились жизнью. Но как она не походила на былую разгульную жизнь времен Никиты Акинфиевича! Заново отремонтировав дворец, Аврора Карловна зажила в нем скучной, размеренной жизнью на немецкий лад. Несмотря на огромные богатства, она дрожала над каждой копейкой, над каждым куском. Расчетливая хозяйка ограничивалась немногочисленной прислугой, за которой зорко следила. Ключи от всех кладовых и хранилищ она всегда носила при себе и строго взыскивала с челяди за малейшее упущение. Сама она разъ-

езжала по заводам и рудникам и заставляла повытчиков выкладывать счетные книги, в которых умело проверяла записи.

Единственной радостью молодой вдовы был сын Павел. Мальчуган подолгу просиживал в заглохшем парке, созерцая пруд, прислушиваясь к пению птиц. Рос наследник ленивым и апатичным...

На заводе незаметно уходило старое поколение работных, приказчиков и плотинных. Степан Козопасов одряхлел, опустился. Его штанговая машина все еще работала, издавая на весь Тагил скрип, стон, скрежет. Ребятишки с утра веселой стайкой забирались на качающиеся штанги и забавлялись.

— Смазать бы механизмы, визгу не станет! — доложил как-то главноуправляющему Козопасов.

— То не выходит по доходам! — развел руками Кожуховский.

По примеру своей хозяйки он старался во всем ужимать, притеснять. Огорченный Козопасов по старинной привычке отправился к Черепанову, уселся на завалинку и ждал механика. В тихие часы заката Мирон любил посидеть со стариком и вспомнить былое. В доме его беда шла за бедой. Следом за отцом на погост отнесли мать. Пусто стало в избе. Чугунная дорога на Выйском поле заросла травой, лопухами. По-прежнему у горы Высокой шумела ушковская конница: сотни одноколок, груженных рудой, тянулись вереницей к заводу. Разноцветные платки коногонок пестрели на дороге, как маки. Тяжело было видеть запустение и возврат к старинке.

Глядя на все это, Козопасов пожаловался:

— Поторопились мы с тобой, Мирон, родиться! Нам бы лет через сотню появиться на белом свете. Неужто все так и будет?

— А может быть, Степанко, мы с тобой припоздали? Вот бы родиться лет за семьдесят до сего! По этим горам шел тучей и громом Емельян-батюшка!

Козопасов опустил голову и сказал удрученно:

— Ох, как много горести. И откуда она происходит? Почему господа не видят своей выгоды?

Мирон усмехнулся.

— Они все видят! — отозвался он.— Но то, что выгодно работному, невыгодно барину. Разные наши дороги!

— Верно! — согласился Козопасов.

Мирон все еще лелеял мечту освободить свою семью от крепостной зависимости, однако силы его заметно таяли. Его стали мучить сердечные припадки, но механик не сдавался. Он придумывал новшество за новшеством, а недавно решил использовать улетающие в воздух пламя и газы плавильных печей. После долгих раздумий ему удалось сконструировать свои приборы. Теперь жар от медеплавильных печей на Выйском заводе использовался для работы паровой машины. Ни одного полена дров больше не требовалось для двигателя! Но хозяева считали, что так и надо, и никто не подумал о семье Мирона.

— Горько! — вспомнив об этом, сказал механик.— Горько потому, что господа наши верят иноземцам, а своему, русскому, нет веры. Дешевы мы для них!

Сколько раз Мирон со своими проектами доходил до Авроры Карловны, но она молчаливо выслушивала его, а эскизы отодвигала в сторону.

— Это невыгодно нам, Мирон Ефимович,— холодно улыбаясь, прерывала она механика.

В эти минуты Черепанову казалось, что перед ним старый хитрый Любимов. Хотя слова звучат и другие, но смысл тот же: «Коштовато!»

Величественная, прекрасная, с большими сияющими глазами, она казалась недоступной для заводских дел, и Мирон все реже и реже появлялся в конторе.

Изредка Аврора Карловна выбывала в столицу и несколько месяцев проводила в придворном обществе. Она неизменно являлась просто одетой, но на груди ее, на тонкой золотой цепочке, сверкал драгоценный камень «Санси». Много льстецов и поклонников увивалось за молодой вдовой и ее богатствами, но она холодно встречала это лживое преклонение. Она знала ему цену и не торопилась в своем выборе.

Живя в обширном демидовском дворце на Мойке, Аврора Карловна воздерживалась от устройства пышных приемов. В доме стало глуше, излишнюю челядь перевели в сельские вотчины, оставив лишь самых необходимых людей. Посократили и число повытчиков в санкт-петербургской конторе. Владелица точно рассчитала доходы со всех вотчин и каждые сутки отчисляла Анатолию Николаевичу двадцать четыре тысячи рублей!

К этой поре умер в преклонном возрасте Павел Данилович Данилов. За три года до этого он потерял жену-старуху, загрустил и вдруг хватился: «Для кого же трудился, хлопотал, жульничал, копил, когда некому и наследства оставить?»

Скупой и жадный, он вскакивал среди ночи и, прислушиваясь, как хорек на охоте, подходил к окованному сундуку. Он раскрывал замки со звоном, долго рылся в радужных «катеринках»[1], алчно разглядывал и пересчитывал их, в сотый раз спрашивал себя: «Кто же, кто же зацапает мое добро?»

Только сейчас он понял, что бессмысленно пролетела его жизнь. Алчность и страх смерти туманили его сознание. Обрюзглый, желтый, с безумными глазами, в одном белье, со свечой в руке, он лунатиком ходил по своей квартирке и все думал и думал, куда девать свое богатство, чтобы не досталось другим.

— Мое оно, мое! Я грехи за него принял на душу! — шептал он бескровными губами.

Старик заметно оскудел духом. По глазам все угадывали, что становился он безумцем.

Однажды Павел Данилович долго не выходил из своей квартиры. Слуги не могли достучаться, взломали дверь по повелению Авроры Карловны, и что же увидели?

За столом в спаленке сидел застывший старик с откинутой головой, с расширенными от ужаса глазами. Перед ним стояла тарелка, жбан сметаны, а рядом лежала пачка сотенных ассигнаций. К блюду прилипли измазанные, подобно масленичным блинам, радужные «катеньки», а одна из ассигнаций, густо политая сметаной, торчала из раскрытого рта Данилова.

«Обожрался ассигнациями, скупец! Хотел на тот свет унести!» — подумали слуги и со страхом оглянулись на госпожу.

Аврора Карловна с брезгливостью посмотрела на покойника и холодно сказала:

— Посмотрите, какая бесцельная скупость!

Отвернулась и предложила дворецкому:

— Добро Данилова немедленно опечатать!..

---

[1] Сторублевые ассигнации с изображением Екатерины II.

2

В Нижнем Тагиле все хорошо знали и уважали хозяина рудовозной конницы Климентия Константиновича Ушкова. Прижимистый и строптивый, он в то же время отличался большим умом и силой. Крепостной Демидовых, незаурядный и волевой самородок, он сумел пробиться в люди и заставил считаться с собой господ и управляющих. Словно кряжистый дуб, он отличался крепостью, и казалось, что время не трогает его. Высокий, плечистый, бородатый, с умными пронзительными глазами, он каждый праздник, в сопровождении сыновей Михаила и Саввы — рослых грудастых молодцов, отправлялся в церковь. Все невольно любовались выходом Ушкова. Гордился и он сам своей семьей. Медленно и важно, в старомодном кафтане, в черной шляпе, вышагивал Климентий Константинович по широкой улице и как должное принимал поклоны встречных. В церкви он становился сразу за господами, в одном ряду с демидовскими управителями, и те ему не прекословили. Любил Ушков громогласно почитать в церкви Апостола. Голос его отличался глубиной и чистотой, покорял своей страстью и старух и молодых молельщиц.

С господами хозяин конницы разговаривал почтительно, «высоким штилем», витиевато, но слова выкладывал, как дом рубил,— властно, крепко. Большая душевная сила таилась в нем и пленяла многих. Все далось Ушкову — довольство, разумение грамоты и почет. Одного не хватало ему — воли. Семья Ушковых с незапамятных времен состояла в крепостных, и с этим никак не мог примириться Климентий Константинович. Из-за этого он недолюбливал Черепановых, получивших свободу, и завидовал им. Вся душа его кричала: «Воли! Воли!» Нужно было сделать что-то выдающееся, чтобы умилостивить господ. Ему казалось, что если бы не Черепановы, то он сам изобрел бы многое и это принесло бы ему свободу.

Прошло много лет после создания первого «сухопутного парохода». Ефим Алексеевич Черепанов ушел в могилу, постарел Мирон, изнашивались и старели товарищи Ушкова, но сам он по-прежнему оставался неугомонным искателем воли.

Однажды он встретил Мирона. Тяжело опустив голо-

ву, медленно возвращался Черепанов с работы. Ушков взглянул на его усталое, пожелтевшее лицо, на серые мешки под глазами, и ему вдруг стало жалко механика.

— Все еще горюешь, Мирон Ефимович?

— Нечему радоваться, когда годы бесцельно уходят,— строго отозвался Черепанов.

— Рано, милый, опускаешь крылья! Я вот стар, а еще постою за свою долю! Надо мне с тобой словечком перемолвиться. Светлый ум у тебя, Мирон Ефимович, и можешь ты мне хорошее посоветовать! — Он дружески взял механика под руку и, неторопливо вышагивая, повел к дому. Как не походили они друг на друга! Ушков был намного старше Мирона, годился ему в отцы, а выглядел молодцом. Мирон перед ним казался сутулым, хилым, и рыжеватую бороду рано пробила изморозь седины.

— Ты вот в механиках ходишь,— многозначительно начал Климентий.— Скажи-ка мне, почему на заводе перебой в работе? Где тут главное лежит?

— Мне думается, и сам ты это знаешь. Воды мало для двигателей! — спокойно ответил Черепанов.

— А пруд, гляди, сколь обширный! — прищурив глаза, с хитрецой вымолвил Ушков.

— Мал запас воды! А ставить вторую плотину на Тагилке-реке негде. Только паровые машины спасут завод, да управляющий против них. Сказывает, коштоваты!

— Так,— шумно выдохнул Климентий.— Коштоваты! Оно верно. В чем же тогда выход, Мирон Ефимович?

— Выход есть! — оживился механик.— Только на него не пойдут господа Демидовы. Гляди, речка и ручьи кругом мелеют,— лес-то повырубили, но есть пока выход: поставить на речке Черной плотину, собрать воду по весне и по каналу подать ее в Нижний Тагил.

— Это здóрово! — ахнул Ушков.— Да в чем дело? Что за помеха?

— Дорого! Хозяевам денег жалко.

Мирон не договорил, Климентий схватил его за плечи, потряс.

— Ну, спасибо, брат, надоумил ты меня многому. Спасибо, милый! — Ушков заторопился домой. С неделю после встречи с Мироном он ходил задумчивым по Черноисточенскому логу, что-то прикидывая в уме. На-

конец не выдержал и явился к Кожуховскому. Шляхтич очень любезно принял Ушкова.

Климентий уселся напротив в кресло и, вперив в управителя пронзительные глаза, сказал:

— А что, господин, плохо на заводе? Скоро станет!

— Против господа бога не попрешь, всю полую воду израсходовали. Да тут море воды потребно, прямо ужас!

— Я дам вам воду, господин хороший! — уверенно предложил Ушков.

— Вижу, ты шутковать мастер. Откуда ее возьмешь, Климентий Константинович?

— Река Черная польется сюда!

— Во имя отца, и сына, и святого духа! — перекрестился управитель.— Да мыслимое ли это дело! Известно тебе, человек, что вода из Черной не пойдет! То невозможно! Тут инженеры проходили с отвесами и доказали, что это пустая затея!

Ушков насупил брови.

— Нет, это не пустая затея! — уверенно сказал он.— Ушков за пустое не будет браться.

Кожуховский пожал плечами, улыбнулся в усы:

— Но где сему доказательства?

— Будут и доказательства! Только не отрекайтесь в том, что Ушков для господ радеет!

— Порукой в том мое слово! — Управитель пожал большую, сильную руку Климентия и проводил его до дверей.

Ушков сотни раз проходил по логу речки Черной, хорошо изучил ее, и в голове его давно родилась простая, но вместе с тем умная затея. На своем веку он немало поставил на уральских речках и ручьях мельниц и меленок, много соорудил хитрых запруд, прокопал канав и обладал несомненным чутьем в изыскании мест, наиболее пригодных для каналов.

Не откладывая дела, Климентий Константинович вместе с сынками вышел на пойму Черной. От темна до темна они лазили, продираясь по таловым зарослям, внимательно изучали быстроту течения, измеряли ширину и длину струи. Старик не жалел труда,— обошел и осмотрел каждый окрестный холмик, скаты. Стоя на высотке, осиянный вешним солнцем, он восхищенно показал сыновьям на простор.

— Гляди, какая благодать кругом! Раздолье! Зи-

мой сколько тут наметает снега! А как только пригреет солнце, как пожухлеет снег, так и посочится вода. Подумать только, что со всего этого раздолья, от гор и до того синего бора, под вешним солнцем побегут талые воды в Черную. Ух, и сила! — он прижмурился, лицо его засияло. Чудилось, что он видит перед собой вешнее водополье и восхищается им.

Сыновья верили отцу. Старший, Михаил, сильный, черноволосый, сказал:

— Истинно будет так, батюшка! Повернешь все воды в Тагил!

— Ну, идите за мной да глядите, куда потечет вода из Черной! — внушительно сказал Ушков и размеренным шагом дошел до речки, а оттуда повернул через поля, вдоль ложков.

— Вешки ставьте! Тут и быть каналу! — крикнул он сыновьям.

Весь день Ушковы провешивали будущую трассу канала, а затем принялись за точный промер, учиняли «вернейший отвес» и убедились, что отец прав...

Климентий засел за письмо Авроре Карловне. Он не торопился, основательно обдумывал каждую мысль и медленно, четкой византийской вязью низал строку за строкой. Буковки у него выходили строгие, внушительные, под стать хозяину.

Климентий Константинович сообщал Демидовой: «...учинил вернейший отвес и нашел место удобное по занятию плотиною воды, после подпора вода поднимется до семи аршин. Из коего пруда можно будет с шести аршин пущать воду в канаву, чтобы непременно было падение до четырех аршин...»

Перед глазами Ушкова четко рисовалась будущая плотина, сооружения и земляные работы. Он просто и толково описал все, раскрывая перед хозяйкой большой инженерный замысел, который по мере углубления в писание раскрывался во всех деталях. Старик увлекся своей мечтой. Откинувшись на спинку кресла, он улыбался: «Пойдет вода, ей-ей пойдет!»

У него росла вера в свое дело, и это окрыляло его. Он чувствовал в себе огромную силу и ласково шептал:

— Ради вас, сынки, пускаюсь на такое дело. Ради вас только...

«Все сие и берусь упрочить в три лета,— продолжал писать он.— Или могу поспешить и ранее. И сверх того

два года могу наблюдать, дабы сие действие всюду исправно было...

Пока я не пущу Черноисточенский пруд той канавой из реки Черной на прописанном основании воду, дотоле мне никакой суммы на расход того производства не требовать...»

Ушков пообещал все взять на свой кошт, а стройка, по самым скромным подсчетам, должна была стоить пятьдесят тысяч рублей.

Одного только просил Климентий Константинович от владельцев в расплату и изложил это в своей просьбе:

«Не говоря о себе, но только детям моим, двум сыновьям — Михаилу с женой и детьми его и холостому Савве, прошу от заводов — дать свободу... а если не может даться детям моим от заводов вольная, то я не согласен взяться сие исправить поистине и за пятьдесят тысяч рублей, ибо неминуче полагаю, и мне таковой суммы оное дело расходом коштовать будет, окроме моих хлопот...»

Закончив письмо, старик собрал всю семью в большую горницу. Показывая на грамоту, он торжественно сказал:

— Все тут рассказано о нашем намерении. Помолимся господу богу о добром начале и заступе за нас, грешных! — Он вышел вперед, истово стал креститься и класть земные поклоны.

Примеру его последовали домочадцы.

Климентий Константинович переслал свою просьбу владелице завода, и Аврора Карловна не замедлила пригласить его для беседы. Поскрипывая сапогами, Ушков самоуверенно переступил порог дворца. Служанка повела его в покои Демидовой. Плечистый старик на ходу расчесывал бороду, покрякивал, шел по-хозяйски размашистым шагом, шумно. Держался он словно купец, которому от шальных денег море по колено. Чувствовал он себя в большой силе, и потому хотелось ему порисоваться перед собой. В полутемном коридоре он ущипнул за крутой бок смуглую служанку и озорно подмигнул ей:

— А что, госпожа в духе? Красива?

— Не про тебя, старого козла, писана! — с едкой насмешкой злым шепотком ответила смуглянка.— Да не топай ты по паркету, как стоялый конь!

Ушков налился краской и готов был накричать на

девку, но та быстро повернулась и глазами указала на дверь:

— Ступай, да потише!

И, высунув язык, насмешливо блеснула веселыми глазами.

— Ступай, ступай, шалый старик! — сквозь девичий смешок донеслось до него, и служанка растаяла в полумраке коридора.

Ушков присмирел, осторожно взялся за бронзовую ручку, нажал ее, и массивная дверь бесшумно распахнулась. Он вступил в зал и, ослепленный ярким солнцем, замер в немом восхищении.

У окна, в которое вливались потоки золотистого света, в кресле сидела молодая опекунша наследника Демидова. Ушкову доводилось видеть Аврору Карловну мимолетно, когда она проносилась в экипаже. Но сейчас она предстала перед ним во всей своей блистательной красоте — высокая, томная, с большими выразительными глазами, осененными черными ресницами. Вдова была в легком светлом платье, округлые плечи слегка прикрывал розовый газ. Склонив красивую голову, она с улыбкой смотрела на Ушкова. Подле нее, за креслом, стоял управляющий Кожуховский. Если бы не этот шляхтич, Климентий без раздумья опустился бы перед ней на колени.

«Господи, до чего дивная красота!» — восхищенно подумал он, растерялся и не знал, с чего начать. В эту минуту раздался голос Авроры Карловны.

— Климентий Константинович, что же вы стали у порога? Идите сюда! — с пленительной улыбкой посмотрела она на старика.

Ушков сделал шаг вперед, и на весь зал грубо скрипнули его новые козловые сапоги. Он поморщился от досады: неуместным и неприятным показался ему сейчас этот скрип.

Осторожно, затаив дыхание, он прошел вперед и низко поклонился Авроре Карловне. Она протянула белую узкую руку, теплую и приятную. Ушков вдруг упал на колено и прижался губами к руке.

— О, то светский человек! — одобрительно кивнул Кожуховский.

— Встаньте, Климентий Константинович,— ласково сказала Демидова и глазами показала на стул.

Ушков ног под собой не чувствовал, такой обаятель-

ной и милой показалась ему хозяйка. Он осторожно уселся на краешек стула.

— Ваш прожект я имел честь доложить госпоже,— вкрадчивым голосом сказал шляхтич.— Как видите, госпожа сильно заинтересовалась.

Аврора Карловна улыбнулась, грациозным движением руки оправила газовую шаль и подняла глаза на Ушкова.

— Вот вы какой дерзатель! — добродушно сказала она, не опуская глаз. Ей понравился этот высокий, статный старик в старомодном бархатном кафтане, одетый полукупцом-полудворянином. Она склонила овальное лицо и лукаво обронила: — Но ведь инженеры сказывали, что воду из Черной пустить невозможно!

Ушков встрепенулся и восторженно отозвался:

— Все возможно! Для вас, госпожа, я горы готов изрыть!

Поляк за креслом сдержанно кашлянул, глаза его вспыхнули. Однако он промолчал.

— Я охотно верю вам, но все же прошу не счесть за обиду, если знающие люди обсудят ваше предложение. Я ведь только женщина и ничего в этом не понимаю,— призналась она.

— Что же, одобряю! — повеселел Ушков, но в ту же минуту в душе его началось беспокойство.

«А как же насчет условий?» — забеспокоился он и, осмелев, взглянул в очи Авроры Карловны. Она догадалась о его сомнениях и сказала:

— Наше слово сдержим: даруем волю, как о сем просите! Только, чур,— она вдруг построжала, от нее повеяло холодом,— железо и дерево мы отпустим, а чего другого не просите. Согласны?

«Эх, красива, а жадна!» — вспыхнув, подумал Ушков и снова потянулся к руке Демидовой.

— Будь по-вашему...

— Ну вот и договорились! А теперь скрепим наше слово по русскому обычаю! — Она хлопнула в ладоши, и на зов явилась знакомая Климентию смуглянка с серебряным подносом, на котором стояли графинчик с темным вином и две рюмки. Служанка подошла к Авроре Карловне, та налила крохотные чарочки вином, взяла одну из них и предложила:

— Выпьемте, Климентий Константинович, за общую удачу!

Ушков покраснел от удовольствия, крякнул, осторожно, как перышко, поднял рюмочку.

— Дай господи вам всякого счастья,— искренне вырвалось у него,— а красы у вас на добрый век хватит!

Она пригубила чарочку и снова поставила ее на поднос. Ушков покосился на хозяйку.

— Дозвольте и к вашей приложиться! — поклонился он.

В ответ Аврора Карловна улыбнулась.

— Дай господи...— начал он и замялся: он хотел пожелать ей скорее окончить вдовство, да испугался и поперхнулся, а она от души рассмеялась его смущению...

Ушел он с волнующим неопределенным чувством. Впереди по коридору бежала служанка, игриво оглядываясь на него, но на этот раз Ушков и не взглянул на нее; шел медленно, словно не хотел расставаться с демидовским домом, и все думал:

«Ох, и до чего красива! Сущая чаровница...»

Вечером, среди семьи, Ушков молчаливо сидел за ужином, а в мыслях его все еще рисовалось прекрасное лицо молодой вдовы. Он вздохнул и подумал: «И пошлет же господь кому такое счастье! Ах, голубка...»

3

Сведущие люди рассмотрели проект Ушкова и нашли возможным привести его в исполнение. После этого были подписаны «кондиции», и Климентий Константинович принялся за работу. Он не жалел ни сил, ни средств. Бо́льшую часть своей конницы он бросил на возведение плотины. На трассе работала вся семья Ушкова: брат, сыновья и молодая сноха. С восходом солнца у речки Черной начиналась работа и кончалась с наступлением сумерек. Сотни подвод со свеженарытой землей тянулись от канала к плотине. Пахло смолистым тесом, мхом, речным илом. Весело повизгивали пилы, громко стучали топоры, гудел под молотом каменотеса серый валун-камень. Там, где вели канал, ходил брат Ушкова — Ефим, такой же дородный и бородатый старик, и наблюдал за рытьем. Он часто приглядывался к породе, брал ее в руку и растирал. Искал он «знаки земных сокровищ». Хотелось и ему чем-нибудь обратить на себя внимание Авроры Карловны.

Демидова не поленилась и сама прибыла на осмотр работы. По-летнему жгло солнце. Она, в легком платье, с зонтиком на плече, сошла с коляски и двинулась вдоль трассы. По росту она была под стать Ушкову. Он весь сиял, скинув шляпу, семенил сторонкой, показывая и объясняя работы. Она двигалась медленно, как лебедь по лону вод, и с лица ее не сходила снисходительная улыбка.

Сыновья Ушкова шли следом за госпожой, готовые исполнить любой ее приказ.

На солнце поблескивали лопаты, потные и грязные землекопы дружно выбрасывали тяжелую сырую землю. Аврора Карловна приостановилась против лохматого мужика, одетого в порточную рвань, и залюбовалась его работой. Крепкий, жилистый, он вгонял с размаху лопату глубоко в землю и, захватив огромную штыбу, размашисто бросал ее в подставленную тачку. Очарованная его проворством, Демидова похвалила:

— Скажите, как легко и весело у него дело спорится!

Мужик поднял черные мрачные глаза.

— А ну-ка, попробуй, барынька; узнаешь, что за потеха! — со свистящим дыханием насмешливо предложил он.

— Ты что, сатана! Смотри, Кашкин, на конюшню будешь отправлен! — закричал на него Ушков.— Или не видишь, кто перед тобой?

— Вижу! — диковато посмотрел на Демидову землекоп и вдруг засмеялся.— Позавидовала, стало быть? Давай, госпожа, поменяемся! На такой работе небось жиру не нагуляешь!

Сыновья Ушкова бросились к дерзкому, но Аврора Карловна махнула платочком:

— Оставьте его! Когда человек со страстью старается, он всегда зол!

— Вот это верно — просиял Кашкин. — Что верно, то верно! Золотые слова.

— С охотой трудишься? — ласково спросила его хозяйка.

— Как сказать,— признался работный.— Одно утешает — для Расеи, для внуков стараюсь! Эх, взяли! — Он бросил последнюю штыбу и схватившись за поручни, приподнял и покатил перед собой тяжело нагруженную тачку. На сутулой спине его, на рубашке поблески-

вала выступившая соль. Раскачиваясь, он выкрикивал:

— Эй, пошла, пошла, родимая! Весело и легко!

— Черт! — не сдержался и выругался при Демидовой Ушков.— Всегда строптивый такой, а работник первый!

— Забавный мужичонка! — обронила Аврора Карловна и пошла дальше. Ее внимание отвлекли цветастые платки и сарафаны, которыми пестрело поле. Женки и девки с песней таскали на плотину землю. По окрестностям разносился гул: плотники с копра забивали чугунной «бабой» сваи...

Демидова вышла на дорожку. Поспешно подъехал к ней экипаж. Аврора Карловна долго рылась в сумочке, добыла серебряный рубль и вручила Ушкову:

— Изволь, передай от меня тому холопу!

— Благодарствую за щедрость! — низко поклонился Ушков.— А только напрасно изволили беспокоиться — нетерпимый народ, сударыня. Все равно пропьет и спасибо не скажет.

Демидова улыбнулась:

— Уж как он желает, пусть так и делает!

Сыновья Ушкова бережно усадили хозяйку в экипаж, и она уехала, оставив за собой на дороге легкое облачко пыли.

Климентий Константинович вернулся к землекопу.

— Разбойник! — набросился он на Кашкина.— Тебя бы плетью огреть, а она, изволь, рублем наградила. На, супостат! — И он бросил ему в тачку рубль.

Землекоп, прищурив глаз, посмотрел на целковый. Колебался: взять или не взять? И вдруг вымолвил:

— Дурака и бархатным словом обходят, а умного и за деньги не купишь! — И он стал наваливать землю на рубль.

— Да ты, вижу, ошалел от радости! Что делаешь, леший? — набросился на землекопа Ушков.— Ишь богач выискался!

— Брысь! — прикрикнул на него работный.— Что хочу, то и делаю! Меня, брат, не купишь! Не ручной!

Ушков хотел подойти и опрокинуть тачку, чтобы извлечь рубль, но землекоп так угрожающе поднял лопату, что оставалось только поскорее уйти и не поднимать шума...

Два года на стройке кипела самая напряженная работа. За это время Степан Кашкин отыскал Мирона Черепанова и весной явился к нему. Долго механик присматривался к бородатому сильному мужику, не признавая его.

— Что, не помнится тебе наша встреча? — весело спросил Кашкин.

— Не помнится,— смущенно признался Мирон.— Глаза будто знакомые, а кто такой — не знаю.

Степанко без приглашения уселся на скамью и улыбнулся хозяину:

— Ну, милый, в таком разе я напомню тебе! Помнишь осень, когда в Питере был да на Исаакий лазил? Степанку-каменщика помнишь?

— Ахти! — вскрикнул Черепанов и бросился к мужику.— Да где тебя признаешь, экой бородищей оброс, да и, к слову сказать, постарел сильно!

— Да и ты, друг, другим стал. Гляди, и у тебя в бороде сивый волос! — с грустью сказал Кашкин.— Эх, молодость, отлетела, ушла и не возвратится более! Как живешь, милый?

— Хворый стал! — пожаловался Мирон.— Да и жизнь не радует. Сам знаешь!

— Известно, заели нас живоглоты! — резко выговорил Степанко и пытливо посмотрел в глаза Мирона. Тот сидел, опустив голову.— Ну, да меня не согнешь в бараний рог. Не сдамся!

— Ты все такой же неугомонный,— тихо обронил механик.

— Такая кровь, не терплю рабства! Все одной стезей иду и не сворачиваю. Погляди сам, что они, захребетники, с тобой сделали!

— Прожита жизнь, все на что-то надеялся, обманывал себя, вот и проморгал,— печально признался Мирон.— С какими людьми встречался, что видел, а слеп и глух оказался — всего целиком мастерство поглотило, о жизни и не подумал... Теперь поздно, сердце вот шалит. Ах, Степанко, растревожил ты мою душу, будто снова молодость свою увидел!

— Это хорошо, Мирон Ефимович, очень хорошо! — одобрил Кашкин.— А я не сдамся и буду, видно, до гроба таким неугомонным!

Они сидели и мирно беседовали, и у обоих было хорошо и светло на душе.

Наступила весна 1849 года. Ушковы закончили строительство плотины и прорыли канал. Шлюзы сверкали желтизной, свежая насыпь утрамбована, посыпана песком, вдоль плотины и канала зеленели натыканные березки. Закончилась трудная и беспокойная работа, и Ушков хотел показать ее во всем блеске. Он решил устроить веселый праздник; верил он, что в этот день ему вручат отпускную.

В конце апреля, в праздничный день, к ушковской плотине сошлось и съехалось много народу. Со всего Нижнего Тагила поспешили работные полюбоваться невиданным зрелищем. Запруженная река Черная разлилась широко, и по зеркальной глади нового пруда скользили разукрашенные ладьи. Сверкали медные трубы духового оркестра. В просторной ладье, гребцами на которой были рослые и плечистые сыновья Ушкова, был разостлан персидский ковер, а на нем поставлены два кресла. В одном из них под ярким цветным зонтиком сидела Аврора Карловна, а рядом — голубоглазый румяный сынок Павел, владелец заводов. За креслами стояли главноуправляющий Кожуховский и исправник.

В толпе на плотине, на голову выше всех, суетился Ушков. Подле самой воды был водружен аналой, горели восковые свечи, трепетным пламенем освещая икону. Священники готовились отслужить торжественный молебен. А народ все прибывал,— шли и ехали люди и гости с дальних заводов. Ушков широко оповестил всех о празднике. Синий дымок из кадильницы вился легкой струйкой в теплом прозрачном воздухе. Окружавшие регента в черной поддевке певчие пробовали голоса, и он, высоко поднимая руку с камертоном, прислушивался к звукам. Приставив ладонь к глазам, Ушков нетерпеливо поглядывал на пруд.

Аврора Карловна с наследником поднялась на плотину, и хор певчих огласил просторы стройным и звучным песнопением. Священник начал торжественную службу. Ушков стоял неподалеку от Демидовой и, горделиво подняв голову, разглядывал водный простор и берега, усыпанные пестрыми толпами. Рядом с Авророй Карловной неугомонно вертел головой сынок, следя за полетом стрижей, точно стрелами пронизывавших голубой простор. Когда смолкал хор, мальчуган прислушивался к пению жаворонков, отыскивая их в небе. Сама госпожа смиренно склонила голову в шляп-

ке и внимательно слушала возгласы священника. Розовое, свежее лицо ее было полно жизни...

Она терпеливо выстояла молебен и первой приложилась ко кресту, а затем подвела сына.

Наступила пора открыть шлюзы, но не прибыл главный приемщик стройки Мирон Черепанов. Управляющий встревоженно поглядывал на дорогу. В теплом мареве изредка мелькали женские сарафаны, а механика все не было. Все, кто в силах был ходить, пришли сюда на праздник. «Что же случилось с Черепановым?» — взволнованно подумал Антон Иванович, подошел к Демидовой и, угодливо заглядывая в глаза, посоветовал:

— Сделайте народу удовольствие, извольте оглядеть пруд!

Аврора Карловна снова спустилась в ладью. Сейчас же заиграл духовой оркестр. Мощные звуки потрясли апрельский воздух. За ладьей Демидовой следовали ладьи с управителями, приказчиками, повытчиками и стражей. С берега гремела песня. Ее пели повеселевшие певчие в ожидании возлияний, а на зеленом лугу девки завели веселый хоровод.

У шлюзов стояли самые отборные силачи, готовые поднять заслоны. Они ждали только сигнала. Мирона Черепанова все еще не было...

Внезапно среди праздничной толпы на иноходце появился смотритель Усть-Уткинской демидовской пристани. Он ловко соскочил с коня и, поспешно подойдя к Кожуховскому, что-то зашептал ему.

— Не может этого быть! — вскричал управитель.— Еще утречком мы с ним вели разговор!

Вестник пожал плечами.

Антон Иванович забеспокоился, стал искать кого-то в толпе, потом взор его снова остановился на прибывшем.

— Послушай, милый, случилось непредвиденное. Придется, братец, тебе за Черепанова рапортовать госпоже о плотине! — предложил он.

Ладья Демидовой описала плавный круг и остановилась у причала. Под гром оркестра Аврора Карловна с сыном сошла на берег. Важно надувшийся смотритель размеренным шагом подошел к ней и, вытянувшись по-военному, доложил:

— Всемилостивейшая госпожа, осмелюсь опове-

стить вас, что осмотренные сведущими людьми плотинные строения и канал в четыре версты в полной годности и ждут принятия вод!

Демидова, удовлетворенно склонив голову, махнула кружевным платочком, и рослые богатыри мгновенно подняли заслоны. Пенясь и рокоча, вода буйно устремилась в канал. В весеннем певучем воздухе раздалось раскатистое «ура». Толпа побежала вслед за кипящим потоком, но не могла угнаться за ним: он клокотал, вздымался, как белогривый конь на скачке, и быстро уносился вперед.

Веселое, подмывающее чувство охватило всех. Над горами, прудом, логами все еще продолжало греметь громовое «ура»...

Аврора Карловна стояла на плотине над бушующими водами, любуясь пенистым каскадом. Уловив минутку, когда схлынул первый восторг, она повернулась к Ушкову и протянула ему свернутую грамоту.

— Усердный слуга наш, Климентий Константинович, вы и вся ваша семья отныне свободные люди. За верную службу роду Демидовых даруем вам волю! — Голос ее прозвучал торжественно.

Ушков и его семья упали перед ней на колени. Аврора Карловна милостиво протянула им руки, и растроганный строитель плотины без конца лобызал их, а по щекам его катились искренние благодарные слезы.

— Встаньте! — благосклонно приказала Аврора Карловна.

Вся ушковская семья поднялась с колен и проводила Демидову до экипажа.

Усаживаясь, владелица подозвала Кожуховского и спросила:

— Что же с Черепановым? Почему он не явился на осмотр плотины? Как смел он не послушаться моего приказа?

Управитель опустил глаза.

— Случилось несчастье, госпожа,— растерянно ответил он.

— Что же могло случиться с ним? Покалечился?

— Нет... Умер...

— Вдруг, внезапно умер? — удивленно расширились глаза Авроры Карловны.— От чего же?

— Паралич сердца. Некоторые подозревают другое,

да это пустое... Такой великий жизнелюб не мог уйти от жизни по своей воле!

— Жаль, весьма жаль! Отличный был механик! — опечаленно промолвила госпожа, и по лицу ее пробежала скорбная тень.Она молча уселась в коляску, кучер щелкнул бичом, и экипаж покатился среди говорливого праздничного народа...

Когда он скрылся из глаз, Ушков еще долго смотрел на дорогу, потом встряхнул головой и, обратясь к тагильцам, пригласил:

— Милости просим к столу, хлеба-соли отведать!

На лужайке, прямо под открытым небом, устроены были из свежего теса столы и скамьи, на холстинах расставлены ведра с брагой, с водкой, разложены ковриги хлеба, огурцы, соленые грибы да густо дымилось варево, которое проворные стряпухи разливали по мискам.

— Проходите, проходите, гости дорогие! — приглашали они народ.

Под голубым небом начался пир. Высоко в лазури распевали жаворонки, их трели вплетались в веселое журчание воды. По пруду плавали ладьи, и веселая музыка громче оглашала просторы. Серебром поблескивали воды, и теплый ветерок приятно обвевал разгоряченные лица гостей.

Ушков, стоя среди великанов-сыновей, поднял большую братину, наполненную пенной брагой, и, шумно дыша, воскликнул:

— Дожил-таки, братцы, я до светлых дней. Вот когда я и мои дети свободны. Радуйтесь, родимые!

— А чего радоваться? — закричал из-за стола дерзкий землекоп Кашкин, не принявший в свое время дара Авроры Карловны.— Чего ликовать? Тебя освободили, а народ как был, так и остался в неволе!

— Замолчи, смерд! — зашумели на него сыновья Ушкова.

— Не могу молчать, когда на сердце горит! Ты ликуешь, а мы такого золотого человека потеряли — Мирона Ефимовича. Скажем по чести, исподволь да исподтишка затравили горемыку! — Работный вызывающе взглянул на Ушкова и сердито отодвинул берестяную кружку с брагой.— Не надо твоего угощения, мироед! — Он резко поднялся из-за стола и крикнул: — Погоди, я еще вернусь! Люди, пора нам из-под ярма

выходить да волю для всех добывать! — Он твердым, решительным шагом пошел прочь от застолицы.

Хозяин оторопел и, остолбеневший, смотрел на землекопа, который уже медленно шел вдоль канала. И чем дальше уходил он, тем более четкой становилась его фигура. Вот он поднялся на холм, и силуэт его выразительно рисовался на светлой полоске неба; он показался Ушкову чудовищно громадным. Еще минута, и землекоп исчез в нагретом мареве, глубоко взволновав душу богатея своей угрозой.

4

Прошло несколько лет. Все такая же свежая, красивая вдова Аврора Карловна Шернваль-Демидова на время выбыла в Санкт-Петербург и неожиданно для всех вышла замуж за Андрея Николаевича Карамзина — сына знаменитого русского историографа. Однако и с ним не пришлось ей долго наслаждаться семейным счастьем: муж погиб в Валахии в 1854 году, и вновь Аврора осталась вдовой. Все помыслы ее сосредоточились на единственном сыне Павле, и она снова вернулась на Урал, к заводским делам. Первым, кто посетил ее, был Ушков, пришедший с жалобой на горное начальство. Оказалась преждевременной его радость при получении вольной. Горное управление ввязалось в это дело, так как начальник горных заводов строго следил за тем, чтобы заводы были обеспечены крепостной рабочей силой, и от него только зависел отпуск на волю. Давал разрешение владельцам он только тогда, когда была возмещена убыль в рабочих людях путем покупки новых крепостных.

Началась бесконечная переписка. За это время Ушков построил десятки новых плотин и мельниц, а в 1855 году он составил детальный проект соединения реки Сулемы с рекой Шайтанкой. На следующий год он доставил в Горное управление новый проект провода вод реки Туры в Кушву. Стоявший на берегу Кушвинский завод всегда испытывал большой недостаток в воде. Горное начальство даже не отозвалось на предложение Ушкова. Ко всему этому Аврора Карловна, даруя Ушковым призрачную свободу, так и не расплатилась с Климентием Константиновичем. За Демидо-

выми оставалось пятнадцать тысяч долга. Ушков пожаловался начальнику заводов Уральского хребта генералу Глинке, но тот передал дело на проверку в другие инстанции, и снова потянулась бесконечная волокита...

Невольно Ушков вспомнил своих соперников Черепановых, и на сердце стало горько. Как часто он бывал с ними несправедлив, завидовал! А чему было завидовать? Вот и теперь, кто он: свободный или крепостной человек? Кто знает?

«Эх, поманула воля, да так и оставила!» — со вздохом подумал он и затосковал.

Глава седьмая

1

Матильда де Монфор и князь Сан-Донато окончательно разъехались в 1845 году. По распоряжению царя Николая I разведенная жена получала от Демидова ежегодную пенсию в двести тысяч рублей, из которых она, в свою очередь, обязывалась выдавать отцу, престарелому экс-королю Жерому сорок тысяч франков. Принцесса стала очень скупой и под разными предлогами затягивала выдачу пособий отцу, а иногда и вовсе в них отказывала. Оскорбленный отец отвернулся от дочери, окончательно погрузился в дела Дома инвалидов.

Разведясь с Демидовым, Матильда безвыездно жила в Париже, играя видную роль в аристократическом обществе. Анатолий внимательно следил за успехами своей бывшей жены. Принцесса Монфор вела, на первый взгляд, веселую, беззаботную жизнь. Ее парижский салон затмевал многие столичные салоны.

Умная и ловкая, Матильда задавала тон всем разговорам, старательно предохраняя салон от политики. В нем занимались разговорами о литературе, и принцесса старалась проявить в них свое изысканное остроумие.

По субботам принцесса устраивала обеды, на которые обычно съезжалось не более восьми-десяти самых избранных людей, в том числе и князь Сан-Донато.

— Но почему вы умалчиваете о порядках в Париже? — тихо спрашивал Демидов хозяйку.

Глаза Матильды темнели:

— Ах, боже мой, разве об этом спрашивают вслух! После Страсбурга нужно молчать! Вы же знаете, *он* заключен в крепость Гам!

Сторонники Бонапартов мечтали о восстановлении этой династии. Родной племянник Наполеона I, Луи-Наполеон, дважды путем заговора с оружием в руках пытался проложить себе путь к власти, но был разгромлен королевскими войсками Луи-Филиппа: первый раз в Булони в 1836 году, второй — в Страсбурге в 1840 году. Он доводился двоюродным братом Матильде, и она боялась пострадать из-за этого родства.

— Прошу вас, Анатоль, не говорить здесь о политике! Придет время, напомню вам!

Но это время пришло не скоро... В 1846 году Луи-Наполеон бежал из крепости Гам, в которой отбывал пожизненное заключение, в Англию. Он долго скитался и, по всей вероятности, умер бы в неизвестности, но во Франции совершилась февральская революция 1848 года, и король Луи-Филипп был свергнут с престола. Укрывавшийся в Англии глава семьи Бонапартов воспользовался французской революцией и вернулся во Францию. 25 февраля он прибыл в Париж, но был немедленно выслан временным правительством. Во Франции остались друзья его — бонапартисты, которые повели за него агитацию. Они энергично взялись за дело: появились бонапартистские газеты и группы сторонников. Кто мог ожидать, что на президентских выборах кандидатом на пост президента в числе других будет выставлена и кандидатура Луи-Наполеона? Анатолий Демидов был поражен: 10 декабря 1848 года Луи-Наполеона избрали президентом Второй французской республики. За него голосовали роялисты, католики и очень много политически отсталых крестьян и рабочих. Бонапартисты ликовали.

В салоне Матильды де Монфор началось необычайное оживление:

— Теперь скоро, очень скоро произойдет реставрация!

Однажды принцесса отвела Анатолия в укромный уголок и таинственно сказала:

— Анатоль, наступают дни, когда Луи сбросит маску, но ему нужны деньги. Вы богаты, помогите кузену!

Демидов пожал плечами.

— Я не настолько богат, чтобы помогать королям Франции! — сказал он, проницательно посмотрев в глаза Матильды.

Легким кивком головы она подтвердила его догадку.

— Он будет императором! — прошептала она.

— Хорошо! Я согласен, но я должен видеться и поговорить с ним лично!

— Завтра мы будем у него! — решительно предложила Матильда.

На другой день она явилась в приемную президента. Принцесса де Монфор не умела ждать и, подойдя к адъютанту, молоденькому офицеру, что-то прошептала ему. Тот мгновенно вытянулся и важно провозгласил:

— Принцесса Бонапарт, пожалуйте!

Он распахнул перед нею дверь, и они вошли в большой светлый кабинет президента. Навстречу им поднялся высокий военный; Анатолий узнал в нем Луи-Наполеона. Не случайно над его головой в форме груши потешались на все лады в народе. Это характерное продолговатое лицо сразу запоминалось. Выглядело оно усталым, желтоватым, усы были фатовски закручены, торчали, как два шпиля. Под утомленными глазами — большие, в морщинках мешки. У этого человека было сложное и тревожное прошлое. Лелея мечты о троне, он долго скитался по Америке, оставив там о себе незавидное воспоминание, в Лондоне он снисходил до грязных трущоб...

Однако Демидов весело улыбался идущему навстречу президенту. Луи-Наполеон принял это за учтивость и внимательно оглядел Анатолия.

— Вы превосходно выглядите, и я начинаю ревновать к вам мою кузину! — галантно сказал он.

— Теперь поздно; мы не сошлись характерами, но остались друзьями! — спокойно ответил Анатолий.

Президент взял Демидова под руку и прошелся с ним вдоль широких окон, в которые вливались потоки солнечного света. Здесь он показался Анатолию еще старше и изношеннее: у губ лежали продольные глубокие морщинки, усы были слегка подфабрены.

— Вам, наверное, кузина сообщила о моей просьбе...— начал Луи-Наполеон и смутился.

— Я помогу вам! — решительно сказал Анатолий.— Живя столько лет во Франции, я считаю себя французом и мечтаю о монархии!

Президент жадно схватил руку Анатолия и крепко пожал ее.

— Вы благородный человек! Я не забуду этого! Но до монархии еще многое предстоит сделать! Об этом — молчание! — Он приложил палец к губам.

Матильда бесцеремонно вмешалась в беседу:

— Луи, надо полагать, что вы договорились. Все остальное я беру на себя!

— Да, да! — поспешно согласился он.— Медлить нельзя!

Сан-Донато взглянул на Матильду, она вся горела нетерпением.

— Анатоль, идемте и будем действовать! — поднялась она и, шумя платьем, повлекла Демидова из кабинета.

2

2 декабря 1851 года Луи-Наполеон совершил государственный переворот, разогнав законодательное собрание и захватив в свои руки всю полноту власти. Через год, 20 декабря 1852 года, он провозгласил себя императором Наполеоном III. Сразу вокруг него появилась пышная свита. Окружающие и близкие ему люди только и мечтали о камергерских ключах, парадных мундирах придворных шталмейстеров и палатных мэров. Роскошь увеличивалась с каждым днем и принимала форму повальной болезни. Начались нескончаемые балы, охоты, спектакли, маскарады, увеселительные поездки, и принцесса Матильда принимала в них самое деятельное участие. Двоюродный брат, император, был влюблен в нее. Она не скрывала этого перед Анатолием. Встречаясь с бывшим мужем в салонах, Матильда сентиментально поверяла ему свои сердечные тайны:

— Ах, Анатоль, он воркует со мной, как голубок!

Ей шел тридцать второй год, и когда она улыбалась, вокруг глаз и губ появлялись едва приметные морщинки, очарование молодости угасало.

Император и в самом деле уделял ей много внима-

ния: он присвоил ей титул императорского высочества и заказал отчеканить пятифранковые золотые монеты с ее именем. На выходах она появлялась вместе с Наполеоном. Матильда напомнила ему об услугах Демидова, и тот был принят во дворце. Предстоял обычный придворный бал; залы постепенно наполнялись знатью, блестели мундиры, сверкали атласные плечи дам, сияние исходило при движении их головок. В залах стоял легкий непрерывный шум, пробегал легкий интимный шепот. Почтенные люди с лентами и орденами расхаживали с видом неприступной строгости. И вдруг все пришло в движение: в распахнутой двери появился император. Матильда немедленно увлекла за собой Анатолия и представила государю. Хотя Демидов хорошо знал всю закулисную игру, но сейчас, в дворцовом зале, окруженный свитскими, Наполеон III показался ему представительнее, чем при первом свидании. Восхищенный перевоплощением его, Демидов льстиво воскликнул:

— Ваше величество, меня привело сюда единственное желание увидеть настоящего монарха, и я его увидел!

Император улыбнулся, взял Анатолия под руку и повел по анфиладе дворцовых зал. Позади, в приличествующем отдалении, следовала свита. Луи-Наполеон тихо, укоряюще сказал Анатолию:

— Вы ошиблись, мой друг! Чтобы видеть монарха, вам надо снова вернуться в Россию или хотя бы в Австрию! Здесь я могу вам показать даже не короля, а только главу правительства. Август владел всем миром, Карл Великий — всей Европой, я же только стараюсь владеть сам собою,— и то мне не всегда это удается. Людовик Четырнадцатый говорил: «Государство — это я!..» Мне же приходится убеждаться, что государство — это все: печать, министры, чиновники министерств, уличная толпа, последний оборванец, бегущий вон там на площади,— словом, весь свет, кроме меня одного...

Он был чем-то раздражен и в запальчивости продолжал:

— Старая вывеска «Короли Франции» еще осталась, но товару в лавочке уже нет, и поверьте: через каких-нибудь сто лет у нас будут, как теперь в Египте, показывать только мумии королей!

Демидов посмотрел на его желтое, одутловатое лицо с тонкими шпилями вытянутых усов, и ему стало жалко этого человека.

«Да, ему далеко до королей Франции! Мещанин, серенький мещанин!» — зло подумал Анатолий, но улыбнулся:

— Ваше величество, вы сегодня злы.

— Если и зол, то на себя! — громко ответил Луи-Наполеон и вдруг спросил: — Интересуют ли вас спиритические сеансы? У нас сегодня вечером будет знаменитый Юм. Обязательно приезжайте...

— Благодарю! — учтиво поклонился Демидов и отступил, увлекаемый Матильдой. Свита приблизилась к Наполеону, и он удалился во внутренние покои дворца...

Глава восьмая

1

На западной окраине неба, над ельником, пылало зарево пожара. Аврора Карловна с тревогой смотрела в окно. На фоне заалевшей ночи резко рисовалось черное грузное здание завода, его высокие трубы, низкие склады и горы угля. Позади хозяйки стоял управляющий пан Кожуховский. Маленький, приземистый, с длинными нафабренными усами, он по-кошачьи недовольно фыркал, шумно сопел и, весь наполненный злобой, настаивал:

— Моя госпожа, цо робят тыи злодеи! Непременно то Кашкин подпалил! А кому же иначе? Засечь собаку потребно!

Аврора Карловна горестно вздохнула:

— Ах, Антон Иванович, надо поосторожнее с народом. Жаль заимки, убыток немалый. Но что делать, если кругом взбаламутились люди?

— Крепостному быдлу плети потребны! На то холоп, чтобы его стегали! Кабы мне волю, я бы их поучил! — с нескрываемой ненавистью заговорил шляхтич.

— Вы всё горячитесь, а теперь жить надо иначе. Круто, но умно надо наказывать раба! В этом краю

опять становится страшно. Не за себя волнуюсь, а за сына! — с грустью сказала вдова.

— Ах, моя обожаемая пани, нынче и съехать некуда от сих ворогов! Куда податься, если вся Россия вот так, как в котле, кипит. Крепостные только и ведут речь о воле. Хм! — ядовито ухмыльнулся Кожуховский.— Моя бы власть, я б показал им волю!

Аврора Карловна оторвалась от окна, подошла к старинному креслу и устало опустилась в него.

— Антон Иванович, на сердце у меня что-то неспокойно,— пожаловалась она.— Вот так бывает перед бедой...

— Что вы, что вы, моя пани! Все пойдет по-хорошему. От веку так повелось: холопы дурят, а паны плетью их за это учат!

Хозяйка замолчала. Зарево над лесом постепенно угасало, и в комнате сгущалась тьма.

— Спокойной ночи! — тихо сказала вдова управителю, и тот понял, что ему пора уходить.

Демидова осталась одна. Гнетущая тоска охватила ее, молодую женщину. Всем своим существом она чувствовала, что здесь, на Камне, на заводах поднимается новая страшная сила — просыпаются от вековой спячки работные люди. Становилось жутко среди этого житейского бурного моря.

Заводчица не ошиблась. Во всем расчетливая и холодно-рассудочная женщина, она понимала, что наступают тревожные дни. В народе родилась и вынашивалась заветная мечта о воле. Через Каменный Пояс пролегал гулевой Сибирский тракт, по берегам Камы и Волги без конца шли, утаптывая тропы, поливая их соленым потом, бурлаки. Из конца в конец по всей русской земле разносили они слухи и толки о воле. Да и прошлое еще не было забыто. И на Сибирской дороге и среди берегового бурлачества крепка была в народе память о временах Пугачева. Самое опасное было в том, что все крепостные были твердо уверены, будто цари не раз милостиво давали волю крепостным, да баре и попы прятали ее, и не доходила она до народа.

«Прав пан Кожуховский, надобно изловить смутьяна Кашкина и отменно высечь его. Да так, чтобы о воле забыл! — с ожесточением подумала Аврора Карловна.— И в самом деле, где это видано, чтобы руки опускать? Не все же мужики против барства. Вот хоть

Ушков,— первый пойдет против Кашкина! Словить, схватить злодея!»

Зарево погасло. Во всем теле вдова ощущала гнетущую тяжесть. Она поднялась и со скорбным лицом пошла в спальню, легла в постель, но сон не приходил. Встревоженная Демидова твердо решила утром послать вершников, сильных и крепких слуг, и отыскать смутьяна...

Но пришло утро и принесло еще более тревожную весть. Гонец из Екатеринбурга сообщил о неожиданной смерти царя Николая Павловича. Кто мог ожидать ее? Всегда здоровый, крепкий, он вдруг простудился, и менее чем в неделю все было кончено. Смерть наступила так внезапно, что немедленно после кончины царя по столице пополз слух о том, что Николай был отравлен его доктором Мандтом, другие таинственно передавали, что он сам отравился. Основанием к подобным легендам послужили военные неудачи под Севастополем. Несмотря на геройство и самоотверженность русских моряков и солдат, Крымская война была проиграна из-за тупости и ограниченности царя и его министров. Общество находилось в сильно угнетенном душевном состоянии, все скрыто ненавидели николаевский режим, и царь это чувствовал. Еще до его роковой болезни по Петербургу ходила молва о том, что певчие Казанского собора во время богослужения, по какой-то непонятной ошибке, запели при возглашении многолетия императору «вечную память». Среди простого народа передавали рассказ о том, что на шпиль маленького бельведера на крыше Зимнего дворца, как раз над царской комнатой, уселась неизвестная черная птица и целый день кричала зловещим голосом, предрекая смерть. Мнительный и трусоватый Николай впал в уныние, и это мрачное настроение не покидало его до могилы.

Слушая сообщение, хозяйка и шляхтич смотрели на вестника глазами, полными слез.

— Боже мой, он был у дворян настоящий и крепкий защитник! — с тревогой в голосе воскликнула Аврора Карловна.— Как мы будем без него?

Несмотря на утешения, она грустно опустила голову и проплакала целый день.

Мимо окна, тяжело склонив голову, хмуро проходили в церковь работные. Седовласый священник со

слезами оглашал народу скорбное известие, но люди угрюмо молчали, глубоко скрыв свои настоящие чувства.

Вместе с крепостными заводчица молилась за царя. Ее спокойные карие глаза пристально разглядывали понурых рабочих.

«Может, эта потеря и их сломит!» — с надеждой думала она.

А в это время на паперти, окруженная плотной толпой, убогая старуха-побродимка тихим напевным голосом вещала людям:

— Милые вы мои соколики, отошел-умер царь-батюшка Миколай. Умер от лихих тягот, на своем хотел поставить, да не вышло! И ноне едет, едет к нам другой царь Михаил, и думка одна у него: хочет он извести всех бар на русской земле. И везет новый царь-государь с собой золотую книгу и дарует ее всему честному крестьянству — всем мужикам, у кого мозолистые руки. А в этой книге написано простому народу: всю землю царь Михаил отдает исконному пахарю-крестьянину в вечное владение, а помещикам не оставляет ничего. И будет вскоре воля-волюшка на всей русской земле. И будет тогда...

— Чего брешешь, старая кикимора! Погоди, ведьма! — прервал старуху властный голос.

Энергично расталкивая мужиков локтями, из толпы вышел плотный, круглый пан Кожуховский. За ним выступала бледная и строгая хозяйка завода.

— Что за паскудные речи ведешь? — суровым голосом спросила у побродяжки Аврора Карловна, не выдержала характера и сорвалась: — Забрать брехунью! Плетей, плетей ей!

— Не горячись, барыня! Не на всякого человека можно плеть поднять! — сказал ей высокий костистый старик. Он бесстрашно смотрел госпоже в глаза, и его сухое загорелое лицо было полно решимости.

— А ты откуда брался, такая заступа? — взбешенно закричал шляхтич. Рысьи глаза его сузились от злости, и он протянул руки к старику.— И тебя заодно плетью отстегаем!

— Молод и горяч больно! Самолюб не в меру! — с достоинством ответил старик.— Погляди, на небе играет свет-солнышко! Разве упрячешь его? Никак грязными руками не схватить; так и матку-правду ни

плетью не забьешь, ни тюрьмой не скроешь!

В жилистом, крепком теле деда, в его загорелых до черноты руках с огрубелыми пальцами, в мускулистых и прочных ногах чуялись сила и упрямство.

— Ты у меня смотри! — пригрозил ему управляющий и заорал: — Стражники, забрать эту побродяжку!

Полицейщики бросились к старухе. Мужик неустрашимо хотел ее защитить, но седая женщина остановила его.

— Не мешай им! Не страшны мне супостаты! — выкрикнула она, и в ее старческих глазах, как под неостывшей золой, сверкнул огонек.

Нищебродку потащили на барский двор и отхлестали плетями. Избитую, измученную, ее выбросили на дорогу.

— Иди-бреди куда хочешь, вот тебе и воля! — насмешливо сказал ей вслед шляхтич.

До позднего вечера она лежала в забытьи, и только шедшие с работы заводские подняли старую и унесли в поселок.

Но и расправа со смутьянкой не принесла Авроре Карловне покоя. Всю ночь тревожно бродила она по старым демидовским хоромам, прислушиваясь к подозрительным шорохам и к шуму ветра в парке. Над демидовским домом высоко стоял месяц. Нарушая гнетущую тишину, на каланче древний сонный сторож двенадцать раз ударил в колокол. Глухие звуки пронеслись над прудом и лесами и замерли. Белесоватый туман наползал с водной глади и тянулся к деревьям и кустам, развешивая на них свои серые космы. Только под утро, когда стал нарастать птичий гам и щебет, Аврора Карловна постепенно успокоилась и уснула...

Прошли недели, на престол вступил Александр II. Демидова вздохнула свободнее и призналась шляхтичу Кожуховскому:

— Боялась я, чтоб опять не повторилась Сенатская площадь... Все сердце изболелось...

— То пустое, моя вельможная пани, новому не обратиться вспять. Так я полагаю, все сейчас пойдет к наилучшему!

Напрасно утешал себя так Антон Иванович — слухи о воле среди народа не прекращались. Они росли, ширились. Довелось шляхтичу Кожуховскому побывать по делам на Юрюзанском заводе, и там владелец Сухоза-

нет усилил его тревогу. За доброй настойкой, среди приятной беседы об Авроре Карловне, хозяин вдруг таинственно сообщил:

— И среди дворянства ходит слух, что освобождение крестьянства возможно. Весь вопрос только, на каких условиях?

— Неужели его императорское величество обидит дворянство и заводчиков? Быть того не может! — убежденно сказал шляхтич.

— Безусловно! — согласился Сухозанет.— На это рассчитывать русской черни не приходится.— Он пододвинул графинчик с вином и предложил: — Пейте во здравие. Мы еще покняжим!..

2

Аврора Карловна давно поджидала из Москвы старую овдовевшую тетку. Выписала она старуху не из жалости к ней, а потому, что тетка прекрасно знала иноземные языки, и Демидова решила приставить ее учительницей к сыну.

Гостью привезли в разбитом рыдване и устроили в горнице. Аврора Карловна сгорала от нетерпения узнать московские новости. Она усадила старушку за стол, поднесла ей чашку душистого кофе и ждала ее речей. У гостьи были темные брови, большие пытливые глаза, некогда голубые, а теперь выцветшие. Большой тонкий нос, заостренный подбородок придавали ей сходство с хищной птицей. Все лицо ее было изрезано мелкими морщинками, густо белела пудра, на щеках алел грубо намалеванный румянец. Старуха не торопилась, медленно пила кофе и хитро поглядывала на племянницу.

— А ты все еще хороша, моя козочка! — тихо заговорила она.— И цветешь и живешь хорошо. Да хранит тебя бог, что вспомнила обо мне. Вот одного боюсь — скукоты. Без мужского глаза погибнешь тут!

— Что вы, тетушка, мы ведь вдовы, не до этого нам с вами! — потупя глаза, запротестовала Аврора Карловна.

— Ах, милая, мы, женщины, не можем жить без галантов! Да вот времена пошли какие! Боюсь, что все с ума сошли и с волей придет утеснение...

— С какой волей? Что за вести? — встревожилась Демидова.

— Да то вести не мои; герольды на коронации в Москве рассказывали, грамотки кидали о воле...

— Что вы, что вы! Да разве ж это может быть? — устрашилась Аврора Карловна.

— Не знаю, как и сказать. Вот только послушай, милая, как было! — вкрадчивым голосом начала старуха.— В тот денек иду я по просторной площади, и вдруг со всех сторон точно плотину прорвало. Народ ото всех краев, словно вода в половодье, нахлынул. Тут появились герольды в золотистых одеждах, с орлами на спинах, с трубами. И стали они трубить, а из парчовых сум выкидывать в народ небольшие листочки. Ветер подхватил их и понес, а народ-то заметался за ними, будто за сотенными. Схватит один, десять на него набрасываются, опрокидывают, барахтаются в куче, рожи друг дружке царапают, пальцы ломают, да и порвут в остервенении бумажку на клочки. Целая редко кому и досталась. Сама видела, моя золотая, как один мужик с расквашенным носом схватил на лету бумажку, засунул в рот и проглотил. Только бы ему досталась!.. Изволишь видеть, моя милая, кто-то среди черни слух пустил, что царь перед коронацией дает волю мужикам и кому удастся поймать бумажку или хоть краешек ее ухватить, тому и вольная... Только, конечно, все это не так! Никому никакой воли и не обещали!..

— Ах, боже мой! — схватилась рукой за сердце заводчица.— А ведь я думала, что и на самом деле это правда! Напугали вы меня!

— Правда не правда, а народ такой,— раз надумал, то и ждет, чего ему хочется. Пугаться тебе, моя золотая, нечего. Никакой воли не будет! Все как было, так и пойдет...

И хотя глаза старухи добродушно улыбались, а за окном светило нежное, радостное солнце и так тихо было кругом, все же на сердце Авроры Карловны не было обычной радости. Она сидела молчаливая и притихшая.

Старуха грустно покачала головой.

— Ах, милочка моя, тебе ли в таких годах кручиниться! — Она припала к плечу племянницы и захихикала: — Погоди, найдутся счастливчики, только помани, вот и тоска уйдет...

Качнув головой, она многозначительно посмотрела на вдову и улыбнулась.

Гром загремел совершенно неожиданно и невдалеке: невеселые вести пришли с Юрюзанского завода. В августе работные этого завода отправились на покосы, и к ним явился бежавший из Тагила бойкий и скорый на слово Степан Кашкин. Он с неделю скрывался у косарей в балаганах и побудил их к неповиновению заводской конторе. Сметав стога, народ разбрелся кто куда. Крестьян ждала работа на рудниках и дровосушилках, а они ударились в соседние уезды в поисках хлеба. Дело принимало грозный оборот; главный приказчик Абаимов, хмурый, тяжелый, с волчьими глазами мужик, решил примерно наказать возмутителей. Вместе со стражей он поймал двух сбежавших с завода, жестоко высек их, а на другой день от поджога запылали синим пламенем угольные сараи. Работные не бросились тушить их. Абаимов суетился, угрожал, ругался, но никто и пальцем не шевельнул, чтобы помочь приказчику. Бородатый угрюмый рудокопщик долго и пристально смотрел на веселый огонь и как бы между прочим задумчиво сказал:

— Погоди, доведешь до того, что самого в жаровню сунут. Не грех бы, супостата!

Абаимов от слова до слова услышал сказанное горщиком, потемнел и, сразу прикусив язык, незаметно скрылся с пожарища. Засел он в конторе за крепкой дверью с железными запорами. Несколько дней не показывался людям на глаза: понял, как опасно сейчас раздражать работных. Беспокоился он не напрасно: все приписные его ненавидели, и недаром! Вместе с генералом Сухозанетом он довел работных до невыносимо тяжелого положения; оба не щадили ни малого, ни старого, ни больного. Минувшей осенью, когда задували пронзительные северные ветры, приказчик выгнал всех на возведение плотины. Беременные женщины и матери с грудными ребятами тоже должны были выполнять урок, а в расплату многим достались плети. Две женщины после каторжной работы скончались в родовых муках. Вспоминая обо всем этом, приказчик думал лишь об одном, как бы поживу-поздорову унести ноги с завода. В Санкт-Петербурге у генерала Ивана Сухозанета работал старшим конторщиком его тесть

Петр Помыкалов. К нему и написал 28 мая 1858 года письмо Абаимов, в котором сообщал:

«В нонешнее время очень трудно стало управляться... Мужичье, дураки, ничего не понимают, и как до сих пор живут на цепи, то и желают сорваться, как обыкновенно срываются цепные собаки и на воле не могут набегаться. А как уже из зла ко мне были зажиги[1], то боюсь, как бы вместо подкладки огня под угольные сараи не подложили огня в людей... Зажигатели же все около меня, и прошлогодняя искра не погасла. Вот причина, по которой я боюсь этой обязанности как огня и почту себя в награду, ежели генерал освободит меня...»

Письмо благополучно дошло до места назначения, попало в руки старшего конторщика Помыкалова, а от него и самому Сухозанету.

Генерал в весьма сильном раздражении прочел просьбу приказчика, лицо его стало багровым и, не откладывая дела, он зло и сердито написал ответ Абаимову:

«Ах ты, безалаберный мужичишка, хвастун, пустомеля, не вы и не ты, а я тружусь, как на цепи привязанный, и всегда рад, всегда с удовольствием хочу служить вам примером трудов и усердия, с седою головою, не тебе чета, молокососу. Однако в 33 года не могу похвастаться, что искоренил воровство и пьянство и что привел вас в порядок. А ты, ленивец, болтунишка, едва показываешься при работах, иногда только в пять часов вечера, и смеешь говорить о благоприятных обстоятельствах, будто тобою устроенных... Срамец! Ты живешь помещиком и смеешь говорить: «Отслужил, слава тебе господи!»

Не мужичье дураки на цепи, а вы, грамотеи, мошенники, пьяные и ленивые. Вам тошно, что вас хотя не на цепи, однако же на шнурке понемногу притягивают к ответственности и работе. Вам тошно, что удерживают от разврата и не дают вам воровать вдоволь, как в старину бывало. Не мужики, а вы желаете сорваться и на воле беситься, но высочайшая воля вам гласит другое: «Всем оставаться в совершенном повиновении к установленным властям и в спокойствии ожидать решения,

---

[1] Поджоги.

которое тогда последует, когда все обсуждено и государем утверждено и обнародовано будет.

Зажиги были не от мужиков, а от твоей братии грамотея, от вашей безбожной и злой зависти друг против друга».

Получив генеральскую отповедь, старший приказчик Юрюзанского завода распалился яростью и, чтобы облегчить сердце, решил поприжать приписных. Со стражниками он объехал лесные курени в надежде изловить зачинщиков возмущения среди рабочих. В одном лесном шалаше он застал спящего человека. Стражники схватили его и связали руки. Абаимов узнал в задержанном землекопа Кашкина.

— Ага, попался, сокол! Ну, погоди, разберемся с тобой!

Кашкин хмуро посмотрел на приказчика и промолчал. Однако от одного взгляда работного Абаимову стало не по себе. Окруженный стражниками, пойманный был доставлен на завод и заключен в подвал. В тот же день с завода в демидовскую вотчину поскакал нарочный. Пан Кожуховский сильно обрадовался, когда узнал о Кашкине. Он выслал трех конных, чтобы непокорного работного доставили в Тагил. Спустя неделю тагильские полицейщики вернулись унылые и раздосадованные. Оказалось, что проворный Кашкин перерезал веревки и сбежал по дороге в дремучем лесу. Заметался Антон Иванович, беспокойные думы не оставляли его ни на минуту: несомненно, Кашкина освободили его сообщники: «Но где они?» — со страхом размышлял пан Кожуховский.

Пока гроза шла стороной, он не беспокоил Аврору Карловну. Однако спустя немного времени волнения начались на самом Нижне-Тагильском заводе, и — кто бы мог подумать — среди кержаков! Издавна повелось так, что Демидовы с охотой брали на заводы староверов. Спасаясь от царского и полицейского притеснения, кержаки бежали на российские окраины: в Поморье, на Дон, но больше всего в уральские леса и горы. По милости приютивших их горнозаводчиков, кержаки строили свои часовни, молельни, а в глухих чащах — даже скиты. Никита Демидов — основатель заводов — деловито рассуждал:

— Пусть стараются на благо моих заводов, а как богу молятся, это их дело!

Еще при внуке, Никите Акинфиевиче, богатый кержак Рябин построил часовню в Нижнем Тагиле. Угрюмые и замкнутые староверы, сохраняя старинные повадки и одежды, истово молились старописанным иконам, служили по древним книгам.

Пермскому православному архипастырю не по душе пришлись такие вольности раскольников,— было отдано распоряжение кержацкую молельню закрыть и передать единоверцам.

Старообрядческий наставник отец Назарий собрал свою паству на околице и, потрясая посохом, возопил:

— Вот коли́ и на Камень антихрист добрался! Что будем робить, православные? Кидай заводишко, уйдем в мать-пустыню! Побредем в Алтай-горы, там еще есть юдоль для наших молитв!..

Кожуховский с полицейскими налетел на мирян и разогнал их. В тот же день он послал гонца в Екатеринбург, в Горное управление, прося помощи.

Через несколько дней на завод прибыл подполковник жандармского корпуса Жадовский, с ним чиновники, и решили приступить к опечатыванию часовни.

Чтобы обезопасить себя, Кожуховский к тому времени отправил наиболее строптивых кержаков на лесные и горные работы. Староверские чтецы и певцы покинули часовню. Следом за ними управитель нарядил в рудники и тридцать кержачек, которые больше всего подстрекали народ на околице. Для пущего внушения всех старообрядцев вызвали к храму, вынесли им древнее евангелие и заставили начетчика громогласно зачитать по старопечатному тексту стихи из главы тринадцатой послания апостола Павла к римлянам о повиновении «властям предержащим».

Кержаки чинно встали на колени, били земные поклоны и, с умилением слушая чтение, каялись в грехах. Жандармский подполковник многозначительно переглянулся с управляющим,— на лице офицера блуждала самодовольная улыбка. Все шло тихо и мирно. Доволен был и пан Кожуховский.

Аврора Карловна вышла на балкон и издали наблюдала за покаянием кержаков. Они истово крестились. Легкий ветер шевелил косматые бороды старообрядцев, цветные сарафаны и платки женщин. Над заводом простиралось голубое небо. Ближний лес и липы в парке дышали утренним светом, теплом и медовыми запа-

хами. Чиновники стали опечатывать часовню. И вдруг среди осиянной солнцем мирной идиллии заголосили-закричали заводские женки. Они упорно сопротивлялись действиям властей,— их гнали из часовни, но они не шли. Старцы и женщины легли на пол и зашлись в крике. Седовласый наставник Назарий взошел на возвышенное место и, подняв крест, с горящими глазами фанатика истово кричал:

— Прокляты! Прокляты! Антихрист грядет!

Полицейщики хотели стащить его, но он отбивался медным крестом, плевал им в лица и проклинал. Женки голосили, их хватали и на руках выносили из часовни,— они опять возвращались. Откуда только у них сила бралась! Они царапались, кусались. Немало досталось полицейщикам, пока они вытолкали женщин из храма. Но и на паперти те продолжали бесноваться. Тогда управляющий отдал наказ приказчику, а сам с жандармом отошел в сторонку. С громом влетела на площадь пожарная команда и пустила из насоса тугую струю воды, перемешанной с сажей.

Потоки воды низвергались на озлобленных людей, опрокидывали их, били в лица, по которым стекала грязь. Среди всего этого копошащегося и беснующегося люда один старец Назарий непоколебимо стоял и взывал:

— Братие, сестры, примите поношение и муки!..

Аврора Карловна поморщилась.

«Какая мерзость! Не могли лучшего придумать!» — недовольно подумала она и послала горничную девку прекратить свалку, а господина офицера пригласить в покои для делового разговора.

По требованию хозяйки пожарные немедленно покинули место схватки, а приглашенный жандарм явился к госпоже и был любезно принят ею.

Подполковник Жадовский, пленившись красавицей, не сводил с нее восхищенных глаз. Аврора Карловна сидела напротив гостя, скромно потупив взор. Придворная прелестница догадывалась, что произвела на жандарма приятное впечатление. Она угадывала по его умильным глазам, по склоненной голове, что этот пожилой, лысоватый офицер с оловянными глазами навыкате польщен приглашением и ждет авансов. Но хозяйка держалась строго и ровным, приятным голосом заговорила:

— Я прошу вас оставить им часовню.

Жандарм пожал плечами.

— Помилуйте, но это невозможно! Бог знает что скажут в губернии. Архиерей будет весьма недоволен.

Из-под черных ресниц заводчицы блеснул умоляющий взгляд:

— Ради меня! Архиерей далеко, в Перми, а я здесь одна, бедная вдова, на заводе. Мы можем остаться без работных!

— Не знаю, как и быть,— заколебался под взглядом Авроры Карловны гость.

— Послушайтесь меня, и все будет хорошо! — придвинулась она к нему поближе.

Подполковник растаял, его лоснящиеся жирные щеки порозовели от удовольствия, он склонил перед хозяйкой голову.

— Для вас я готов на все! Но почему вы вступаетесь за возмутителей? Не понимаю! — Он пожал плечами.

— Ах, боже мой! — с жаром воскликнула Демидова.— Поймите, ну какие же это возмутители? Они взвыли только потому, что им запретили молиться на их старые иконы. Кому это мешает? — Она придвинулась еще ближе, так что он почувствовал ее дыхание. Кровь прилила к голове жандарма, но он внимательно слушал ее, пожирая глазами. Заводчица продолжала:

— Нам кержаки не страшны. Не троньте их икон, и они успокоятся. Мнится мне, господин офицер, что не от них беда придет. Кержаки за наставников держатся, а наставники тянут назад, к старому!

— Кто же тогда опасен? — удивился жандарм.

— Опасны другие люди. Вглядитесь, что творится с работными. Их словно подменили, они стали другими людьми. Эти холопы опаснее всего, так как они решительнее. Они не о боге думают, а о жизни, и нас ненавидят. Они страшны!

— Да, вы правы! — с грустью согласился подполковник.— Их решительность может привести к пугачевщине, если дать им волю!

Аврора Карловна стала строгой, холодной, пожаловалась жандарму:

— Боюсь подумать... Прошу вас, не трогайте кержаков...

Они долго сидели за чайным столом. Хозяйка при-

ветливо ухаживала за гостем, а он не сводил глаз с ее тонких красивых рук. Набравшись смелости, он взял теплые пальцы красавицы и приложился губами к ним.

— Поможете? — просяще посмотрела на офицера Аврора Карловна.

— Я счастлив, весьма счастлив, и все будет по-вашему...

Жандарм и чиновники уехали из Тагила на другой день. Часовня осталась неопечатанной. Старец Назарий, вызванный Демидовой в хоромы, поклонился в ноги заводчице. Пахло от него ладаном и тленом.

— Спасибо, барыня.

— Встань, отец! — властно сказала хозяйка.— Скажи-ка, довольны ли ваши?

— Я-то и женки премного довольны, барыня. А молодые — кто их разберет? Они сказывают, что не часовня, а воля нам потребна! Ох, грехи наши тяжкие! — сокрушенно вздохнул он и потухшими глазами выжидательно посмотрел на Аврору Карловну.

Она сердито свела брови над переносьем и ответила ему жестко:

— Иди и скажи своим, чтобы эти прельстительные мысли оставили. Биты будут. Иди с богом, старик! — Она отвернулась и ушла в свои покои.

3

Между тем слухи о близкой воле не прекращались. Возвращаясь с ярмарок, с базаров и богомолий, крестьяне привозили все новые вести. Сказывали на постоялых дворах проезжие, что царь давно послал грамоты о воле в бочках с икрой, но помещики и заводчики пронюхали про эту тайность и грамоты выкрали, а икру слопали за угощением. Ходили среди народа слушки, что царь вызвал к себе верных людей, заставил их поклясться на кресте в верности и вручил им для народа золотую строку о воле. Но господа пронюхали и про эту тайность, секретных царских посланцев схватили, обыскали, золотую строку отобрали, а вестников заковали в кандалы — да в острог, за каменные стены! Подозревали и попов и полицейских в том, что они утаили

царскую грамоту от народа. Среди крепостных все больше и больше росла уверенность в том, что вот-вот придет воля. Однажды в тагильской церкви после обедни люди долго не расходились и чего-то ждали. Священник обеспокоенно спросил прихожан:

— Что же вы не расходитесь?

— А мы ждем, отец, когда грамотку о воле зачтешь!

Поп побледнел, испуганно замахал рукой:

— Что вы, что вы! Побойтесь господа бога, с чего такое взяли? Не верьте льстивым посулам смутьянов!

— То не посул, отец Иван,— сказал сероглазый старик.— Своими глазами видели, как волю провезли из Уфы в Пермь на тройке. Ямщики сказывали, что в Казани царская грамота о воле давно получена.

— Ты что пустое мелешь! — прикрикнул поп.— Какая тебе воля? Думаешь, что лучше заживешь?

— Бог весть,— покорно согласился старик.— Что-то еще будет впереди — неизвестно, а может, хуже! — И вдруг, тряхнув бородой, лукаво улыбнулся: — Нет, хуже не будет; да мне, дряхлому, спится, а одним оком взглянуть хочется на волю! Эх, дорогой! — закончил он мечтательно.

— Ты лучше помалкивай об этом! — пригрозил священник.— Сам подумай, для чего тебе воля? Ну что ты с ней будешь делать?

Старик не унялся; внушительно посмотрев на попа, рассудительно сказал:

— Как что? Уволят-то с землей, пахарем буду! Руки мои стосковались по сохе...

Мрачным священник вышел из храма и побрел в демидовские хоромы. Через горничную девку он попросил доложить о нем госпоже. Аврора Карловна приняла его приветливо, усадила в глубокое кресло и приказала принести наливки. Старичок пригладил седенькую голову, со вкусом осушил чару и крякнул от удовольствия.

— Премного благодарен, ваше сиятельство; по жилам так и побежало. Не осуди, милостивая, грешный я человек, люблю пригубить,— и, не ожидая приглашения, осушил вторую, а за ней и третью чарку.

Только после утоления жажды священник вспомнил о деле и поведал заводчице:

— Матушка ты наша, милостивица, слухи-то неблагонадежные ходят: о воле мужики толкуют!

Аврора Карловна построжала, хрустнула пальцами, лицо ее омрачилось. Попик перепугался: «Не в себе барынька. Расстроилась от недоброй вести; чего доброго, пожалуй, и выгонит, наливки не допью! Эх, и крепка, окаянная!» — покосился он на графинчик.

Однако Демидова овладела собою и сказала гостю:

— Слухи те отчасти верны, отец Иван. В столице собрался комитет и толкует об освобождении холопов. Ведомо тебе, что в Перми ныне заседает особый дворянский комитет по сему вопросу и на обсуждение выехали по нашему избранию заводчики. И будем мы добиваться своего, чтобы земли свои сохранить, и заводы наши не стали, и нас не обидели.

Аврора Карловна говорила священнику правду. В Перми на самом деле заседали крепостники-заводчики, которые заботились о своих интересах. Они настаивали, чтобы горнозаводских крестьян освободили без земли или по крайней мере отвели каждому такой надел, чтобы и привязать его к месту и заставить идти на заводскую работу. Обойдя землей работных, владельцы тем самым создавали резервную трудовую армию...

Меж тем священник воспользовался случаем, и пока Аврора Карловна объясняла ему замыслы заводчиков, допил наливку. Сокрушенно оглядев пустой графин, он поднялся.

— Да будет благословен дом сей! — провозгласил он и вдруг пьяненько захихикал: — Это весьма разумно — дать холопу такую волю, чтобы она в неволю обратилась!

Загребая большими яловичными сапогами, голенастый иерей прошел через обширный зал.

— Ох, лепость какая; боже праведный, как живут люди! — вздыхал он.

Его глаза обежали по богатому убранству хором: по мраморным богиням, по бронзе и шелковым драпировкам. В своей изношенной, много раз латанной рясе поп показался заводчице жалким и убогим...

На исходе зимы в Тагил прискакал нарочный, который привез важную бумагу. Исправник в присутствии священника вскрыл пакет, и в нем оказался манифест, подписанный царем еще 19 февраля 1861 года.

Иерей несколько раз вслух перечитал его от первой до последней строки.

— Лучшего и не придумаешь! — удовлетворенно покрутил он тощей длинной шеей.

— Царское слово — умное слово! — внушительным басом сказал исправник.— Тебе, отец, завтра в церкви придется сию грамоту огласить. Такое дело без молебна не обойдется.

Поп прослезился.

— Господи боже мой, дожил-таки аз, грешный раб твой, до такой минуты. Оповещу народу моему такую благую весть!

Спозаранку зазвонили во все колокола. Что-то тревожное и радостное чувствовалось в благовесте. Со всех концов Тагила сбегался народ. Пришли и молодые и старые; вековуньи древние старухи — и те с печи сползли и добрались до церкви, чтобы услышать о воле. Слово это, радостное, крылатое, облетело все уголки и было у всех на устах.

— Воля... воля... воля...

Церковь до отказа наполнилась народом. На паперти толкались и тщетно пытались попасть в храм опоздавшие. Кто только не пришел сюда! Даже кержаки-двоеданы[1], не боясь оскверниться, явились в никонианский храм. Впереди особой группой выпирали заводские управители во главе с паном Кожуховским. Привлекая внимание прихожан, на возвышении стояла, смиренно склонив голову, Аврора Карловна. Дальше шли полицейские, приказчики, нарядчики, повытчики, а среди них выделялся Климентий Ушков. Он высился среди сыновей, как дуб на юру. Выглядел он строго, мрачновато. В мозгу его проносились обидные мысли. «Сколько старался я, чтобы добыть волю,— огорченно думал он,— а она, гляди, зимогорам даром достанется! Эх ты, что только робится!» И, заметив землекопа, побагровел: «Гляди, что за притча! И Кашкин тут. Вот окаянный!»

Землекоп Кашкин действительно притаился среди заводчины. Стояли тут горщики-рудокопы, сутулые, изъеденные ревматизмом, черномазые жигали, прибревшие издалека, из лесных куреней. Явились в церковь катали с длинными жилистыми руками и заводские

[1] Платящие двойную подать.

женки — коногоны и дробильщицы руды. Все пришли сюда, чтобы послушать заветную золотую строку о воле. С глубоко проникновенным чувством молились люди, ожидая радости. «Наконец-то дождались светлого денечка!» — думалось каждому. Молебствие продолжалось долго,— на что терпеливы кержаки, а уж и те стали переминаться с ноги на ногу от усталости. После томительного ожидания отец Иван взошел на амвон, водрузил очки на длинный сизый нос, развернул грамоту, истово перекрестился и громогласно начал читать. Слова манифеста торжественно зазвучали под сводами храма. Священник читал долго, с упоением, но чем больше он углублялся в манифест, тем тревожнее становились лица работных. Радость поблекла, кто-то не к месту раскашлялся. Поп сердито посмотрел из-под очков, отыскивая нарушителя благолепия. Не найдя виновного, он чуть-чуть подался вперед и продолжал читать манифест. Возвысив голос, он огласил последние слова его: «Осени себя крестным знамением, православный народ!» — и оглянулся. Редкие работные крестились, а среди толпы кто-то вдруг дерзко вымолвил:

— Вот так воля!

В голосе прозвучала явная насмешка. Священник спешно закончил чтение, и по церкви прокатился легкий гул. Ушков оглянулся и увидел черноглазого Кашкина. Степан что-то жарко шептал соседу. «И откуда опять шишига взялся? Смутьян!» — нахмурился владелец конницы. Он взглянул в сторону заводчицы. Аврора Карловна, казалось, ушла в молитву, а сердце ее бушевало.

Отец Иван бережно сложил манифест и ждал радостных восклицаний. Но в храме царило томительное безмолвие; никто не выказал ожидаемой радости; работные и женки стояли с поникшими головами. Священник снял очки и вопросительно уставился на прихожан.

— Что же вы примолкли, дети мои?

— Братцы, нас обманули! — раздался резкий и сильный голос в толпе молящихся.

Поп по-гусиному вытянул шею. Его зеленые кошачьи глаза рыскали по лицам прихожан.

— Что за смутьян возопил тут? — спросил он.

— Подменили царский указ! Подменили! — закри-

чали дерзким голосом в сумрачном церковном углу.

— Украли золотую строку! — обиженно отозвались в другом.

— Не возносите лжи! — рассердился поп и перстом указал на бородатого кержака.— Вот ты, Ларион, что скажешь? Рад царской грамоте?

Старовер расставил крепкие ноги, большие глаза его мрачно блеснули:

— Врешь, батя! То не царская грамота! Разве это воля? Братцы, ведь он зачитал господскую выдумку, а золотую строку упрятал!

Священник взъярился, затопал ногами, но в храме поднялся шум, гам. Стуча подкованными сапогами, кержаки первые двинулись к выходу.

— Не обманешь нас! Не будет по-вашему! — закричали заводские женки и заголосили на всю церковь.

Голос попа погас в шуме. Толпа вела себя вызывающе, дерзко. Ушков заметил, что Кашкин вместе с заводилами пошел к двери.

Аврора Карловна опустилась на колени. Она струсила, но ничем, ни одним взглядом не выдала своего беспокойства. Священник закрыл окованную дверь и тяжко вздохнул:

— Ушли, супостаты!

Демидова встала и с возмущением сказала попу:

— Не понимаю, чего хотят эти неблагодарные!

Отец Иван укоряюще ответил:

— Известное дело, за долгие годы накопилось у них всего, поберегитесь, моя госпожа. Вы побудьте тут, а я схожу проведаю, что они удумали!..

Между тем у церкви все еще толпился разворошенный людской муравейник. Окружив плотным кольцом Кашкина, работные жадно слушали его речи.

— Господа обманули нас! — с жаром убеждал он.— Нам читали манифест, да не тот, не царский, а боярский! Царский за большой золотой печатью, а на том листе, что долгогривый читал, ничего нет! Не давайтесь, братцы, крепко стойте за свою волю! Требуйте, чтоб огласили настоящий манифест, за золотой печатью!

— Справедливо, Кашкин! Правдива твоя речь! — поддержали жильцы с Кержацкого конца.— Земля ноне наша, и воля наша!

— Конец барам! — выкрикнул Кашкин и встретился взглядом с Ушковым.

Надвинув на глаза шапку, владелец конницы ехидно засмеялся.

— Ты чего, словно конь, зубы скалишь? — накинулся на него Кашкин.

— Плакать мне, что ли? — выступил вперед Ушков.— Тошно мне на вас глядеть, а еще — не по нутру ваши речи. Гляди, я такой же крестьянин, как ты, а не кричу! Я волю свою делом заработал,— вон какую плотину возвел! А вы задарма хотите получить и волю и землю! Эй, Степан, не туда оглобли поворотил!

— Врешь! — вспыхнув, перебил его Кашкин.— Ты не простой крестьянин! Нам не по пути с тобой, Климентий Константинович! Ты капиталами ворочаешь!

— Молчи, худо будет! — пригрозил Ушков.— Бунтовскую речь ведешь!

— Не пугай пуганого! Запомни, Климентий Константинович: не задарма мы землю требуем, мы ее пóтом взлелеяли!

— Я тебя плетью прожгу за такие слова! — забылся в гневе Ушков и пошел на противника с кулаками.— Даром, изверг, воли захотел? Выкупи ее!

— Ты что же это, супостат? — закричали кругом и накинулись на хозяина конницы.

Быть бы тут потасовке, но в эту пору из церкви на паперть вышел поп. Толпа оставила Ушкова и бросилась к нему. Отца Ивана схватили за полы и потребовали:

— Читай нам новую волю!

— Успокойтесь, православные, да я вам только что читал царскую бумагу.

— Не морочь нас! — зашумели кругом.— Ты прочти нам настоящую, а не поддельную! В настоящей-то истинно сказано, что земля теперь вся наша!

— Да откуда вы сие взяли? — отбивался поп.

— Скрываешь от нас! — закричали в толпе, и при уверении священника, что другой грамоты нет, заводские зашумели сильнее.

— Подкупили тебя господа! — стали осыпать упреками иерея заводские женки.— Сами знаем, что настоящая воля лежит в церкви, на престоле, под Егорьевским крестом! Давай нам ее!

— Сестры и братия, не совращайтесь с пути истин-

ного! Господа о вас вечно пекутся, яко отцы родные! — вопил поп, но его толкали в бока, грозились.

— Земля теперь вся наша! — кричали мужики.— Сам царь отдал. Работать на бар больше не пойдем! А тебя, долгогривый,— на вожжи и на ворота!

— Господи Иисусе! — съежился и сразу обмяк поп, испуганно оглядывал неузнаваемых людей. Они бурлили, как вешний поток, нежданно-негаданно сорвавшийся с крутых гор и сразу показавший свою силу. Черномазые жигали, обожженные литейщики, согбенные вечным трудом в шахтах рудокопы — все тянулись к попу и спрашивали:

— Пошто таишь правду?

Видя, что дело принимает решительный оборот, отец Иван заговорил просительно:

— Винюсь, винюсь: грешный перед вами... Может, не ту грамоту читал... Что дали мне, то и огласил... Отпустите меня, касатики. Может, к утру отыщется что другое!

— Врет поп! — закричал Кашкин.— Отблаговестил, батя. А ну-ка, братцы, я вам сейчас в другой колокол ударю. Есть такой Александр Иванович Герцен. Вот что он пишет про наших господ заводчиков! — Он смахнул шапку, вынул из-за подкладки газетку, развернул ее и пояснил: — Вы все, ребятушки, знаете о волнениях на Юрюзань-Ивановском заводе. Генерал Сухозанет зверь, не щадит нашего брата, рабочего человека. Вот что о нем в листке прописано! Слушайте! — Степан огласил громко: — «Под суд!» — так и зовется статья. А за что и кого под суд? Тут сказано: Ивана Сухозанета, Залужского и Подьячева под суд за варварское управление заводами!

— Ой, как верно! Куда как правильно! — одобрительно закричали в толпе.— И у нас не лучше! Везде бары одинаковы. Волю нам! Волю!

— Погоди, дай человеку зачитать справедливую весточку! — перебил степенный жигаль, весь перемазанный угольной пылью: она глубоко набилась в поры, и трудно ее было отмыть.

Кашкин стал читать листок «Колокола» за 15 декабря 1859 года. Он читал четко, раздельно, так что старый и малый хорошо слышали его крепкие слова.

— «Число крестьян Юрюзанского завода с престарелыми, увечными и детьми простирается до пяти тысяч

душ мужского пола. Способные из них к работе отбывают работу по составленному самою владелицей урочному положению, которое супруг ее весьма часто отменяет по своему произволу и сообразно своим расчетам. В последнее время уроки были увеличены по некоторым цехам до того, что при всех усиленных трудах крестьян они не смогли выполнить урока, в чем убедился и сам Сухозанет и в первых числах июля минувшего года отменил свое нововведение. Впрочем, существующее ныне урочное положение, несмотря вообще на незначительность задельной платы, еще далеко не удовлетворительно и это доказывается тем, что ни один почти мастер, работая все семь дней в неделю, не в состоянии выделать назначенного по положению урока...»

— Братцы, да и у нас такое же! Пан Кожуховский только плетями грозит! — закричали в толпе, и на минуту гул человеческих голосов заглушил чтеца. Кашкин перевел дыхание, выждал, когда народ стихнет, и продолжал все с той же страстью:

— «Не исполнивший же этого подвергается вычету из получаемой платы, по мере недоделанного урока, так что случается нередко, что мастер, вместо получения платы за месячную работу, остается еще должным. Сверх того, вычеты производятся и тогда, когда мастер и сделал урок, но при делании железа сжег более положенного количества угля или же не выделал из определенного количества чугуна назначенный вес железа. Подобные вычеты делаются по всем цехам. Самая высшая плата мастеровому производится в месяц по двадцати рублей ассигнациями, но это количество по случаю делаемых вычетов весьма немногие получают...»

— Точь-в-точь как и у нас! — вставил свое веское слово седобородый литейщик.

Кашкин повел на него глазами, и старик попросил:

— Давай читай далее. Вот это грамота, справедливая грамота! Умный человек писал...

Степан продолжал читать:

— «Нередко случается, что мастеровой, имеющий семейство в семь и более человек, получает в месяц восемь рублей ассигнациями, а иногда и менее, или вовсе ничего. Таким образом, существование крестьян

их весьма мало обеспечено, и как у них по гористому местоположению и глинистому грунту навозной земли недостаточно, то они вынуждены покупать для себя всякого рода хлеб. Престарелые и неспособные к работам заводские люди собственно от заводовладельцев никаким пособием не пользуются, но им дается воспомоществование из крестьянских же денег, которые образуются тем, что заводоуправление выдает в счет задельной платы хлеб по ценам немного выше справочных, составляет из получаемой таким образом прибыли капитал, раздаваемый между престарелыми и неспособными к работам людьми, которые не имеют в семействах своих работников. Обращение главноуправляющего заводом было всегда очень строго и даже жестоко...»

— Что правда, то правда! — подхватили работные.— Все, все досконально известно! Придет и до нашей барыни черед! Погоди, отольются волку овечьи слезы!..

— «Несколько лет тому назад приказчик Абаимов, исправляющий и ныне эту должность, был наказан им семьюстами ударами розог, не говоря...»

— Ну, этому собаке так и надо! — одобрительно прокатилось по толпе.— По делам вору и мука!

Кашкин возвысил голос и дочитал:

— «Не говоря уже о других подобных сему жестоких наказаниях. Ныне Сухозанет наказаний уже не делает и в последнюю непродолжительную бытность его, осенью прошлого года, в Юрюзанском заводе, наказано им было только около сорока человек, причем самая высшая мера наказания простиралась не более ста ударов розгами».

— Самому барину всыпать эстолько, небось петухом запоет! Молодец, Степан, твоя грамотка лучше поповской. Выходит, есть люди, которые думают о мужицкой доле! — загомонили в толпе.

— Есть, братцы, сами видите! Что написано пером, того не вырубишь топором! Не так ли, ребята? — спросил Кашкин.

— Так, истинно так! — закричали в народе.— Давай нам подлинную царскую грамоту, не то худо будет!..

Тем временем, пока шло обсуждение листка, священник незаметно отступил к церкви. Закрывшись на

крепкие запоры, бледный, трясущийся, он закрестился: «Свят, свят, что только будет?..»

До вечера на площади шумела толпа. Барский дом высился над прудом мрачный и безмолвный. Наступили сумерки. Аврора Карловна приказала не зажигать огней. Спустили цепных собак, выставили караулы, и дом постепенно стал погружаться во мрак.

4

На уральских заводах с устарелой крепостной техникой работали подневольные люди, которые делились на государственных приписных крестьян, посессионных, то есть прикрепленных к заводам, и крепостных, составлявших личную собственность помещика. Законом от 15 марта 1807 года, изданным императором Александром I, были произведены некоторые изменения, но фактически как была, так и осталась тяжелая неволя для закабаленных работных. Одни из них — мастеровые — занимались исполнением технических работ на заводе, другие — сельские работники — выполняли различные вспомогательные работы для завода, в то же время не оставляя и хлебопашества. По горному уставу для мастеровых казенных и посессионных заводов полагался подле завода участок не менее двух десятин пахотной земли и сенокоса, а каждый «непременный» работник имел право получить пять десятин. Но так было только на бумаге; лишь очень небольшое число горнозаводского населения могло заниматься исключительно земледелием, а четыре пятых недополучили полагавшегося им земельного надела и должны были продавать свой труд на заводе. Царский манифест от 19 февраля 1861 года надолго сохранял прежнюю крепостную систему на Урале. Уставные грамоты, которые подписывались заводчиком и горнозаводским населением, снова закрепляли вековечную кабалу, так как крепостные получали волю без земли. Пореформенный уральский рабочий оставался прикованным к заводу так же, как и его подневольные дед и прадед. «Отработки» по-прежнему давали возможность заводчикам практиковать старое и не чувствовать недостатка в дешевой рабочей силе. Как тут не волноваться,

если все фактически осталось по-старому и снова впереди ждало еще более страшное рабство.

Это хорошо понимали тагильцы, которые до глубокой ночи обсуждали на площади свое безвыходное положение.

— Работному не нужны уставные грамоты! Один обман в них! — горячо убеждал всех Кашкин.

— То верно! — согласился и кержацкий наставник.— Сегодня грамота, а там, глядишь, и антихристова печать воспоследует на чело!

— Ну, понес свое! — перебил его литейщик.— Не подпишем грамоты, работу кончим! Надо уходить, братцы, раз воля!

— И это верно! — поддержали в толпе.— Хватит хребет ломать на бар!

Рыжий лохматый многосемейный рудокоп насупился и отозвался на выкрики:

— Куда пойдешь с завода? Без земли умрешь с голоду. Тут кабала, но здесь и хибарка и коровенка, а уйдешь из своего угла — и вовсе гибель!

— Трудно, братцы! А грамоты не подпишем, хоть по сибирке гони! — закричали в толпе...

Из-за гор наползали синие тучи, кругом потемнело. Нехотя и с тревогой на душе заводские разошлись по домам. В избах долго светились огоньки: не одна семья бодрствовала, обсуждая царский манифест.

Утром, только что поднялось ликующее солнце, в Тагил, звеня голосистыми бубенцами, ворвалась тройка серых. На сиденье, покачиваясь, развалился плотный генерал с седыми бакенбардами. На солнце поблескивали густо позолоченные эполеты.

Тройка подлетела к демидовскому дому. Не успели смолкнуть валдайские бубенцы, как услужливо распахнулись двери, и на крыльцо выбежал суетливый пан Кожуховский. Он торопливо сбежал со ступенек и устремился к высокому гостю.

— Ваше превосходительство! Как бога вас ждали! Вся надежда на вас! — льстиво заговорил управляющий.

Поддерживая генерала под локоток, он поднялся с ним на площадку с колоннами, огляделся и прошел в барские покои. В обширной гостиной прибывшего поразила роскошь. Генерал распушил серебристые усы

и изумленно разглядывал драгоценный фарфор, бронзу, французские гобелены, развешанные по стенам.

— Поразительно! Не ожидал здесь такой прелести!

Он широким шагом ходил по мягким коврам, заглушавшим звон шпор. Извинившись, пан Кожуховский покинул гостя и поспешил к госпоже; на носках добежав до комнат госпожи, он тихонько постучал в дверь.

— Кто здесь? — встревоженно спросила Аврора Карловна.

— Вельможная пани, сам князь Астратион приехали! Ожидают вашу светлость!

Заводчица не заставила себя ждать. В легком утреннем платье, свежая и румяная, она величественно вошла в зал. Завидя Демидову, генерал-адъютант, звеня шпорами, быстро вскочил. Не скрывая своего восхищения красавицей, он молодецки расправил усы и поспешил приложиться к ручке. Голос его стал умильным:

— Извините, что в такой ранний час потревожил вас!

— Ах, князь, нам здесь страшно... Я трех гонцов за вами послала... Вы наше спасенье! — Аврора Карловна умоляюще взглянула на генерала.

— Все будет хорошо. Верьте мне! За мной следуют солдаты...

Они уселись подле мраморного бюста Никиты Акинфиевича и повели самую непринужденную светскую беседу. Горделивый, с ироническим взглядом, демидовский предок снисходительно рассматривал томную красавицу и генерала, старавшихся превзойти друг друга в светской вежливости.

В полдень на пожарной каланче ударили в набатный колокол, и тагильцы сбежались на площадь. Князь Астратион в сопровождении исправника и полицейщиков вышел к народу. Он развернул манифест о воле, и все покорно обнажили головы. Казалось, что заводские благоговейно слушали уже знакомые им слова. Никто не нарушил торжественной тишины, и генерал, довольный проявленным послушанием, продолжал звонко читать, время от времени самодовольно поглядывая на исправника.

— Ну что, братцы, довольны? — спросил он работных и серыми пронзительными глазами обежал толпу.

— Довольны! — как один, ответили работные.

Князь Астратион улыбнулся и, повернувшись к исправнику, мягко сказал:

— Видите, надо умело подходить к народу! А что, братцы, все поняли? — опять повернулся он к сходу.

— Все-е! — снова дружно ответили тагильцы.

— Помолитесь богу и поблагодарите за благодеяние своего государя! — предложил генерал и перекрестился. За ним стали молиться и заводские.

Пожарник-дед, наблюдавший с вышки это безмолвное повиновение, удивленно разглядывал тагильцев. Лица знакомых горщиков, жигалей, литейщиков выглядели серьезно.

— Гляди, что с нашим народом робится: то шумствовали, то разом притихли! Видать, князь зачитал им всамделишную царскую золотую строку! — решил старик и умилился до слез. Он поспешно спустился вниз и стал протискиваться сквозь толпу к генералу. Князь между тем, снова благодушно оглядев толпу, дружелюбно предложил:

— Ну, коли все понятно, работайте, братцы, с миром! Да уставные грамоты примите!

Из толпы степенно вышел Кашкин и с достоинством поклонился генералу.

— Ты кто такой и по какому делу? — помрачнел князь Астратион.

— Ваше сиятельство, это и есть главный подстрекатель. Беглый мужичонка! — прошептал князю исправник.

Кашкин без смущения поднял на генерала смелый взгляд и сказал ему:

— Из крестьян я, ваше сиятельство. Мир меня упросил сказать вам, что уставную грамоту мы подписывать не будем!

— Как, указ царя не хотите исполнять? — негодующе закричал Астратион.

— Мы не будем больше на госпожу робить! Мы будем ждать истинной воли!

— Это что такое? — испуганно и растерянно оглянулся генерал на исправника.— Разве это не воля?

— Какая же это воля, без земли! — вразумительно сказал Кашкин.

— Ах, вот вы как! — разозлился князь и посулил: — Да знаете ли, что сюда солдаты идут! Засеку всех!

— О том известно; только попробуйте, ваше сия-

тельство, худо будет! — гордо выпрямился Кашкин.— Ваши наделы и уставные грамоты принимать не будем!

В эту пору дедка с пожарки протолкался-таки вперед и бухнулся в ноги генералу:

— Батюшка, смилуйся, зачитай-ка и мне золотую строку!

— Высечь бунтовщика! — совсем вышел из себя князь и указал полицейщикам на старика. Те, подхватив деда, повлекли его куда-то. Но тут заводские женки не утерпели и завопили:

— Смей только, окаянцы, наших мужиков тронуть! Попробуй, мы покажем тогда! Мы на рогачи вас поднимем!

И в самом деле, откуда только у них в руках появились рогачи, ухваты, кочерги. Они угрожающе кричали:

— Оставь деда! Глух и немощен он!

По площади прошло волнение, раздались выкрики:

— Не давай, братцы, наших бить!

— Громада, ратуйте! — закричал понявший все дед, и народ словно вихрем закружило. Кашкин с горщиками бросился на полицейщиков, отталкивая их от деда.

Генерал в страхе разглядывал мгновенно преобразившуюся толпу, не узнавая людей. И куда ни падал его взгляд, везде он встречал враждебные и решительные лица.

— Не будем на госпожу работать! — кричали кругом.

Чувствуя свою беспомощность, князь Астратион, опекаемый исправником и полицейщиками, дрожа от гнева, вернулся в демидовские покои.

Свою угрозу князь Астратион осуществил на другой день. К вечеру в Тагил пришла полурота солдат. Их разместили в Ключах, на Кержацком конце и в Гальянке, и там сразу начались переполох и суматоха. Обнаглевшие солдаты беззастенчиво без спроса ловили кур, поросят, резали их, и все шло в большой солдатский котел. Служивые приставали к приглянувшимся молодкам. На улицах стояли крик, визг и ругань. Отчаянно отбивались от назойливых вояк заводские женки. Полуротный поручик Ознобышев, пьяница с угреватым и неприятным лицом, на жалобы тагильцев только усмехался.

— Что, вкусили? Не хотели по-хорошему, отведаете плети! Постоем уморим! — грозил он.

Ни слезы женок, ни плач детей, ни просьбы степенных мужиков не доходили до его сердца.

— Разорят нас твои солдатишки! — пожаловался ему кержацкий наставник Назарий.

— А ты что думал, борода! На то и солдат, чтобы бить и зорить супостата отечества! — грубо перебил его поручик.

— Да нешто мы супостаты своему отечеству? — возмутился старик.— На рабочем да мужике отечество только и держится, лиходей!

— Ах, вот как заговорил! Высечь строптивого! — крикнул офицер вестовым.

— Батюшка, да за что же? — взмолился кержак.

— Высекут, там узнаешь, как разговаривать с господами! — Поручик указал на дверь.— Убрать немедленно и высечь!

Через минуту солдаты вытолкали старца и отхлестали. Однако кержак, не издав ни одного стона, только прикусил губу.

— Ишь ты, какой терпеливый и мстительный — и не застонал даже! — удивился солдат.

...В полдень заводских снова согнали на площадь. Против толпы замерли солдатские ряды. Вперед вышел князь Астратион. Обливаясь потом, к нему подбежал пан Кожуховский:

— На двух домнах идет выпуск чугуна. Прошу повременить, ваше сиятельство!

Но Астратион не пожелал ждать. Осмелевший в присутствии солдат, он быстро вошел в роль карателя.

— Шапки долой! — желчно закричал он толпе.

Нехотя и неторопливо заводские обнажили головы. Народ, понурясь, молчал.

— Выборных сюда, грамоту будем подписывать! — властно предложил князь.

Никто не отозвался. Глубокая тишина застыла над площадью.

— Что же вы молчите? — злобясь пуще, закричал генерал.

— Мы неграмотные и подписывать грамоты не можем! — сдержанно отозвался за всех Кашкин.

— Сечь буду! — рассвирепел князь.— Тебя первого исполосую!

— Не смей! — отозвался работный и оттолкнул полицейщика, протянувшего к нему руки.— Убирайтесь, пока не поздно, пока народ не обиделся!

— Как ты смеешь! — побагровел генерал и сам с плетью бросился на Кашкина, но тот не дремал и, проворно вырвав из рук князя плеть, забросил ее в толпу.

— Уходи, твое сиятельство, не ручаюсь за себя! — поднял он увесистые кулаки и стал наступать на князя. На обветренных скулах мужика перекатились тугие желваки. Работный скрипнул зубами: — Эх-х, берегись!..

Встретясь с напряженным, решительным взглядом работного, Астратион попятился.

— Бунт! Это бунт! — истерически закричал он.— Стрелять!

Сквозь шум и крики раздалась отрывистая команда поручика:

— Приготовиться!

— Так ты в русских людей стрелять удумал! — разозлились заводские женки.— Мужики, чего ждете! Бей злодеев!

В солдат полетели камни, поленья, куски руды. Вся площадь пришла в движение. Работные бросились к солдатам, хватали за штыки, вырывали их. Раздался залп, двое упали убитыми...

Первая пролитая кровь отрезвила людей. Толпа стала разбегаться, голосили женки, плакали дети. Толкая друг друга, люди спасались в огороды, в распахнутые дворы, скрывались за грудами руды.

Солдаты не преследовали разбегавшихся. Полицейщики схватили одного Кашкина и озлобленно скрутили ему на спине руки:

— Попался, окаянный! Погоди, разочтемся за твою брехню!

Кашкин угрюмо молчал. Толкая в спину, его увели и бросили в кирпичный амбар.

— Сиди, скоро доберемся! — посулили полицейщики.

Заводские женки подобрали убитых и отнесли к часовне. Оттуда доносился истошный плач обездоленных женщин. У тел столпились рудокопы. Старец Назарий горестно склонил голову и укоризненно промолвил:

— Эх, нехорошо получилось!.. Мыслю, покориться надо... Гляди, кровь братская пролилась...

Пожилой горщик с изборожденным ранними морщинами лицом угрюмо посмотрел на старца и сказал резко:

— Неправильно говоришь! Не покоряться надо, а стоять на своем. И запомни, дед: дело всегда прочнее, когда кровь за него человеческая пролита... Без крови и царь не узнал бы, что у нас робится. А теперь, глядишь, узнает и заступится за нас. Может, пожалеет о крови и вспомнит о воле!

— Это ты верно молвил! — поддержал его сосед, высокий сухой молотобоец.— Клад коли злые люди зарывают, и то заклинают на пять-шесть голов для того, кто хочет добыть его! А ведь мы ищем волю для всего народа,— что же тут плакать о двух. Гневаться надо против бар пуще!

...Князь Астратион пожелал увидеть Кашкина. Отворили дверь амбара и подвели к князю связанного возмутителя. Работный стоял прямо, горделиво подняв голову. Он не опустил глаз перед угрожающим взглядом князя.

— Дознался я, что ты читал мужикам обольстительный лист! — начал князь.— Где ты его брал?

— Насчет чего изволите спрашивать, не пойму! — спокойно отозвался Кашкин и угрюмо посмотрел на карателя.

— Кто читал «Колокол»? — не сдерживаясь больше, закричал Астратион.— Где его брал?

— Добрые вести попутным ветром занесло. И не знаю, какой колокол тревогу среди бар поднял. А что будет, барин, если в набат вдруг ударят? Тогда, поди, проснутся все! Вся Расея пробудится. Ух, и туго доведется вам, барин!

— Да знаешь ли ты, о чем говоришь! — закричал князь.— За такие речи тебя ждет виселица!

— Эх, ваше сиятельство! — презрительно сказал Кашкин.— Всю Расею не перевешаешь! Найдутся люди — и на тебя ошейник наденут! — Глаза заключенного озорно блеснули.

— Ты с кем разговариваешь? — побагровел генерал.— Ведь ты разбойник!

— Это еще кто знает, ваше сиятельство, кто из нас совершил разбой! — смело ответил работный.— Я за народ свой иду!..

Не сдержав гнева, генерал размахнулся и кулаком

ударил Кашкина в челюсть. Тот отхаркался кровью и укоряюще сказал:

— Повязанного всякая козявка может обидеть! — Он напрягся, мускулы на руках его вздулись буграми, веревки натянулись, вот-вот лопнут. Астратион отошел от заключенного и на прощание пригрозил:

— Завтра же повешу!

— Меня-то повесишь, а думку народную не удастся. Она рано или поздно настигнет бар! И тебе, барин, не миновать расплаты!..

Генерал, не слушая его, удалился, позвякивая шпорами.

Над заводом спустилась ночь. Безмолвие охватило Тагил, демидовские хоромы и людей. Князь ходил из угла в угол, стараясь унять возбуждение. Оно не проходило, на душе росла тревога. Глухо отдавались шаги в большом зале. В темном кабинете старинные часы с башенным боем пробили полночь. А сон все не шел...

Не спала и встревоженная Аврора Карловна. Беспокойство заставило ее пройти в покои гостя. Он с нежностью посмотрел на молодую женщину.

— Все беспокоитесь? — ласково спросил он.

— Беспокоюсь,— призналась она и бессильно опустила руки.— Скажите, князь, долго ли продлится это?..

— Не знаю! — глухо ответил он.— Народ здесь особый, непокорный. Сегодня усмиришь их, а завтра они снова за свое...

— Я боюсь! — поеживаясь, с нескрываемым страхом прошептала Аврора Карловна.— Может быть, мне лучше на время уехать отсюда?

Князь Астратион помолчал, подумал.

— Пожалуй, для вас это будет лучше! — наконец согласился он.— Да и нам руки развяжете. С делами и без вас хорошо справится пан Кожуховский. Он бойкий и расторопный управляющий!

— О да! — подтвердила Демидова.— Спасибо за откровенность, князь...

Она протянула ему руку и с обаятельной улыбкой сказала на прощание:

— Мы с вами скоро увидимся в Петербурге, князь.

Глава девятая

1

После пережитых на Урале событий Аврора Карловна снова перебралась в Петербург, где и поселилась на Большой Морской, в доме покойного мужа. Обширный роскошный дворец с его знаменитым малахитовым залом после смерти Павла Николаевича пустовал. Сейчас вновь все здесь ожило. Сын поступил в Санкт-Петербургский университет. Ему шел семнадцатый год, и он весьма походил на мать. Те же большие выразительные глаза, свежее, румяное лицо, статная фигура. Красота юноши была до того поразительной, что на прогулках в Летнем саду и в петергофских парках он обращал на себя внимание всех прелестниц. То и дело слышались затаенные вздохи более сдержанных и совсем откровенные восклицания бесцеремонных: «Батюшки, какой красавец!»

Не только красота его привлекала многих дам, но и то, что молодой жуир получал на карманные расходы по сто тысяч рублей серебром ежемесячно. Для матери сын был божеством, и Аврора Карловна считала вполне естественным, что вокруг него всегда увивались не только французские актрисы, знаменитые танцовщицы из балета, но и дамы большого света. Одно только беспокоило Аврору Карловну: как бы невзначай не повредилось здоровье Павлуши! Особенно она боялась француженок и упрашивала сына:

— Я понимаю, что это неизбежно для мужчины... Но ты старайся избегать этих... этих опасных дам... Право, я опасаюсь за могущие быть неприятности...

Студент отлично понимал свою матушку, обнимал ее и успокаивал:

— Я берегусь, я знаю, что впереди еще вся жизнь!

Вдова с холодной немецкой практичностью следила за поведением сына, оберегая его от авантюристок. Но в свои юные годы он познал все, что только могла предложить столица. Его обыгрывали в карты, и мать терпеливо оплачивала долги. Ему подсовывали полотна фальшивых Корреджио и Рафаэля, и он покупал их за баснословную цену. Эксперты, приглашенные матерью, устанавливали подлог. Много раз она собиралась серьезно поговорить с ним, но под его взглядом замолкала и смирялась.

— Ах, маменька, ведь я об этом знал! — обезоруживал он ее своим откровенным признанием.— Но я так был влюблен в поворот этой милой головки, что не мог противиться соблазну! Посмотрите сами! — показывал он на полотно.

Все шло по-обычному, как должно было идти,— так вся столичная золотая молодежь заполняла дни. Но с некоторых пор Аврору Карловну стали беспокоить более шумные развлечения сына у известного всему Петербургу ресторатора Бореля.

Несмотря на «тонкую воспитанность», Павел Павлович на пирах, устроенных за его счет, вел себя по-купецки: бил зеркала, дорогие вазы, портил вилками картины. Попойка превращалась в мамаево побоище. Борель был в восторге, и, когда начинался погром, он после опустошения, произведенного в одной комнате, брал Демидова под руку и уводил в другую.

— Ах, monsieur Demidoff! — восторженно говорил он.— Voilá une glace qui n'est pas brisée...[1] Прошу вас, умоляю, разбейте заодно и это! — показывал он на уцелевшее зеркало.

Счет Борель не отсылал матери Демидова, предпочитая сам рассчитываться с ее сыном, так как опыт показал ему однажды, что иметь дело с Демидовой невыгодно и неудобно. Аврора Карловна в тот раз тщательно просмотрела счет и по поводу каждого расхода наговорила ресторатору много злых слов.

— Вы поставили здесь, что разбиты венецианские стекла! — спокойно, с леденящим холодком сказала она ресторатору.— Но ведь это не так! Мой слуга точно установил, что стекла были самые простые. Вот здесь вами проставлены китайские вазы. Это же неверно. Вазы были изделий Кузнецова. Господин Борель, если вы хотите иметь дело с Павлом Павловичем, прошу вас счета проверять досконально!

Оплата по счету уменьшилась в пять раз, и ресторатор не мог спорить с этой практичной и упрямой дамой. Да, она знала всему цену!..

В конце концов поведение сына стало тревожить Аврору Карловну, но еще более волновало ее состоя-

---

[1] Ах, господин Демидов! Вот еще одно неразбитое зеркало *(франц.)*.

ние уральских заводов. За последние годы добыча чугуна в Нижнем Тагиле резко снизилась. Управляющий Антон Иванович Кожуховский хотя и успокаивал госпожу, но упадок дел на предприятиях Демидовых был настолько очевиден, что у нее не оставалось больше никаких иллюзий. Ко всему этому непрестанно волновались работные, предъявляя владельцам различные требования. Необходим был приезд старшего Демидова. Кстати, Авроре Карловне хотелось заглянуть в будущее своего сына. Прямой дядя Павла Павловича — Анатолий Николаевич — оставался одиноким и бездетным, годы его уходили, становилось ясно, что если он не вступит в брак, то единственным наследником всех демидовских богатств останется племянник.

Вдова написала трогательное письмо князю Сан-Донато с просьбой приехать в Россию.

«Дела заводов требуют вашего пребывания здесь,— писала она.— Старые директоры Любимов и Данилов, хорошо знавшие управление, давно сошли со сцены. Необходимо ваше присутствие и совет для бедной вдовы, которая и рада отдать все силы общему делу, но без вас многое мне не решить...»

Анатолий внял просьбе Авроры Карловны и явился в Санкт-Петербург. Он остановился на Большой Морской, в отеле «Наполеон», по соседству с особняком покойного брата. С десятком секретарей Анатолий занял множество комнат. Самые лучшие апартаменты бельэтажа отвели ему под покои. Под окнами отеля круглые сутки дежурили десятки карет и экипажей, запряженных кровными рысаками. Кучера долгие часы просиживали неподвижно на козлах, и Анатолию доставляло удовольствие наблюдать, как они томились в ожидании господина. Демидов и не предполагал выбывать на Урал. Он то и дело требовал срочно своих секретарей и заставлял их разбирать написанные письма и резолюции. Нацарапав их, он и сам не мог разобраться в своих иероглифах.

В первый же день приезда Анатолий явился к вдове. Несмотря на отшумевшие годы, Аврора все еще блистала красотой. Он невольно залюбовался ею и вслух восхитился ее неувядаемой молодостью. Демидова не могла сказать того же своему деверю: князь выглядел худосочным, лицо пожелтело, и на голове остались седоватые реденькие волосы.

«Износился, стар! — подумала она и практично решила: — Теперь жениться ему поздно!»

Чтобы увериться в этом, она по-женски кокетливо повела томными глазами и выговорила:

— Ах, Анатоль, вы тоже вечно молоды. Вас надо женить в Петербурге. Женить поскорее!

На лице Демидова изобразился ужас. Он устало покачал головой:

— Нет, нет! Теперь уже поздно! Никогда!

Он сидел перед ней с видом обреченного.

— Единственно желанная женщина — это вы! — с тусклой улыбкой сказал он.— Но на вдове брата не женятся. Я доволен и тем, что имею такую превосходную хозяйку наших заводов!

Он боялся одного — вдруг она откажется от управления заводами.

«Столько хлопот! Столько забот! — тревожно думал он.— И эти бесконечные волнения работных... Нет, увольте от всего этого!»

Вдова разрумянилась и смущенно ответила:

— Я согласна управлять заводами, Анатоль, но было бы лучше, если бы вы остались в России и сами хозяйствовали!

— Нет, нет! — решительно отмахнулся он и перевел разговор на светские новости.

Анатолий Николаевич явился во дворец и пытался попасть на аудиенцию к императору. Флигель-адъютант надменно оглядел Демидова, одетого в узкий фрак, и коротко сказал:

— Будет доложено.

Он удалился в покои, и Демидов провел более часа в томительном ожидании. Наконец флигель-адъютант вернулся, но еще более строгий и недоступный:

— К сожалению, государь не может оказать вам чести быть принятым!

Расстроенный и обиженный, Анатолий поехал на Большую Морскую, к вдове. Аврора Карловна попрежнему была в курсе всех дворцовых событий.

— Чем же я провинился перед царем? — сокрушенно пожаловался Демидов вдове.

— Ах, Анатолий, вы совершили нетактичность! — воскликнула Аврора Карловна.— Здесь еще не забыли,

что вы помогли Луи-Наполеону. Вы отдали русские деньги этому проходимцу... И притом, притом он сделал столько неприятностей России... Достаточно одного Севастополя...

— Как же нужно было поступить? — пытливо посмотрел на Аврору Карловну Анатолий.

— Выждать, вот и все! — ласково сказала она и томно взглянула на деверя.— Знаете, Павлуша дома и жаждет попасть вам на глаза.

Анатолий обрадованно ответил:

— Зовите!

Через минуту перед дядюшкой стоял стройный красавец в мундире, при шпаге. Он бросился к Анатолию, с искренним восторгом обнял его:

— Я столько наслышан о вас!

Глядя на приятную встречу, мать приложила к глазам, хотя они были сухи, кружевной платок.

— Ах, как очаровательно! Как трогательно!..— с деланным чувством прошептала Аврора Карловна.— Вам нужно немного развлечься. Поль поможет вам... Но только вы, Анатолий,— я ведь вас знаю,— не сильно балуйте его! — погрозила она пальчиком деверю.

Мужчины уехали вдвоем в карете. Племянник с улыбкой посмотрел на дядю.

— Что бы вам хотелось повидать? У нас, в Санкт-Петербурге, есть много интересных мест!

— Вези туда, где можно вспомнить молодость!

— Тогда поедем к мадам Крааль. Там есть интересные блондинки! А может быть, к Борелю?

— Куда знаешь!

Племянник оказался просвещеннее дядюшки. Он свозил его к мадам Крааль, где девицы не уступали в проворстве парижским кокоткам, и к ресторатору Борелю. За все расплачивался племянник, что очень понравилось Анатолию. Он с удивлением разглядывал молодого человека, когда тот, не скупясь, расплачивался.

— Откуда у тебя столько денег? — удивился князь Сан-Донато.

— Ах, дядюшка, матушка меня никогда не оставляет без внимания! А ей денежки текут с Урала... Столько у нас рабов!..

— Как ты сказал? — спросил с изумлением Анатолий.

— Рабов! — повторил Павел.

— А если эти рабы вдруг восстанут и не пожелают на нас работать? — серьезно сказал дядя.

— Что вы, этого не может быть! — убежденно воскликнул Павел.— Они не посмеют! Им этого не разрешат царь, церковь, урядники! Да так господом богом заведено!

— Н-да! — задумчиво процедил Анатолий и подумал: «Хорош петушок! Голосок еще ломкий, а шустрый, всех нас превзошел!»

Натешившись проказами у Бореля, они поехали на Большую Морскую. Подошла туча, полил частый дождик. Грязные лужи потянулись по мостовой. У подъезда демидовского особняка кучер осадил рысистых, и господа вышли из кареты.

— Эй, эй, пошли! — пригрозил кучер бичом седобородому мужику и мальчонке в рвани, которые хотели перейти тротуар.— Не видишь, куда лезешь! Дай дорогу господам!

Мужик в лаптях опустил голову, остановился.

Выходя из кареты, Павел вынул носовой платок, и в ту же минуту на мостовую со звоном упал золотой. Молодой повеса небрежно взглянул на него, отбросил ногой и прошел вперед.

— Молодец! — похвалил племянника Анатолий.— Сразу видно: барич, русский барич!

Они прошли в вестибюль, а карета покатилась в распахнутые ворота.

Мужик оглянулся, бросился к луже и жадно стал искать в грязи золотой. Он нашел его и быстро заложил за щеку.

— Эко, паря, как ноне нам повезло! Гляди, что вышло!

— Тятенька, так он видел золотой, да ногой откинул. Зажирел!

— Это верно! — со вздохом согласился мужик.— Трутни! Чистые трутни! Знали бы, сколько трудовых рук потело, чтобы добыть сей достаток... Да где им знать, сынок! Они и понять того не смогут. Все салом да наглостью затянуло... Э-э, кажись тучи расходятся и дождик перестает! — сказал он и пошагал быстрее, увлекая за собою мальчонку...

2

Предстояла неизбежная поездка на Урал. Аврора Карловна торопила и подбадривала деверя:

— Вы мужчина и волевой человек! Не забудьте, что вы Демидов. Ваши деды хорошо умели держать в руках своих холопов!

Анатолий уныло повесил голову: его нисколько не радовало затруднительное путешествие на Каменный Пояс, но вдова продолжала наставлять огорченного князя Сан-Донато:

— Главное, будьте дерзки с ними. Они любят, когда господа с ними поступают круто! Волноваться вам нечего. Всему миру известно, что рабы издавна любят непокорствовать, но сейчас есть полицейщики, солдаты... Ах, боже мой, им надо дать почувствовать сильную руку!

— Но я ничего не понимаю в заводском деле! — пробовал заикнуться Анатолий.

— Для того чтобы разбираться в черной работе, есть другие! — властно сказала она.— На заводе существуют управители, приказчики, охрана. Ваше дело поучить их, как выколотить побольше доходов. Пригрозите пану Кожуховскому: постарел и отяжелел он; плохо радеет о нас, своих господах!

Вдова быстро собрала Анатолия в дорогу. Ехал он по новой железной дороге Петербург — Москва, отстроенной по приказу царя Николая. Герстнер так и не получил от русского правительства просимой им монополии на постройку железных дорог в России. Постройка Николаевской дороги была произведена на средства казны.

Приятную поездку до Белокаменной Демидову предстояло совершить в салон-вагоне. «Возможно ли это в России?» — с удивлением разглядывал Анатолий убранство вагона. Стены салона, покрытые стеганым штофом, создавали уют, потолок блистал нежной белизной. Двери украшала мозаика и бронза, и мягкие пружинные диваны были покрыты малиновым бархатом. Обогревательные трубы, замаскированные бронзовыми решетками, делали воздух теплым и приятным.

Поезд тронулся и долго шел среди столичных строений, пока не вышел на простор. За городом навстречу брызнуло осеннее скупое солнце и осветило бегущие мимо окна тощие сосенки, тонкие березки и низко-

рослые ели. Перелески перемежались болотами, покрытыми ржавой водой. Справа мелькали пестрые полосатые верстовые столбы.

Впервые Анатолий увидел панораму петербургских окрестностей, выглядевшую уныло и серо под низким небом. Поезд, стуча колесами, шел через поля, леса, долины, пересекая реки, глубокие овраги и лога.

Постепенно спускались сумерки, и тут же, у насыпи, потянулись холмы, на них цепь курганчиков с крестами. Кресты, кресты, простые тесовые кресты...

В эту минуту вошел проводник с военной выправкой, в руках у него фонарь и свечи. Он осторожно осветил вагон и подошел к окошку, желая опустить штору. В грустном раздумье он секунду смотрел на печальные могилы, наконец не выдержал и сказал:

— Глядите, барин, сколько мужицких костей тлеет!

Отвалившись на диван, покачиваясь, Анатолий Николаевич благодушествовал. Он не прочь был пофамильярничать с простым человеком. Глядя на бравый вид проводника, он спросил:

— Ты не из гвардии ли, служивый?

— Так точно. Отслужил, в запас вышел, ныне на чугунке работаю,— охотно отозвался отставной солдат.

— Закрой штору, могил в этих местах что-то много! — приказал Сан-Донато.

— Да-с, дорогонько русскому народу обошлась эта дорожка! — со вздохом вымолвил служитель.

Анатолий обеспокоенно спросил:

— Неужели в этих местах восстание было?

— Беспокойство произошло, но восстание — разве возможно под столицей? — угрюмо посмотрел на пассажира проводник.— Просто мужики мерли как мухи. Голод! Извольте послушать, барин, как о том писано! — не ожидая согласия, отставной солдат громко и четко проговорил:

Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.

Он-то согнал сюда массы народные,
Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?..

Демидов покраснел, поднялся с дивана и закричал резким, недовольным голосом:

— Да как ты смеешь! Да знаешь ли ты, что бунтовские речи ведешь! За это в Сибири сгноить могут! — Он задыхался от негодования.

Проводник смолк, лицо его стало строгим. Он терпеливо выслушал гневные окрики Анатолия Николаевича и, когда тот немного успокоился, тихо сказал:

— Виноват, барин. Не знал, что это вас так растревожит. Только напрасно изволите кричать. Это вовсе не бунтовские речи. Извольте знать, то стихи господина Николая Алексеевича Некрасова. Их сынишка мой читает. Поглядите! — Он вынул из кармана небольшую брошюрку и показал пассажиру.— Обратите внимание, тут и прописано: «Дозволено цензурой». Вот оно как! Извините за беспокойство! — Проводник откозырял по-военному и удалился в соседний вагон.

«Что за времена пошли! — с возмущением подумал Анатолий.— Каждый хам занимается стихами! Почему до сих пор его величество не отправит этого Некрасова в Петропавловскую крепость! Там ему место!»

Он долго ворочался на диване, не мог успокоиться, брался за французский роман, но читалось плохо. Так в одиночестве он доехал до Вишеры. Здесь на остановке в вагон вошел сытенький румяный господин в золотых очках. Небольшая черная эспаньолка и клетчатый костюм делали его похожим на иностранца. Он учтиво поклонился Демидову и расположился на противоположном диване.

— Очень приятно иметь соседом благовоспитанного человека,— раздался его бархатный голос.— Далеко ли путь держите?

— До Москвы! — хмуро ответил Анатолий Николаевич.

— Мне повезло, и я добираюсь до первопрестольной! — добродушно оповестил он.

Он несколько минут возился, размещая багаж, а когда поезд тронулся, уселся к столику и заискивающе взглянул на спутника:

— Вы чем-то взволнованы! Позвольте спросить вас, как здесь прислуга?

— Смутьяны! Здешний проводник наговорил такого, что не придумаешь! — взволнованно высказался Сан-Донато.

— О чем же таком наговорил он вам? — полюбопытствовал сосед по салону.

— Мы проехали мимо бесчисленных могил. Слуга железнодорожный позволил себе по этому поводу прочесть стихи Некрасова. Каково? Намек на графа Клейнмихеля.

— Ну, батенька, это не страшно! — потирая руки, промолвил спутник.— Кто в России, и в Санкт-Петербурге особенно, не знает нрава Клейнмихеля? Он и иже с ним крали не по-российски! Жесток был! Приезд его на дорогу уподоблялся холерной эпидемии. Порка, недоедание — вернее, голод — и антисанитарные условия, да-с... Тяжело... Мужики-то отовсюду были согнаны: из Ковенской губернии, из Виленской, Смоленской, Орловской, Новгородской, Псковщины, Тамбовщины, из Калуги и Чернигова, ах, боже мой, всех не перечесть... Многие сложили кости...

Говорил он легко, свободно, горе мужицкое не вызывало у него сожаления. В столице и за границей говорили, что царь Николай Павлович построил дорогу на костях. Об этом слышал и Демидов. Он пристально посмотрел на спутника и, учтиво поклонившись, спросил:

— Дозвольте, с кем имею честь?

— Добрынин, Кузьма Ильич, акционер общества металлургических заводов на юге... Можете не называться... Знаю, знаю, что ваша светлость — князь Сан-Донато, Демидов, владелец уральских заводов.

Анатолий поразился всезнайству господина. Нахмурившись, он посмотрел на его сытое, самодовольное лицо. Демидова шокировали и тон разговора и та легкость, с которой сосед высказывал обо всем свое мнение. Не понравилось ему и то, что случайный знакомый несколько запанибрата обращается с ним. В другое время князь Сан-Донато презрительно посмотрел бы на него в монокль и обдал бы холодным душем — своей презрительной, уничтожающей улыбкой,— но то, что перед ним сидит один из заводчиков процветающего юга, его крайне заинтересовало. Давно Анатолия беспокоил вопрос, почему металлургические заводы на юге России процветают и поставляют железо дешевле дру-

гих, а демидовские уральские заводы хиреют и не могут угнаться за ценами на рынке. В чем дело?

Эта мысль сразу отвлекла его от созерцания картин природы; он уселся напротив Добрынина и недовольным тоном пожаловался:

— Вы счастливцы, вам везет, на вас обращают внимание. А нас правительство забыло! По совести сказать, мы сильно обижены!

— Чем же вы обижены? У вас на Урале все есть: руда, лес и дешевая водяная сила. Не понимаю! — пожал плечами Кузьма Ильич.

— Понять это просто! — с ноткой сожаления о недогадливости соседа сказал Анатолий.— Судите сами: исторические заслуги Урала и наших демидовских заводов всем известны. Ведь этого не станете и вы отрицать?

— Не стану! — согласился промышленник.

— Вот видите! — обрадовался Анатолий.— В течение двухсот лет вся Россия пахала и жала, ковала, копала и рубила изделиями наших уральских заводов. Мало этого — русские люди носили на груди кресты из нашей меди. Мужик ездил на уральских осях, охотник стрелял из ружей уральской стали, бабы пекли блины на уральских сковородах, да что говорить,— медяки в кармане любого отчеканены из уральской меди. Мы два века удовлетворяли потребности всего русского народа! — Демидов горделиво посмотрел на собеседника, стараясь подчеркнуть: «Видите, я не выскочка, подобно вам! У нас прошлое!..»

Однако Добрынин добродушно засмеялся:

— Ну, батенька, куда хватили! История историей, а дело сейчас по-иному надо ставить. Полюбуйтесь, что делается в Англии! Вот у кого надо учиться, ваше сиятельство! Аглицкие промышленники ставят производство на вольном труде. Рабский, крепостной труд в наше время становится невыгодным. Конкуренция требует дешевой рабочей силы. Да, сударь, времена пошли иные!

Демидов пожал плечами, угрюмо проронил:

— Не понимаю ваших речей. Вы говорите как истый коммерсант!

Промышленник засмеялся.

— Я понимаю вашу мысль, ваше сиятельство, но поглядите, что делается кругом! Крепостное право пало,

промышленность приходится строить на иных началах. Кто теперь будет отрицать влияние капитала! Надо быть коммерсантом, иначе вылетишь в трубу!

Анатолий туго соображал, о чем говорит его сосед. Он считал себя аристократом и на промышленника смотрел как на человека низшей породы. Однако, сдерживая свое недовольство, он учтиво спросил:

— Все это так, но я не понимаю, почему у вас дела лучше пошли, а у меня на Урале хуже?

— Понять все очень просто, ваше сиятельство! — спокойно ответил сосед.— Юг молод, милостивый государь,— сказал он напыщенно.— У нас технический прогресс, мы не связаны со старинкой! Мы вступаем в конкуренцию с европейскими заводчиками. Ваш Урал стар, у вас не изменились вековые порядки, сказывается техническая отсталость. Пора, сударь, перестраивать предприятия!

— Ну это вы уже слишком! Наши деды и отцы знали горное дело и ставили его умело! — холодно отозвался Демидов.

— Теперь деды ни при чем, ваше сиятельство. Ныне господин капитал шествует. Он себе пробьет дорогу! — В голосе Добрынина прозвучали торжествующие нотки, задевшие Анатолия за живое. Он отвернулся и замолчал.

Наползал серенький вечер. Над низинами потянулся туман. В вагоне зажгли ранний свет. Спутник раскрыл новый кожаный чемодан и стал извлекать из него обильные яства. Он разложил на столике балык, паюсную икру, сыр, ветчину, булочки и приятно пахнувшие тмином хлебцы. Вслед за этим он добыл пузатую бутылочку венгерского и предложил Демидову:

— А не желаете ли, ваше сиятельство, выпить за процветание дел?

Лицо промышленника лоснилось от самодовольства. Он причмокивал губами, предвкушая удовольствие. Анатолий сухо поблагодарил соседа, но разделить трапезу с ним отказался.

— Жаль, весьма жаль! — для приличия закручинился тот и без проволочки стал насыщаться. Ел он медленно, чавкая, чмокая, обсасывая жирные пальцы. Князь Сан-Донато с отвращением смотрел на это отталкивающее обжорство. Купец не смущался и священнодействовал, запивая закуски красным игристым

венгерским. Все быстро исчезло со стола, и на смену из бездонного чемодана появилась жареная кура, огурчики, соленые грибочки в банке. Тяжело дыша, пассажир продолжал с аппетитом есть. От сытости глаза у него стали сонными, блаженными.

— Ох, господи, не скрою от вас, люблю поесть! — полузакрыв глаза от наслаждения, сказал он.

Анатолий не выдержал, молча повернулся и вышел в коридор, где долго бродил, раздумывая о судьбе своих заводов. Когда он вернулся, купец, сладко посапывая, спал блаженным сном...

Утром промышленник поднялся очень рано и растолкал Демидова.

— А знаете, что я надумал! — неожиданно предложил он Анатолию.— Продайте-ка мне свои заводишки. Я живо преобразую их! Видать, вы и впрямь не интересуетесь вашим делом. Чего же лучше, и цену дам выгодную!

Весь день он бойко убеждал Демидова в выгодности сделки, но тот отмахивался. Анатолий не знал, как и отвязаться от назойливого соседа; счастье, что поезд подходил к Москве и можно было наконец расстаться с ним.

От Москвы Демидову предстояло ехать на лошадях. Он нанял в ямщики бородатого плечистого мужика, слуги приготовили карету, а лошадей решили менять на каждой почтовой станции.

В солнечный полдень тронулись в путь. Перед путниками распахнулись бесконечные дали. Но широкие просторы России, полноводные реки и шумные леса не привлекали сердца Анатолия. Он был равнодушен ко всему русскому. Стояла золотая осень, в чистом прозрачном воздухе плавно лилась разудалая песня бородатого ямщика, подпоясанного цветным кушаком. Демидова не радовали ни мотив песни, ни раздолье ее. На станциях он нервничал и с презрением разглядывал жалких, забитых станционных смотрителей. Когда они мешкали, князь Сан-Донато грубо и требовательно выкрикивал:

— Лошадей!

Без конца тянулась дорога. Мелькали помещичьи усадьбы с обширными зеркальными прудами, с густыми ветлами над ними, на косогорах чернели убогие избы

разоренных крестьян, да маячили полосатые верстовые столбы.

Ямщик разудало пел всю дорогу. Его песня то разливалась словно половодье, то вытягивалась в тихий ручеек и замирала. За Волгой Анатолий не выдержал и набросился на ямщика с укором:

— Эх, распелся! Хватит! Чему, спрашивается, обрадовался?

Мужик замолчал, а глаза его улыбались.

— Ну как не радоваться, господин? Едешь-едешь, а кругом тебя мать родная русская земля. Гляди, барин, и небушко наше милое, васильковое, и солнышко на своей сторонушке светит по-иному, ласковее. Да разве можно русскому человеку без песни жить? Не я пою, господин,— душа моя поет! Чем с плачем жить, так лучше с песнями умереть. Эй, пошли, залетные! — Он свистнул, гикнул, и кони рванулись вперед...

Четыре станции минули, сотню верст отмахали молча. На очередном привале ямщик подошел к Анатолию и поклонился:

— Увольте, барин. Сделайте божеское одолжение. Не могу дальше ехать!

— Да ты с ума спятил! — вспылил Демидов.— Где же я сейчас найду человека? Разве тебе худо со мной?

— Грех про это молвить, но только не могу! — упорствовал мужик.— Найдете другого! Только поманите — явится! Всем пить-есть хочется...

— Но почему же ты все-таки отказываешься? — пристально посмотрел на него Анатолий.— Худое что-то задумал?

— Упаси господи! — отрекся мужик.

— Ну, тогда что за причина?

— Эх, барин! — с укоризной посмотрел ямщик на Демидова.— Еду, все еду, а сам молчу! Спаси бог, не могу так. Несподручно русскому человеку без песни. Ну ровно покойника везу... Увольте, господин, не могу без песни гнать на почтовых. И где это видано? Издавна, сотни годов, всегда ямщики песни пели! И как это можно: дорога без песни не дорога! Прощевайте!

— Постой! — окрикнул его Анатолий и предложил: — Вези дальше, золотой дам!

— Бог с ним, с золотым! Не поеду! — решительно отказался мужик и так и не поехал с Демидовым.

Пришлось на станции взять в ямщики первого под-

вернувшегося угрюмого бородача и с ним отправиться в путь. Покачиваясь в экипаже, Анатолий с недоумением думал:

«Что за страна Россия! Удивительный народ! Нищ, наг, и дома семья, поди, без куска хлеба сидит, а от золотого, упрямец, отказался. Без песни не может... Странно, очень странно...»

И все в пути ему казалось непонятным. Он двигался будто в неведомой стране. Как только из-за горки показалась золотая главка нижне-тагильской церкви, он встрепенулся и с удовлетворением подумал: «Вот и заводы наши! Мое, все мое тут!»

Он постучал в окно кареты и велел слуге:

— В Тагил въезжай как подобает господину!

— Это известно! Не впервые господ возим! — отозвался угрюмый ямщик и перекрестился. «Слава господу, доставил-таки сюда нелюдимого!» Он облегченно вздохнул: даже ему, угрюмому с виду человеку, бесконечное дорожное безмолвие тоже было в невыносимую тяготу...

3

В Тагиле никто не ожидал внезапного приезда хозяина. Обширная пустынная площадь перед барским домом поросла травой. Старый парк был охвачен пожаром осени: багрянцем пламенели дрожащие осины, в ярко-золотистом сверкании роняли листву березы, а могучий ветвистый дуб отливал бронзой. По ветру неслись серебряные нити паутины и цеплялись за кусты. С пруда шел первый осенний холодок.

Ямщик разогнал тройку и шумно подкатил к подъезду, перед которым на круглой клумбе пестрели последние астры; запах увядания их струился в воздухе.

На стук колес из ворот выглянула стряпуха и, завидев нарядного Анатолия, всплеснув руками, суматошно закричала:

— Батюшки, барин приехал!

На крик этот из дома выбежал растерянный, изрядно постаревший пан Кожуховский. Он заахал, бросился к Демидову, поцеловал его в плечо и льстиво заговорил:

— Ах, как мы все рады такому счастью! Весьма рады, ясновельможный князь!

Поодаль столпилась дворня, с любопытством рассматривавшая владельца заводов. Многие годы ушли с той поры, как Анатолий юношей приезжал в Тагил. Сейчас одни старики помнили первый приезд хозяина. Они с разочарованием смотрели на прибывшего, печально отмечая: «Гляди, совсем старик стал! И ноги волочит... Эх ты, видать, сильно поизносился по заграницам!»

Только управляющий, по-видимому, не разделял разочарования слуг и беспардонно льстил Демидову:

— Вы еще орел, ваша светлость! О, только в такие годы мужчины и нравятся женщинам!

Анатолий не слушал болтовни управляющего, глаза его чего-то искали. Увы, никто из работных не пришел приветствовать своего господина! Это особенно задело Анатолия. Он огляделся кругом. Только две домны струили синеватый дымок; другие две безжизненно маячили на фоне ясного неба. Притихшим и покинутым выглядел завод, не чувствовалось здесь былого шума и кипения.

Князь Сан-Донато огорченно вздохнул и подумал: «Что-то случилось! Почему отсюда уходит жизнь? Дряхлеют люди, и завод стал иным!»

Старый дом также выглядел сиротливо. Под дождями и непогодами он посерел, местами отвалилась штукатурка; радужно отсвечивали стекла в окнах. Ступени широкого и когда-то внушительного крыльца изрядно обветшали и скрипели под ногами.

Демидов молча прошел в покои и поразился упадку и запустению в них. В больших залах свисала пыльная паутина. Затянутые в холст бронзовые люстры были засижены мухами, грязны. В дедовском кабинете старинные часы заржавели и безмолвствовали. Запах тлена наполнял покинутое жилье. Откуда-то из темного угла выбежал еж.

— Не бойтесь, ваша светлость,— услужливо предупредил управляющий.— Это Андрейка — старая, но проворная зверюга, крыс ловит тут...

Пан Кожуховский сердито мигнул девке в полинявшем сарафане, и та проворно передником смахнула пыль с кресла.

— Садитесь, ваше сиятельство! — вкрадчиво попросил пан Кожуховский.— Прошу не обижаться запущенностью. Неведомо нам было о ваших намерениях

посетить Тагил и потому не подготовили до́ма. Ах, боже мой, враз все будет! Стоит только господину на часок пойти погулять, бабы живо тут приберут! — Серые бегающие глаза старого лиса угрюмо поблескивали из-под нависших бровей.

Волей-неволей Демидову снова на время пришлось покинуть хоромы. Вместе с Кожуховским он спустился в парк, где по заросшей дорожке брел до пруда. Стояла пора тихого листопада. От сознания, что все минуло, что дедовский дом заброшен и стал необитаем, на душе его стало грустно. В тоскливом настроении Анатолий прошел на плотину. Здесь он долго любовался могучим потоком, который, бурля и пенясь, выбегал из-под старого мшистого колеса.

От плотины управляющий повел его на завод. Тяжело было войти в цехи. Мертвящая тишина стояла в них. Рабочих заметно поубавилось, и держались они сухо и неприязненно; не торопились снимать перед хозяином шапок, старались за делом не видеть Анатолия.

Демидов с управляющим оглядел весь завод. Здесь все шло по старинке. Домны работали на древесном топливе, крепко держался старый кричный способ выделки железа. Работа шла вяло, и казалось, что все здесь угасало. Анатолию представилось, что они идут по огромному кладбищу, где из каждого угла дует мертвящим холодом. Крыши протекали, хотя завод готовил свое листовое железо, стены осели и дали трещины, и горны ветшали и разваливались.

Хозяин недоуменно посмотрел на управляющего. Тот понял его немой вопрос, развел руками:

— Что же делать, ваше сиятельство, если теперь с рабочей силой неуправка! Много народу разбрелось кто куда. В минувшие годы наши края посетил голод, бесхлебица, вот и разбежались. Да и работать не хотят при низкой цене, а высокую мы дать не можем.

Анатолий молчал. Стиснув зубы, он угрюмо проходил мимо запустения на заводе. «Всего только несколько лет прошло, и все так изменилось! Вот бы сюда Любимова или Данилова! — подумал он, однако сейчас же отбросил эту мысль.— Нет, и они не спасли бы положения. Иные времена пошли! Кризис...»

Тоска еще сильнее сжала сердце Демидова, когда он побывал на медном руднике. Паровые машины, сооруженные Черепановым, ржавели. На шахтах шло ги-

бельное разрушение. Одряхлевший смотритель Шептаев, узнав барина, прослезился и пожаловался:

— Захлебывается наш рудник-то... Ох, погибает...

В его словах звучала глубокая боль. Словно о человеке, охваченном смертельной болезнью, он рассказывал:

— Лежишь ночью и слышишь, как стонет вода в шахте... Сочится и сочится... Нет, не устоять руднику! — безнадежно махнул он рукой.— Ох, и жалко же!..

Голодный и усталый, Демидов поздно вечером пешком возвращался домой. Он шел по Гальянке; жалким и придавленным выглядел поселок. Серые, ветхие избенки скособочились, а многие по оконца ушли в землю. Дворы стояли распахнутыми настежь. Дрожащий свет лучины озарял мутные окна. Если бы не этот свет, то казалось бы: все люди покинули жилье...

К этому времени прибрали несколько комнат и подали ужин. Демидов насытился и отпустил управляющего.

— О делах поговорим завтра! — уклонился он от неприятной беседы.

Спустилась темная ночь. Растревоженный увиденным, Анатолий не мог уснуть. В безмолвии осенней ночи он бродил по комнатам. Захватив медный шандал с горящими свечами, он прошел в прихожую и по скрипучей лесенке поднялся в горенку, где когда-то жила Глашенька. С замиранием сердца он переступил порог и с горестью огляделся. Все здесь пришло в ветхость. Паутина заткала углы, ворвавшийся в разбитое окно ветер старался потушить свечу в его руке. Заслоняя пламя от ветра, он подошел к деревянной кровати. В углу висел все тот же образ, но лик святого совсем стерло время. Сор, гнилое, источенное червем дерево, обломки — все наводило уныние. Безвозвратно ушла юность, пронеслись забавы!

Тяжелой походкой Демидов спустился к себе в кабинет и уселся в кресло. Долго с закрытыми глазами сидел он у стола. Перед его мысленным взором промелькнули дни молодости, вспомнилось улыбающееся задорное лицо юной подружки.

Утром он спросил у старика дворецкого:

— Где же теперь Глашенька?

Слуга скорбно опустил голову.

— Упокоилась, батюшка, годков десять назад упокоилась на погосте...

Анатолий не стал больше расспрашивать о ней: больно было сердцу тревожить далекое прошлое...

4

Три дня Анатолий Николаевич не выходил из дома,— рассматривал отчеты, в которых плохо разбирался. Пан Кожуховский давал путаные и туманные объяснения, о многом умалчивал, и Демидов, окончательно сбитый с толку, совсем ничего не понял в заводских делах. С тяжелым вздохом он устало отложил в сторону книги:

— Будет! Хватит с меня!

— Может быть, ясновельможный князь заинтересуется отпуском железа за границу? — с готовностью стал разворачивать толстый фолиант управляющий.

— И без этого все ясно. Плохо ведешь дела! — резко сказал хозяин и выразительно посмотрел на Кожуховского.

— Изо всех сил стараемся, ваша светлость! — стал оправдываться Антон Иванович.

— Не виляй, мне нужны деньги! Ты плохо добываешь их. Веди дела как хочешь, но давай мне побольше прибылей!

— Я жилы рву с лайдаков[1], но ничего не могу поделать! Все время шумствуют!

— Что им нужно? Чего они хотят? — раздраженно спросил Демидов.— Вот погоди, я завтра с ними поговорю сам. Я им покажу!

— Стоит ли их дразнить, ваша светлость? Они и без того недовольны! — заикнулся было управляющий, но замолчал под жестким взглядом хозяина.

На другой день к подъезду потянулись толпы заводских. Анатолий из-за портьер тайно разглядывал их. Как изменилась их поступь! Это не те люди, что были десять — двадцать лет тому назад. В их поведении не чувствовалось рабского унижения. Держались они самоуверенно, с достоинством. После того как долго потомил их ожиданием, Анатолий Николаевич, опираясь

---

[1] Лодыри.

на трость, вышел на крыльцо. Толпа встретила его молчанием.

— Шапки долой! — закричал Кожуховский, но только редкие из стариков смахнули картузы.

Демидов горделиво вскинул голову и спросил самоуверенно:

— Почему вы плохо работаете? Завод работает в убыток! Доходы упали! Что все это значит?

Вперед вышел небольшого роста, чисто выбритый, в опрятном запоне доменщик и ответил владельцу завода:

— Просим выслушать нас! Давно думали о том написать вам. Не можем мы больше так робить! Жалованьишко малое, на хлеб не хватает! Покосов совсем лишили, коней и коров не стали держать. А как, скажем, жигалю без коня иль для многодетной семьи без коровушки? Погибель выходит!

— По работе и плата! — вставил пан Кожуховский.

— Нет, такого николи не бывало на заводе! — закричали в толпе.— Работаем как каторжные, по семнадцать — восемнадцать часов, а заработок мал, хоть пó миру иди! А доходы — мы сами видим, кому они идут!

— Как вы смеете так со мной разговаривать! — покраснел Демидов.— Вы знаете, что наш завод работает на отчизну. А вы, лодыри, не желаете приложить труд в полной мере!

— Полно, сударь! — сказал доменщик.— Зачем поносить нас, работаем мы от всей силы!

У крыльца показались полицейщики. Пан Кожуховский повел глазами, и они подошли поближе. Демидов осмелел, сошел с крыльца и очутился в людской гуще.

— Так нельзя работать! — горячась, заговорил он.— Это измена государству. Не вижу вашего рвения. Вы изменщики!

Кругом зашумели. Доменщик придвинулся к хозяину и сказал строго:

— Ты, барин, не бросайся словами! Николи изменщиками отчизне не были и не будем. Таким рожден русский человек! А вот про тебя наслыханы, что ты французскому императору помогал, когда он на Севастополь пришел! Как это назвать?

— Молчать! — вспылил Демидов.

— А если молчать невмоготу? — поднял на заводчика потемневшие глаза рабочий и указал на грудь: — Вот тут все кипит. Еще бы! Мы из последних сил робили, лили пушки и ядра, чтобы оборонить наш русский город, а ты что делал? Продал нас!..

— Пороть буду! — выкрикнул Анатолий и оглянулся через головы на полицейщиков. Те злобно смотрели на работных.

— Только за тем и звал! — с едкой насмешкой вымолвил доменщик.— Эх, барин-суматоха, дворянская косточка! Гляди, сломается...

Демидов не помнил себя от охватившего его гнева. Надеясь на полицейщиков, он взмахнул тростью и хотел ударить по лицу доменщика, но тот схватил палку и сломал ее.

Анатолий очутился среди раздраженных им рабочих. Кто-то занес над ним кулак, но сильный доменщик отвел угрозу.

— Не трожь! — сурово сказал он.— Не стоит мараться, беду накликать. И так от господ лиха много!

Однако прорвало скованный гнев. В толпе устрашающее закричали:

— Уйди от нас, пока кровь не взъярилась! Кто ты такой? Не ведаем тебя и не знали всю жизнь! Не хозяйничал ты тут, на русской земле, не робил с нами и горе не делил!

— Убирайся, захребетник, пока цел! — выкрикнул кто-то.

— На каком праве нагулял жир от нашего пота? — высунулась вперед заводская женка и пригрозила Демидову: — Гляди, как бы сало не вытопили из тебя!

Демидову стало страшно. Куда ни взглядывал он, везде встречал злые, горящие ненавистью глаза, возбужденные, гневные лица. Ни один человек не проявил к нему сочувствия, даже его дворовая челядь — и та упрямо молчала. Словно затравленный волк, он тяжело опустил голову и с налитыми кровью глазами побрел прочь по узкой дорожке, которую, сгрудясь, открыл ему народ. Он шел, шатаясь, среди жарко дышащих людей, ощущая непреклонную ненависть к себе, которая кипела-клокотала и искала выхода. И стоило ему только бросить бранное слово, как мгновенно могла вспыхнуть и разлиться пожаром еле сдерживаемая, ве-

ковечная ненависть. И никто тогда — ни слуги, ни полицейщики, ни пан Кожуховский — не остановит расправы над ним!

Чужим, презираемым почувствовал он себя среди русского народа, который поднял против бар свой гневный голос.

Демидов шел, а сердце его замирало от страха. Однако он мысленно грозил рабочим:

«Погодите, я напомню вам, кто такой есть князь Сан-Донато, Демидов. Я научу вас уважать собственность и владельцев!»

И, словно в ответ на его угрозу, бородатый, с запекшимся от вечного жара лицом литейщик насмешливо крикнул:

— А что, волчья сыть, отходит ваше времечко! Погоди, мы еще поспорим!

Грозный, страшный смех потряс толпу и унизил еще больше согбенного, втянувшего голову в плечи, жалко бредущего среди людского потока барина.

Волоча ноги, Анатолий с трудом добрался до хором и вошел в кабинет. Следом за ним появился бледный, дрожащий Кожуховский.

— Ясновельможный князь шибко погорячился! То напрасно! — хрипло сказал он.

Демидов мрачно посмотрел на управляющего и приказал:

— Все двери — на запор! На окна — дубовые ставни!

— Всё немедленно исполнят, ваша светлость! — угодливо склонился старый шляхтич.

Анатолий Николаевич пристально посмотрел на него и спросил:

— Где ты был, хитрый лис?

— Ваша светлость, я послал гонца к властям. Только штык и пуля могут успокоить непокорное быдло! — ответил управляющий, смущенно помялся и продолжал вкрадчивым голосом: — К утру сюда наедут воинские люди, будет холопам расплата за все, ваша светлость. Большая расплата! Чтобы ваши очи не видели этой гили и обид на вас не было, выезжайте, господин, в ночь подальше отсюда. И карета, кстати, припасена, и верные люди ждут...

Демидов опешил.

— Хорошо, я согласен! — после долгого раздумья

согласился он и оживился.— Ты вот что, задай им перцу за мои обиды!

— О том ясновельможный князь может не беспокоиться. Все будет исполнено в наилучшем виде...

В доме застыла глубокая, мрачная тишина. И прадедовский кабинет, и стены старинного демидовского дома, и даже обстановка показались сейчас Анатолию угрюмыми и враждебными. Он со страхом озирался, словно отовсюду здесь ждал смертельного удара. Кожуховский заметил его тревогу, блуждающий взгляд и успокоил:

— Не тревожьтесь, ваша светлость! Тут, за стенами, вы можете уверенно отдыхать до ночи. А там, даст бог, все пойдет, как договорились...

Глубокой ночью, словно преследуемый вор, Анатолий выбыл из своего родового гнезда, чтобы больше никогда не возвращаться в него. Глухо в густую пыль ударяли копыта борзых коней; покачиваясь на рессорах, бесшумно катился экипаж с холма на холм. Изредка раздавался свист бича да мимо окна экипажа тянулись бесконечные леса, озаренные луной...

Утро застало князя Сан-Донато вдали от Нижнего Тагила. Озаренные солнцем, сверкали величественные уральские сопки. Каменную гряду гор рассекали полноводные реки. Золотые потоки солнца заливали вершины сосен, лесные елани, и все кругом начинало сверкать в отблесках утра. В небе разливались трубные звуки пролетных лебедей. Начинался день — время большого радостного труда. Шелестели придорожные березы, раскачивались черемуха и рябины под ветром, роняя листья. Ветер-гулена бесшабашно задувал по лесу. Вот послышался шум горной реки. В омуте, под скалистым обрывом, плескались хариусы. Голубовато-серый, с крапчатым подкрыльем мартын упал камнем с высоты небес в омут и мгновение спустя вновь взвился над скалами, унося в клюве трепещущую рыбу. Кругом перекликались сойки, постукивали дятлы, верещала желна и весело насвистывали поползни. На чернеющую пашню выехал пахарь, помолился на восток и пустился бороздить землю, мерно шагая за сохой.

Демидов сидел в углу кареты и через открытое окно слышал, как кучер, показывая слуге на ниву, глубоко вздохнул и сказал:

— Эх, мать-землица! Хороша и утробна. Родимая ты наша кормилица, русская земля!

Однако ни восхищение стосковавшегося по земле мужика, ни радостное пробуждение утра, ни картины благостного труда — ничто не оживило князя Сан-Донато. Он сидел холодный, равнодушный ко всей этой красоте. Чуждо и непонятно ему было здесь все кругом.

«В Италию, во Флоренцию! Подальше отсюда!» — мечтательно думал он.

И все дальше и дальше от Каменного Пояса катилась черная, покрытая пылью карета, унося Анатолия Демидова — чужого и враждебного своему народу...

5

До окончания навигации Анатолий вернулся в Санкт-Петербург. В столице он прожил около месяца. Аврора Карловна свезла его в старинный дедовский особняк на Мойке. Пустынно и уныло было в залах, затянутых паутиной. Пыль годами накапливалась на вещах. Ковры были убраны, люстры и картины укрыты полотном. Старичок, хранитель дома, пожаловался владельцу:

— Забыли нас, батюшка, совсем забыли...

Анатолий ничего не ответил на эту жалобу, переглянулся с Авророй Карловной и пожал плечами.

Она увлекла его в контору, где велись счетные книги, и вмиг перед Демидовым появился толстый гроссбух. Вдова уселась перед ним и, как понимающая дело, начала:

— Сейчас я вам изложу, как складываются наши доходы и расходы. Я ведь опекунша над сыном и ваша доверенная, а потому обязана отчитаться в своих действиях! — Она деловито стала листать страницы.

Анатолий с ужасом смотрел на красавицу и наконец не вытерпел:

— Только не сейчас, прошу вас!

Он так жалобно посмотрел на нее, что она захлопнула гроссбух и покорно согласилась:

— Не смею ослушаться вас...

Больше они не возвращались к счетным книгам. Он с утра уезжал на выставки, в магазины, скупал картины, всякие раритеты и отсылал в забытый дедовский

особняк. Много времени у него отнимали встречи с артистами, художниками и литераторами. Анатолий всем им обещал большие заказы, но в самый разгар своей бурной деятельности вдруг сообщил Авроре Карловне:

— Нет, мне не нравится в Санкт-Петербурге! Хочу завтра покинуть его!

Она сделала грустное лицо, хотя на душе ее была радость:

— Почему же так скоро? Неужели мы вам надоели?

— Ах, нет, моя дорогая! — нежно поцеловал он ее холеную руку.— Ради вас готов на все, но увы — вы родственница! Уезжаю и в одном крепко полагаюсь на вас: доходы будут поступать ко мне исправно!

— Само собой разумеется. Мы с Павлушей свято оберегаем ваши интересы.

Они просидели вечер вдвоем. Отель «Наполеон» в это время осаждали владельцы картин и разных раритетов, скупленных Демидовым; они требовали денег, но секретари только пожимали плечами, ссылаясь на отсутствие хозяина.

Утром следующего дня Анатолий Николаевич покинул Санкт-Петербург. Аврора Карловна с сыном провожала его на корабль, который отплывал в Англию. Состоялось нежное расставание, теплые обещания, и вскоре все отошло назад вместе с туманным берегом...

Князь Сан-Донато в последний раз и навсегда покинул родную землю.

6

Анатолий Демидов снова разделял свои дни между Парижем и княжеством Сан-Донато. Великолепное демидовское поместье под Флоренцией вновь оживилось. Сюда собирались русские художники, актеры и писатели, посещавшие Италию.

Но все прошумело вешней волной. Пролетели годы, прошла жизнь. Измученное, истощенное тело отказывалось жить. В самую цветущую пору, в апреле 1870 года, Анатолий умирал в своем роскошном особняке на Елисейских полях. В садах и на бульварах цвели каштаны, и на улицах Парижа кипела обычная жизнь. Вышколенный слуга принес письмо и подарки с далекого Урала. Дрожащими руками Демидов вскрыл конверт. Писал пан Кожуховский:

«Ясновельможный пан, у нас, хвала богу, все обстоит великолепно. Заложили новую шахту на медном руднике и просим милости вашей разрешения назвать ее вашим именем. Холопы наши поуспокоились; к тому было усердие господина исправника. Доходы обещают быть хорошими. Рабочие люди от усердия своего шлют, ваша светлость, вам подарунки. Взгляните на них! Смените гнев на милость, они сейчас пребывают в кротости и послушании!..»

Среди подарков была коллекция уральских самоцветов. Демидов с удовлетворением перебирал ее, веря обману пана Кожуховского.

Не хотел он знать, что под ударами новой человеческой силы уже содрогается почва под хозяевами сего мира. Хотя жестокостями и прекратили волнения рабочих, но не покорился народ.

На смертном одре Демидов, закрывая глаза, успокаивал себя: «Россия — особая страна. Там я был хозяином Каменных гор, им же я умираю для русских!»

Он искренне верил, что уральские богатства перейдут в демидовский род, который казался ему непоколебимым из века в век.

Смерть настигла князя Сан-Донато в самый разгар весны. Умирая, он горячечно шептал:

— Хозяин я! Хозяин Каменных гор!

Но это было ложью, как была ложью вся его жизнь. Он никогда не знал своей родины и своего народа. Он думал, что тучи поднимаются с запада и оттуда придет гроза. Но буря не знает ни запада, ни севера, ни юга, ни востока. Она поднимается и бушует там, где произошло столкновение непримиримых встречных течений. И забыл Демидов, что солнце встает не на западе, а на востоке. Оттуда с зарей приходит лучезарный свет. Напрасно потомок уральских заводчиков утешал себя и самообольщался: никогда хозяином на русской земле он не был!

Хозяином Каменного Пояса был, есть и будет во веки веков трудящийся русский человек! Только он подлинный хозяин и творец на этой дивной земле!

«КАМЕННЫЙ ПОЯС» ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВА

В 1937 году в альманахе «Молодой Ленинград» была напечатана повесть «Шадринский гусь». Сочная, колоритная, с мягким юмором, она сразу привлекла внимание читателей. В повести чувствовался определенный писательский почерк, было видно творческое лицо писателя. Читатель запомнил имя и фамилию автора — Евгений Федоров. Но лишь немногие знали, что писатель Федоров не новичок в литературе, что он впервые выступил еще в 1921 году с повестью «Байтас».

Евгений Александрович Федоров родился 15 января 1897 года, умер 2 апреля 1961 года. Детство и отрочество его прошли на южном Урале. Годы напряженной учебы, а затем руководящая инженерно-техническая работа в Поволжье, Ростове-на-Дону, на Урале и в Ленинграде не позволили Евгению Федорову отдаться целиком любимому делу. И только с 1937 года Евгений Федоров становится профессиональным писателем. После ряда повестей и рассказов, в которых писатель как бы нащупывал свой путь, он обратился к истории родного Урала. Он пишет роман-трилогию «Каменный Пояс», роман об Аносове — «Большая судьба», повесть «У горы Магнитной» и роман «Ермак».

Над трилогией «Каменный Пояс» Евгений Федоров работал около пятнадцати лет; впервые она вышла в октябре 1951 года, быстро завоевала симпатии советского читателя и вскоре была переведена за рубежом. Пресса положительно отозвалась об этом незаурядном историческом произведении.

«Каменный Пояс» — широкое эпическое полотно о зарождении русской промышленности, написанное талантливо и свежо. Трилогия охватывает большой период русской истории, начиная от последних лет XVII века и кончая 1870 годом. Хотя внешним стержнем повествования и служит многолетняя история уральских горнозаводчиков Демидовых — от сметливого тульского кузнеца Никиты до немощного

Анатолия, князя Сан-Донато, но главным героем трилогии является талантливый, трудолюбивый, любящий свою родину русский народ, о котором автор так хорошо сказал: «Хозяином Каменного Пояса был, есть и будет во веки веков трудящийся русский человек! Только он — подлинный хозяин и творец на этой дивной земле!»

Первое, что сразу же бросается в глаза при чтении «Каменного Пояса»,— это сюжетная слаженность, композиционная стройность такой монументальной, многоплановой вещи. Особенно четкая по рисунку — первая книга трилогии. Прекрасное знание исторического материала и большой запас жизненных наблюдений позволяют Евгению Федорову интересно и выразительно писать. Изображает ли он Петербург XVIII века или далекую, чужую Бретань, ведет ли он рассказ о беспредельно тяжелом труде кабального рудокопа или о малом приеме в Эрмитаже у императрицы Екатерины II,— он дает исторически правдивую и жизненно убедительную картину.

Автор показал целую галерею запоминающихся образов простых русских людей. Отважный, непокорный Сенька Сокол, «хваткий и проворный» Митька Перстень, один из руководителей башкирского восстания — Султан, талантливый крепостной скрипач Андрейка Воробышкин, старик мастерко Голубок, скромный отец Савва, понявший, что правда — на стороне Пугачева,— все они встают перед нашими глазами как живые.

Удаются Евгению Федорову и русские женщины — сердечные, честные, преданные семье и родине. Тут и очаровательная Дуняша Рыжанка, ставшая женой Ефима Черепанова, и смелая Аленушка, и верная Аниска, и несчастная Катеринка, и мать скрипача Андрейки — «вдовица Кондратьевна». Запоминаются образы талантливых, самобытных русских изобретателей, «умельцев»,— Ефима и Мирона Черепановых, создателя водоотливной машины Степана Козопасова и великого русского металлурга Аносова, которому Евгений Федоров посвятил отдельный роман — «Большая судьба».

Хорошо написаны и Демидовы — жестокие, властолюбивые, гордые своей силой и властью над бесправными работными холопами. Рисуя характеры Демидовых, показывая их большие организаторские способности и огромную напористость, автор в то же время выставляет во всей неприглядной наготе их хищничество, стяжательство и безжалостность. Главы трилогии, повествующие о жизни и труде демидовских рабочих и малолетних детей, добывающих руду в горе Высокой, полны глубокого драматизма. Алчность Демидовых, их безудержное хищничество растут с каждым годом. В целях наживы они идут на тяжкие, кровавые преступления. Евгений Федоров правдиво показал духовное убожество последних Демидовых. Внук Никиты Демидова, маниак Прокофий Акинфиевич, не принимал никакого участия в производстве. Все богатства, добытые в резуль-

тате бесчеловечной эксплуатации рабочих на Урале, он тратит на пустые, сумасбродные затеи. Его дядя Никита Никитич, разбитый параличом, являет собой яркий образец вырождения. Совершенными тунеядцами предстают перед читателем Анатолий и Павел, получившие образование за границей и даже плохо знающие родной русский язык. Они уже вовсе не интересуются судьбами своих уральских заводов, бесшабашно растрачивая на пустую жизнь огромные богатства.

Просто, но выразительно описана в трилогии природа — орловские степи и суровый, величественный Урал, горная снежная Швейцария и цветущая Ломбардская долина.

Евгений Федоров широко использует народную речь, обращается к народным сказаниям и легендам, которые и по сей день живы на Урале. Трилогия показывает талантливость, трудолюбие и героизм русского народа.

«Каменный Пояс» Евгения Федорова прочно вошел в число наиболее любимых советским читателем исторических произведений и по праву занимает среди них достойное место.

Леонтий Раковский

ОГЛАВЛЕНИЕ

Литературно-художественное издание

Федоров Евгений Александрович

КАМЕННЫЙ ПОЯС

В ТРЕХ КНИГАХ

●

Книга третья

ХОЗЯИН КАМЕННЫХ ГОР

Части 3—4

Ответственная за выпуск *А. Н. Белковская*
Художник и художественный редактор *В. Н. Валентович*
Технический редактор *Г. М. Романчук*
Корректор *Т. М. Рутковская*

ИБ № 2755
Подписано в печать с диапозитивов издательства «Вышэйшая школа» 03.07.89. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага кн.-журн. Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 21. Усл. кр.-отт. 21. Уч.-изд. л. 22,42. Тираж 2 500 000 (11-й завод 1 600 001—1 700 000 экз.) (10-й завод изд-во «Мастацкая літаратура»). Зак. 2722. Цена 2 р. 10 к.
Издательство «Ураджай» Государственного комитета БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220048, Минск, проспект Машерова, 11.
Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МППО им. Я. Коласа. 220005, Минск, Красная, 23.

Федоров Е. А.

Ф33 Каменный Пояс: Роман в 3 кн. Кн. 3. Хозяин Каменных гор. Ч. 3—4.— Мн.: Ураджай, 1989.— 398 с.

ISBN 5-7860-0458-9.

Роман «Хозяин Каменных гор» завершает трилогию русского советского писателя Е. А. Федорова «Каменный Пояс» — широкое эпическое полотно о зарождении русской промышленности на Урале.

4702010201—036
Ф———————БЗ 1—89
М 305(03)—89

ББК 84 Р7

2 р. 10 к.